# **А.С. Пушкин.**

# **ДУБРОВСКИЙ**

## **ТОМ ПЕРВЫЙ**

### ГЛАВА I

Несколько лет тому назад в одном из своих поместий жил старинный русский барин, Кирила Петрович Троекуров. Его богатство, знатный род и связи давали ему большой вес в губерниях, где находилось его имение. Соседи рады были угождать малейшим его прихотям; губернские чиновники трепетали при его имени; Кирила Петрович принимал знаки подобострастия как надлежащую дань; дом его всегда был полон гостями, готовыми тешить его барскую праздность, разделяя шумные, а иногда и буйные его увеселения. Никто не дерзал отказываться от его приглашения или в известные дни не являться с должным почтением в село Покровское. В домашнем быту Кирила Петрович выказывал все пороки человека необразованного. Избалованный всем, что только окружало его, он привык давать полную волю всем порывам пылкого своего нрава и всем затеям довольно ограниченного ума. Несмотря на необыкновенную силу физических способностей, он раза два в неделю страдал от обжорства и каждый вечер бывал навеселе. В одном из флигелей его дома жили шестнадцать горничных, занимаясь рукоделиями, свойственными их полу. Окны во флигеле были загорожены деревянною решеткою; двери

запирались замками, от коих ключи хранились у Кирила Петровича. Молодые затворницы в положенные часы сходили в сад и прогуливались под надзором двух старух. От времени до времени Кирила Петрович выдавал некоторых из них замуж, и новые поступали на их место. С крестьянами и дворовыми обходился он строго и своенравно; несмотря на то, они были ему преданы: они тщеславились богатством и славою своего господина и в свою очередь позволяли себе многое в отношении к их соседям, надеясь на его сильное покровительство.

Всегдашние занятия Троекурова состояли в разъездах около пространных его владений, в продолжительных пирах и в проказах, ежедневно притом изобретаемых и жертвою коих бывал обыкновенно какой-нибудь новый знакомец; хотя и старинные приятели не всегда их избегали за исключением одного Андрея Гавриловича Дубровского. Сей Дубровский, отставной поручик гвардии, был ему ближайшим соседом и владел семидесятью душами. Троекуров, надменный в сношениях с людьми самого высшего звания, уважал Дубровского несмотря на его смиренное состояние. Некогда были они товарищами по службе, и Троекуров знал по опыту нетерпеливость и решительность его характера. Обстоятельства разлучили их надолго. Дубровский с расстроенным состоянием принужден был выйти в отставку и поселиться в остальной своей деревне. Кирила Петрович, узнав о том, предлагал ему свое покровительство, но Дубровский благодарил его и остался беден и независим. Спустя несколько лет Троекуров, отставной генерал-аншеф, приехал в свое поместие, они свиделись и обрадовались друг другу. С тех пор они каждый день бывали вместе, и Кирила Петрович, отроду не удостоивавший никого своим посещением, заезжал запросто в домишко своего старого товарища. Будучи ровесниками, рожденные в одном сословии, воспитанные одинаково, они сходствовали отчасти и в характерах и в наклонностях. В некоторых отношениях и судьба их была одинакова: оба женились по любви, оба скоро овдовели, у обоих оставалось по ребенку. Сын Дубровского воспитывался в

Петербурге, дочь Кирила Петровича росла в глазах родителя, и Троекуров часто говаривал Дубровскому: «Слушай, брат, Андрей Гаврилович: коли в твоем Володьке будет путь, так отдам за него Машу; даром что он гол как сокол». Андрей Гаврилович качал головой и отвечал обыкновенно: «Нет, Кирила Петрович: мой Володька не жених Марии Кириловне. Бедному дворянину, каков он, лучше жениться на бедной дворяночке, да быть главою в доме, чем сделаться приказчиком избалованной бабенки».

Все завидовали согласию, царствующему между надменным Троекуровым и бедным его соседом, и удивлялись смелости сего последнего, когда он за столом у Кирила Петровича прямо высказывал свое мнение, не заботясь о том, противуречило ли оно мнениям хозяина. Некоторые пытались было ему подражать и выйти из пределов должного повиновения, но Кирила Петрович так их пугнул, что навсегда отбил у них охоту к таковым покушениям, и Дубровский один остался вне общего закона. Нечаянный случай все расстроил и переменил.

Раз в начале осени Кирила Петрович собирался в отъезжее поле. Накануне был отдан приказ псарям и стремянным быть готовыми к пяти часам утра. Палатка и кухня отправлены были вперед на место, где Кирила Петрович должен был обедать. Хозяин и гости пошли на псарный двор, где более пятисот гончих и борзых жили в довольстве и тепле, прославляя щедрость Кирила Петровича на своем собачьем языке. Тут же находился и лазарет для больных собак, под присмотром штаб-лекаря Тимошки, и отделение, где благородные суки ощенялись и кормили своих щенят. Кирила Петрович гордился сим прекрасным заведением и никогда не упускал случая похвастаться оным перед своими гостями, из коих каждый осмотривал его по крайней мере уже в двадцатый раз. Он расхаживал по псарне, окруженный своими гостями и сопровождаемый Тимошкой и главными псарями; останавливался пред некоторыми конурами, то расспрашивая о здоровии больных, то делая замечания более или менее строгие и справедливые, то подзывая к себе

знакомых собак и ласково с ними разговаривая. Гости почитали обязанностию восхищаться псарнею Кирила Петровича. Один Дубровский молчал и хмурился. Он был горячий охотник. Его состояние позволяло ему держать только двух гончих и одну свору борзых; он не мог удержаться от некоторой зависти при виде сего великолепного заведения. «Что же ты хмуришься, брат, — спросил его Кирила Петрович, — или псарня моя тебе не нравится?» — «Нет, — отвечал он сурово, — псарня чудная, вряд людям вашим житье такое ж, как вашим собакам». Один из псарей обиделся. «Мы на свое житье, — сказал он, — благодаря бога и барина не жалуемся, а что правда, то правда, иному и дворянину не худо бы променять усадьбу на любую здешнюю конурку. Ему было б и сытнее и теплее». Кирила Петрович громко засмеялся при дерзком замечании своего холопа, а гости вослед за ним захохотали, хотя и чувствовали, что шутка псаря могла отнестися и к ним. Дубровский побледнел и не сказал ни слова. В сие время поднесли в лукошке Кирилу Петровичу новорожденных щенят; он занялся ими, выбрал себе двух, прочих велел утопить. Между тем Андрей Гаврилович скрылся, и никто того не заметил.

Возвратясь с гостями со псарного двора, Кирила Петрович сел ужинать и тогда только, не видя Дубровского, хватился о нем. Люди отвечали, что Андрей Гаврилович уехал домой. Троекуров велел тотчас его догнать и воротить непременно. Отроду не выезжал он на охоту без Дубровского, опытного и тонкого ценителя псовых достоинств и безошибочного решителя всевозможных охотничьих споров. Слуга, поскакавший за ним, воротился, как еще сидели за столом, и доложил своему господину, что, дескать, Андрей Гаврилович не послушался и не хотел воротиться. Кирила Петрович, по обыкновению своему разгоряченный наливками, осердился и вторично послал того же слугу сказать Андрею Гавриловичу, что если он тотчас же не приедет ночевать в Покровское, то он, Троекуров, с ним навеки рассорится. Слуга снова поскакал, Кирила Петрович встал из-за стола, отпустил гостей и отправился спать.

На другой день первый вопрос его был: здесь ли Андрей Гаврилович? Вместо ответа ему подали письмо, сложенное треугольником; Кирила Петрович приказал своему писарю читать его вслух и услышал следующее:

«Государь мой премилостивый,

Я до тех пор не намерен ехать в Покровское, пока не вышлете Вы мне псаря Парамошку с повинною; а будет моя воля наказать его или помиловать, а я терпеть шутки от Ваших холопьев не намерен, да и от Вас их не стерплю, потому что я не шут, а старинный дворянин. За сим остаюсь покорным ко услугам

Андрей Дубровский».

По нынешним понятиям об этикете письмо сие было бы весьма неприличным, но оно рассердило Кирила Петровича не странным слогом и расположением, но только своею сущностью: «Как, — загремел Троекуров, вскочив с постели босой, — высылать к ему моих людей с повинной, он волен их миловать, наказывать! да что он в самом деле задумал; да знает ли он, с кем связывается? Вот я ж его... Наплачется он у меня, узнает, каково идти на Троекурова!»

Кирила Петрович оделся и выехал на охоту с обыкновенной своею пышностию, но охота не удалась. Во весь день видели одного только зайца и того протравили. Обед в поле под палаткою также не удался, или по крайней мере был не по вкусу Кирила Петровича, который прибил повара, разбранил гостей и на возвратном пути со всею своей охотою нарочно поехал полями Дубровского.

Прошло несколько дней, и вражда между двумя соседами не унималась. Андрей Гаврилович не возвращался в Покровское — Кирила Петрович без него скучал, и досада его громко изливалась в самых оскорбительных выражениях, которые, благодаря усердию тамошних дворян, доходили до Дубровского исправленные и дополненные. Новое обстоятельство уничтожило и последнюю надежду на примирение.

Дубровский объезжал однажды малое свое владение; приближаясь к березовой роще, услышал он

удары топора и через минуту треск повалившегося дерева. Он поспешил в рощу и наехал на покровских мужиков, спокойно ворующих у него лес. Увидя его, они бросились было бежать. Дубровский со своим кучером поймал из них двоих и привел их связанных к себе на двор. Три неприятельские лошади достались тут же в добычу победителю. Дубровский был отменно сердит, прежде сего никогда люди Троекурова, известные разбойники, не осмеливались шалить в пределах его владений, зная приятельскую связь его с их господином. Дубровский видел, что теперь пользовались они происшедшим разрывом, — и решился, вопреки всем понятиям о праве войны, проучить своих пленников прутьями, коими запаслись они в его же роще, а лошадей отдать в работу, приписав к барскому скоту.

Слух о сем происшествии в тот же день дошел до Кирила Петровича. Он вышел из себя и в первую минуту гнева хотел было со всеми своими дворовыми учинить нападение на Кистеневку (так называлась деревня его соседа), разорить ее дотла и осадить самого помещика в его усадьбе. Таковые подвиги были ему не в диковину. Но мысли его вскоре приняли другое направление.

Расхаживая тяжелыми шагами взад и вперед по зале, он взглянул нечаянно в окно и увидел у ворот остановившуюся тройку; маленький человек в кожаном картузе и фризовой шинели вышел из телеги и пошел во флигель к приказчику; Троекуров узнал заседателя Шабашкина и велел его позвать. Через минуту Шабашкин уже стоял перед Кирилом Петровичем, отвешивая поклон за поклоном и с благоговением ожидая его приказаний.

— Здорово, как, бишь, тебя зовут, — сказал ему Троекуров, — зачем пожаловал?

— Я ехал в город, ваше превосходительство, — отвечал Шабашкин, — и зашел к Ивану Демьянову узнать, не будет ли какого приказания от вашего превосходительства.

— Очень кстати заехал, как, бишь, тебя зовут; мне до тебя нужда. Выпей водки да выслушай.

Таковой ласковый прием приятно изумил заседателя. Он отказался от водки и стал слушать Кирила Петровича со всевозможным вниманием.

— У меня сосед есть, — сказал Троекуров, — мелкопоместный грубиян; я хочу взять у него имение, — как ты про то думаешь?

— Ваше превосходительство, коли есть какие-нибудь документы или...

— Врешь, братец, какие тебе документы. На то указы. В том-то и сила, чтобы безо всякого права отнять имение. Постой однако ж. Это имение принадлежало некогда нам, было куплено у какого-то Спицына и продано потом отцу Дубровского. Нельзя ли к этому придраться?

— Мудрено, ваше высокопревосходительство; вероятно, сия продажа совершена законным порядком.

— Подумай, братец, поищи хорошенько.

— Если бы, например, ваше превосходительство могли каким ни есть образом достать от вашего соседа запись или купчую, в силу которой владеет он своим имением, то конечно...

— Понимаю, да вот беда — у него все бумаги сгорели во время пожара.

— Как, ваше превосходительство, бумаги его сгорели! чего ж вам лучше? — в таком случае извольте действовать по законам, и без всякого сомнения получите ваше совершенное удовольствие.

— Ты думаешь? Ну, смотри же. Я полагаюсь на твое усердие, а в благодарности моей можешь быть уверен.

Шабашкин поклонился почти до земли, вышел вон, с того же дни стал хлопотать по замышленному делу, и, благодаря его проворству, ровно через две недели Дубровский получил из города приглашение доставить немедленно надлежащие объяснения насчет его владения сельцом Кистеневкою.

Андрей Гаврилович, изумленный неожиданным запросом, в тот же день написал в ответ довольно грубое отношение, в коем объявлял он, что сельцо Кистеневка досталось ему по смерти покойного его родителя, что он владеет им по праву наследства, что

Троекурову до него дела никакого нет и что всякое постороннее притязание на сию его собственность есть ябеда и мошенничество.

Письмо сие произвело весьма приятное впечатление в душе заседателя Шабашкина. Он увидел, во-первых, что Дубровский мало знает толку в делах, во-вторых, что человека столь горячего и неосмотрительного нетрудно будет поставить в самое невыгодное положение.

Андрей Гаврилович, рассмотрев хладнокровно запросы заседателя, увидел необходимость отвечать обстоятельнее. Он написал довольно дельную бумагу, но впоследствии времени оказавшуюся недостаточной.

Дело стало тянуться. Уверенный в своей правоте Андрей Гаврилович мало о нем беспокоился, не имел ни охоты, ни возможности сыпать около себя деньги, и хоть он, бывало, всегда первый трунил над продажной совестью чернильного племени, но мысль соделаться жертвой ябеды не приходила ему в голову. С своей стороны, Троекуров столь же мало заботился о выигрыше им затеянного дела, — Шабашкин за него хлопотал, действуя от его имени, стращая и подкупая судей и толкуя вкривь и впрямь всевозможные указы. Как бы то ни было, 18... года, февраля 9 дня, Дубровский получил через городовую полицию приглашение явиться к \*\* земскому судье для выслушания решения оного по делу спорного имения между им, поручиком Дубровским, и генерал-аншефом Троекуровым, и для подписки своего удовольствия или неудовольствия. В тот же день Дубровский отправился в город; на дороге обогнал его Троекуров. Они гордо взглянули друг на друга, и Дубровский заметил злобную улыбку на лице своего противника.

### ГЛАВА II

Приехав в город, Андрей Гаврилович остановился у знакомого купца, ночевал у него, и на другой день утром явился в присутствие уездного суда. Никто не обратил на него внимания. Вслед за ним приехал и Кирила Петрович. Писаря встали и заложили перья за ухо. Члены встретили его с изъявлениями глубокого подобострастия, придвинули ему кресла из уважения к его чину, летам и дородности; он сел при открытых дверях — Андрей Гаврилович стоя прислонился к стенке — настала глубокая тишина, и секретарь звонким голосом стал читать определение суда.

Мы помещаем его вполне, полагая, что всякому приятно будет увидать один из способов, коими на Руси можем мы лишиться имения, на владение коим имеем неоспоримое право.

18... года октября 27 дня \*\* уездный суд рассматривал дело о неправильном владении гвардии поручиком Андреем Гавриловым сыном Дубровским имением, принадлежащим генерал-аншефу Кирилу Петрову сыну Троекурову, состоящим \*\* губернии в сельце Кистеневке, мужеска пола \*\* душами, да земли с лугами и угодьями \*\* десятин. Из коего дела видно: означенный генерал-аншеф Троекуров прошлого 18... года июня 9 дня взошел в сей суд с прошением в том, что покойный его отец, коллежский асессор и кавалер Петр Ефимов сын Троекуров в 17... году августа 14 дня, служивший в то время в \*\* наместническом правлении провинциальным секретарем, купил из дворян у канцеляриста Фадея Егорова сына Спицына имение, состоящее \*\* округи в помянутом сельце Кистеневке (которое селение тогда по \*\* ревизии называлось Кистеневскими выселками), всего значащихся по 4-й ревизии мужеска пола \*\* душ со всем их крестьянским имуществом, усадьбою, с пашенною и непашенною землею, лесами, сенными покосы, рыбными ловли по речке, называемой Кистеневке, и со всеми принадлежащими к оному имению угодьями и господским деревянным домом, и словом всё без остатка, что ему после отца его, из дворян урядника Егора Терентьева сына Спицына по наследству досталось и во владении его было, не оставляя из людей ни единыя души, а из земли ни единого четверика, ценою за 2500 р. на что и купчая в тот же день в \*\* палате суда и расправы совершена, и отец его тогда же августа в 26-й день \*\* земским судом введен был во владение и учинен за него отказ. — А наконец 17... года сентября 6-го дня отец его волею божиею помер, а между тем он, проситель генерал-аншеф Троекуров, с 17... года почти с малолетства находился в военной службе и по большей части был в походах за границами, почему он и не мог иметь сведения как о смерти отца его, равно и об оставшемся после его имении. Ныне же по выходе совсем из той службы в отставку и по возвращении в имения отца его, состоящие \*\* и \*\* губерниях \*\*, \*\* и \*\* уездах, в разных селениях, всего до 3000 душ, находит, что из числа таковых имений вышеписанными \*\* душами (коих по нынешней \*\* ревизии значится в том сельце всего \*\* душ) с землею и со всеми угодьями владеет без всяких укреплений вышеписанный гвардии поручик Андрей Дубровский, почему, представляя при оном прошении ту подлинную купчую, данную отцу его продавцом Спицыным, просит, отобрав помянутое имение из неправильного владения Дубровского, отдать по принадлежности в полное его, Троекурова, распоряжение. А за несправедливое оного присвоение, с коего он пользовался получаемыми доходами, по учинении об оных надлежащего дознания, положить с него, Дубровского, следующее по законам взыскание и оным его, Троекурова, удовлетворить.

По учинении ж \*\* земским судом по сему прошению исследований открылось: что помянутый нынешний владелец спорного имения гвардии поручик Дубровский дал на месте дворянскому заседателю объяснение, что владеемое им ныне имение, состоящее в означенном сельце Кистеневке, \*\* душ с землею и угодьями, досталось ему по наследству после смерти отца его, артиллерии подпоручика Гаврила Евграфова сына Дубровского, а ему дошедшее по покупке от отца сего просителя, прежде бывшего провинциального секретаря, а потом коллежского асессора Троекурова, по доверенности, данной от него в 17... году августа 30 дня, засвидетельствованной в \*\* уездном суде, титулярному советнику Григорью Васильеву сыну Соболеву, по которой должна быть от него на имение сие отцу его купчая, потому что во оной именно сказано, что он, Троекуров, всё доставшееся ему по купчей от канцеляриста Спицына имение,\*\* душ с землею, продал отцу его, Дубровского, и следующие по договору деньги, 3200 рублей, все сполна с отца его без возврата получил и просил оного доверенного Соболева

выдать отцу его указную крепость. А между тем отцу его в той же доверенности по случаю заплаты всей суммы владеть тем покупным у него имением и распоряжаться впредь до совершения оной крепости, как настоящему владельцу, и ему, продавцу Троекурову, впредь и никому в то имение уже не вступаться. Но когда именно и в каком присутственном месте таковая купчая от поверенного Соболева дана его отцу, — ему, Андрею Дубровскому, неизвестно, ибо он в то время был в совершенном малолетстве, и после смерти его отца таковой крепости отыскать не мог, а полагает, что не сгорела ли с прочими бумагами и имением во время бывшего в 17... году в доме их пожара, о чем известно было и жителям того селения. А что оным имением со дня продажи Троекуровым или выдачи Соболеву доверенности, то есть с 17... года, а по смерти отца его с 17... года и поныне, они, Дубровские, бесспорно владели, в том свидетельствуется на окольных жителей, которые, всего 52 человека, на опрос под присягою показали, что действительно, как они могут запомнить, означенным спорным имением начали владеть помянутые гг. Дубровские назад сему лет с 70 без всякого от кого-либо спора, но по какому именно акту или крепости, им неизвестно. — Упомянутый же по сему делу прежний покупчик сего имения, бывший провинциальный секретарь Петр Троекуров, владел ли сим имением, они не запомнят. Дом же гг. Дубровских назад сему лет 30 от случившегося в их селении в ночное время пожара сгорел, причем сторонние люди допускали, что доходу означенное спорное имение может приносить, полагая с того времени в сложности, ежегодно не менее как до 2000 р.

Напротив же сего генерал-аншеф Кирила Петров сын Троекуров 3-го генваря сего года взошел в сей суд с прошением, что хотя помянутый гвардии поручик Андрей Дубровский и представил при учиненном следствии к делу сему выданную покойным его отцом Гаврилом Дубровским титулярному советнику Соболеву доверенность на запроданное ему имение, но по оной не только подлинной купчей, но даже и на совершение когда-либо оной никаких ясных доказательств по силе генерального регламента 19 главы и указа 1752 года ноября 29 дня не представил. Следовательно, самая доверенность ныне, за смертию самого дателя оной, отца его, по указу 1818 года маия ... дня, совершенно уничтожается. — А сверх сего —

ведено спорные имения отдавать во владения — крепостные по крепостям, а некрепостные по розыску.

На каковое имение, принадлежащее отцу его, представлен уже от него в доказательство крепостной акт, по которому и следует, на основании означенных узаконений, из неправильного владения помянутого Дубровского отобрав, отдать ему по праву наследства. А как означенные помещики, имея во владении не принадлежащего им имения и без всякого укрепления, и пользовались с оного неправильно и им не принадлежащими доходами, то по исчислении, сколько таковых будет причитаться по силе... взыскать с помещика Дубровского и его,

Троекурова, оными удовлетворить. — По рассмотрении какового дела и учиненной из оного и из законов выписки в \*\* уездном суде определено:

Как из дела сего видно, что генерал-аншеф Кирила Петров сын Троекуров на означенное спорное имение, находящееся ныне во владении у гвардии поручика Андрея Гаврилова сына Дубровского, состоящее в сельце Кистеневке, по нынешней ... ревизии всего мужеска пола \*\* душ, с землею и угодьями, представил подлинную купчую на продажу оного покойному отцу его, провинциальному секретарю, который потом был коллежским асессором, в 17... году из дворян канцеляристом Фадеем Спицыным, и что сверх сего сей покупщик, Троекуров, как из учиненной на той купчей надписи видно, был в том же году \*\* земским судом введен во владение, которое имение уже и за него отказано, и хотя напротив сего со стороны гвардии поручика Андрея Дубровского и представлена доверенность, данная тем умершим покупщиком Троекуровым титулярному советнику Соболеву для совершения купчей на имя отца его, Дубровского, но по таковым сделкам не только утверждать крепостные недвижимые имения, но даже и временно владеть по указу... воспрещено, к тому ж и самая доверенность смертию дателя оной совершенно уничтожается. — Но чтоб сверх сего действительно была по оной доверенности совершена где и когда на означенное спорное имение купчая, со стороны Дубровского никаких ясных доказательств к делу с начала производства, то есть с 18... года и по сие время не представлено. А потому сей суд и полагает: означенное имение, \*\* душ, с землею и угодьями, в каком ныне положении тое окажется, утвердить по представленной на оное купчей за генерал-аншефа Троекурова; о удалении от распоряжения оным гвардии поручика Дубровского и о надлежащем вводе во владение за него, г. Троекурова, и об отказе за него, как дошедшего ему по наследству, предписать \*\* земскому суду. А хотя сверх сего генерал-аншеф Троекуров и просит о взыскании с гвардии поручика Дубровского за неправое владение наследственным его имением воспользовавшихся с оного доходов. — Но как оное имение, по показанию старожилых людей, было у гг. Дубровских несколько лет в бесспорном владении, и из дела сего не видно, чтоб со стороны г. Троекурова были какие-либо до сего времени прошения о таковом неправильном владении Дубровскими оного имения, к тому по уложению

велено, ежели кто чужую землю засеет или усадьбу загородит, и на того о неправильном завладении станут бити челом, и про то сыщется допрямо, тогда правому отдавать тую землю, и с посеянным хлебом, и городьбою, и строением,

а посему генерал-аншефу Троекурову в изъявленном на гвардии поручика Дубровского иске отказать, ибо принадлежащее ему имение возвращается в его владение, не изъемля из оного ничего. А что при вводе за него оказаться может всё без остатка, предоставя между тем генерал-аншефу Троекурову, буде он имеет о таковой своей претензии какие-либо

ясные и законные доказательства, может просить где следует особо. Каковое решение напред объявить как истцу, равно и ответчику, на законном основании, апелляционным порядком, коих и вызвать в сей суд для выслушания сего решения и подписки удовольствия или неудовольствия чрез полицию.

Каковое решение подписали все присутствующие того суда.

Секретарь умолкнул, заседатель встал и с низким поклоном обратился к Троекурову, приглашая его подписать предлагаемую бумагу, и торжествующий Троекуров, взяв от него перо, подписал под *решением*суда совершенное свое удовольствие.

Очередь была за Дубровским. Секретарь поднес ему бумагу. Но Дубровский стал неподвижен, потупя голову.

Секретарь повторил ему свое приглашение подписать свое полное и совершенное удовольствие или явное неудовольствие, если паче чаяния чувствует по совести, что дело его есть правое, и намерен в положенное законами время просить по апелляции куда следует. Дубровский молчал... Вдруг он поднял голову, глаза его засверкали, он топнул ногою, оттолкнул секретаря с такою силою,что тот упал, и, схватив чернильницу, пустил ею в заседателя. Все пришли в ужас. «Как! не почитать церковь божию! прочь, хамово племя!» Потом, обратясь к Кирилу Петровичу: «Слыхано дело, ваше превосходительство, — продолжал он, — псари вводят собак в божию церковь! собаки бегают по церкви. Я вас ужо проучу...» Сторожа сбежались на шум и насилу им овладели. Его вывели и усадили в сани. Троекуров вышел вслед за ним, сопровождаемый всем судом. Внезапное сумасшествие Дубровского сильно подействовало на его воображение и отравило его торжество.

Судии, надеявшиеся на его благодарность, не удостоились получить от него ни единого приветливого слова. Он в тот же день отправился в Покровское. Дубровский между тем лежал в постеле; уездный лекарь, по счастию не совершенный невежда, успел пустить ему кровь, приставить пиявки и шпанские мухи. К вечеру ему стало легче, больной пришел в память. На другой день повезли его в Кистеневку, почти уже ему не принадлежащую.

### ГЛАВА III

Прошло несколько времени, а здоровье бедного Дубровского всё еще было плохо; правда, припадки сумасшествия уже не возобновлялись, но силы его приметно ослабевали. Он забывал свои прежние занятия, редко выходил из своей комнаты и задумывался по целым суткам. Егоровна, добрая старуха, некогда ходившая за его сыном, теперь сделалась и его нянькою. Она смотрела за ним, как за ребенком, напоминала ему о времени пищи и сна, кормила его, укладывала спать. Андрей Гаврилович тихо повиновался ей и, кроме ее, не имел ни с кем сношения. Он был не в состоянии думать о своих делах, хозяйственных распоряжениях, и Егоровна увидела необходимость уведомить обо всем молодого Дубровского, служившего в одном из гвардейских пехотных полков и находящегося в то время в Петербурге. Итак, отодрав лист от расходной книги, она продиктовала повару Харитону, единственному кистеневскому грамотею, письмо, которое в тот же день и отослала в город на почту.

Но пора читателя познакомить с настоящим героем нашей повести.

Владимир Дубровский воспитывался в Кадетском корпусе и выпущен был корнетом в гвардию; отец не щадил ничего для приличного его содержания, и

молодой человек получал из дому более, нежели должен был ожидать. Будучи расточителен и честолюбив, он позволял себе роскошные прихоти; играл в карты и входил в долги, не заботясь о будущем и предвидя себе рано или поздно богатую невесту, мечту бедной молодости.

Однажды вечером, когда несколько офицеров сидели у него, развалившись по диванам и куря из его янтарей, Гриша, его камердинер, подал ему письмо, коего надпись и печать тотчас поразили молодого человека. Он поспешно его распечатал и прочел следующее:

«Государь ты наш, Владимир Андреевич, — я, твоя старая нянька, решилась тебе доложить о здоровье папенькином! Он очень плох, иногда заговаривается, и весь день сидит как дитя глупое — а в животе и смерти бог волен. Приезжай ты к нам, соколик мой ясный, мы тебе и лошадей вышлем на Песочное. Слышно, земский суд к нам едет отдать нас под начал Кирилу Петровичу Троекурову — потому что мы, дескать, ихние, а мы искони Ваши, — и отроду того не слыхивали. Ты бы мог, живя в Петербурге, доложить о том царю-батюшке, а он бы не дал нас в обиду. Остаюсь твоя верная раба, нянька

*Орина Егоровна Бузырева.*

Посылаю мое материнское благословение Грише, хорошо ли он тебе служит? У нас дожди идут вот ужо друга неделя и пастух Родя помер около Миколина дня».

Владимир Дубровский несколько раз сряду перечитал сии довольно бестолковые строки с необыкновенным волнением. Он лишился матери с малолетства и, почти не зная отца своего, был привезен в Петербург на восьмом году своего возраста — со всем тем он романически был к нему привязан и тем более любил семейственную жизнь, чем менее успел насладиться ее тихими радостями.

Мысль потерять отца своего тягостно терзала его сердце, а положение бедного больного, которое угадывал он из письма своей няни, ужасало его. Он воображал отца, оставленного в глухой деревне, на руках глупой старухи и дворни, угрожаемого каким-то бедствием и угасающего без помощи в мучениях телесных и душевных. Владимир упрекал себя в преступном небрежении. Долго не получал он от отца писем и не подумал о нем осведомиться, полагая его в разъездах или хозяйственных заботах.

Он решился к нему ехать и даже выйти в отставку, если болезненное состояние отца потребует его присутствия. Товарищи, заметя его беспокойство, ушли. Владимир, оставшись один, написал просьбу об отпуске — закурил трубку и погрузился в глубокие размышления.

Тот же день стал он хлопотать об отпуске и через три дня был уже на большой дороге.

Владимир Андреевич приближался к той станции, с которой должен он был своротить на Кистеневку. Сердце его исполнено было печальных предчувствий, он боялся уже не застать отца в живых, он воображал грустный образ жизни, ожидающий его в деревне, глушь, безлюдие, бедность и хлопоты по делам, в коих он не знал никакого толку. Приехав на станцию, он вошел к смотрителю и спросил вольных лошадей. Смотритель осведомился, куда надобно было ему ехать, и объявил, что лошади, присланные из Кистеневки, ожидали его уже четвертые сутки. Вскоре явился к Владимиру Андреевичу старый кучер Антон, некогда водивший его по конюшне и смотревший за его маленькой лошадкою. Антон прослезился, увидя его, поклонился ему до земи, сказал ему, что старый его барин еще жив, и побежал запрягать лошадей. Владимир Андреевич отказался от предлагаемого завтрака и спешил отправиться. Антон повез его проселочными дорогами — и между ими завязался разговор.

— Скажи, пожалуйста, Антон, какое дело у отца моего с Троекуровым?

— А бог их ведает, батюшка Владимир Андреевич... Барин, слышь, не поладил с Кирилом Петровичем, а

тот и подал в суд — хотя почасту он сам себе судия. Не наше холопье дело разбирать барские воли, а ей-богу, напрасно батюшка ваш пошел на Кирила Петровича, плетью обуха не перешибешь.

— Так, видно, этот Кирила Петрович у вас делает что хочет?

— И вестимо, барин: заседателя, слышь, он и в грош не ставит, исправник у него на посылках. Господа съезжаются к нему на поклон, и то сказать, было бы корыто, а свиньи-то будут.

— Правда ли, что отымает он у нас имение?

— Ох, барин, слышали так и мы. На днях покровский пономарь сказал на крестинах у нашего старосты: полно вам гулять; вот ужо приберет вас к рукам Кирила Петрович. Микита кузнец и сказал ему: и, полно, Савельич, не печаль кума, не мути гостей — Кирила Петрович сам по себе, а Андрей Гаврилович сам по себе, а все мы божии да государевы; да ведь на чужой рот пуговицы не нашьешь.

— Стало быть, вы не желаете перейти во владение Троекурову?

— Во владение Кирилу Петровичу! Господь упаси и избави: у него часом и своим плохо приходится, а достанутся чужие, так он с них не только шкурку, да и мясо-то отдерет. Нет, дай бог долго здравствовать Андрею Гавриловичу, а коли уж бог его приберет, так не надо нам никого, кроме тебя, наш кормилец. Не выдавай ты нас, а мы уж за тебя станем. — При сих словах Антон размахнул кнутом, тряхнул вожжами, и лошади его побежали крупной рысью.

Тронутый преданностию старого кучера, Дубровский замолчал и предался снова размышлениям. Прошло более часа, вдруг Гришка пробудил его восклицанием: «Вот Покровское!» Дубровский поднял голову. Он ехал берегом широкого озера, из которого вытекала речка и вдали извивалась между холмами; на одном из них над густою зеленью рощи возвышалась зеленая кровля и бельведер огромного каменного дома, на другом пятиглавая церковь и старинная колокольня; около разбросаны были деревенские избы с их огородами и колодезями. Дубровский знал сии места; он вспомнил,

что на сем самом холму играл он с маленькой Машей Троекуровой, которая была двумя годами моложе и тогда уже обещала быть красавицей. Он хотел об ней осведомиться у Антона, но какая-то застенчивость удержала его.

Подъехав к господскому дому, он увидел белое платье, мелькающее между деревьями сада. В это время Антон ударил по лошадям и, повинуясь честолюбию, общему и деревенским кучерам, как и извозчикам, пустился во весь дух через мост и мимо села. Выехав из деревни, поднялись они на гору, и Владимир увидел березовую рощу и влево на открытом месте серенький домик с красной кровлею; сердце в нем забилось; перед собою видел он Кистеневку и бедный дом своего отца.

Через десять минут въехал он на барский двор. Он смотрел вокруг себя с волнением неописанным. Двенадцать лет не видал он своей родины. Березки, которые при нем только что были посажены около забора, выросли и стали теперь высокими ветвистыми деревьями. Двор, некогда украшенный тремя правильными цветниками, меж коими шла широкая дорога, тщательно выметаемая, обращен был в некошеный луг, на котором паслась опутанная лошадь. Собаки было залаяли, но, узнав Антона, умолкли и замахали косматыми хвостами. Дворня высыпала из людских изоб и окружила молодого барина с шумными изъявлениями радости. Насилу мог он продраться сквозь их усердную толпу и взбежал на ветхое крыльцо; в сенях встретила его Егоровна и с плачем обняла своего воспитанника. «Здорово, здорово, няня, — повторял он, прижимая к сердцу добрую старуху, — что батюшка, где он? каков он?»

В эту минуту в залу вошел, насилу передвигая ноги, старик высокого роста, бледный и худой, в халате и колпаке.

—Здравствуй, Володька! — сказал он слабым голосом, и Владимир с жаром обнял отца своего. Радость произвела в больном слишком сильное потрясение, он ослабел, ноги под ним подкосились, и он бы упал, если бы сын не поддержал его.

— Зачем ты встал с постели, — говорила ему Егоровна, — на ногах не стоишь, а туда же норовишь, куда и люди.

Старика отнесли в спальню. Он силился с ним разговаривать, но мысли мешались в его голове, и слова не имели никакой связи. Он замолчал и впал в усыпление. Владимир поражен был его состоянием. Он расположился в его спальне и просил оставить его наедине с отцом. Домашние повиновались, и тогда все обратились к Грише и повели в людскую, где и угостили его по-деревенскому, со всевозможным радушием, измучив его вопросами и приветствиями.

### ГЛАВА IV

Где стол был яств, там гроб стоит.

Несколько дней спустя после своего приезда молодой Дубровский хотел заняться делами, но отец его был не в состоянии дать ему нужные объяснения — у Андрея Гавриловича не было поверенного. Разбирая его бумаги, нашел он только первое письмо заседателя и черновой ответ на оное; из того не мог он получить ясное понятие о тяжбе и решился ожидать последствий, надеясь на правоту самого дела.

Между тем здоровье Андрея Гавриловича час от часу становилось хуже. Владимир предвидел его скорое разрушение и не отходил от старика, впадшего в совершенное детство.

Между тем положенный срок прошел, и апелляция не была подана. Кистеневка принадлежала Троекурову. Шабашкин явился к нему с поклонами и поздравлениями и просьбою назначить, когда угодно будет его высокопревосходительству вступить во владение новоприобретенным имением — самому или кому изволит он дать на то доверенность. Кирила Петрович смутился. От природы не был он корыстолюбив, желание мести завлекло его слишком далеко, совесть его роптала. Он знал, в каком состоянии находился его противник, старый товарищ его молодости, — и победа не радовала его сердце. Он грозно взглянул на Шабашкина, ища к

чему привязаться, чтоб его выбранить, но не нашед достаточного к тому предлога, сказал ему сердито: «Пошел вон, не до тебя».

Шабашкин, видя, что он не в духе, поклонился и спешил удалиться. А Кирила Петрович, оставшись наедине, стал расхаживать взад и вперед, насвистывая: «Гром победы раздавайся», что всегда означало в нем необыкновенное волнение мыслей.

Наконец он велел запрячь себе беговые дрожки, оделся потеплее (это было уже в конце сентября) и, сам правя, выехал со двора.

Вскоре завидел он домик Андрея Гавриловича, и противуположные чувства наполнили душу его. Удовлетворенное мщение и властолюбие заглушали до некоторой степени чувства более благородные, но последние наконец восторжествовали. Он решился помириться с старым своим соседом, уничтожить и следы ссоры, возвратив ему его достояние. Облегчив душу сим благим намерением, Кирила Петрович пустился рысью к усадьбе своего соседа — и въехал прямо на двор.

В это время больной сидел в спальной у окна. Он узнал Кирила Петровича, и ужасное смятение изобразилось на лице его: багровый румянец заступил место обыкновенной бледности, глаза засверкали, он произносил невнятные звуки. Сын его, сидевший тут же за хозяйственными книгами, поднял голову и поражен был его состоянием. Больной указывал пальцем на двор с видом ужаса и гнева. Он торопливо подбирал полы своего халата, собираясь встать с кресел, приподнялся... и вдруг упал. Сын бросился к нему, старик лежал без чувств и без дыхания — паралич его ударил. «Скорей, скорей в город за лекарем!» — кричал Владимир. «Кирила Петрович спрашивает вас», — сказал вошедший слуга. Владимир бросил на него ужасный взгляд.

— Скажи Кирилу Петровичу, чтоб он скорее убирался, пока я не велел его выгнать со двора... пошел! — Слуга радостно побежал исполнить приказание своего барина; Егоровна всплеснула руками. «Батюшка ты наш, — сказала она пискливым голосом, — погубишь ты свою головушку! Кирила Петрович съест нас». —

«Молчи, няня, — сказал с сердцем Владимир, — сейчас пошли Антона в город за лекарем». Егоровна вышла.

В передней никого не было, все люди сбежались на двор смотреть на Кирила Петровича. Она вышла на крыльцо — и услышала ответ слуги, доносящего от имени молодого барина. Кирила Петрович выслушал его сидя на дрожках. Лицо его стало мрачнее ночи, он с презрением улыбнулся, грозно взглянул на дворню и поехал шагом около двора. Он взглянул и в окошко, где за минуту перед сим сидел Андрей Гаврилович, но где уж его не было. Няня стояла на крыльце, забыв о приказании барина. Дворня с шумом толковала о сем происшествии. Вдруг Владимир явился между людьми и отрывисто сказал: «Не надобно лекаря, батюшка скончался».

Сделалось смятение. Люди бросились в комнату старого барина. Он лежал в креслах, на которые перенес его Владимир; правая рука его висела до полу, голова опущена была на грудь — не было уж и признака жизни в сем теле, еще не охладелом, но уже обезображенном кончиною. Егоровна взвыла, слуги окружили труп, оставленный на их попечение, — вымыли его, одели в мундир, сшитый еще в 1797 году, и положили на тот самый стол, за которым столько лет они служили своему господину.

### ГЛАВА V

Похороны совершились на третий день. Тело бедного старика лежало на столе, покрытое саваном и окруженное свечами. Столовая полна была дворовых. Готовились к выносу. Владимир и трое слуг подняли гроб. Священник пошел вперед, дьячок сопровождал его, воспевая погребальные молитвы. Хозяин Кистеневки в последний раз перешел за порог своего дома. Гроб понесли рощею. Церковь находилась за нею. День был ясный и холодный. Осенние листья падали с дерев.

При выходе из рощи увидели кистеневскую деревянную церковь и кладбище, осененное старыми липами. Там покоилось тело Владимировой матери; там подле могилы ее накануне вырыта была свежая яма.

Церковь полна была кистеневскими крестьянами, пришедшими отдать последнее поклонение господину своему. Молодой Дубровский стал у клироса; он не плакал и не молился — но лицо его было страшно. Печальный обряд кончился. Владимир первый пошел прощаться с телом, за ним и все дворовые — принесли крышку и заколотили гроб. Бабы громко выли; мужики изредка утирали слезы кулаком. Владимир и тех же трое слуг понесли его на кладбище в сопровождении всей деревни. Гроб опустили в могилу, все присутствующие бросили в нее по горсти песку, яму засыпали, поклонились ей и разошлись. Владимир поспешно удалился, всех опередил и скрылся в Кистеневскую рощу.

Егоровна от имени его пригласила попа и весь причет церковный на похоронный обед, объявив, что молодой барин не намерен на оном присутствовать, и таким образом отец Антон, попадья Федотовна и дьячок пешком отправились на барский двор, рассуждая с Егоровной о добродетелях покойника и о том, что, по-видимому, ожидало его наследника. (Приезд Троекурова и прием, ему оказанный, были уже известны всему околотку, и тамошние политики предвещали важные оному последствия.)

— Что будет — то будет, — сказала попадья, — а жаль, если не Владимир Андреевич будет нашим господином. Молодец, нечего сказать.

— А кому же как не ему и быть у нас господином, — прервала Егоровна. — Напрасно Кирила Петрович и горячится. Не на робкого напал: мой соколик и сам за себя постоит, да и, бог даст, благодетели его не оставят. Больно спесив Кирила Петрович! а небось поджал хвост, когда Гришка мой закричал ему: «Вон, старый пес! долой со двора!»

— Ахти, Егоровна, — сказал дьячок, — да как у Григорья-то язык повернулся; я скорее соглашусь, кажется, лаять на владыку, чем косо взглянуть на Кирила Петровича. Как увидишь его, страх и трепет и краплет пот, а спина-то сама так и гнется, так и гнется...

— Суета сует, — сказал священник, — и Кирилу Петровичу отпоют вечную память, всё как ныне и Андрею Гавриловичу, разве похороны будут побогаче да гостей созовут побольше, а богу не все ли равно!

— Ах, батька! и мы хотели зазвать весь околоток, да Владимир Андреевич не захотел. Небось у нас всего довольно, есть чем угостить, да что прикажешь делать. По крайней мере, коли нет людей, так уж хоть вас употчую, дорогие гости наши.

Сие ласковое обещание и надежда найти лакомый пирог ускорили шаги собеседников, и они благополучно прибыли в барский дом, где стол был уже накрыт и водка подана.

Между тем Владимир углублялся в чащу дерев, движением и усталостию стараясь заглушать душевную

скорбь. Он шел не разбирая дороги; сучья поминутно задевали и царапали его, нога его поминутно вязла в болоте, — он ничего не замечал. Наконец достигнул он маленькой лощины, со всех сторон окруженной лесом; ручеек извивался молча около деревьев, полуобнаженных осенью. Владимир остановился, сел на холодный дерн, и мысли одна другой мрачнее стеснились в душе его... Сильно чувствовал он свое одиночество. Будущее для него являлось покрытым грозными тучами. Вражда с Троекуровым предвещала ему новые несчастия. Бедное его достояние могло отойти от него в чужие руки — в таком случае нищета ожидала его. Долго сидел он неподвижно на том же месте, взирая на тихое течение ручья, уносящего несколько поблеклых листьев и живо представляющего ему верное подобие жизни — подобие столь обыкновенное. Наконец заметил он, что начало смеркаться; он встал и пошел искать дороги домой, но еще долго блуждал по незнакомому лесу, пока не попал на тропинку, которая и привела его прямо к воротам его дома.

Навстречу Дубровскому попался поп со всем причетом. Мысль о несчастливом предзнаменовании пришла ему в голову. Он невольно пошел стороною и скрылся за деревом. Они его не заметили и с жаром говорили между собою, проходя мимо его.

— Удались от зла и сотвори благо, — говорил поп попадье, — нечего нам здесь оставаться. Не твоя беда, чем бы дело ни кончилось. — Попадья что-то отвечала, но Владимир не мог ее расслышать.

Приближаясь, увидел он множество народа — крестьяне и дворовые люди толпились на барском дворе. Издали услышал Владимир необыкновенный шум и говор. У сарая стояли две тройки. На крыльце несколько незнакомых людей в мундирных сертуках, казалось, о чем-то толковали.

— Что это значит? — спросил он сердито у Антона, который бежал ему навстречу. — Это кто такие, и что им надобно?

— Ах, батюшка Владимир Андреевич, — отвечал старик задыхаясь. — Суд приехал. Отдают нас Троекурову, отымают нас от твоей милости!..

Владимир потупил голову, люди его окружили несчастного своего господина. «Отец ты наш, — кричали они, целуя ему руки, — не хотим другого барина, кроме тебя, прикажи, осударь, с судом мы управимся. Умрем, а не выдадим». Владимир смотрел на них, и странные чувства волновали его. «Стойте смирно, — сказал он им, — а я с приказными переговорю». — «Переговори, батюшка, — закричали ему из толпы, — да усовести окаянных».

Владимир подошел к чиновникам. Шабашкин, с картузом на голове, стоял подбочась и гордо взирал около себя. Исправник, высокий и толстый мужчина лет пятидесяти с красным лицом и в усах, увидя приближающегося Дубровского, крякнул и произнес охриплым голосом: «Итак, я вам повторяю то, что уже сказал: по решению уездного суда отныне принадлежите вы Кирилу Петровичу Троекурову, коего лицо представляет здесь господин Шабашкин. Слушайтесь его во всем, что ни прикажет, а вы, бабы, любите и почитайте его, а он до вас большой охотник». При сей острой шутке исправник захохотал, а Шабашкин и прочие члены ему последовали. Владимир кипел от негодования. «Позвольте узнать, что это значит», — спросил он с притворным холоднокровием у веселого исправника. «А это то значит, — отвечал замысловатый чиновник, — что мы приехали вводить во владение сего Кирила Петровича Троекурова и просить *иных прочих*убираться подобру-поздорову». — «Но вы могли бы, кажется, отнестися ко мне, прежде чем к моим крестьянам, и объявить помещику отрешение от власти...» — «А ты кто такой, — сказал Шабашкин с дерзким взором. — Бывший помещик Андрей Гаврилов сын Дубровский волею божиею помре, мы вас не знаем, да и знать не хотим».

— Владимир Андреевич наш молодой барин, — сказал голос из толпы.

— Кто там смел рот разинуть, — сказал грозно исправник, — какой барин, какой Владимир Андреевич? барин ваш Кирила Петрович Троекуров — слышите ли, олухи.

— Как не так, — сказал тот же голос.

— Да это бунт! — кричал исправник. — Гей, староста, сюда!

Староста выступил вперед.

— Отыщи сей же час, кто смел со мною разговаривать, я его!

Староста обратился к толпе, спрашивая, кто говорил? но все молчали; вскоре в задних рядах поднялся ропот, стал усиливаться и в одну минуту превратился в ужаснейшие вопли. Исправник понизил голос и хотел было их уговаривать. «Да что на него смотреть, — закричали дворовые, — ребята! долой их!» — и вся толпа двинулась. Шабашкин и другие члены поспешно бросились в сени и заперли за собою дверь.

«Ребята, вязать», — закричал тот же голос, — и толпа стала напирать... «Стойте, — крикнул Дубровский. — Дураки! что вы это? вы губите и себя и меня. Ступайте по дворам и оставьте меня в покое. Не бойтесь, государь милостив, я буду просить его. Он нас не обидит. Мы все его дети. А как ему за вас будет заступиться, если вы станете бунтовать и разбойничать».

Речь молодого Дубровского, его звучный голос и величественный вид произвели желаемое действие. Народ утих, разошелся — двор опустел. Члены сидели в сенях. Наконец Шабашкин тихонько отпер двери, вышел на крыльцо и с униженными поклонами стал благодарить Дубровского за его милостивое заступление. Владимир слушал его с презрением и ничего не отвечал. «Мы решили, — продолжал заседатель, — с вашего дозволения остаться здесь ночевать; а то уж темно, и ваши мужики могут напасть на нас на дороге. Сделайте такую милость: прикажите постлать нам хоть сена в гостиной; чем свет, мы отправимся восвояси».

— Делайте что хотите, — отвечал им сухо Дубровский, — я здесь уже не хозяин. — С этим словом он удалился в комнату отца своего и запер за собою дверь.

### ГЛАВА VI

«Итак, все кончено, — сказал он сам себе, — еще утром имел я угол и кусок хлеба. Завтра должен я буду оставить дом, где я родился и где умер мой отец, виновнику его смерти и моей нищеты». И глаза его неподвижно остановились на портрете его матери. Живописец представил ее облокоченною на перилы в белом утреннем платье с алой розою в волосах. «И портрет этот достанется врагу моего семейства, — подумал Владимир, — он заброшен будет в кладовую вместе с изломанными стульями или повешен в передней, предметом насмешек и замечаний его псарей, а в ее спальной, в комнате... где умер отец, поселится его приказчик или поместится его гарем. Нет! нет! пускай же и ему не достанется печальный дом, из которого он выгоняет меня». Владимир стиснул зубы, страшные мысли рождались в уме его. Голоса подьячих доходили до него, они хозяйничали, требовали то того, то другого и неприятно развлекали его среди печальных его размышлений. Наконец все утихло.

Владимир отпер комоды и ящики, занялся разбором бумаг покойного. Они большею частию состояли из хозяйственных счетов и переписки по разным делам. Владимир разорвал их, не читая. Между ими попался ему пакет с надписью: *письма моей жены*. С сильным движением чувства Владимир принялся за них: они писаны были [во время Турецкого похода](http://rvb.ru/pushkin/02comm/0865.htm" \l "c1) и были

адресованы в армию из Кистеневки. Она описывала ему свою пустынную жизнь, хозяйственные занятия, с нежностию сетовала на разлуку и призывала его домой, в объятия доброй подруги; в одном из них она изъявляла ему свое беспокойство насчет здоровья маленького Владимира; в другом она радовалась его ранним способностям и предвидела для него счастливую и блестящую будущность. Владимир зачитался и позабыл все на свете, погрузясь душою в мир семейственного счастия, и не заметил, как прошло время, стенные часы пробили одиннадцать. Владимир положил письма в карман, взял свечу и вышел из кабинета. В зале приказные спали на полу. На столе стояли стаканы, ими опорожненные, и сильный дух рома слышался по всей комнате. Владимир с отвращением прошел мимо их в переднюю — двери были заперты. Не нашед ключа, Владимир возвратился в залу, — ключ лежал на столе, Владимир отворил дверь и наткнулся на человека, прижавшегося в угол — топор блестел у него, и, обратясь к нему со свечою, Владимир узнал Архипа-кузнеца. «Зачем ты здесь?» — спросил он. «Ах, Владимир Андреевич, это вы, —отвечал Архип пошепту, — господь помилуй и спаси! хорошо, что вы шли со свечою!» Владимир глядел на него с изумлением. «Что ты здесь притаился?» — спросил он кузнеца.

— Я хотел... я пришел... было проведать, все ли дома, — тихо отвечал Архип запинаясь.

— А зачем с тобою топор?

— Топор-то зачем? Да как же без топора нонече и ходить. Эти приказные такие, вишь, озорники — того и гляди...

— Ты пьян, брось топор, поди выспись.

— Я пьян? Батюшка Владимир Андреевич, бог свидетель, ни единой капли во рту не было... да и пойдет ли вино на ум, слыхано ли дело, — подьячие задумали нами владеть, подьячие гонят наших господ с барского двора... Эк они храпят, окаянные; всех бы разом, так и концы в воду.

Дубровский нахмурился. «Послушай, Архип, — сказал он, немного помолчав, — не дело ты затеял. Не

приказные виноваты. Засвети-ка фонарь ты, ступай за мною».

Архип взял свечку из рук барина, отыскал за печкою фонарь, засветил его, и оба тихо сошли с крыльца и пошли около двора. Сторож начал бить в чугунную доску, собаки залаяли. «Кто сторожа?» — спросил Дубровский. «Мы, батюшка, — отвечал тонкий голос, — Василиса да Лукерья». — «Подите по дворам, — сказал им Дубровский, — вас не нужно». — «Шабаш», — промолвил Архип. «Спасибо, кормилец», — отвечали бабы и тотчас отправились домой.

Дубровский пошел далее. Два человека приблизились к нему; они его окликали. Дубровский узнал голос Антона и Гриши. «Зачем вы не спите?» — спросил он их. «До сна ли нам, — отвечал Антон. — До чего мы дожили, кто бы подумал...»

— Тише! — перервал Дубровский, — где Егоровна?

— В барском доме в своей светелке, — отвечал Гриша.

— Поди, приведи ее сюда да выведи из дому всех наших людей, чтоб ни одной души в нем не оставалось кроме приказных, а ты, Антон, запряги телегу.

Гриша ушел и через минуту явился с своею матерью. Старуха не раздевалась в эту ночь; кроме приказных, никто в доме не смыкал глаза.

— Все ли здесь? — спросил Дубровский, — не осталось ли никого в доме?

— Никого, кроме подьячих, — отвечал Гриша.

— Давайте сюда сена или соломы, — сказал Дубровский.

Люди побежали в конюшню и возвратились, неся в охапках сено.

— Подложите под крыльцо. Вот так. Ну, ребята, огню!

Архип открыл фонарь, Дубровский зажег лучину.

— Постой, — сказал он Архипу, — кажется, второпях я запер двери в переднюю, поди скорей отопри их.

Архип побежал в сени — двери были отперты. Архип запер их на ключ, примолвя вполголоса: «Как не так, отопри!» — и возвратился к Дубровскому.

Дубровский приблизил лучину, сено вспыхнуло, пламя взвилось и осветило весь двор.

— Ахти, — жалобно закричала Егоровна, — Владимир Андреевич, что ты делаешь?

— Молчи, — сказал Дубровский. — Ну, дети, прощайте, иду куда бог поведет; будьте счастливы с новым вашим господином.

— Отец наш, кормилец, — отвечали люди, — умрем, не оставим тебя, идем с тобою.

Лошади были поданы; Дубровский сел с Гришею в телегу и назначил им местом свидания Кистеневскую рощу. Антон ударил по лошадям, и они выехали со двора.

Поднялся ветер. В одну минуту пламя обхватило весь дом. Красный дым вился над кровлею. Стекла трещали, сыпались, пылающие бревна стали падать, раздался жалобный вопль и крики: «Горим, помогите, помогите». — «Как не так», — сказал Архип, с злобной улыбкой взирающий на пожар. «Архипушка, — говорила ему Егоровна, — спаси их, окаянных, бог тебя наградит».

— Как не так, — отвечал кузнец.

В сию минуту приказные показались в окно, стараясь выломать двойные рамы. Но тут кровля с треском рухнула, и вопли утихли.

Вскоре вся дворня высыпала на двор. Бабы с криком спешили спасти свою рухлядь, ребятишки прыгали, любуясь на пожар. Искры полетели огненной метелью, избы загорелись.

— Теперь все ладно, — сказал Архип, — каково горит, а? чай, из Покровского славно смотреть.

В сию минуту новое явление привлекло его внимание; кошка бегала по кровле пылающего сарая, недоумевая, куда спрыгнуть, — со всех сторон окружало ее пламя. Бедное животное жалким мяуканием призывало на помощь. Мальчишки помирали со смеху, смотря на ее отчаяние. «Чему смеетеся, бесенята, — сказал им сердито кузнец. — Бога вы не боитесь: божия тварь погибает, а вы сдуру радуетесь», — и, поставя лестницу на загоревшуюся кровлю, он полез за кошкою. Она поняла его намерение и с видом

торопливой благодарности уцепилась за его рукав. Полуобгорелый кузнец с своей добычей полез вниз. «Ну, ребята, прощайте, — сказал он смущенной дворне, — мне здесь делать нечего. Счастливо, не поминайте меня лихом».

Кузнец ушел; пожар свирепствовал еще несколько времени. Наконец унялся, и груды углей без пламени ярко горели в темноте ночи, и около них бродили погорелые жители Кистеневки.

### ГЛАВА VII

На другой день весть о пожаре разнеслась по всему околотку. Все толковали о нем с различными догадками и предположениями. Иные уверяли, что люди Дубровского, напившись пьяны на похоронах, зажгли дом из неосторожности, другие обвиняли приказных, подгулявших на новоселии, многие уверяли, что он сам сгорел с земским судом и со всеми дворовыми. Некоторые догадывались об истине и утверждали, что виновником сего ужасного бедствия был сам Дубровский, движимый злобой и отчаянием. Троекуров приезжал на другой же день на место пожара и сам производил следствие. Оказалось, что исправник, заседатель земского суда, стряпчий и писарь, так же как Владимир Дубровский, няня Егоровна, дворовый человек Григорий, кучер Антон и кузнец Архип пропали неизвестно куда. Все дворовые показали, что приказные сгорели в то время, как повалилась кровля; обгорелые кости их были отрыты. Бабы Василиса и Лукерья сказали, что Дубровского и Архипа-кузнеца видели они за несколько минут перед пожаром. Кузнец Архип, по всеобщему показанию, был жив и, вероятно, главный, если не единственный, виновник пожара. На Дубровском лежали сильные подозрения. Кирила Петрович послал губернатору подробное описание всему происшествию, и новое дело завязалось.

Вскоре другие вести дали другую пищу любопытству и толкам. В \*\* появились разбойники и распространили ужас по всем окрестностям. Меры, принятые противу них правительством, оказались недостаточными. Грабительства, одно другого замечательнее, следовали одно за другим. Не было безопасности ни по дорогам, ни по деревням. Несколько троек, наполненных разбойниками, разъезжали днем по всей губернии, останавливали путешественников и почту, приезжали в селы, грабили помещичьи дома и предавали их огню. Начальник шайки славился умом, отважностью и каким-то великодушием. Рассказывали о нем чудеса; имя Дубровского было во всех устах, все были уверены, что он, а никто другой, предводительствовал отважными злодеями. Удивлялись одному: поместия Троекурова были пощажены; разбойники не ограбили у него ни единого сарая, не остановили ни одного воза. С обыкновенной своей надменностию Троекуров приписывал сие исключение страху, который умел он внушить всей губернии, также и отменно хорошей полиции, им заведенной в его деревнях. Сначала соседи смеялись между собою над высокомерием Троекурова и каждый день ожидали, чтоб незваные гости посетили Покровское, где было им чем поживиться, но наконец принуждены были с ним согласиться и сознаться, что и разбойники оказывали ему непонятное уважение... Троекуров торжествовал и при каждой вести о новом грабительстве Дубровского рассыпался в насмешках насчет губернатора, исправников и ротных командиров, от коих Дубровский уходил всегда невредимо.

Между тем наступило 1-е октября — день храмового праздника в селе Троекурова. Но прежде чем приступим к описанию сего торжества и дальнейших происшествий, мы должны познакомить читателя с лицами для него новыми, или о коих мы слегка только упомянули в начале нашей повести.

### ГЛАВА VIII

Читатель, вероятно, уже догадался, что дочь Кирила Петровича, о которой сказали мы еще только несколько слов, есть героиня нашей повести. В эпоху, нами описываемую, ей было семнадцать лет, и красота ее была в полном цвете. Отец любил ее до безумия, но обходился с нею со свойственным ему своенравием, то стараясь угождать малейшим ее прихотям, то пугая ее суровым, а иногда и жестоким обращением. Уверенный в ее привязанности, никогда не мог он добиться ее доверенности. Она привыкла скрывать от него свои чувства и мысли, ибо никогда не могла знать наверно, каким образом будут они приняты. Она не имела подруг и выросла в уединении. Жены и дочери соседей редко езжали к Кирилу Петровичу, коего обыкновенные разговоры и увеселения требовали товарищества мужчин, а не присутствия дам. Редко наша красавица являлась посреди гостей, пирующих у Кирила Петровича. Огромная библиотека, составленная большею частию из сочинений французских писателей XVIII века, была отдана в ее распоряжение. Отец ее, никогда не читавший ничего, кроме «Совершенной поварихи», не мог руководствовать ее в выборе книг, и Маша, естественным образом, перерыв сочинения всякого рода, остановилась на романах. Таким образом совершила она свое воспитание, начатое некогда под руководством мамзель Мими, которой Кирила Петрович оказывал большую

доверенность и благосклонность и которую принужден он был наконец выслать тихонько в другое поместие, когда следствия его дружества оказались слишком явными. Мамзель Мими оставила по себе память довольно приятную. Она была добрая девушка и никогда во зло не употребляла влияния, которое, видимо, имела над Кирилом Петровичем, в чем отличалась она от других наперсниц, поминутно им сменяемых. Сам Кирила Петрович, казалось, любил ее более прочих, и черноглазый мальчик, шалун лет девяти, напоминающий полуденные черты m-lle Мими, воспитывался при нем и признан был его сыном, несмотря на то, что множество босых ребятишек, как две капли воды похожих на Кирила Петровича, бегали перед его окнами и считались дворовыми. Кирила Петрович выписал из Москвы для своего маленького Саши француза-учителя, который и прибыл в Покровское во время происшествий, нами теперь описываемых.

Сей учитель понравился Кирилу Петровичу своей приятной наружностию и простым обращением. Он представил Кирилу Петровичу свои аттестаты и письмо от одного из родственников Троекурова, у которого четыре года жил он гувернером. Кирила Петрович все это пересмотрел и был недоволен одною молодостью своего француза — не потому, что полагал бы сей любезный недостаток несовместным с терпением и опытностию, столь нужными в несчастном звании учителя, но у него были свои сомнения, которые тотчас и решился ему объяснить. Для сего велел он позвать к себе Машу (Кирила Петрович по-французски не говорил, и она служила ему переводчиком).

— Подойди сюда, Маша; скажи ты этому мусье, что так и быть — принимаю его; только с тем, чтоб он у меня за моими девушками не осмелился волочиться, не то я его, собачьего сына... переведи это ему, Маша.

Маша покраснела и, обратись к учителю, сказала ему по-французски, что отец ее надеется на его скромность и порядочное поведение.

Француз ей поклонился и отвечал, что он надеется заслужить уважение, даже если откажут ему в благосклонности.

Маша слово в слово перевела его ответ.

— Хорошо, хорошо, — сказал Кирила Петрович, — не нужно для него ни благосклонности, ни уважения. Дело его ходить за Сашей и учить грамматике да географии, переведи это ему.

Марья Кириловна смягчила в своем переводе грубые выражения отца, и Кирила Петрович отпустил своего француза во флигель, где назначена была ему комната.

Маша не обратила никакого внимания на молодого француза, воспитанная в аристократических предрассудках, учитель был для нее род слуги или мастерового, а слуга иль мастеровой не казался ей мужчиною. Она не заметила и впечатления, ею произведенного на m-r Дефоржа, ни его смущения, ни его трепета, ни изменившегося голоса. Несколько дней сряду потом она встречала его довольно часто, не удостоивая большей внимательности. Неожиданным образом получила она о нем совершенно новое понятие.

На дворе у Кирила Петровича воспитывались обыкновенно несколько медвежат и составляли одну из главных забав покровского помещика. В первой своей молодости медвежата приводимы были ежедневно в гостиную, где Кирила Петрович по целым часам возился с ними, стравливая их с кошками и щенятами. Возмужав, они бывали посажены на цепь, в ожидании настоящей травли. Изредка выводили пред окна барского дома и подкатывали им порожнюю винную бочку, утыканную гвоздями; медведь обнюхивал ее, потом тихонько до нее дотрогивался, колол себе лапы, осердясь толкал ее сильнее, и сильнее становилась боль. Он входил в совершенное бешенство, с ревом бросался на бочку, покамест не отымали у бедного зверя предмета тщетной его ярости. Случалось, что в телегу впрягали пару медведей, волею и неволею сажали в нее гостей и пускали их скакать на волю божию. Но лучшею шуткою почиталась у Кирила Петровича следующая.

Проголодавшегося медведя запрут, бывало, в пустой комнате, привязав его веревкою за кольцо, ввинченное в стену. Веревка была длиною почти во всю комнату, так что один только противуположный угол

мог быть безопасным от нападения страшного зверя. Приводили обыкновенно новичка к дверям этой комнаты, нечаянно вталкивали его к медведю, двери запирались, и несчастную жертву оставляли наедине с косматым пустынником. Бедный гость, с оборванной полою и до крови оцарапанный, скоро отыскивал безопасный угол, но принужден был иногда целых три часа стоять прижавшись к стене и видеть, как разъяренный зверь в двух шагах от него ревел, прыгал, становился на дыбы, рвался и силился до него дотянуться. Таковы были благородные увеселения русского барина! Несколько дней спустя после приезда учителя, Троекуров вспомнил о нем и вознамерился угостить его в медвежьей комнате: для сего, призвав его однажды утром, повел он его с собою темными коридорами; вдруг боковая дверь отворилась, двое слуг вталкивают в нее француза и запирают ее на ключ. Опомнившись, учитель увидел привязанного медведя, зверь начал фыркать, издали обнюхивая своего гостя, и вдруг, поднявшись на задние лапы, пошел на него... Француз не смутился, не побежал и ждал нападения. Медведь приближился, Дефорж вынул из кармана маленький пистолет, вложил его в ухо голодному зверю и выстрелил. Медведь повалился. Всё сбежалось, двери отворились, Кирила Петрович вошел, изумленный развязкою своей шутки. Кирила Петрович хотел непременно объяснения всему делу: кто предварил Дефоржа о шутке, для него предуготовленной, или зачем у него в кармане был заряженный пистолет. Он послал за Машей, Маша прибежала и перевела французу вопросы отца.

— Я не слыхивал о медведе, — отвечал Дефорж, — но я всегда ношу при себе пистолеты, потому что не намерен терпеть обиду, за которую, по моему званью, не могу требовать удовлетворения.

Маша смотрела на него с изумлением и перевела слова его Кирилу Петровичу. Кирила Петрович ничего не отвечал, велел вытащить медведя и снять с него шкуру; потом, обратясь к своим людям, сказал: «Каков молодец! не струсил, ей-богу, не струсил». С той минуты он Дефоржа полюбил и не думал уже его пробовать.

Но случай сей произвел еще большее впечатление на Марью Кириловну. Воображение ее было поражено: она видела мертвого медведя и Дефоржа, спокойно стоящего над ним и спокойно с нею разговаривающего. Она увидела, что храбрость и гордое самолюбие не исключительно принадлежат одному сословию, и с тех пор стала оказывать молодому учителю уважение, которое час от часу становилось внимательнее. Между ими основались некоторые сношения. Маша имела прекрасный голос и большие музыкальные способности, Дефорж вызвался давать ей уроки. После того читателю уже не трудно догадаться, что Маша в него влюбилась, сама еще в том себе не признаваясь.

## **ТОМ ВТОРОЙ**

### ГЛАВА IX

Накануне праздника гости начали съезжаться, иные останавливались в господском доме и во флигелях, другие у приказчика, третьи у священника, четвертые у зажиточных крестьян. Конюшни полны были дорожных лошадей, дворы и сараи загромождены разными экипажами. В девять часов утра заблаговестили к обедне, и все потянулось к новой каменной церкви, построенной Кирилом Петровичем и ежегодно украшаемой его приношениями. Собралось такое множество почетных богомольцев, что простые крестьяне не могли поместиться в церкви и стояли на паперти и в ограде. Обедня не начиналась, ждали Кирила Петровича. Он приехал в коляске шестернею и торжественно пошел на свое место, сопровождаемый Мариею Кириловной. Взоры мужчин и женщин обратились на нее; первые удивлялись ее красоте, вторые со вниманием осмотрели ее наряд. Началась обедня, домашние певчие пели на крылосе, Кирила Петрович сам подтягивал, молился, не смотря ни направо, ни налево, и с гордым смирением поклонился в землю, когда дьякон громогласно упомянул *и о зиждителе храма сего*.

Обедня кончилась. Кирила Петрович первый подошел ко кресту. Все двинулись за ним, потом соседи

подошли к нему с почтением. Дамы окружили Машу. Кирила Петрович, выходя из церкви, пригласил всех к себе обедать, сел в коляску и отправился домой. Все поехали вслед за ним. Комнаты наполнились гостями. Поминутно входили новые лица и насилу могли пробраться до хозяина. Барыни сели чинным полукругом, одетые по запоздалой моде, в поношенных и дорогих нарядах, все в жемчугах и бриллиантах, мужчины толпились около икры и водки, с шумным разногласием разговаривая между собою. В зале накрывали стол на 80 приборов. Слуги суетились, расставляя бутылки и графины и прилаживая скатерти. Наконец дворецкий провозгласил: «Кушание поставлено», — и Кирила Петрович первый пошел садиться за стол, за ним двинулись дамы и важно заняли свои места, наблюдая некоторое старшинство, барышни стеснились между собою, как робкое стадо козочек, и выбрали себе места одна подле другой. Против них поместились мужчины. На конце стола сел учитель подле маленького Саши.

Слуги стали разносить тарелки по чинам, в случае недоумения [руководствуясь лафатерскими догадками](http://rvb.ru/pushkin/02comm/0865.htm" \l "c2), и почти всегда безошибочно. Звон тарелок и ложек слился с шумным говором гостей, Кирила Петрович весело обозревал свою трапезу и вполне наслаждался счастием хлебосола. В это время въехала на двор коляска, запряженная шестью лошадьми. «Это кто?» — спросил хозяин. «Антон Пафнутьич», — отвечали несколько голосов. Двери отворились, и Антон Пафнутьич Спицын, толстый мужчина лет пятидесяти с круглым и рябым лицом, украшенным тройным подбородком, ввалился в столовую, кланяясь, улыбаясь и уже собираясь извиниться... «Прибор сюда, — закричал Кирила Петрович, — милости просим, Антон Пафнутьич, садись да скажи нам, что это значит: не был у моей обедни и к обеду опоздал. Это на тебя не похоже, ты и богомолен и покушать любишь».— «Виноват,— отвечал Антон Пафнутьич, привязывая салфетку в петлицу горохового кафтана, — виноват, батюшка Кирила Петрович, я было рано пустился в дорогу, да не успел отъехать и десяти верст, вдруг шина у переднего колеса пополам — что прикажешь? К счастию, недалеко было

от деревни; пока до нее дотащились, да отыскали кузнеца, да все кое-как уладили, прошли ровно три часа, делать было нечего. Ехать ближним путем через Кистеневский лес я не осмелился, а пустился в объезд...»

— Эге! — прервал Кирила Петрович, — да ты, знать, не из храброго десятка; чего ты боишься?

— Как чего боюсь, батюшка Кирила Петрович, а Дубровского-то; того и гляди попадешься ему в лапы. Он малый не промах, никому не спустит, а с меня, пожалуй, и две шкуры сдерет.

— За что же, братец, такое отличие?

— Как за что, батюшка Кирила Петрович? а за тяжбу-то покойника Андрея Гавриловича. Не я ли в удовольствие ваше, то есть по совести и по справедливости, показал, что Дубровские владеют Кистеневкой безо всякого на то права, а единственно по снисхождению вашему. И покойник (царство ему небесное) обещал со мною по-свойски переведаться, а сынок, пожалуй, сдержит слово батюшкино. Доселе бог миловал. Всего-навсе разграбили у меня один анбар, да того и гляди до усадьбы доберутся.

— А в усадьбе-то будет им раздолье, — заметил Кирила Петрович, — я чай, красная шкатулочка полным полна...

— Куда, батюшка Кирила Петрович. Была полна, а нынче совсем опустела!

— Полно врать, Антон Панфутьич. Знаем мы вас; куда тебе деньги тратить, дома живешь свинья свиньей, никого не принимаешь, своих мужиков обдираешь, знай копишь да и только.

— Вы все изволите шутить, батюшка Кирила Петрович, — пробормотал с улыбкою Антон Пафнутьич, — а мы, ей-богу, разорились, — и Антон Пафнутьич стал заедать барскую шутку хозяина жирным куском кулебяки. Кирила Петрович оставил его и обратился к новому исправнику, в первый раз к нему в гости приехавшему и сидящему на другом конце стола подле учителя.

— А что, поймаете хоть вы Дубровского, господин исправник?

Исправник струсил, поклонился, улыбнулся, заикнулся и произнес наконец:

— Постараемся, ваше превосходительство.

— Гм, постараемся. Давно, давно стараются, а проку все-таки нет. Да, правда, зачем и ловить его. Разбои Дубровского благодать для исправников: разъезды, следствия, подводы, а деньги в карман. Как такого благодетеля извести? Не правда ли, господин исправник?

— Сущая правда, ваше превосходительство, — отвечал совершенно смутившийся исправник.

Гости захохотали.

— Люблю молодца за искренность, — сказал Кирила Петрович, — а жаль покойного нашего исправника Тараса Алексеевича — кабы не сожгли его, так в околотке было бы тише. А что слышно про Дубровского? где его видели в последний раз?

— У меня, Кирила Петрович, — пропищал толстый дамский голос, — в прошлый вторник обедал он у меня...

Все взоры обратились на Анну Савишну Глобову, довольно простую вдову, всеми любимую за добрый и веселый нрав. Все с любопытством приготовились услышать ее рассказ.

— Надобно знать, что тому три недели послала я приказчика на почту с деньгами для моего Ванюши. Сына я не балую, да и не в состоянии баловать, хоть бы и хотела; однако сами изволите знать: офицеру гвардии нужно содержать себя приличным образом, и я с Ванюшей делюсь, как могу, своими доходишками. Вот и послала ему 2000 рублей, хоть Дубровский не раз приходил мне в голову, да думаю: город близко, всего семь верст, авось бог пронесет. Смотрю: вечером мой приказчик возвращается, бледен, оборван и пеш — я так и ахнула. «Что такое? что с тобою сделалось?» Он мне: «Матушка Анна Савишна, разбойники ограбили; самого чуть не убили, сам Дубровский был тут, хотел повесить меня, да сжалился и отпустил, зато всего обобрал, отнял и лошадь и телегу». Я обмерла; царь мой небесный, что будет с моим Ванюшею?

Делать нечего: написала я сыну письмо, рассказала все и послала ему свое благословение без гроша денег.

Прошла неделя, другая — вдруг въезжает ко мне на двор коляска. Какой-то генерал просит со мною увидеться: милости просим; входит ко мне человек лет тридцати пяти, смуглый, черноволосый, в усах, в бороде, [сущий портрет Кульнева](http://rvb.ru/pushkin/02comm/0865.htm" \l "c3), рекомендуется мне как друг и сослуживец покойного мужа Ивана Андреевича; он-де ехал мимо и не мог не заехать к его вдове, зная, что я тут живу. Я угостила его чем бог послал, разговорились о том о сем, наконец и о Дубровском. Я рассказала ему свое горе. Генерал мой нахмурился. «Это странно, — сказал он, — я слыхал, что Дубровский нападает не на всякого, а на известных богачей, но и тут делится с ними, а не грабит дочиста, а в убийствах никто его не обвиняет; нет ли тут плутни, прикажите-ка позвать вашего приказчика». Пошли за приказчиком, он явился; только увидел генерала, он так и остолбенел. «Расскажи-ка мне, братец, каким образом Дубровский тебя ограбил и как он хотел тебя повесить». Приказчик мой задрожал и повалился генералу в ноги. «Батюшка, виноват — грех попутал — солгал». — «Коли так, — отвечал генерал, — так изволь же рассказать барыне, как все дело случилось, а я послушаю». Приказчик не мог опомниться. «Ну что же, — продолжал генерал, — рассказывай: где ты встретился с Дубровским?» — «У двух сосен, батюшка, у двух сосен». — «Что же сказал он тебе?» — «Он спросил у меня, чей ты, куда едешь и зачем?» — «Ну, а после?» — «А после потребовал он письмо и деньги». — «Ну». — «Я отдал ему письмо и деньги». — «А он?.. Ну — а он?» — «Батюшка, виноват». — «Ну, что ж он сделал?..» — «Он возвратил мне деньги и письмо да сказал: ступай себе с богом — отдай это на почту». — «Ну, а ты?» — «Батюшка, виноват». — «Я с тобою, голубчик, управлюсь, — сказал грозно генерал, — а вы, сударыня, прикажите обыскать сундук этого мошенника и отдайте его мне на руки, а я его проучу. Знайте, что Дубровский сам был гвардейским офицером, он не захочет обидеть товарища». Я догадывалась, кто был его превосходительство, нечего мне было с ним толковать. Кучера

привязали приказчика к козлам коляски. Деньги нашли; генерал у меня отобедал, потом тотчас уехал и увез с собою приказчика. Приказчика моего нашли на другой день в лесу, привязанного к дубу и ободранного как липку.

Все слушали молча рассказ Анны Савишны, особенно барышни. Многие из них втайне ему доброжелательствовали, видя в нем героя романического, особенно Марья Кириловна, пылкая мечтательница, напитанная таинственными ужасами [Радклиф](http://rvb.ru/pushkin/02comm/0865.htm" \l "c4).

— И ты, Анна Савишна, полагаешь, что у тебя был сам Дубровский, — спросил Кирила Петрович. — Очень же ты ошиблась. Не знаю, кто был у тебя в гостях, а только не Дубровский.

— Как, батюшка, не Дубровский, да кто же, как не он, выедет на дорогу и станет останавливать прохожих да их осматривать.

— Не знаю, а уж, верно, не Дубровский. Я помню его ребенком; не знаю, почернели ль у него волоса, а тогда был он кудрявый белокуренький мальчик, но знаю наверное, что Дубровский пятью годами старше моей Маши и что, следственно, ему не тридцать пять, а около двадцати трех.

— Точно так, ваше превосходительство, — провозгласил исправник, — у меня в кармане и приметы Владимира Дубровского. В них точно сказано, что ему от роду двадцать третий год.

— А! — сказал Кирила Петрович, — кстати: прочти-ка, а мы послушаем; не худо нам знать его приметы, авось в глаза попадется, так не вывернется.

Исправник вынул из кармана довольно замаранный лист бумаги, развернул его с важностию и стал читать нараспев:

— «Приметы Владимира Дубровского, составленные по сказкам бывших его дворовых людей.

От роду 23 года, *роста* середнего, *лицом* чист, *бороду* бреет, *глаза* имеет карие, *волосы* русые, *нос* прямой. *Приметы особые:* таковых не оказалось».

— И только, — сказал Кирила Петрович.

— Только, — отвечал исправник, складывая бумагу.

— Поздравляю, господин исправник. Ай да бумага! по этим приметам немудрено будет вам отыскать Дубровского. Да кто же не среднего роста, у кого не русые волосы, не прямой нос, да не карие глаза! Бьюсь об заклад, три часа сряду будешь говорить с самим Дубровским, а не догадаешься, с кем бог тебя свел. Нечего сказать, умные головушки приказные.

Исправник смиренно положил в карман свою бумагу и молча принялся за гуся с капустой. Между тем слуги успели уж несколько раз обойти гостей, наливая каждому его рюмку. Несколько бутылок горского и цимлянского громко были уже откупорены и приняты благосклонно под именем шампанского, лица начинали рдеть, разговоры становились звонче, несвязнее и веселее.

— Нет, — продолжал Кирила Петрович, — уж не видать нам такого исправника, каков был покойник Тарас Алексеевич! Этот был не промах, не разиня. Жаль, что сожгли молодца, а то бы от него не ушел ни один человек изо всей шайки. Он бы всех до единого переловил, да и сам Дубровский не вывернулся б и не откупился. Тарас Алексеевич деньги с него взять-то бы взял, да и самого не выпустил: таков был обычай у покойника. Делать нечего, видно, мне вступиться в это дело да пойти на разбойников с моими домашними. На первый случай отряжу человек двадцать, так они и очистят воровскую рощу; народ не трусливый, каждый в одиночку на медведя ходит, от разбойников не попятятся.

— Здоров ли ваш медведь, батюшка Кирила Петрович, — сказал Антон Пафнутьич, вспомня при сих словах о своем косматом знакомце и о некоторых шутках, коих и он был когда-то жертвою.

— Миша приказал долго жить, — отвечал Кирила Петрович. — Умер славною смертью, от руки неприятеля. Вон его победитель, — Кирила Петрович указывал на Дефоржа, — [выменяй образ моего француза](http://rvb.ru/pushkin/02comm/0865.htm" \l "c5). Он отомстил за твою... с позволения сказать... Помнишь?

— Как не помнить, — сказал Антон Пафнутьич почесываясь, — очень помню. Так Миша умер. Жаль

Миши, ей-богу жаль! какой был забавник! какой умница! эдакого медведя другого не сыщешь. Да зачем мусье убил его?

Кирила Петрович с великим удовольствием стал рассказывать подвиг своего француза, ибо имел счастливую способность тщеславиться всем, что только ни окружало его. Гости со вниманием слушали повесть о Мишиной смерти и с изумлением посматривали на Дефоржа, который, не подозревая, что разговор шел о его храбрости, спокойно сидел на своем месте и делал нравственные замечания резвому своему воспитаннику.

Обед, продолжавшийся около трех часов, кончился; хозяин положил салфетку на стол — все встали и пошли в гостиную, где ожидал их кофей, карты и продолжение попойки, столь славно начатой в столовой.

### ГЛАВА Х

Около семи часов вечера некоторые гости хотели ехать, но хозяин, развеселенный пуншем, приказал запереть ворота и объявил, что до следующего утра никого со двора не выпустит. Скоро загремела музыка, двери в залу отворились, и бал завязался. Хозяин и его приближенные сидели в углу, выпивая стакан за стаканом и любуясь веселостию молодежи. Старушки играли в карты. Кавалеров, как и везде, где не квартирует какой-нибудь уланской бригады, было менее, нежели дам, все мужчины, годные на то, были завербованы. Учитель между всеми отличался, он танцевал более всех, все барышни выбирали его и находили, что с ним очень ловко вальсировать. Несколько раз кружился он с Марьей Кириловною, и барышни насмешливо за ними примечали. Наконец около полуночи усталый хозяин прекратил танцы, приказал давать ужинать, а сам отправился спать.

Отсутствие Кирила Петровича придало обществу более свободы и живости. Кавалеры осмелились занять место подле дам. Девицы смеялись и перешептывались со своими соседами; дамы громко разговаривали через стол. Мужчины пили, спорили и хохотали, — словом, ужин был чрезвычайно весел и оставил по себе много приятных воспоминаний.

Один только человек не участвовал в общей радости: Антон Пафнутьич сидел пасмурен и молчалив на

своем месте, ел рассеянно и казался чрезвычайно беспокоен. Разговоры о разбойниках взволновали его воображение. Мы скоро увидим, что он имел достаточную причину их опасаться.

Антон Пафнутьич, призывая господа в свидетели в том, что красная шкатулка его была пуста, не лгал и не согрешал: красная шкатулка точно была пуста, деньги, некогда в ней хранимые, перешли в кожаную суму, которую носил он на груди под рубашкой. Сею только предосторожностию успокоивал он свою недоверчивость ко всем и вечную боязнь. Будучи принужден остаться ночевать в чужом доме, он боялся, чтоб не отвели ему ночлега где-нибудь в уединенной комнате, куда легко могли забраться воры, он искал глазами надежного товарища и выбрал наконец Дефоржа. Его наружность, обличающая силу, а пуще храбрость, им оказанная при встрече с медведем, о коем бедный Антон Пафнутьич не мог вспомнить без содрогания, решили его выбор. Когда встали из-за стола, Антон Пафнутьич стал вертеться около молодого француза, покрякивая и откашливаясь, и наконец обратился к нему с изъяснением.

— Гм, гм, нельзя ли, мусье, переночевать мне в вашей конурке, потому что извольте видеть...

— Que désire monsieur?1) — спросил Дефорж, учтиво ему поклонившись.

— Эк беда, ты, мусье, по-русски еще не выучился. Же ве, муа, ше ву куше2), понимаешь ли?

— Monsieur, très volontiers, — отвечал Дефорж,— veuillez donner des ordres en conséquence3).

Антон Пафнутьич, очень довольный своими сведениями во французском языке, пошел тотчас распоряжаться.

Гости стали прощаться между собою, и каждый отправился в комнату, ему назначенную. А Антон Пафнутьич пошел с учителем во флигель. Ночь была

темная. Дефорж освещал дорогу фонарем, Антон Пафнутьич шел за ним довольно бодро, прижимая изредка к груди потаенную суму, дабы удостовериться, что деньги его еще при нем.

Пришед во флигель, учитель засветил свечу, и оба стали раздеваться; между тем Антон Пафнутьич похаживал по комнате, осматривая замки и окна и качая головою при сем неутешительном смотре. Двери запирались одною задвижкою, окна не имели еще двойных рам. Он попытался было жаловаться на то Дефоржу, но знания его во французском языке были слишком ограничены для столь сложного объяснения — француз его не понял, и Антон Пафнутьич принужден был оставить свои жалобы. Постели их стояли одна против другой, оба легли, и учитель потушил свечу.

— Пуркуа ву туше, пуркуа ву туше1), закричал Антон Пафнутьич, спрягая с грехом пополам русский глагол *тушу* на французский лад. — Я не могу дормир2) в потемках. — Дефорж не понял его восклицаний и пожелал ему доброй ночи.

— Проклятый басурман, — проворчал Спицын, закутываясь в одеяло. — Нужно ему было свечку тушить. Ему же хуже. Я спать не могу без огня. — Мусье, мусье, — продолжал он, — же ве авек ву парле3). — Но француз не отвечал и вскоре захрапел.

«Храпит бестия француз, — подумал Антон Пафнутьич, — а мне так сон в ум нейдет. Того и гляди воры войдут в открытые двери или влезут в окно, а его, бестию, и пушками не добудишься».

— Мусье! а мусье! дьявол тебя побери.

Антон Пафнутьич замолчал — усталость и винные пары мало-помалу превозмогли его боязливость, он стал дремать и вскоре глубокий сон овладел им совершенно.

Странное готовилось ему пробуждение. Он чувствовал сквозь сон, что кто-то тихонько дергал его за ворот рубашки. Антон Пафнутьич открыл глаза и при лунном свете осеннего утра увидел перед собою Дефоржа; француз в одной руке держал карманный пистолет, другою отстегивал заветную суму, Антон Пафнутьич обмер.

— Кесь ке се, мусье, кесь ке ce1), — произнес он трепещущим голосом.

— Тише, молчать, — отвечал учитель чистым русским языком, — молчать или вы пропали. Я Дубровский.

### ГЛАВА XI

Теперь попросим у читателя позволения объяснить последние происшествия повести нашей предыдущими обстоятельствами, кои не успели мы еще рассказать.

На станции \*\* в доме смотрителя, о коем мы уже упомянули, сидел в углу проезжий с видом смиренным и терпеливым, обличающим разночинца или иностранца, то есть человека, не имеющего голоса на почтовом тракте. Бричка его стояла на дворе, ожидая подмазки. В ней лежал маленький чемодан, тощее доказательство не весьма достаточного состояния. Проезжий не спрашивал себе ни чаю, ни кофию, поглядывал в окно и посвистывал к великому неудовольствию смотрительши, сидевшей за перегородкою.

— Вот бог послал свистуна, — говорила она вполголоса, — эк посвистывает, — чтоб он лопнул, окаянный басурман.

— А что? — сказал смотритель, — что за беда, пускай себе свищет.

— Что за беда? — возразила сердитая супруга. — А разве не знаешь приметы?

— Какой приметы? что свист деньгу выживает. И! Пахомовна, у нас, что свисти, что нет: а денег все нет как нет.

— Да отпусти ты его, Сидорыч. Охота тебе его держать. Дай ему лошадей, да провались он к черту.

— Подождет, Пахомовна, на конюшне всего три тройки, четвертая отдыхает. Того и гляди подоспеют хорошие проезжие; не хочу своею шеей отвечать за француза. Чу, так и есть! вон скачут. Э-ге-ге, да как шибко; уж не генерал ли?

Коляска остановилась у крыльца. Слуга соскочил с козел, отпер дверцы, и через минуту молодой человек в военной шинели и в белой фуражке вошел к смотрителю, — вслед за ним слуга внес шкатулку и поставил ее на окошко.

— Лошадей, — сказал офицер повелительным голосом.

— Сейчас, — отвечал смотритель.— Пожалуйте подорожную.

— Нет у меня подорожной. Я еду в сторону... Разве ты меня не узнаешь?

Смотритель засуетился и кинулся торопить ямщиков. Молодой человек стал расхаживать взад и вперед по комнате, зашел за перегородку и спросил тихо у смотрительши: кто такой проезжий.

— Бог его ведает, — отвечала смотрительша, — какой-то француз. Вот уж пять часов как дожидается лошадей да свищет. Надоел проклятый.

Молодой человек заговорил с проезжим по-французски.

— Куда изволите вы ехать? — спросил он его.

— В ближний город, — отвечал француз, — оттуда отправляюсь к одному помещику, который нанял меня за глаза в учители. Я думал сегодня быть уже на месте, но господин смотритель, кажется, судил иначе. В этой земле трудно достать лошадей, господин офицер.

— А к кому из здешних помещиков определились вы? — спросил офицер.

— К господину Троекурову, — отвечал француз.

— К Троекурову? кто такой этот Троекуров?

— Ma foi, mon officier...1) я слыхал о нем мало доброго. Сказывают, что он барин гордый и своенравный, жестокой в обращении со своими домашними, что никто не может с ним ужиться, что все трепещут при его

имени, что с учителями (avec les outchitels) он не церемонится и уже двух засек до смерти.

— Помилуйте! и вы решились определиться к такому чудовищу.

— Что же делать, господин офицер. Он предлагает мне хорошее жалование, три тысячи рублей в год и все готовое. Быть может, я буду счастливее других. У меня старушка мать, половину жалования буду отсылать ей на пропитание, из остальных денег в пять лет могу скопить маленький капитал, достаточный для будущей моей независимости — и тогда bonsoir1), еду в Париж и пускаюсь в коммерческие обороты.

— Знает ли вас кто-нибудь в доме Троекурова? — спросил он.

— Никто, — отвечал учитель, — меня он выписал из Москвы чрез одного из своих приятелей, коего повар, мой соотечественник, меня рекомендовал. Надобно вам знать, что я готовился было не в учителя, а в кондиторы, но мне сказали, что в вашей земле звание учительское не в пример выгоднее...

Офицер задумался.

— Послушайте, — прервал офицер, — что если бы вместо этой будущности предложили вам десять тысяч чистыми деньгами с тем, чтоб сей же час отправились обратно в Париж.

Француз посмотрел на офицера с изумлением, улыбнулся и покачал головою.

— Лошади готовы, — сказал вошедший смотритель. Слуга подтвердил то же самое.

— Сейчас, — отвечал офицер, — выдьте вон на минуту. — Смотритель и слуга вышли. — Я не шучу, — продолжал он по-французски, — десять тысяч могу я вам дать, мне нужно только ваше отсутствие и ваши бумаги. — При сих словах он отпер шкатулку и вынул несколько кип ассигнаций.

Француз вытаращил глаза. Он не знал, что и думать.

— Мое отсутствие... мои бумаги, — повторял он с изумлением. — Вот мои бумаги... Но вы шутите: зачем вам мои бумаги?

— Вам дела нет до того. Спрашиваю, согласны вы или нет?

Француз, все еще не веря своим ушам, протянул бумаги свои молодому офицеру, который быстро их пересмотрел.

— Ваш пашпорт... хорошо. Письмо рекомендательное, посмотрим. Свидетельство о рождении, прекрасно. Ну вот же вам ваши деньги, отправляйтесь назад. Прощайте...

Француз стоял как вкопанный.

Офицер воротился.

— Я было забыл самое важное. Дайте мне честное слово, что все это останется между нами, честное ваше слово.

— Честное мое слово, — отвечал француз. — Но мои бумаги, что мне делать без них.

— В первом городе объявите, что вы были ограблены Дубровским. Вам поверят и дадут нужные свидетельства. Прощайте, дай бог вам скорее доехать до Парижа и найти матушку в добром здоровье.

Дубровский вышел из комнаты, сел в коляску и поскакал.

Смотритель смотрел в окошко, и когда коляска уехала, обратился к жене с восклицанием: «Пахомовна, знаешь ли ты что? ведь это был Дубровский».

Смотрительша опрометью кинулась к окошку, но было уже поздно: Дубровский был уже далеко. Она принялась бранить мужа:

— Бога ты не боишься, Сидорыч, зачем ты не сказал мне того прежде, я бы хоть взглянула на Дубровского, а теперь жди, чтобы он опять завернул. Бессовестный ты, право, бессовестный!

Француз стоял как вкопанный. Договор с офицером, деньги, все казалось ему сновидением. Но кипы ассигнаций были тут, у него в кармане, и красноречиво твердили ему о существенности удивительного происшествия.

Он решился нанять лошадей до города. Ямщик повез его шагом и ночью дотащился он до города.

Не доезжая до заставы, у которой вместо часового стояла развалившаяся будка, француз велел

остановиться, вылез из брички и пошел пешком, объяснив знаками ямщику, что бричку и чемодан дарит ему на водку. Ямщик был в таком же изумлении от его щедрости, как и сам француз от предложения Дубровского. Но, заключив из того, что немец сошел с ума, ямщик поблагодарил его усердным поклоном и, не рассудив за благо въехать в город, отправился в известное ему увеселительное заведение, коего хозяин был весьма ему знаком. Там провел он целую ночь, а на другой день утром на порожней тройке отправился восвояси без брички и без чемодана, с пухлым лицом и красными глазами.

Дубровский, овладев бумагами француза, смело явился, как мы уже видели, к Троекурову и поселился в его доме. Каковы ни были его тайные намерения (мы их узнаем после), но в его поведении не оказалось ничего предосудительного. Правда, он мало занимался воспитанием маленького Саши, давал ему полную свободу повесничать и не строго взыскивал за уроки, задаваемые только для формы — зато с большим прилежанием следил за музыкальными успехами своей ученицы и часто по целым часам сиживал с нею за фортепьяно. Все любили молодого учителя, Кирила Петрович — за его смелое проворство на охоте, Марья Кириловна — за неограниченное усердие и робкую внимательность, Саша — за снисходительность к его шалостям, домашние — за доброту и за щедрость, по-видимому несовместную с его состоянием. Сам он, казалось, привязан был ко всему семейству и почитал уже себя членом оного.

Прошло около месяца от его вступления в звание учительское до достопамятного празднества, и никто не подозревал, что в скромном молодом французе таился грозный разбойник, коего имя наводило ужас на всех окрестных владельцев. Во все это время Дубровский не отлучался из Покровского, но слух о разбоях его не утихал благодаря изобретательному воображению сельских жителей, но могло статься и то, что шайка его продолжала свои действия и в отсутствие начальника.

Ночуя в одной комнате с человеком, коего мог он почесть личным своим врагом и одним из главных виновников его бедствия, Дубровский не мог удержаться от искушения. Он знал о существовании сумки и решился ею завладеть. Мы видели, как изумил он бедного Антона Пафнутьича неожиданным своим превращением из учителей в разбойники.

В девять часов утра гости, ночевавшие в Покровском, собралися один за другим в гостиной, где кипел уже самовар, перед которым в утреннем платье сидела Марья Кириловна, а Кирила Петрович в байковом сертуке и в туфлях выпивал свою широкую чашку, похожую на полоскательную. Последним явился Антон Пафнутьич; он был так бледен и казался так расстроен, что вид его всех поразил и что Кирила Петрович осведомился о его здоровии. Спицын отвечал безо всякого смысла и с ужасом поглядывал на учителя, который тут же сидел, как ни в чем не бывало. Через несколько минут слуга вошел и объявил Спицыну, что коляска его готова; Антон Пафнутьич спешил откланяться и несмотря на увещания хозяина вышел поспешно из комнаты и тотчас уехал. Не понимали, что с ним сделалось, и Кирила Петрович решил, что он объелся. После чаю и прощального завтрака прочие гости начали разъезжаться, вскоре Покровское опустело, и все вошло в обыкновенный порядок.

### ГЛАВА XII

Прошло несколько дней, и не случилось ничего достопримечательного. Жизнь обитателей Покровского была однообразна. Кирила Петрович ежедневно выезжал на охоту; чтение, прогулки и музыкальные уроки занимали Марью Кириловну — особенно музыкальные уроки. Она начинала понимать собственное сердце и признавалась, с невольной досадою, что оно не было равнодушно к достоинствам молодого француза. Он, с своей стороны, не выходил из пределов почтения и строгой пристойности и тем успокоивал ее гордость и боязливые сомнения. Она с большей и большей доверчивостью предавалась увлекательной привычке. Она скучала без Дефоржа, в его присутствии поминутно занималась им, обо всем хотела знать его мнение и всегда с ним соглашалась. Может быть, она не была еще влюблена, но при первом случайном препятствии или незапном гонении судьбы пламя страсти должно было вспыхнуть в ее сердце.

Однажды, пришед в залу, где ожидал ее учитель, Марья Кириловна с изумлением заметила смущение на бледном его лице. Она открыла фортепьяно, пропела несколько нот, но Дубровский под предлогом головной боли извинился, перервал урок и, закрывая ноты, подал ей украдкою записку. Марья Кириловна, не успев одуматься, приняла ее и раскаялась в ту же минуту, но Дубровского не было уже в зале. Марья Кириловна

пошла в свою комнату, развернула записку и прочла следующее:

«Будьте сегодня в 7 часов в беседке у ручья. Мне необходимо с вами говорить».

Любопытство ее было сильно возбуждено. Она давно ожидала признания, желая и опасаясь его. Ей приятно было бы услышать подтверждение того, о чем она догадывалась, но она чувствовала, что ей было бы неприлично слышать такое объяснение от человека, который по состоянию своему не мог надеяться когда-нибудь получить ее руку. Она решилась идти на свидание, но колебалась в одном: каким образом примет она признание учителя, с аристократическим ли негодованием, с увещаниями ли дружбы, с веселыми шутками или с безмолвным участием. Между тем она поминутно поглядывала на часы. Смеркалось, подали свечи, Кирила Петрович сел играть в бостон с приезжими соседями. Столовые часы пробили третью четверть седьмого, и Марья Кириловна тихонько вышла на крыльцо, огляделась во все стороны и побежала в сад.

Ночь была темна, небо покрыто тучами — в двух шагах от себя нельзя было ничего видеть, но Марья Кириловна шла в темноте по знакомым дорожкам и через минуту очутилась у беседки; тут остановилась она, дабы перевести дух и явиться перед Дефоржем с видом равнодушным и неторопливым. Но Дефорж стоял уже перед нею.

— Благодарю вас, — сказал он ей тихим и печальным голосом, — что вы не отказали мне в моей просьбе. Я был бы в отчаянии, если бы на то не согласились.

Марья Кириловна отвечала заготовленною фразой:

— Надеюсь, что вы не заставите меня раскаяться в моей снисходительности.

Он молчал и, казалося, собирался с духом.

— Обстоятельства требуют... я должен вас оставить, — сказал он наконец, — вы скоро, может быть, услышите... Но перед разлукой я должен с вами сам объясниться...

Марья Кириловна не отвечала ничего. В этих словах видела она предисловие к ожидаемому признанию.

— Я не то, что вы предполагаете, — продолжал он, потупя голову, — я не француз Дефорж, я Дубровский.

Марья Кириловна вскрикнула.

— Не бойтесь, ради бога, вы не должны бояться моего имени. Да, я тот несчастный, которого ваш отец лишил куска хлеба, выгнал из отеческого дома и послал грабить на больших дорогах. Но вам не надобно меня бояться — ни за себя, ни за него. Все кончено. Я ему простил. Послушайте, вы спасли его. Первый мой кровавый подвиг должен был свершиться над ним. Я ходил около его дома, назначая, где вспыхнуть пожару, откуда войти в его спальню, как пресечь ему все пути к бегству — в ту минуту вы прошли мимо меня, как небесное видение, и сердце мое смирилось. Я понял, что дом, где обитаете вы, священ, что ни единое существо, связанное с вами узами крови, не подлежит моему проклятию. Я отказался от мщения, как от безумства. Целые дни я бродил около садов Покровского в надежде увидеть издали ваше белое платье. В ваших неосторожных прогулках я следовал за вами, прокрадываясь от куста к кусту, счастливый мыслию, что вас охраняю, что для вас нет опасности там, где я присутствую тайно. Наконец случай представился. Я поселился в вашем доме. Эти три недели были для меня днями счастия. Их воспоминание будет отрадою печальной моей жизни... Сегодня я получил известие, после которого мне невозможно долее здесь оставаться. Я расстаюсь с вами сегодня... сей же час... Но прежде я должен был вам открыться, чтоб вы не проклинали меня, не презирали. Думайте иногда о Дубровском. Знайте, что он рожден был для иного назначения, что душа его умела вас любить, что никогда...

Тут раздался легкий свист — и Дубровский умолк. Он схватил ее руку и прижал к пылающим устам. Свист повторился.

— Простите, — сказал Дубровский, — меня зовут, минута может погубить меня. — Он отошел, Марья Кириловна стояла неподвижно, Дубровский воротился в снова взял ее руку.

— Если когда-нибудь, — сказал он ей нежным и трогательным голосом, — если когда-нибудь несчастие

вас постигнет и вы ни от кого не будете ждать ни помощи, ни покровительства, в таком случае обещаетесь ли вы прибегнуть ко мне, требовать от меня всего — для вашего спасения? Обещаетесь ли вы не отвергнуть моей преданности?

Марья Кириловна плакала молча. Свист раздался в третий раз.

— Вы меня губите! — закричал Дубровский. — Я не оставлю вас, пока не дадите мне ответа — обещаетесь ли вы или нет?

— Обещаюсь, — прошептала бедная красавица.

Взволнованная свиданием с Дубровским, Марья Кириловна возвращалась из саду. Ей показалось, что все люди разбегались, дом был в движении, на дворе было много народа, у крыльца стояла тройка, издали услышала она голос Кирила Петровича и спешила войти в комнаты, опасаясь, чтоб отсутствие ее не было замечено. В зале встретил ее Кирила Петрович, гости окружали исправника, нашего знакомца, и осыпали его вопросами. Исправник в дорожном платье, вооруженный с ног до головы, отвечал им с видом таинственным и суетливым.

— Где ты была, Маша, — спросил Кирила Петрович, — не встретила ли ты m-r Дефоржа? — Маша насилу могла отвечать отрицательно.

— Вообрази, — продолжал Кирила Петрович, — исправник приехал его схватить и уверяет меня, что это сам Дубровский.

— Все приметы, ваше превосходительство, — сказал почтительно исправник.

— Эх, братец, — прервал Кирила Петрович, — убирайся, знаешь куда, со своими приметами. Я тебе моего француза не выдам, покамест сам не разберу дела. Как можно верить на слово Антону Пафнутьичу, трусу и лгуну: ему пригрезилось, что учитель хотел ограбить его. Зачем он в то же утро не сказал мне о том ни слова?

— Француз застращал его, ваше превосходительство, — отвечал исправник, — и взял с него клятву молчать...

— Вранье, — решил Кирила Петрович, — сейчас я все выведу на чистую воду. — Где же учитель? — спросил он у вошедшего слуги.

— Нигде не найдут-с, — отвечал слуга.

— Так сыскать его, — закричал Троекуров, начинающий сумневаться. — Покажи мне твои хваленые приметы, — сказал он исправнику, который тотчас и подал ему бумагу. — Гм, гм, двадцать три года... Оно так, да это еще ничего не доказывает. Что же учитель?

— Не найдут-с, — был опять ответ. Кирила Петрович начинал беспокоиться, Марья Кириловна была ни жива ни мертва.

— Ты бледна, Маша, — заметил ей отец, — тебя перепугали.

— Нет, папенька, — отвечала Маша, — у меня голова болит.

— Поди, Маша, в свою комнату и не беспокойся. — Маша поцеловала у него руку и ушла скорее в свою комнату, там она бросилась на постелю и зарыдала в истерическом припадке. Служанки сбежались, раздели ее, насилу-насилу успели ее успокоить холодной водой и всевозможными спиртами, ее уложили, и она впала в усыпление.

Между тем француза не находили. Кирила Петрович ходил взад и вперед по зале, грозно насвистывая «Гром победы раздавайся». Гости шептались между собою, исправник казался в дураках, француза не нашли. Вероятно, он успел скрыться, быв предупрежден. Но кем и как? это оставалось тайною.

Било одиннадцать, и никто не думал о сне. Наконец Кирила Петрович сказал сердито исправнику:

— Ну что? ведь не до свету же тебе здесь оставаться, дом мой не харчевня, не с твоим проворством, братец, поймать Дубровского, если уж это Дубровский. Отправляйся-ка восвояси да вперед будь расторопнее. Да и вам пора домой, — продолжал он, обратясь к гостям. — Велите закладывать, а я хочу спать.

Так немилостиво расстался Троекуров со своими гостями!

### ГЛАВА XIII

Прошло несколько времени без всякого замечательного случая. Но в начале следующего лета произошло много перемен в семейном быту Кирила Петровича.

В 30-ти верстах от него находилось богатое поместие князя Верейского. Князь долгое время находился в чужих краях, всем имением его управлял отставной майор, и никакого сношения не существовало между Покровским и Арбатовым. Но в конце мая месяца князь возвратился из-за границы и приехал в свою деревню, которой отроду еще не видал. Привыкнув к рассеянности, он не мог вынести уединения и на третий день по своем приезде отправился обедать к Троекурову, с которым был некогда знаком.

Князю было около пятидесяти лет, но он казался гораздо старее. Излишества всякого рода изнурили его здоровие и положили на нем свою неизгладимую печать. Несмотря на то, наружность его была приятна, замечательна, а привычка быть всегда в обществе придавала ему некоторую любезность, особенно с женщинами. Он имел непрестанную нужду в рассеянии и непрестанно скучал. Кирила Петрович был чрезвычайно доволен его посещением, приняв оное знаком уважения от человека, знающего свет; он по обыкновению своему стал угощать его смотром своих заведений и повел на псарный двор. Но князь чуть не задохся в собачьей атмосфере и спешил выйти вон, зажимая нос платком,

опрысканным духами. Старинный сад с его стрижеными липами, четвероугольным прудом и правильными аллеями ему не понравился; он любил английские сады и так называемую природу, но хвалил и восхищался; слуга пришел доложить, что кушание поставлено. Они пошли обедать. Князь прихрамывал, устав от своей прогулки и уже раскаиваясь в своем посещении.

Но в зале встретила их Марья Кириловна, и старый волокита был поражен ее красотой. Троекуров посадил гостя подле ее. Князь был оживлен ее присутствием, был весел и успел несколько раз привлечь ее внимание любопытными своими рассказами. После обеда Кирила Петрович предложил ехать верхом, но князь извинился, указывая на свои бархатные сапоги и шутя над своею подагрой; он предпочел прогулку в линейке, с тем чтоб не разлучаться с милою своей соседкою. Линейку заложили. Старики и красавица сели втроем и поехали. Разговор не прерывался. Марья Кириловна с удовольствием слушала льстивые и веселые приветствия светского человека, как вдруг Верейский, обратясь к Кирилу Петровичу, спросил у него, что значит это погорелое строение и ему ли оно принадлежит?.. Кирила Петрович нахмурился; воспоминания, возбуждаемые в нем погорелой усадьбою, были ему неприятны. Он отвечал, что земля теперь его и что прежде принадлежала она Дубровскому.

— Дубровскому, — повторил Верейский, — как, этому славному разбойнику?

— Отцу его, — отвечал Троекуров, — да и отец-то был порядочный разбойник.

— Куда же девался наш [Ринальдо](http://rvb.ru/pushkin/02comm/0865.htm" \l "c6)? жив ли он, схвачен ли он?

— И жив и на воле, и покамест у нас будут исправники заодно с ворами, до тех пор не будет он пойман; кстати, князь, Дубровский побывал ведь у тебя в Арбатове?

— Да, прошлого году он, кажется, что-то сжег или разграбил... Не правда ли, Марья Кириловна, что было бы любопытно познакомиться покороче с этим романтическим героем?

— Чего любопытно! — сказал Троекуров, — она знакома с ним: он целые три недели учил ее музыке, да слава богу не взял ничего за уроки. — Тут Кирила Петрович начал рассказывать повесть о своем французе-учителе. Марья Кириловна сидела как на иголках, Верейский выслушал с глубоким вниманием, нашел все это очень странным и переменил разговор. Возвратясь, он велел подавать свою карету и, несмотря на усильные просьбы Кирила Петровича остаться ночевать, уехал тотчас после чаю. Но прежде просил Кирила Петровича приехать к нему в гости с Марьей Кириловной — и гордый Троекуров обещался, ибо, взяв в уважение княжеское достоинство, две звезды и 3000 душ родового имения, он до некоторой степени почитал князя Верейского себе равным.

Два дня спустя после сего посещения Кирила Петрович отправился с дочерью в гости к князю Верейскому. Подъезжая к Арбатову, он не мог не любоваться чистыми и веселыми избами крестьян и каменным господским домом, выстроенным во вкусе английских замков. Перед домом расстилался густо-зеленый луг, на коем паслись швейцарские коровы, звеня своими колокольчиками. Пространный парк окружал дом со всех сторон. Хозяин встретил гостей у крыльца и подал руку молодой красавице. Они вошли в великолепную залу, где стол был накрыт на три прибора. Князь подвел гостей к окну, и им открылся прелестный вид. Волга протекала перед окнами, по ней шли нагруженные барки под натянутыми парусами и мелькали рыбачьи лодки, столь выразительно прозванные душегубками. За рекою тянулись холмы и поля, несколько деревень оживляли окрестность. Потом они занялись рассмотрением галереи картин, купленных князем в чужих краях. Князь объяснял Марье Кириловне их различное содержание, историю живописцев, указывал на достоинства и недостатки. Он говорил о картинах не на условленном языке педантического знатока, но с чувством и воображением. Марья Кириловна слушала его с удовольствием. Пошли за стол. Троекуров отдал полную справедливость винам своего [Амфитриона](http://rvb.ru/pushkin/02comm/0865.htm" \l "c7) и искусству его повара, а Марья Кириловна не чувствовала ни

малейшего замешательства или принуждения в беседе с человеком, которого видела она только во второй раз отроду. После обеда хозяин предложил гостям пойти в сад. Они пили кофей в беседке на берегу широкого озера, усеянного островами. Вдруг раздалась духовая музыка, и шестивесельная лодка причалила к самой беседке. Они поехали по озеру, около островов, посещали некоторые из них, на одном находили мраморную статую, на другом уединенную пещеру, на третьем памятник с таинственной надписью, возбуждавшей в Марье Кириловне девическое любопытство, не вполне удовлетворенное учтивыми недомолвками князя; время прошло незаметно, начало смеркаться. Князь под предлогом свежести и росы спешил возвратиться домой; самовар их ожидал. Князь просил Марью Кириловну хозяйничать в доме старого холостяка. Она разливала чай, слушая неистощимые рассказы любезного говоруна; вдруг раздался выстрел и ракетка осветила небо. Князь подал Марье Кириловне шаль и позвал ее и Троекурова на балкон. Перед домом в темноте разноцветные огни вспыхнули, завертелись, поднялись вверх колосьями, пальмами, фонтанами, посыпались дождем, звездами, угасали и снова вспыхивали. Марья Кириловна веселилась как дитя. Князь Верейский радовался ее восхищению, а Троекуров был чрезвычайно им доволен, ибо принимал tous les frais1) князя, как знаки уважения и желания ему угодить.

Ужин в своем достоинстве ничем не уступал обеду. Гости отправились в комнаты, для них отведенные, и на другой день поутру расстались с любезным хозяином, дав друг другу обещание вскоре снова увидеться.

### ГЛАВА XIV

Марья Кириловна сидела в своей комнате, вышивая в пяльцах, перед открытым окошком. Она не путалась шелками, подобно любовнице [Конрада](http://rvb.ru/pushkin/02comm/0865.htm" \l "c8), которая в любовной рассеянности вышила розу зеленым шелком. Под ее иглой канва повторяла безошибочно узоры подлинника, несмотря на то ее мысли не следовали за работой, они были далеко.

Вдруг в окошко тихонько протянулась рука, кто-то положил на пяльцы письмо и скрылся, прежде чем Марья Кириловна успела образумиться. В это самое время слуга к ней вошел и позвал ее к Кирилу Петровичу. Она с трепетом спрятала письмо за косынку и поспешила к отцу в кабинет.

Кирила Петрович был не один. Князь Верейский сидел у него. При появлении Марьи Кириловны князь встал и молча поклонился ей с замешательством для него необыкновенным.

— Подойди сюда, Маша, — сказал Кирила Петрович, — скажу тебе новость, которая, надеюсь, тебя обрадует. Вот тебе жених, князь тебя сватает.

Маша остолбенела, смертная бледность покрыла ее лицо. Она молчала. Князь к ней подошел, взял ее руку и с видом тронутым спросил: согласна ли она сделать его счастие. Маша молчала.

— Согласна, конечно, согласна, — сказал Кирила Петрович, — но знаешь, князь: девушке трудно

выговорить это слово. Ну, дети, поцелуйтесь и будьте счастливы.

Маша стояла неподвижно, старый князь поцеловал ее руку, вдруг слезы побежали по ее бледному лицу. Князь слегка нахмурился.

— Пошла, пошла, пошла, — сказал Кирила Петрович, — осуши свои слезы и воротись к нам веселешенька. Они все плачут при помолвке, — продолжал он, обратясь к Верейскому, — это у них уж так заведено... Теперь, князь, поговорим о деле, то есть о приданом.

Марья Кириловна жадно воспользовалась позволением удалиться. Она побежала в свою комнату, заперлась и дала волю своим слезам, воображая себя женою старого князя; он вдруг показался ей отвратительным и ненавистным... брак пугал ее как плаха, как могила... «Нет, нет, —повторяла она в отчаянии, — лучше умереть, лучше в монастырь, лучше пойду за Дубровского». Тут она вспомнила о письме и жадно бросилась его читать, предчувствуя, что оно было от него. В самом деле оно было писано им и заключало только следующие слова:

«Вечером в 10 час. на прежнем месте».

### ГЛАВА XV

Луна сияла, июльская ночь была тиха, изредка подымался ветерок, и легкий шорох пробегал по всему саду.

Как легкая тень, молодая красавица приблизилась к месту назначенного свидания. Еще никого не было видно, вдруг из-за беседки очутился Дубровский перед нею.

— Я все знаю, — сказал он ей тихим и печальным голосом. — Вспомните ваше обещание.

— Вы предлагаете мне свое покровительство, — отвечала Маша, — но не сердитесь: оно пугает меня. Каким образом окажете вы мне помочь?

— Я бы мог избавить вас от ненавистного человека.

— Ради бога, не трогайте его, не смейте его тронуть, если вы меня любите — я не хочу быть виною какого-нибудь ужаса...

— Я не трону его, воля ваша для меня священна. Вам обязан он жизнию. Никогда злодейство не будет совершено во имя ваше. Вы должны быть чисты даже и в моих преступлениях. Но как же спасу вас от жестокого отца?

— Еще есть надежда. Я надеюсь тронуть его моими слезами и отчаянием. Он упрям, но он так меня любит.

— Не надейтесь по-пустому: в этих слезах увидит он только обыкновенную боязливость и отвращение, общее всем молодым девушкам, когда идут они замуж не по страсти, а из благоразумного расчета; что, если возьмет он себе в голову сделать счастие ваше вопреки вас самих; если насильно повезут вас под венец, чтоб навеки предать судьбу вашу во власть старого мужа?..

— Тогда, тогда делать нечего, явитесь за мною — я буду вашей женою.

Дубровский затрепетал, бледное лицо покрылось багровым румянцем и в ту же минуту стало бледнее прежнего. Он долго молчал, потупя голову.

— Соберитесь с всеми силами души, умоляйте отца, бросьтесь к его ногам, представьте ему весь ужас будущего, вашу молодость, увядающую близ хилого и развратного старика, решитесь на жестокое объяснение: скажите, что если он останется неумолим, то... то вы найдете ужасную защиту... скажите, что богатство не доставит вам ни одной минуты счастия; роскошь утешает одну бедность, и то с непривычки на одно мгновение; не отставайте от него, не пугайтесь ни его гнева, ни угроз, пока останется хоть тень надежды, ради бога, не отставайте. Если ж не будет уже другого средства...

Тут Дубровский закрыл лицо руками, он, казалось, задыхался — Маша плакала...

— Бедная, бедная моя участь, — сказал он, горько вздохнув. — За вас отдал бы я жизнь, видеть вас издали, коснуться руки вашей было для меня упоением. И когда открывается для меня возможность прижать вас к волнуемому сердцу и сказать: ангел, умрем! бедный, я должен остерегаться от блаженства, я должен отдалять его всеми силами... Я не смею пасть к вашим ногам, благодарить небо за непонятную незаслуженную награду. О, как должен я ненавидеть того — но чувствую, теперь в сердце моем нет места ненависти.

Он тихо обнял стройный ее стан и тихо привлек ее к своему сердцу. Доверчиво склонила она голову на плечо молодого разбойника. Оба молчали.

Время летело. «Пора», — сказала наконец Маша. Дубровский как будто очнулся от усыпления. Он взял ее руку и надел ей на палец кольцо.

— Если решитесь прибегнуть ко мне, — сказал он, — то принесите кольцо сюда, опустите его в дупло этого дуба, я буду знать, что делать.

Дубровский поцеловал ее руку и скрылся между деревьями.

### ГЛАВА XVI

Сватовство князя Верейского не было уже тайною для соседства — Кирила Петрович принимал поздравления, свадьба готовилась. Маша день ото дня отлагала решительное объявление. Между тем обращение ее со старым женихом было холодно и принужденно. Князь о том не заботился. Он о любви не хлопотал, довольный ее безмолвным согласием.

Но время шло. Маша наконец решилась действовать — и написала письмо князю Верейскому; она старалась возбудить в его сердце чувство великодушия, откровенно признавалась, что не имела к нему ни малейшей привязанности, умоляла его отказаться от ее руки и самому защитить ее от власти родителя. Она тихонько вручила письмо князю Верейскому, тот прочел его наедине и нимало не был тронут откровенностию своей невесты. Напротив, он увидел необходимость ускорить свадьбу и для того почел нужным показать письмо будущему тестю.

Кирила Петрович взбесился; насилу князь мог уговорить его не показывать Маше и виду, что он уведомлен о ее письме. Кирила Петрович согласился ей о том не говорить, но решился не тратить времени и назначил быть свадьбе на другой же день. Князь нашел сие весьма благоразумным, пошел к своей невесте, сказал ей, что письмо очень его опечалило, но что он надеется со временем заслужить ее привязанность, что мысль ее

лишиться слишком для него тяжела и что он не в силах согласиться на свой смертный приговор. За сим он почтительно поцеловал ее руку и уехал, не сказав ей ни слова о решении Кирила Петровича.

Но едва успел он выехать со двора, как отец ее вошел и напрямик велел ей быть готовой на завтрашний день. Марья Кириловна, уже взволнованная объяснением князя Верейского, залилась слезами и бросилась к ногам отца.

— Папенька, — закричала она жалобным голосом, — папенька, не губите меня, я не люблю князя, я не хочу быть его женою...

— Это что значит, — сказал грозно Кирила Петрович, — до сих пор ты молчала и была согласна, а тетерь, когда все решено, ты вздумала капризничать и отрекаться. Не изволь дурачиться; этим со мною ты ничего не выиграешь.

— Не губите меня, — повторяла бедная Маша, — за что гоните меня от себя прочь и отдаете человеку нелюбимому, разве я вам надоела, я хочу остаться с вами по-прежнему. Папенька, вам без меня будет грустно, еще грустнее, когда подумаете, что я несчастлива, папенька: не принуждайте меня, я не хочу идти замуж...

Кирила Петрович был тронут, но скрыл свое смущение и, оттолкнув ее, сказал сурово:

— Все это вздор, слышишь ли. Я знаю лучше твоего, что нужно для твоего счастия. Слезы тебе не помогут, послезавтра будет твоя свадьба.

— Послезавтра! — вскрикнула Маша, — боже мой! Нет, нет, невозможно, этому не быть. Папенька, послушайте, если уже вы решились погубить меня, то я найду защитника, о котором вы и не думаете, вы увидите, вы ужаснетесь, до чего вы меня довели.

— Что? что? — сказал Троекуров, — угрозы! мне угрозы, дерзкая девчонка! Да знаешь ли ты, что я с тобою сделаю то, чего ты и не воображаешь. Ты смеешь меня стращать защитником. Посмотрим, кто будет этот защитник.

— Владимир Дубровский, — отвечала Маша в отчаянии.

Кирила Петрович подумал, что она сошла с ума, и глядел на нее с изумлением.

— Добро, — сказал он ей после некоторого молчания, — жди себе кого хочешь в избавители, а покамест сиди в этой комнате, ты из нее не выйдешь до самой свадьбы. — С этим словом Кирила Петрович вышел и запер за собою двери.

Долго плакала бедная девушка, воображая все, что ожидало ее, но бурное объяснение облегчило ее душу, и она спокойнее могла рассуждать о своей участи и о том, что надлежало ей делать. Главное было для нее: избавиться от ненавистного брака; участь супруги разбойника казалась для нее раем в сравнении со жребием, ей уготовленным. Она взглянула на кольцо, оставленное ей Дубровским. Пламенно желала она с ним увидеться наедине и еще раз перед решительной минутой долго посоветоваться. Предчувствие сказывало ей, что вечером найдет она Дубровского в саду близ беседки; она решилась пойти ожидать его там, как только станет смеркаться. Смерклось. Маша приготовилась, но дверь ее заперта на ключ. Горничная отвечала ей из-за двери, что Кирила Петрович не приказал ее выпускать. Она была под арестом. Глубоко оскорбленная, она села под окошко и до глубокой ночи сидела не раздеваясь, неподвижно глядя на темное небо. На рассвете она задремала, но тонкий сон ее был встревожен печальными видениями, и лучи восходящего солнца уже разбудили ее.

### ГЛАВА XVII

Она проснулась, и с первой мыслью представился ей весь ужас ее положения. Она позвонила, девка вошла и на вопросы ее отвечала, что Кирила Петрович вечером ездил в Арбатово и возвратился поздно, что он дал строгое приказание не выпускать ее из ее комнаты и смотреть за тем, чтоб никто с нею не говорил, что, впрочем, не видно никаких особенных приготовлений к свадьбе, кроме того, что велено было попу не отлучаться из деревни ни под каким предлогом. После сих известий девка оставила Марью Кириловну и снова заперла двери.

Ее слова ожесточили молодую затворницу — голова ее кипела, кровь волновалась, она решилась дать знать обо всем Дубровскому и стала искать способа отправить кольцо в дупло заветного дуба; в это время камушек ударился в окно ее, стекло зазвенело — и Марья Кириловна взглянула на двор и увидела маленького Сашу, делающего ей тайные знаки. Она знала его привязанность и обрадовалась ему. Она отворила окно.

— Здравствуй, Саша, — сказала она, — зачем ты меня зовешь?

— Я пришел, сестрица, узнать от вас, не надобно ли вам чего-нибудь. Папенька сердит и запретил всему дому вас слушаться, но велите мне сделать, что вам угодно, и я для вас все сделаю.

— Спасибо, милый мой Сашенька, слушай: ты знаешь старый дуб с дуплом, что у беседки?

— Знаю, сестрица.

— Так если ты меня любишь, сбегай туда поскорей и положи в дупло вот это кольцо, да смотри же, чтоб никто тебя не видал.

С этим словом она бросила ему кольцо и заперла окошко.

Мальчик поднял кольцо, во весь дух пустился бежать — и в три минуты очутился у заветного дерева. Тут он остановился, задыхаясь, оглянулся во все стороны и положил колечко в дупло. Окончив дело благополучно, хотел он тот же час донести о том Марье Кириловне, как вдруг рыжий и косой, оборванный мальчишка мелькнул из-за беседки, кинулся к дубу и запустил руку в дупло. Саша быстрее белки бросился к нему и зацепился за его обеими руками.

— Что ты здесь делаешь? — сказал он грозно.

— Тебе како дело? — отвечал мальчишка, стараясь от него освободиться.

— Оставь это кольцо, рыжий заяц, — кричал Саша, — или я проучу тебя по-свойски.

Вместо ответа тот ударил его кулаком по лицу, но Саша его не выпустил и закричал во все горло: «Воры, воры — сюда, сюда...»

Мальчишка силился от него отделаться. Он был, по-видимому, двумя годами старее Саши и гораздо его сильнее, но Саша был увертливее. Они боролись несколько минут, наконец рыжий мальчик одолел. Он повалил Сашу наземь и схватил его за горло.

Но в это время сильная рука вцепилась в его рыжие и щетинистые волосы, и садовник Степан приподнял его на пол-аршина от земли...

— Ах, ты, рыжая бестия, — говорил садовник, — да как ты смеешь бить маленького барина...

Саша успел вскочить и оправиться.

— Ты меня схватил под силки, — сказал он, — а то бы никогда меня не повалил. Отдай сейчас кольцо и убирайся.

— Как не так, — отвечал рыжий и, вдруг перевернувшись на одном месте, освободил свои щетины от

руки Степановой. Тут он пустился было бежать, но Саша догнал его, толкнул в спину, и мальчишка упал со всех ног, садовник снова его схватил и связал кушаком.

— Отдай кольцо! — кричал Саша.

— Погоди, барин, — сказал Степан, — мы сведем его на расправу к приказчику.

Садовник повел пленника на барский двор, а Саша его сопровождал, с беспокойством поглядывая на свои шаровары, разорванные и замаранные зеленью. Вдруг все трое очутились перед Кирилом Петровичем, идущим осматривать свою конюшню.

— Это что? — спросил он Степана.

Степан в коротких словах описал все происшествие. Кирила Петрович выслушал его со вниманием.

— Ты, повеса,— сказал он, обратись к Саше, — за что ты с ним связался?

— Он украл из дупла кольцо, папенька, прикажите отдать кольцо.

— Какое кольцо, из какого дупла?

— Да мне Марья Кириловна... да то кольцо...

Саша смутился, спутался. Кирила Петрович нахмурился и сказал, качая головою:

— Тут замешалась Марья Кириловна. Признавайся во всем, или так отдеру тебя розгою, что ты и своих не узнаешь.

— Ей-богу, папенька, я, папенька... Мне Марья Кириловна ничего не приказывала, папенька.

— Степан, ступай-ка да срежь мне хорошенькую, свежую березовую розгу...

— Постойте, папенька, я все вам расскажу. Я сегодня бегал по двору, а сестрица Марья Кириловна открыла окошко, и я подбежал, и сестрица не нарочно уронила кольцо, и я спрятал его в дупло, и... и... этот рыжий мальчик хотел кольцо украсть.

— Не нарочно уронила, а ты хотел спрятать... Степан, ступай за розгами.

— Папенька, погодите, я все расскажу. Сестрица Марья Кириловна велела мне сбегать к дубу и положить кольцо в дупло, я и сбегал и положил кольцо, а этот скверный мальчик...

Кирила Петрович обратился к скверному мальчику и спросил его грозно: «Чей ты?»

— Я дворовый человек господ Дубровских, — отвечал рыжий мальчик.

Лицо Кирила Петровича омрачилось.

— Ты, кажется, меня господином не признаешь, добро, — отвечал он. — А что ты делал в моем саду?

— Малину крал, — отвечал мальчик с большим равнодушием.

— Ага, слуга в барина, каков поп, таков и приход, а малина разве растет у меня на дубах?

Мальчик ничего не отвечал.

— Папенька, прикажите ему отдать кольцо, — сказал Саша.

— Молчи, Александр, — отвечал Кирила Петрович, — не забудь, что я собираюсь с тобою разделаться. Ступай в свою комнату. Ты, косой, ты мне кажешься малый не промах. Отдай кольцо и ступай домой.

Мальчик разжал кулак и показал, что в его руке не было ничего.

— Если ты мне во всем признаешься, так я тебя не высеку, дам еще пятак на орехи. Не то, я с тобою сделаю то, чего ты не ожидаешь. Ну!

Мальчик не отвечал ни слова и стоял, потупя голову и приняв на себя вид настоящего дурачка.

— Добро, — сказал Кирила Петрович, — запереть его куда-нибудь да смотреть, чтоб он не убежал, или со всего дома шкуру спущу.

Степан отвел мальчишку на голубятню, запер его там и приставил смотреть за ним старую птичницу Агафию.

— Сейчас ехать в город за исправником, — сказал Кирила Петрович, проводив мальчика глазами, — да как можно скорее.

«Тут нет никакого сомнения. Она сохранила сношения с проклятым Дубровским. Но ужели и в самом деле она звала его на помощь? — думал Кирила Петрович, расхаживая по комнате и сердито насвистывая «Гром победы». — Может быть, я наконец нашел на его горячие следы, и он от нас не увернется. Мы

воспользуемся этим случаем. Чу! колокольчик, слава богу, это исправник».

— Гей, привести сюда мальчишку пойманного.

Между тем тележка въехала на двор, и знакомый уже нам исправник вошел в комнату весь запыленный.

— Славная весть, — сказал ему Кирила Петрович, — я поймал Дубровского.

— Слава богу, ваше превосходительство, — сказал исправник с видом обрадованным, — где же он?

— То есть не Дубровского, а одного из его шайки. Сейчас его приведут. Он пособит нам поймать самого атамана. Вот его и привели.

Исправник, ожидавший грозного разбойника, был изумлен, увидев 13-летнего мальчика, довольно слабой наружности. Он с недоумением обратился к Кирилу Петровичу и ждал объяснения. Кирила Петрович стал тут же рассказывать утреннее происшествие, не упоминая, однако ж, о Марье Кириловне.

Исправник выслушал его со вниманием, поминутно взглядывая на маленького негодяя, который, прикинувшись дурачком, казалось, не обращал никакого внимания на все, что делалось около него.

— Позвольте, ваше превосходительство, переговорить с вами наедине, — сказал наконец исправник.

Кирила Петрович повел его в другую комнату и запер за собою дверь.

Через полчаса они вышли опять в залу, где невольник ожидал решения своей участи.

— Барин хотел, — сказал ему исправник, — посадить тебя в городской острог, выстегать плетьми и сослать потом на поселение, но я вступился за тебя и выпросил тебе прощение. Развязать его.

Мальчика развязали.

— Благодари же барина, — сказал исправник. Мальчик подошел к Кирилу Петровичу и поцеловал у него руку.

— Ступай себе домой, — сказал ему Кирила Петрович, — да вперед не крадь малины по дуплам.

Мальчик вышел, весело спрыгнул с крыльца и пустился бегом, не оглядываясь, через ноле в Кистеневку. Добежав до деревни, он остановился у

полуразвалившейся избушки, первой с края, и постучал в окошко; окошко поднялось, и старуха показалась.

— Бабушка, хлеба, — сказал мальчик, — я с утра ничего не ел, умираю с голоду.

— Ах, это ты, Митя, да где ж ты пропадал, бесенок, — отвечала старуха.

— После расскажу, бабушка, ради бога хлеба.

— Да войди ж в избу.

— Некогда, бабушка, мне надо сбегать еще в одно место. Хлеба, ради Христа, хлеба.

— Экой непосед, — проворчала старуха, — на, вот тебе ломотик, — и сунула в окошко ломоть черного хлеба. Мальчик жадно его прикусил и, жуя, мигом отправился далее.

Начинало смеркаться. Митя пробирался овинами и огородами в Кистеневскую рощу. Дошедши до двух сосен, стоящих передовыми стражами рощи, он остановился, оглянулся во все стороны, свистнул свистом пронзительным и отрывисто и стал слушать; легкий и продолжительный свист послышался ему в ответ, кто-то вышел из рощи и приблизился к нему.

### ГЛАВА XVIII

Кирила Петрович ходил взад и вперед по зале, громче обыкновенного насвистывая свою песню; весь дом был в движении, слуги бегали, девки суетились, в сарае кучера закладывали карету, на дворе толпился народ. В уборной барышни, перед зеркалом, дама, окруженная служанками, убирала бледную, неподвижную Марью Кириловну, голова ее томно клонилась под тяжестью бриллиантов, она слегка вздрагивала, когда неосторожная рука укалывала ее, но молчала, бессмысленно глядясь в зеркало.

— Скоро ли? — раздался у дверей голос Кирила Петровича.

— Сию минуту, — отвечала дама. — Марья Кириловна, встаньте, посмотритесь, хорошо ли?

Марья Кириловна встала и не отвечала ничего. Двери отворились.

— Невеста готова, — сказала дама Кирилу Петровичу, — прикажите садиться в карету.

— С богом, — отвечал Кирила Петрович и, взяв со стола образ, — подойди ко мне, Маша, — сказал он ей тронутым голосом, — благословляю тебя... — Бедная девушка упала ему в ноги и зарыдала.

— Папенька... папенька... — говорила она в слезах, и голос ее замирал. Кирила Петрович спешил ее благословить, ее подняли и почти понесли в карету. С нею села посаженая мать — и одна из служанок. Они

поехали в церковь. Там жених уж их ожидал. Он вышел навстречу невесты и был поражен ее бледностию и странным видом. Они вместе вошли в холодную, пустую церковь; за ними заперли двери. Священник вышел из алтаря и тотчас же начал. Марья Кириловна ничего не видала, ничего не слыхала, думала об одном, с самого утра она ждала Дубровского, надежда ни на минуту ее не покидала, но когда священник обратился к ней с обычными вопросами, она содрогнулась и обмерла, но еще медлила, еще ожидала; священник, не дождавшись ее ответа, произнес невозвратимые слова.

Обряд был кончен. Она чувствовала холодный поцелуй немилого супруга, она слышала веселые поздравления присутствующих и все еще не могла поверить, что жизнь ее была навеки окована, что Дубровский не прилетел освободить ее. Князь обратился к ней с ласковыми словами, она их не поняла, они вышли из церкви, на паперти толпились крестьяне из Покровского. Взор ее быстро их обежал и снова оказал прежнюю бесчувственность. Молодые сели вместе в карету и поехали в Арбатово; туда уже отправился Кирила Петрович, дабы встретить там молодых. Наедине с молодою женой князь нимало не был смущен ее холодным видом. Он не стал докучать ее приторными изъяснениями и смешными восторгами, слова его были просты и не требовали ответов. Таким образом проехали они около десяти верст, лошади неслись быстро по кочкам проселочной дороги, и карета почти не качалась на своих английских рессорах. Вдруг раздались крики погони, карета остановилась, толпа вооруженных людей окружила ее, и человек в полумаске, отворив дверцы со стороны, где сидела молодая княгиня, сказал ей: «Вы свободны, выходите». — «Что это значит, — закричал князь, — кто ты такой?..» — «Это Дубровский», — сказала княгиня. Князь, не теряя присутствия духа, вынул из бокового кармана дорожный пистолет и выстрелил в маскированного разбойника. Княгиня вскрикнула и с ужасом закрыла лицо обеими руками. Дубровский был ранен в плечо, кровь показалась. Князь, не теряя ни минуты, вынул другой пистолет, но ему не дали времени выстрелить, дверцы растворились, и несколько сильных

рук вытащили его из кареты и вырвали у него пистолет. Над ним засверкали ножи.

— Не трогать его! — закричал Дубровский, и мрачные его сообщники отступили.

— Вы свободны, — продолжал Дубровский, обращаясь к бледной княгине.

— Нет,— отвечала она. — Поздно — я обвенчана, я жена князя Верейского.

— Что вы говорите, — закричал с отчаяния Дубровский, — нет, вы не жена его, вы были приневолены, вы никогда не могли согласиться...

— Я согласилась, я дала клятву, — возразила она с твердостию, — князь мой муж, прикажите освободить его и оставьте меня с ним. Я не обманывала. Я ждала вас до последней минуты... Но теперь, говорю вам, теперь поздно. Пустите нас.

Но Дубровский уже ее не слышал, боль раны и сильные волнения души лишили его силы. Он упал у колеса, разбойники окружили его. Он успел сказать им несколько слов, они посадили его верхом, двое из них его поддерживали, третий взял лошадь под уздцы, и все поехали в сторону, оставя карету посреди дороги, людей связанных, лошадей отпряженных, но не разграбя ничего и не пролив ни единой капли крови в отмщение за кровь своего атамана.

### ГЛАВА XIX

Посреди дремучего леса на узкой лужайке возвышалось маленькое земляное укрепление, состоящее из вала и рва, за коими находилось несколько шалашей и землянок.

На дворе множество людей, коих по разнообразию одежды и по общему вооружению можно было тотчас признать за разбойников, обедало, сидя без шапок, около братского котла. На валу подле маленькой пушки сидел караульный, поджав под себя ноги; он вставлял заплатку в некоторую часть своей одежды, владея иголкою с искусством, обличающим опытного портного, и поминутно посматривал во все стороны.

Хотя некоторый ковшик несколько раз переходил из рук в руки, странное молчание царствовало в сей толпе; разбойники отобедали, один после другого вставал и молился богу, некоторые разошлись по шалашам, а другие разбрелись по лесу или прилегли соснуть по русскому обыкновению.

Караульщик кончил свою работу, встряхнул свою рухлядь, полюбовался заплатою, приколол к рукаву иголку, сел на пушку верхом и запел во все горло меланхолическую старую песню:

Не шуми, мати зеленая дубровушка,   
Не мешай мне молодцу думу думати.

В это время дверь одного из шалашей отворилась, и старушка в белом чепце, опрятно и чопорно одетая, показалась у порога. «Полно тебе, Степка, — сказала она

сердито, — барин почивает, а ты знай горланишь; нет у вас ни совести, ни жалости». — «Виноват, Егоровна, — отвечал Степка, — ладно, больше не буду, пусть он себе, наш батюшка, почивает да выздоравливает». Старушка ушла, а Степка стал расхаживать по валу.

В шалаше, из которого вышла старуха, за перегородкою, раненый Дубровский лежал на походной кровати. Перед ним на столике лежали его пистолеты, а сабля висела в головах. Землянка устлана и обвешана была богатыми коврами, в углу находился женский серебряный туалет и трюмо. Дубровский держал в руке открытую книгу, но глаза его были закрыты. И старушка, поглядывающая на него из-за перегородки, не могла знать, заснул ли он, или только задумался.

Вдруг Дубровский вздрогнул: в укреплении сделалась тревога, и Степка просунул к нему голову в окошко. «Батюшка, Владимир Андреевич, — закричал он, — наши знак подают, нас ищут». Дубровский вскочил с кровати, схватил оружие и вышел из шалаша. Разбойники с шумом толпились на дворе; при его появлении настало глубокое молчание. «Все ли здесь?» — спросил Дубровский. «Все, кроме дозорных», — отвечали ему. «По местам!» — закричал Дубровский. И разбойники заняли каждый определенное место. В сие время трое дозорных прибежали к воротам. Дубровский пошел к ним навстречу. «Что такое?» — спросил он их. «Солдаты в лесу, — отвечали они, — нас окружают». Дубровский велел запереть вороты — и сам пошел освидетельствовать пушечку. По лесу раздалось несколько голосов и стали приближаться; разбойники ожидали в безмолвии. Вдруг три или четыре солдата показались из лесу и тотчас подались назад, выстрелами дав знать товарищам. «Готовиться к бою», — сказал Дубровский, и между разбойниками сделался шорох, снова все утихло. Тогда услышали шум приближающейся команды, оружия блеснули между деревьями, человек полтораста солдат высыпало из лесу и с криком устремились на вал. Дубровский приставил фитиль, выстрел был удачен: одному оторвало голову, двое были ранены. Между солдатами произошло смятение, но офицер бросился вперед, солдаты за ним последовали и сбежали

в ров; разбойники выстрелили в них из ружей и пистолетов и стали с топорами в руках защищать вал, на который лезли остервенелые солдаты, оставя во рву человек двадцать раненых товарищей. Рукопашный бой завязался, солдаты уже были на валу, разбойники начали уступать, но Дубровский, подошед к офицеру, приставил ему пистолет ко груди и выстрелил, офицер грянулся навзничь, несколько солдат подхватили его на руки и спешили унести в лес, прочие, лишась начальника, остановились. Ободренные разбойники воспользовались сей минутою недоумения, смяли их, стеснили в ров, осаждающие побежали, разбойники с криком устремились за ними. Победа была решена. Дубровский, полагаясь на совершенное расстройство неприятеля, остановил своих и заперся в крепости, приказав подобрать раненых, удвоив караулы и никому не велев отлучаться.

Последние происшествия обратили уже не на шутку внимание правительства на дерзновенные разбои Дубровского. Собраны были сведения о его местопребывании. Отправлена была рота солдат, дабы взять его мертвого или живого. Поймали несколько человек из его шайки и узнали от них, что уж Дубровского между ими не было. Несколько дней после1)       он собрал всех своих сообщников, объявил им, что намерен навсегда их оставить, советовал и им переменить образ жизни. «Вы разбогатели под моим начальством, каждый из вас имеет вид, с которым безопасно может пробраться в какую-нибудь отдаленную губернию и там провести остальную жизнь в честных трудах и в изобилии. Но вы все мошенники и, вероятно, не захотите оставить ваше ремесло». После сей речи он оставил их, взяв с собою одного \*\*. Никто не знал, куда он девался. Сначала сумневались в истине сих показаний: приверженность разбойников к атаману была известна. Полагали, что они старались о его спасении. Но последствия их оправдали; грозные посещения, пожары и грабежи прекратились. Дороги стали свободны. По другим известиям узнали, что Дубровский скрылся за границу.

[Н. В. Гоголь](http://ilibrary.ru/author/gogol/index.html). [Вечера на хуторе близ Диканьки](http://ilibrary.ru/text/1088/index.html). [Часть первая](http://ilibrary.ru/text/1088/p.1/index.html).

**МАЙСКАЯ НОЧЬ, ИЛИ УТОПЛЕННИЦА**

Ворог його батька знає! почнуть що-небудь робить люди хрещенi, то мурдуютця, мурдуютця, мов хорти за зайцем, а все щось не до шмигу; тiльки ж куди чорт уплетецця, то верть хвостиком — так де воно й вiзмецця, ниначе з неба.

**I  
Ганна**

Звонкая песня лилась рекою по улицам села\*\*\*. Было то время, когда утомленные дневными трудами и заботами парубки и девушки шумно собирались в кружок, в блеске чистого вечера, выливать свое веселье в звуки, всегда неразлучные с уныньем. И задумавшийся вечер мечтательно обнимал синее небо, превращая все в неопределенность и даль. Уже и сумерки; а песни все не утихали. С бандурою в руках пробирался ускользнувший от песельников молодой козак Левко, сын сельского головы. На козаке решетиловская шапка. Козак идет по улице, бренчит рукою по струнам и подплясывает. Вон он тихо остановился перед дверью хаты, уставленной невысокими вишневыми деревьями. Чья же это хата? Чья это дверь? Немного помолчавши, заиграл он и запел:

Солнце низенько, вечiр близенько,  
Вийди до менє, мое серденько!

— Нет, видно, крепко заснула моя ясноокая красавица! — сказал козак, окончивши песню и приближаясь к окну. — Галю! Галю! ты спишь или не хочешь ко мне выйти? Ты боишься, верно, чтобы нас кто не увидел, или не хочешь, может быть, показать белое личико на холод! Не бойся: никого нет. Вечер тепел. Но если бы и показался кто, я прикрою тебя свиткою, обмотаю своим поясом, закрою рунами тебя — и никто нас не увидит. Но если бы и повеяло холодом, я прижму тебя поближе к сердцу, отогрею поцелуями, надену шапку свою на твои беленькие ножки. Сердце мое, рыбка моя, ожерелье! выгляни на миг. Просунь сквозь окошечко хоть белую ручку свою... Нет, ты не спишь, гордая дивчина! — проговорил он громче и таким голосом, каким выражает себя устыдившийся мгновенного унижения. — Тебе любо издеваться надо мною, прощай! Тут он отворотился, насунул набекрень свою шапку и гордо отошел от окошка, тихо перебирая струны бандуры. Деревянная ручка у двери в это время завертелась: дверь распахнулась со скрыпом, и девушка на поре семнадцатой весны, обвитая сумерками, робко оглядываясь и не выпуская деревянной ручки, переступила через порог. В полуясном мраке горели приветно, будто звездочки, ясные очи; блистало красное коралловое монисто, и от орлиных очей парубка не могла укрыться даже краска, стыдливо вспыхнувшая на щеках ее.— Какой же ты нетерпеливый, — говорила она ему вполголоса. — Уже и рассердился! Зачем выбрал ты такое время: толпа народу шатается то и дело по улицам... Я вся дрожу...— О, не дрожи, моя красная калиночка! Прижмись ко мне покрепче! — говорил парубок, обнимая ее, отбросив бандуру, висевшую на длинном ремне у него на шее, и садясь вместе с нею у дверей хаты. — Ты знаешь, что мне и часу не видать тебя горько.— Знаешь ли, что я думаю? — прервала девушка, задумчиво уставив в него свои очи. — Мне все что-то будто на ухо шепчет, что вперед нам не видаться так часто. Недобрые у вас люди: девушки все глядят так завистливо, а парубки... Я примечаю даже, что мать моя с недавней поры стала суровее приглядывать за мною. Признаюсь, мне веселее у чужих было.Какое-то движение тоски выразилось на лице ее при последних словах.— Два месяца только в стороне родной, и уже соскучилась! Может, и я надоел тебе?— О, ты мне не надоел, — молвила она, усмехнувшись. — Я тебя люблю, чернобровый козак! За то люблю, что у Тебя карие очи, и как поглядишь ты ими — у меня как будто на душе усмехается: и весело и хорошо ей; что приветливо моргаешь ты черным усом своим; что ты идешь по улице, поешь и играешь на бандуре, и любо слушать тебя.— О моя Галя! — вскрикнул парубок, целуя и прижимая ее сильнее к груди своей.— Постой! полно, Левко. Скажи наперед, говорил ли ты с отцом своим?— Что? — сказал он, будто проснувшись. — Что я хочу жениться, а ты выйти за меня замуж — говорил.Но как-то унывно зазвучало в устах его это слово «говорил».— Что же?— Что станешь делать с ним? Притворился старый хрен, по своему обыкновению, глухим: ничего не слышит и еще бранит, что шатаюсь Бог знает где, повесничаю и шалю с хлопцами по улицам. Но не тужи, моя Галю! Вот тебе слово козацкое, что уломаю его.— Да тебе только стоит, Левко, слово сказать — и все будет по-твоему. Я знаю это по себе: иной раз не послушала бы тебя, а скажешь слово — и невольно делаю, что тебе хочется. Посмотри, посмотри! — продолжала она, положив голову на плечо ему и подняв глаза вверх, где необъятно синело теплое украинское небо, завешенное снизу кудрявыми ветвями стоявших перед ними вишен. — Посмотри, вон-вон, далеко мелькнули звездочки: одна, другая, третья, четвертая, пятая... Не правда ли, ведь это ангелы Божии поотворяли окошечки своих светлых домиков на небе и глядят на нас? Да, Левко? Ведь это они глядят на нашу землю? Что, если бы у людей были крылья, как у птиц, — туда бы полететь, высоко, высоко... Ух, страшно! Ни один дуб у нас не достанет до неба. А говорят, однако же, есть где-то, в какой-то далекой земле, такое дерево, которое шумит вершиною в самом небе, и Бог сходит по нем на землю ночью перед Светлым праздником.— Нет, Галю; у Бога есть длинная лестница от неба до самой земли. Ее становят перед Светлым Воскресением святые архангелы; и как только Бог ступит на первую ступень, все нечистые духи полетят стремглав и кучами попадают в пекло, и оттого на Христов праздник ни одного злого духа не бывает на земле.— Как тихо колышется вода, будто дитя в люльке! — продолжала Ганна, указывая на пруд, угрюмо обставленный темным кленовым лесом и оплакиваемый вербами, потопившими в нем жалобные свои ветви. Как бессильный старец, держал он в холодных объятиях своих далекое, темное небо, обсыпая ледяными поцелуями огненные звезды, которые тускло реяли среди теплого ночного воздуха, как бы предчувствуя скорое появление блистательного царя ночи. Возле леса, на горе, дремал с закрытыми ставнями старый деревянный дом; мох и дикая трава покрывали его крышу; кудрявые яблони разрослись перед его окнами; лес, обнимая своею тенью, бросал на него дикую мрачность; ореховая роща стлалась у подножия его и скатывалась к пруду.— Я помню будто сквозь сон, — сказала Ганна, не спуская глаз с него, — давно, давно, когда я еще была маленькою и жила у матери, что-то страшное рассказывали про дом этот. Левко, ты, верно, знаешь, расскажи!..— Бог с ним, моя красавица! Мало ли чего не расскажут бабы и народ глупый. Ты себя только потревожишь, станешь бояться, и не заснется тебе покойно.— Расскажи, расскажи, милый, чернобровый парубок! — говорила она, прижимаясь лицом своим к щеке его и обнимая его. — Нет! ты, видно, не любишь меня, у тебя есть другая девушка. Я не буду бояться; я буду спокойно спать ночь. Теперь-то не засну, если не расскажешь. Я стану мучиться да думать... Расскажи, Левко!..— Видно, правду говорят люди, что у девушек сидит черт, подстрекающий их любопытство. Ну слушай. Давно, мое серденько, жил в этом доме сотник. У сотника была дочка, ясная панночка, белая, как снег, как твое личико. Сотникова жена давно уже умерла; задумал сотник жениться на другой. «Будешь ли ты меня нежить по-старому, батьку, когда возьмешь другую жену?» — «Буду, моя дочка; еще крепче прежнего стану прижимать тебя к сердцу! Буду, моя дочка; еще ярче стану дарить серьги и монисты!» Привез сотник молодую жену в новый дом свой. Хороша была молодая жена. Румяна и бела собою была молодая жена; только так страшно взглянула на свою падчерицу, что та вскрикнула, ее увидевши; и хоть бы слово во весь день сказала суровая мачеха. Настала ночь: ушел сотник с молодою женой в свою опочивальню; заперлась и белая панночка в своей светлице. Горько сделалось ей; стала плакать. Глядит: страшная черная кошка крадется к ней; шерсть на ней горит, и железные когти стучат по полу. В испуге вскочила она на лавку, — кошка за нею. Перепрыгнула на лежанку, — кошка и туда, и вдруг бросилась к ней на шею и душит ее. С криком оторвавши от себя, кинула ее на пол; опять крадется страшная кошка. Тоска ее взяла. На стене висела отцовская сабля. Схватила ее и бряк по полу — лапа с железными когтями отскочила, и кошка с визгом пропала в темном углу. Целый день не выходила из светлицы своей молодая жена; на третий день вышла с перевязанною рукой. Угадала бедная панночка, что мачеха ее ведьма и что она ей перерубила руку. На четвертый день приказал сотник своей дочке носить воду, мести хату, как простой мужичке, и не показываться в панские покои. Тяжело было бедняжке, да нечего делать: стала выполнять отцовскую волю. На пятый день выгнал сотник свою дочку босую из дому и куска хлеба не дал на дорогу. Тогда только зарыдала панночка, закрывши руками белое лицо свое: «Погубил ты, батьку, родную дочку свою! Погубила ведьма грешную душу твою! Прости тебя Бог; а мне, несчастной, видно, не велит Он жить на белом свете!..» И вон, видишь ли ты... — Тут оборотился Левко к Ганне, указывая пальцем на дом. — Гляди сюда: вон, подалее от дома, самый высокий берег! С этого берега кинулась панночка в воду, и с той поры не стало ее на свете...— А ведьма? — боязливо прервала Ганна, устремив на него прослезившиеся очи.— Ведьма? Старухи выдумали, что с той поры все утопленницы выходили в лунную ночь в панский сад греться на месяце; и сотникова дочка сделалась над ними главною. В одну ночь увидела она мачеху свою возле пруда, напала на нее и с криком утащила в воду. Но ведьма и тут нашлась: оборотилась под водою в одну из утопленниц и через то ушла от плети из зеленого тростника, которою хотели ее бить утопленницы. Верь бабам! Рассказывают еще, что панночка собирает всякую ночь утопленниц и заглядывает поодиночке каждой в лицо, стараясь узнать, которая из них ведьма; но до сих пор не узнала. И если попадется из людей кто, тотчас заставляет его угадывать, не то грозит утопить в воде. Вот, моя Галю, как рассказывают старые люди!.. Теперешний пан хочет строить на том месте винницу и прислал нарочно для того сюда винокура... Но я слышу говор. Это наши возвращаются с песен. Прощай, Галю! Спи спокойно; да не думай об этих бабьих выдумках!Сказавши это, он обнял ее крепче, поцеловал и ушел.— Прощай, Левко! — говорила Ганна, задумчиво вперив очи на темный лес.Огромный огненный месяц величественно стал в это время вырезываться из земли. Еще половина его была под землею, а уже весь мир исполнился какого-то торжественного света. Пруд тронулся искрами. Тень от деревьев ясно стала отделяться на темной зелени.— Прощай, Ганна! — раздались позади ее слова, сопровождаемые поцелуем.— Ты воротился! — сказала она, оглянувшись; но, увидев перед собою незнакомого парубка, отвернулась в сторону.— Прощай, Ганна! — раздалось снова, и снова поцеловал ее кто-то в щеку.— Вот принесла нелегкая и другого! — проговорила она с сердцем.— Прощай, милая Ганна!— Еще и третий!— Прощай! прощай! прощай, Ганна! — И поцелуи засыпали ее со всех сторон.— Да тут их целая ватага! — кричала Ганна, вырываясь из толпы парубков, наперерыв спешивших обнимать ее. — Как им не надоест беспрестанно целоваться! Скоро, ей-Богу, нельзя будет показаться на улице!Вслед за сими словами дверь захлопнулась, и только слышно было, как с визгом задвинулся железный засов.

#### **II Голова**

Знаете ли вы украинскую ночь? О, вы не знаете украинской ночи! Всмотритесь в нее. С середины неба глядит месяц. Необъятный небесный свод раздался, раздвинулся еще необъятнее. Горит и дышит он. Земля вся в серебряном свете; и чудный воздух и прохладно-душен, и полон неги, и движет океан благоуханий. Божественная ночь! Очаровательная ночь! Недвижно, вдохновенно стали леса, полные мрака, и кинули огромную тень от себя. Тихи и покойны эти пруды; холод и мрак вод их угрюмо заключен в темно-зеленые стены садов. Девственные чащи черемух и черешен пугливо протянули свои корни в ключевой холод и изредка лепечут листьями, будто сердясь и негодуя, когда прекрасный ветреник — ночной ветер, подкравшись мгновенно, целует их. Весь ландшафт спит. А вверху все дышит, все дивно, все торжественно. А на душе и необъятно, и чудно, и толпы серебряных видений стройно возникают в ее глубине. Божественная ночь! Очаровательная ночь! И вдруг все ожило: и леса, и пруды, и степи. Сыплется величественный гром украинского соловья, и чудится, что и месяц заслушался его посереди неба... Как очарованное, дремлет на возвышении село. Еще белее, еще лучше блестят при месяце толпы хат; еще ослепительнее вырезываются из мрака низкие их стены. Песни умолкли. Все тихо. Благочестивые люди уже спят. Где-где только светятся узенькие окна. Перед порогами иных только хат запоздалая семья совершает свой поздний ужин.— Да, гопак не так танцуется! То-то я гляжу, не клеится все. Что ж это рассказывает кум?.. А ну: гоп трала! гоп трала! гоп, гоп, гоп! — Так разговаривал сам с собою подгулявший мужик средних лет, танцуя по улице. — Ей-Богу, не так танцуется гопак! Что мне лгать! ей-Богу, не так! А ну: гоп трала! гоп трала! гоп трала! гоп, гоп, гоп!— Вот одурел человек! добро бы еще хлопец какой, а то старый кабан, детям на смех, танцует ночью по улице! — вскричала проходящая пожилая женщина, неся в руке солому. — Ступай в хату свою. Пора спать давно!— Я пойду! — сказал, остановившись, мужик. — Я пойду. Я не посмотрю на какого-нибудь голову. Что он думает, *дидъко б утысся его батькови!* что он голова, что он обливает людей на морозе холодною водою, так и нос поднял! Ну, голова, голова. Я сам себе голова. Вот убей меня Бог! Бог меня убей, я сам себе голова. Вот что, а не то что... — продолжал он, подходя к первой попавшейся хате, и остановился перед окошком, скользя пальцами по стеклу и стараясь найти деревянную ручку. — Баба, отворяй! Баба, живей, говорят тебе, отворяй! Козаку спать пора!— Куда ты, Каленик? Ты в чужую хату попал! — закричали, смеясь, позади его девушки, ворочавшиеся с веселых песней. — Показать тебе твою хату?— Покажите, любезные молодушки!— Молодушки? слышите ли, — подхватила одна, — какой учтивый Каленик! За это ему нужно показать хату... но нет, наперед потанцуй!— Потанцевать?.. эх вы, замысловатые девушки! — протяжно произнес Каленик, смеясь и грозя пальцем и оступаясь, потому что ноги его не могли держаться на одном месте. — А дадите перецеловать себя? Всех перецелую, всех!.. — И косвенными шагами пустился бежать за ними.Девушки подняли крик, перемешались; но после, ободрившись, перебежали на другую сторону, увидя, что Каленик не слишком был скор на ноги.— Вон твоя хата! — закричали они ему, уходя и показывая на избу, гораздо поболее прочих, принадлежавшую сельскому голове. Каленик послушно побрел в ту сторону, принимаясь снова бранить голову.Но кто же этот голова, возбудивший такие невыгодные о себе толки и речи? О, этот голова важное лицо на селе. Покамест Каленик достигнет конца пути своего, мы, без сомнения, успеем кое-что сказать о нем. Все село, завидевши его, берется за шапки; а девушки, самые молоденькие, отдают *добридень.* Кто бы из парубков не захотел быть головою! Голове открыт свободный вход во все тавлинки; и дюжий мужик почтительно стоит, снявши шапку, во все продолжение, когда голова запускает свои толстые и грубые пальцы в его лубочную табакерку. В мирской сходке, или громаде, несмотря на то что власть его ограничена несколькими голосами, голова всегда берет верх и почти по своей воле высылает, кого ему угодно, ровнять и гладить дорогу или копать рвы. Голова угрюм, суров с виду и не любит много говорить. Давно еще, очень давно, когда блаженной памяти великая царица Екатерина ездила в Крым, был выбран он в провожатые; целые два дни находился он в этой должности и даже удостоился сидеть на козлах с царицыным кучером. И с той самой поры еще голова выучился раздумно и важно потуплять голову, гладить длинные, закрутившиеся вниз усы и кидать соколиный взгляд исподлобья. И с той поры голова, об чем бы ни заговорили с ним, всегда умеет поворотить речь на то, как он вез царицу и сидел на козлах царской кареты. Голова любит иногда прикинуться глухим, особливо если услышит то, чего не хотелось бы ему слышать. Голова терпеть не может щегольства: носит всегда свитку черного домашнего сукна, перепоясывается шерстяным цветным поясом, и никто никогда не видал его в другом костюме, выключая разве только времени проезда царицы в Крым, когда на нем был синий козацкий жупан. Но это время вряд ли кто мог запомнить из целого села; а жупан держит он в сундуке под замком. Голова вдов; но у него живет в доме свояченица, которая варит обедать и ужинать, моет лавки, белит хату, прядет ему на рубашки и заведывает всем домом. На селе поговаривают, будто она совсем ему не родственница; но мы уже видели, что у головы много недоброжелателей, которые рады распускать всякую клевету. Впрочем, может быть, к этому подало повод и то, что свояченице всегда не нравилось, если голова заходил в поле, усеянное жницами, или к козаку, у которого была молодая дочка. Голова крив; на зато одинокий глаз его злодей и далеко может увидеть хорошенькую поселянку. Не прежде, однако ж, он наведет его на смазливое личико, пока не обсмотрится хорошенько, не глядит ли откуда свояченица. Но мы почти все уже рассказали, что нужно, о голове; а пьяный Каленик не добрался еще и до половины дороги и долго еще угощал голову всеми отборными словами, какие могли только вспасть на лениво и несвязно поворачивавшийся язык его.

#### **III Неожиданный соперник. Заговор**

— Нет, хлопцы, нет, не хочу! Что за разгулье такое! Как вам не надоест повесничать? И без того уже прослыли мы Бог знает какими буянами. Ложитесь лучше спать! — Так говорил Левко разгульным товарищам своим, подговаривавшим его на новые проказы. — Прощайте, братцы! покойная вам ночь! — и быстрыми шагами шел от них по улице.«Спит ли моя ясноокая Ганна?» — думал он, подходя к знакомой нам хате с вишневыми деревьями. Среди тишины послышался тихий говор. Левко остановился. Между деревьями забелела рубашка... «Что это значит?» — подумал он и, подкравшись поближе, спрятался за дерево. При свете месяца блистало лицо стоявшей перед ним девушки... Это Ганна! Но кто же этот высокий человек, стоявший к нему спиною? Напрасно обсматривал он: тень покрывала его с ног до головы. Спереди только он был освещен немного; но малейший шаг вперед Левка уже подвергал его неприятности быть открытым. Тихо прислонившись к дереву, решился он остаться на месте. Девушка ясно выговорила его имя.— Левко? Левко еще молокосос! — говорил хрипло и вполголоса высокий человек. — Если я встречу его когда-нибудь у тебя, я его выдеру за чуб...— Хотелось бы мне знать, какая это шельма похваляется выдрать меня за чуб! — тихо проговорил Левко и протянул шею, стараясь не проронить ни одного слова. Но незнакомец продолжал так тихо, что нельзя было ничего расслушать.— Как тебе не стыдно! — сказала Ганна по окончании его речи. — Ты лжешь; ты обманываешь меня; ты меня не любишь; я никогда не поверю, чтобы ты меня любил!— Знаю, — продолжал высокий человек, — Левко много наговорил тебе пустяков и вскружил твою голову (тут показалось парубку, что голос незнакомца не совсем незнаком и как будто он когда-то его слышал). Но я дам себя знать Левку! — продолжал все так же незнакомец. — Он думает, что я не вижу всех его шашней. Попробует он, собачий сын, каковы у меня кулаки.При сем слове Левко не мог уже более удержать своего гнева. Подошедши на три шага к нему, замахнулся он со всей силы, чтобы дать треуха, от которого незнакомец, несмотря на свою видимую крепость, не устоял бы, может быть, на месте; но в это время свет пал на лицо его, и Левко остолбенел, увидевши, что перед ним стоял отец его. Невольное покачивание головою и легкий сквозь зубы свист одни только выразили его изумление. В стороне послышался шорох; Ганна поспешно влетела в хату, захлопнув за собою дверь.— Прощай, Ганна! — закричал в это время один из парубков, подкравшись и обнявши голову; и с ужасом отскочил назад, встретивши жесткие усы.— Прощай, красавица! — вскричал другой; но на сей раз полетел стремглав от тяжелого толчка головы.— Прощай, прощай, Ганна! — закричало несколько парубков, повиснув ему на шею.— Провалитесь, проклятые сорванцы! — кричал голова, отбиваясь и притопывая на них ногами. — Что я вам за Ганна! Убирайтесь вслед за отцами на виселицу, чертовы дети! Поприставали, как мухи к меду! Дам я вам Ганны!..— Голова! Голова! это голова! — закричали хлопцы и разбежались во все стороны.— Ай да батько! — говорил Левко, очнувшись от своего изумления и глядя вслед уходившему с ругательствами голове. — Вот какие за тобою водятся проказы! славно! А я дивлюсь да передумываю, что б это значило, что он все притворяется глухим, когда станешь говорить о деле. Постой же, старый хрен, ты у меня будешь знать, как шататься под окнами молодых девушек, будешь знать, как отбивать чужих невест! Гей, хлопцы! сюда! сюда! — кричал он, махая рукою к парубкам, которые снова собирались в кучу. — Ступайте сюда! Я увещевал вас идти спать, но теперь раздумал и готов хоть целую ночь сам гулять с вами.— Вот это дело! — сказал плечистый и дородный парубок, считавшийся первым гулякой и повесой на селе. — Мне все кажется тошно, когда не удается погулять порядком и настроить штук. Все как будто недостает чего-то. Как будто потерял шапку или люльку; словом, не козак, да и только.— Согласны ли вы побесить хорошенько сегодня голову?— Голову?— Да, голову. Что он, в самом деле, задумал! Он управляется у нас, как будто гетьман какой. Мало того что помыкает, как своими холопьями, еще и подъезжает к дивчатам нашим. Ведь, я думаю, на всем селе нет смазливой девки, за которою бы не волочился голова.— Это так, это так, — закричали в один голос все хлопцы.— Что ж мы, ребята, за холопья? Разве мы не такого роду, как и он? Мы, слава Богу, вольные козаки! Покажем ему, хлопцы, что мы вольные козаки!— Покажем! — закричали парубки. — Да если голову, то и писаря не минуть!— Не минем и писаря! А у меня, как нарочно, сложилась в уме славная песня про голову. Пойдемте, я вас ее выучу, — продолжал Левко, ударив рукою по струнам бандуры. — Да слушайте: попереодевайтесь, кто во что ни попало!— Гуляй, козацкая голова! — говорил дюжий повеса, ударив ногою в ногу и хлопнув руками. — Что за роскошь! Что за воля! Как начнешь беситься — чудится, будто поминаешь давние годы. Любо, вольно на сердце; а душа как будто в раю. Гей, хлопцы! Гей, гуляй!..И толпа шумно понеслась по улицам. И благочестивые старушки, пробужденные криком, подымали окошки и крестились сонными руками, говоря: «Ну, теперь гуляют парубки!»

#### **IV Парубки гуляют**

Одна только хата светилась еще в конце улицы. Это жилище головы. Голова уже давно окончил свой ужин и, без сомнения, давно бы уже заснул; но у него был в это время гость, винокур, присланный строить винокурню помещиком, имевшим небольшой участок земли между вольными козаками. Под самым покутом, на почетном месте, сидел гость — низенький, толстенький человечек с маленькими, вечно смеющимися глазками, в которых, кажется, написано было то удовольствие, с каким курил он свою коротенькую люльку, поминутно сплевывая и придавливая пальцем вылезавший за нее превращенный в золу табак. Облака дыма быстро разрастались над ним, одевая его в сизый туман. Казалось, будто широкая труба с какой-нибудь винокурни, наскуча сидеть на своей крыше, задумала прогуляться и чинно уселась за столом в хате головы. Под носом торчали у него коротенькие и густые усы; но они так неясно мелькали сквозь табачную атмосферу, что казались мышью, которую винокур поймал и держал во рту своем, подрывая монополию амбарного кота. Голова, как хозяин, сидел в одной только рубашке и полотняных шароварах. Орлиный глаз его, как вечереющее солнце, начинал мало-помалу жмуриться и меркнуть. На конце стола курил люльку один из сельских десятских, составлявших команду головы, сидевший из почтения к хозяину в свитке.— Скоро же вы думаете, — сказал голова, оборотившись к винокуру и кладя крест на зевнувший рот свой, — поставить вашу винокурню?— Когда Бог поможет, то сею осенью, может, и закурим. На Покров, бьюсь об заклад, что пан голова будет писать ногами немецкие крендели по дороге.По произнесении сих слов глазки винокура пропали; вместо их протянулись лучи до самых ушей; все туловище стало колебаться от смеха, и веселые губы оставили на мгновение дымившуюся люльку.— Дай Бог, — сказал голова, выразив на лице своем что-то подобное улыбке. — Теперь еще, слава Богу, винниц развелось немного. А вот в старое время, когда провожал я царицу по Переяславской дороге, еще покойный Безбородько...— Ну, сват, вспомнил время! Тогда от Кременчуга до самых Ромен не насчитывали и двух винниц. А теперь... Слышал ли ты, что повыдумали проклятые немцы? Скоро, говорят, будут курить не дровами, как все честные христиане, а каким-то чертовским паром. — Говоря эти слова, винокур в размышлении глядел на стол и на расставленные на нем руки свои. — Как это паром — ей-Богу не знаю!— Что за дурни, прости Господи, эти немцы! — сказал голова. — Я бы батогом их, собачьих детей! Слыханное ли дело, чтобы паром можно было кипятить что! Поэтому ложку борщу нельзя поднести ко рту, не изжаривши губ, вместо молодого поросенка...— И ты, сват, — отозвалась сидевшая на лежанке, поджавши под себя ноги, свояченица, — будешь все это время жить у нас без жены?— А для чего она мне? Другое дело, если бы что доброе было.— Будто не хороша? — спросил голова, устремив на него глаз свой.— Куды тебе хороша! *Стара як бис.* Харя вся в морщинах, будто выпорожненный кошелек. — И низенькое строение винокура расшаталось снова от громкого смеха.В это время что-то стало шарить за дверью; дверь растворилась, и мужик, не снимая шапки, ступил за порог и стал, как будто в раздумье, посреди хаты, разинувши рот и оглядывая потолок. Это был знакомец наш, Каленик.— Вот я и домой пришел! — говорил он, садясь на лавку у дверей и не обращая никакого внимания на присутствующих. — Вишь, как растянул вражий сын, сатана, дорогу! Идешь, идешь, и конца нет! Ноги как будто переломал кто-нибудь. Достань-ка там, баба, тулуп, подостлать мне. На печь к тебе не приду, ей-Богу, не приду: ноги болят! Достань его, там он лежит, близ покута; гляди только, не опрокинь горшка с тертым табаком. Или нет, не тронь, не тронь! Ты, может быть, пьяна сегодня... Пусть, уже я сам достану.Каленик приподнялся немного, но неодолимая сила приковала его к скамейке.— За это люблю, — сказал голова, — пришел в чужую хату и распоряжается, как дома! Выпроводить его подобру-поздорову!..— Оставь, сват, отдохнуть! — сказал винокур, удерживая его за руку. — Это полезный человек; побольше такого народу — и Винница наша славно бы пошла...Однако ж не добродушие вынудило эти слова. Винокур верил всем приметам, и тотчас прогнать человека, уже севшего на лавку, значило у него накликать беду.— Что-то как старость придет!.. — ворчал Каленик, ложась на лавку. — Добро бы, еще сказать, пьян; так нет же, не пьян. Ей-Богу, не пьян! Что мне лгать! Я готов объявить это хоть самому голове. Что мне голова? Чтоб он издохнул, собачий сын! Я плюю на него! Чтоб его, одноглазого черта, возом переехало! Что он обливает людей на морозе...— Эге! влезла свинья в хату, да и лапы сует на стол, — сказал голова, гневно подымаясь с своего места; но в это время увесистый камень, разбивши окно вздребезги, полетел ему под ноги. Голова остановился. — Если бы я знал, — говорил он, подымая камень, — какой это висельник швырнул, я бы выучил его, как кидаться! Экие проказы! — продолжал он, рассматривая его на руке пылающим взглядом. — Чтобы он подавился этим камнем...— Стой, стой! Боже тебя сохрани, сват! — подхватил, побледневши, винокур. — Боже сохрани тебя, и на том и на этом свете, поблагословить кого-нибудь такою побранкою!— Вот нашелся заступник! Пусть он пропадет!..— И не думай, сват! Ты не знаешь, верно, что случилось с покойною тещею моей?— С тещей?— Да, с тещей. Вечером, немного, может, раньше теперешнего, уселись вечерять: покойная теща, покойный тесть, да наймыт, да наймычка, да детей штук с пятеро. Теща отсыпала немного галушек из большого казана в миску, чтобы не так были горячи. После работ все проголодались и не хотели ждать, пока простынут. Вздевши на длинные деревянные спички галушки, начали есть. Вдруг откуда ни возьмись человек, — какого он роду, Бог его знает, — просит и его допустить к трапезе. Как не накормить голодного человека! Дали и ему спичку. Только гость упрятывает галушки, как корова сено. Покамест те съели по одной и опустили спички за другими, дно было гладко, как панский помост. Теща насыпала еще; думает, гость наелся и будет убирать меньше. Ничего не бывало. Еще лучше стал уплетать! и другую выпорожнил! «А чтоб ты подавился этими галушками!» — подумала голодная теща; как вдруг тот поперхнулся и упал. Кинулись к нему — и дух вон. Удавился.— Так ему, обжоре проклятому, и нужно! — сказал голова.— Так бы, да не так вышло: с того времени покою не было теще. Чуть только ночь, мертвец и тащится. Сядет верхом на трубу, проклятый, и галушку держит в зубах. Днем все покойно, и слуху нет про него; а только станет примеркать — погляди на крышу, уже и оседлал, собачий сын, трубу.— И галушка в зубах?— И галушка в зубах.— Чудно, сват! Я слыхал что-то похожее еще за покойницу царицу...Тут голова остановился. Под окном послышался шум и топанье танцующих. Сперва тихо звукнули струны бандуры, к ним присоединился голос. Струны загремели сильнее; несколько голосов стали подтягивать, и песня зашумела вихрем:

Хлопцы, слышали ли вы?  
Наши ль головы не крепки!  
У кривого головы  
В голове расселись клепки.  
Набей, бондарь, голову  
Ты стальными обручами!  
Вспрысни, бондарь, голову  
Батогами, батогами!  
Голова наш сед и крив;  
Стар, как бес, а что за дурень!  
Прихотлив и похотлив:  
Жмется к девкам... Дурень, дурень!  
И тебе лезть к парубкам!  
Тебя б нужно в домовину,  
По усам да по шеям!  
За чуприну! за чуприну!

— Славная песня, сват! — сказал винокур, наклоня немного набок голову и оборотившись к голове, остолбеневшему от удивления при виде такой дерзости. — Славная! Скверно только, что голову поминают не совсем благопристойными словами... — И опять положил руки на стол с каким-то сладким умилением в глазах, приготовляясь слушать еще, потому что под окном гремел хохот и крики: «Снова! снова!» Однако ж проницательный глаз увидел бы тотчас, что не изумление удерживало долго голову на одном месте. Так только старый, опытный кот допускает иногда неопытной мыши бегать около своего хвоста; а между тем быстро созидает план, как перерезать ей путь в свою нору. Еще одинокий глаз головы был устремлен на окно, а уже рука, давши знак десятскому, держалась за деревянную ручку двери, и вдруг на улице поднялся крик... Винокур, к числу многих достоинств своих присоединявший и любопытство, быстро набивши табаком свою люльку, выбежал на улицу; но шалуны уже разбежались.«Нет, ты не ускользнешь от меня!» — кричал голова, таща за руку человека в вывороченном шерстью вверх овчинном черном тулупе. Винокур, пользуясь временем, подбежал, чтобы посмотреть в лицо этому нарушителю спокойствия, но с робостию попятился назад, увидевши длинную бороду и страшно размалеванную рожу. «Нет, ты не ускользнешь от меня!» — кричал голова, продолжая тащить своего пленника прямо в сени, который, не оказывая никакого сопротивления, спокойно следовал за ним, как будто в свою хату.— Карпо, отворяй комору! — сказал голова десятскому. — Мы его в темную комору! А там разбудим писаря, соберем десятских, переловим всех этих буянов и сегодня же и резолюцию всем им учиним.Десятский забренчал небольшим висячим замком в сенях и отворил комору. В это самое время пленник, пользуясь темнотою сеней, вдруг вырвался с необыкновенною силою из рук его.— Куда? — закричал голова, ухватив его еще крепче за ворот.— Пусти, это я! — слышался тоненький голос.— Не поможет! не поможет, брат! Визжи себе хоть чертом, не только бабою, меня не проведешь! — и толкнул его в темную комору так, что бедный пленник застонал, упавши на пол, а сам в сопровождении десятского отправился в хату писаря, и вслед за ними, как пароход, задымился винокур.В размышлении шли они все трое, потупив головы, и вдруг, на повороте в темный переулок, разом вскрикнули от сильного удара по лбам, и такой же крик отгрянул в ответ им. Голова, прищуривши глаз свой, с изумлением увидел писаря с двумя десятскими.— А я к тебе иду, пан писарь.— А я к твоей милости, пан голова.— Чудеса завелися, пан писарь.— Чудные дела, пан голова.— А что?— Хлопцы бесятся! бесчинствуют целыми кучами по улицам. Твою милость величают такими словами... словом, сказать стыдно; пьяный москаль побоится вымолвить их нечестивым своим языком. (Все это худощавый писарь, в пестрядевых шароварах и жилете цвету винных дрожжей, сопровождал протягиванием шеи вперед и приведением ее тот же час в прежнее состояние.) Вздремнул было немного, подняли с постели проклятые сорванцы своими срамными песнями и стуком! Хотел было хорошенько приструнить их, да, покамест надел шаровары и жилет, все разбежались куда ни попало. Самый главный, однако ж, не увернулся от нас. Распевает он теперь в той хате, где держат колодников. Душа горела у меня узнать эту птицу, да рожа замазана сажею, как у черта, что кует гвозди для грешников.— А как он одет, пан писарь?— В черном вывороченном тулупе, собачий сын, пан голова.— А не лжешь ли ты, пан писарь? Что, если этот сорванец сидит теперь у меня в коморе?— Нет, пан голова. Ты сам, не во гнев будь сказано, погрешил немного.— Давайте огня! мы посмотрим его!Огонь принесли, дверь отперли, и голова ахнул от удивления, увидев перед собою свояченицу.— Скажи пожалуйста, — с такими словами она приступила к нему, — ты не свихнул еще с последнего ума? Была ли в одноглазой башке твоей хоть капля мозгу, когда толкнул ты меня в темную комору? счастье, что не ударилась головою об железный крюк. Разве я не кричала тебе, что это я? Схватил, проклятый медведь, своими железными лапами, да и толкает! Чтоб тебя на том свете толкали черти!..Последние слова вынесла она за дверь на улицу, куда отправилась для каких-нибудь своих причин.— Да, я вижу, что это ты! — сказал голова, очнувшись. — Что скажешь, пан писарь, не шельма этот проклятый сорвиголова?— Шельма, пан голова.— Не пора ли нам всех этих повес прошколить хорошенько и заставить их заниматься делом?— Давно пора, давно пора, пан голова.— Они, дурни, забрали себе... Кой черт? мне почудился крик свояченицы на улице; они, дурни, забрали себе в голову, что я им ровня. Они думают, что я какой-нибудь их брат, простой козак! — Небольшой последовавший за сим кашель и устремление глаза исподлобья вокруг давало догадываться, что голова готовится говорить о чем-то важном. — В тысячу... этих проклятых названий годов, хоть убей, не выговорю; ну, году, комиссару тогдашнему *Ледачему*дан был приказ выбрать из козаков такого, который бы был посмышленее всех. О! — это «о!» голова произнес, поднявши палец вверх, — посмышленее всех! в проводники к царице. Я тогда...— Что и говорить! Это всякий уже знает, пан голова. Все знают, как ты выслужил царскую ласку. Признайся теперь, моя правда вышла: хватил немного на душу греха, сказавши, что поймал этого сорванца в вывороченном тулупе?— А что до этого дьявола в вывороченном тулупе, то его, в пример другим, заковать в кандалы и наказать примерно. Пусть знают, что значит власть! От кого же и голова поставлен, как не от царя? Потом доберемся и до других хлопцев: я не забыл, как проклятые сорванцы вогнали в огород стадо свиней, переевших мою капусту и огурцы; я не забыл, как чертовы дети отказались вымолотить мое жито; я не забыл... Но провались они, мне нужно непременно узнать, какая это шельма в вывороченном тулупе.— Это проворная, видно, птица! — сказал винокур, которого щеки в продолжение всего этого разговора беспрерывно заряжались дымом, как осадная пушка, и губы, оставив коротенькую люльку, выбросили целый облачный фонтан. — Эдакого человека не худо, на всякий случай, и при виннице держать; а еще лучше повесить на верхушке дуба вместо паникадила.— Такая острота показалась не совсем глупою винокуру, и он тот же час решился, не дожидаясь одобрения других, наградить себя хриплым смехом.В это время стали приближаться они к небольшой, почти повалившейся на землю хате; любопытство наших путников увеличилось. Все столпились у дверей. Писарь вынул ключ, загремел им около замка; но этот ключ был от сундука его. Нетерпение увеличилось. Засунув руку, начал он шарить и сыпать побранки, не отыскивая его. «Здесь!» — сказал он наконец, нагнувшись и вынимая его из глубины обширного кармана, которым снабжены были его пестрядевые шаровары. При этом слове сердца наших героев, казалось, слились в одно, и это огромное сердце забилось так сильно, что неровный стук его не был заглушен даже брякнувшим замком. Двери отворились, и... Голова стал бледен как полотно; винокур почувствовал холод, и волосы его, казалось, хотели улететь на небо; ужас изобразился в лице писаря; десятские приросли к земле и не в состоянии были сомкнуть дружно разинутых ртов своих: перед ними стояла свояченица.Изумленная не менее их, она, однако ж, немного очнулась и сделала движение, чтобы подойти к ним.— Стой! — закричал диким голосом голова и захлопнул за нею дверь. — Господа! это сатана! — продолжал он. — Огня! живее огня! Не пожалею казенной хаты! Зажигай ее, зажигай, чтобы и костей чертовых не осталось на земле.Свояченица в ужасе кричала, слыша за дверью грозное определение.— Что вы, братцы! — говорил винокур. — Слава Богу, волосы у вас чуть не в снегу, а до сих пор ума не нажили: от простого огня ведьма не загорится! Только огонь из люльки может зажечь оборотня. Постойте, я сейчас все улажу!Сказавши это, высыпал он горячую золу из трубки в пук соломы и начал раздувать ее. Отчаяние придало в это время духу бедной свояченице, громко стала она умолять и разуверять их.— Постойте, братцы! Зачем напрасно греха набираться; может быть, это и не сатана, — сказал писарь. — Если оно, то есть то самое, которое сидит там, согласится положить на себя крестное знамение, то это верный знак, что не черт.Предложение одобрено.— Чур меня, сатана! — продолжал писарь, приложась губами к скважине в дверях. — Если не пошевелишься с места, мы отворим дверь.Дверь отворили.— Перекрестись! — сказал голова, оглядываясь назад, как будто выбирая безопасное место в случае ретирады.Свояченица перекрестилась.— Кой черт! Точно, это свояченица!— Какая нечистая сила затащила тебя, кума, в эту конуру?И свояченица, всхлипывая, рассказала, как схватили ее хлопцы в охапку на улице и, несмотря на сопротивление, опустили в широкое окно хаты и заколотили ставнем. Писарь взглянул: петли у широкого ставня оторваны, и он приколочен только сверху деревянным брусом.— Добро ты, одноглазый сатана! — вскричала она, приступив к голове, который попятился назад и все еще продолжал ее мерять своим глазом. — Я знаю твой умысел: ты хотел, ты рад был случаю сжечь меня, чтобы свободнее было волочиться за дивчатами, чтобы некому было видеть, как дурачится седой дед. Ты думаешь, я не знаю, о чем говорил ты сего вечера с Ганною? О! я знаю все. Меня трудно провесть и не твоей бестолковой башке. Я долго терплю, но после не прогневайся...Сказавши это, она показала кулак и быстро ушла, оставив в остолбенении голову. «Нет, тут не на шутку сатана вмешался», — думал он, сильно почесывая свою макушу.— Поймали! — вскрикнули вошедшие в это время десятские.— Кого поймали? — спросил голова.— Дьявола в вывороченном тулупе.— Подавайте его! — закричал голова, схватив за руки приведенного пленника. — Вы с ума сошли: да это пьяный Каленик!— Что за пропасть! в руках наших был, пан голова! — отвечали десятские. — В переулке окружили проклятые хлопцы, стали танцевать, дергать, высовывать языки, вырывать из рук... черт с вами! И как мы попали на эту ворону вместо его, Бог один знает!— Властью моей и всех мирян дается повеление, — сказал голова, — изловить сей же миг сего разбойника; а оным образом и всех, кого найдете на улице, и привесть на расправу ко мне!..— Помилуй, пан голова! — закричали некоторые, кланяясь в ноги. — Увидел бы ты, какие хари: убей Бог нас, и родились и крестились — не видали таких мерзких рож. Долго ли до греха, пан голова, перепугают доброго человека так, что после ни одна баба не возьмется вылить переполоху.— Дам я вам переполоху! Что вы? не хотите слушаться? Вы, верно, держите их руку! Вы бунтовщики? Что это?.. Да, что это?.. Вы заводите разбои!.. Вы... Я донесу комиссару! Сей же час! слышите, сей же час. Бегите, летите птицею! Чтоб я вас... Чтоб вы мне...Все разбежались.

#### **V Утопленница**

Не беспокоясь ни о чем, не заботясь о разосланных погонях, виновник всей этой кутерьмы медленно подходил к старому дому и пруду. Не нужно, думаю, сказывать, что это был Левко. Черный тулуп его был расстегнут. Шапку держал он в руке. Пот валил с него градом. Величественно и мрачно чернел кленовый лес, стоявший лицом к месяцу. Неподвижный пруд подул свежестью на усталого пешехода и заставил его отдохнуть на берегу. Все было тихо; в глубокой чаще леса слышались только раскаты соловья. Непреодолимый сон быстро стал смыкать ему зеницы; усталые члены готовы были забыться и онеметь; голова клонилась... «Нет, эдак я засну еще здесь!» — говорил он, подымаясь на ноги и протирая глаза. Оглянулся: ночь казалась перед ним еще блистательнее. Какое-то странное, упоительное сияние примешалось к блеску месяца. Никогда еще не случалось ему видеть подобного. Серебряный туман пал на окрестность. Запах от цветущих яблонь и ночных цветов лился по всей земле. С изумлением глядел он в неподвижные воды пруда: старинный господский дом, опрокинувшись вниз, виден был в нем чист и в каком-то ясном величии. Вместо мрачных ставней глядели веселые стеклянные окна и двери. Сквозь чистые стекла мелькала позолота. И вот почудилось, будто окно отворилось. Притаивши дух, не дрогнув и не спуская глаз с пруда, он, казалось, переселился в глубину его и видит: наперед белый локоть выставился в окно, потом выглянула приветливая головка с блестящими очами, тихо светившими сквозь темно-русые волны волос, и оперлась на локоть. И видит: она качает слегка головою, она машет, она усмехается... Сердце его разом забилось... Вода задрожала, и окно закрылось снова. Тихо отошел он от пруда и взглянул на дом: мрачные ставни были открыты; стекла сияли при месяце. «Вот как мало нужно полагаться на людские толки, — подумал он про себя. — Дом новехонький; краски живы, как будто сегодня он выкрашен. Тут живет кто-нибудь», — и молча подошел он ближе, но все было в нем тихо. Сильно и звучно перекликались блистательные песни соловьев, и когда они, казалось, умирали в томлении и неге, слышался шелест и трещание кузнечиков или гудение болотной птицы, ударявшей скользким носом своим в широкое водное зеркало. Какую-то сладкую тишину и раздолье ощутил Левко в своем сердце. Настроив бандуру, заиграл он и запел:

Ой ти, мiсяцю, мiй мiсяченьку!  
        I ти, зоре ясна?  
Ой свiтiть там по подвiр'ï,  
        Де дiвчина красна.

Окно тихо отворилось, и та же самая головка, которой отражение видел он в пруде, выглянула, внимательно прислушиваясь к песне. Длинные ресницы ее были полуопущены на глаза. Вся она была бледна, как полотно, как блеск месяца; но как чудна, как прекрасна! Она засмеялась... Левко вздрогнул.— Спой мне, молодой козак, какую-нибудь песню! — тихо молвила она, наклонив свою голову набок и опустив совсем густые ресницы.— Какую же тебе песню спеть, моя ясная панночка?Слезы тихо покатились по бледному лицу ее.— Парубок, — говорила она, и что-то неизъяснимо трогательное слышалось в ее речи. — Парубок, найди мне мою мачеху! Я ничего не пожалею для тебя. Я награжу тебя. Я тебя богато и роскошно награжу! У меня есть зарукавья, шитые шелком, кораллы, ожерелья. Я подарю тебе пояс, унизанный жемчугом. У меня золото есть... Парубок, найди мне мою мачеху! Она страшная ведьма: мне не было от нее покою на белом свете. Она мучила меня, заставляла работать, как простую мужичку. Посмотри на лицо: она вывела румянец своими нечистыми чарами с щек моих. Погляди на белую шею мою: они не смываются! они не смываются! они ни за что не смоются, эти синие пятна от железных когтей ее. Погляди на белые ноги мои: они много ходили; не по коврам только, по песку горячему, по земле сырой, по колючему терновнику они ходили; а на очи мои, посмотри на очи: они не глядят от слез... Найди ее, парубок, найди мне мою мачеху!..Голос ее, который вдруг было возвысился, остановился. Ручьи слез покатились по бледному лицу. Какое-то тяжелое, полное жалости и грусти чувство сперлось в груди парубка.— Я готов на все для тебя, моя панночка! — сказал он в сердечном волнении, — но как мне, где ее найти?— Посмотри, посмотри! — быстро говорила она, — она здесь! она на берегу играет в хороводе между моими девушками и греется на месяце. Но она лукава и хитра. Она приняла на себя вид утопленницы; но я знаю, но я слышу, что она здесь. Мне тяжело, мне душно от ней. Я не могу чрез нее плавать легко и вольно, как рыба. Я тону и падаю на дно, как ключ. Отыщи ее, парубок!Левко посмотрел на берег: в тонком серебряном тумане мелькали легкие, как будто тени, девушки в белых, как луг, убранный ландышами, рубашках; золотые ожерелья, монисты, дукаты блистали на их шеях; но они были бледны; тело их было как будто сваяно из прозрачных облак и будто светилось насквозь при серебряном месяце. Хоровод, играя, придвинулся к нему ближе. Послышались голоса.— Давайте в ворона, давайте играть в ворона! — зашумели все, будто приречный тростник, тронутый в тихий час сумерек воздушными устами ветра.— Кому же быть вороном?Кинули жребий — и одна девушка вышла из толпы. Левко принялся разглядывать ее. Лицо, платье — все на ней такое же, как и на других. Заметно только было, что она неохотно играла эту роль. Толпа вытянулась вереницею и быстро перебегала от нападений хищного врага.— Нет, я не хочу быть вороном! — сказала девушка, изнемогая от усталости. — Мне жалко отнимать цыпленков у бедной матери!«Ты не ведьма!» — подумал Левко.— Кто же будет вороном?Девушки снова собрались кинуть жребий.— Я буду вороном! — вызвалась одна из средины.Левко стал пристально вглядываться в лицо ей. Скоро и смело гналась она за вереницею и кидалась во все стороны, чтобы изловить свою жертву. Тут Левко стая замечать, что тело ее не так светилось, как у прочих: внутри его виделось что-то черное. Вдруг раздался крик: ворон бросился на одну из вереницы, схватил ее, и Левку почудилось, будто у ней выпустились когти и на лице ее сверкнула злобная радость.— Ведьма! — сказал он, вдруг указав на нее пальцем и оборотившись к дому.Панночка засмеялась, и девушки с криком увели за собою представлявшую ворона.— Чем наградить тебя, парубок? Я знаю, тебе не золото нужно: ты любишь Ганну; но суровый отец мешает тебе жениться на ней. Он теперь не помешает; возьми, отдай ему эту записку...Белая ручка протянулась, лицо ее как-то чудно засветилось и засияло... С непостижимым трепетом и томительным биением сердца схватил он записку и... проснулся.

#### **VI Пробуждение**

— Неужели это я спал? — сказал про себя Левко, вставая с небольшого пригорка. — Так живо, как будто наяву!.. Чудно, чудно!.. — повторил он, оглядываясь.Месяц, остановившийся над его головою, показывал полночь; везде тишина; от пруда веял холод; над ним печально стоял ветхий дом с закрытыми ставнями; мох и дикий бурьян показывали, что давно из него удалились люди. Тут он разогнул свою руку, которая судорожно была сжата во все время сна, и вскрикнул от изумления, почувствовавши в ней записку. «Эх, если бы я знал грамоте!» — подумал он, оборачивая ее перед собою на все стороны. В это мгновение послышался позади его шум.— Не бойтесь, прямо хватайте его! Чего струсили? нас десяток. Я держу заклад, что это человек, а не черт! — так кричал голова своим сопутникам, и Левко почувствовал себя схваченным несколькими руками, из которых иные дрожали от страха. — Скидывай-ка, приятель, свою страшную личину! Полно тебе дурачить людей! — проговорил голова, ухватив его за ворот, и оторопел, выпучив на него глаз свой. — Левко, сын! — вскричал он, отступая от удивления и опуская руки. — Это ты, собачий сын! вишь, бесовское рождение! Я думаю, какая это шельма, какой это вывороченный дьявол строит шутки! А это, выходит, все ты, невареный кисель твоему батьке в горло, изволишь заводить по улице разбои, сочиняешь песни!.. Эге-ге-ге, Левко! А что это? Видно, чешется у тебя спина! Вязать его!— Постой, батько! велено тебе отдать эту записочку, — проговорил Левко.— Не до записок теперь, голубчик! Вязать его!— Постой, пан голова! — сказал писарь, развернув записку, — Комиссарова рука!— Комиссара?— Комиссара? — повторили машинально десятские.«Комиссара? чудно! еще непонятнее!» — подумал про себя Левко.— Читай, читай! — сказал голова, — что там пишет комиссар?— Послушаем, что пишет комиссар! — произнес винокур, держа в зубах люльку и высекая огонь.Писарь откашлялся и начал читать:— «Приказ голове, Евтуху Макогоненку. Дошло до нас, что ты, старый дурак, вместо того чтобы собрать прежние недоимки и вести на селе порядок, одурел и строишь пакости...»— Вот, ей-Богу! — прервал голова, — ничего не слышу!Писарь начал снова:— «Приказ голове, Евтуху Макогоненку. Дошло до нас, что ты, старый ду...»— Стой, стой! не нужно! — закричал голова, — я хоть и не слышал, однако ж знаю, что главного тут дела еще нет. Читай далее!— «А вследствие того, приказываю тебе сей же час женить твоего сына, Левка Макогоненка, на козачке из вашего же села, Ганне Петрыченковой, а также починить мосты на столбовой дороге и не давать обывательских лошадей без моего ведома судовым паничам, хотя бы они ехали прямо из казенной палаты. Если же, по приезде моем, найду оное приказание мое не приведенным в исполнение, то тебя одного потребую к ответу. Комиссар, отставной поручик *Козьма Деркач-Дришпановский».*— Вот что! — сказал голова, разинувши рот. — Слышите ли вы, слышите ли: за все с головы спросят, и потому слушаться! беспрекословно слушаться! не то, прошу извинить... А тебя, — продолжал он, оборотясь к Левку, — вследствие приказания комиссара, — хотя чудно мне, как это дошло до него, — я женю; только наперед попробуешь ты нагайки! Знаешь — ту, что висит у меня на стене возле покута? Я поновлю ее завтра... Где ты взял эту записку?Левко, несмотря на изумление, происшедшее от такого нежданного оборота его дела, имел благоразумие приготовить в уме своем другой ответ и утаить настоящую истину, каким образом досталась записка.— Я отлучался, — сказал он, — вчера ввечеру еще в город и встретил комиссара, вылезавшего из брички. Узнавши, что я из нашего села, дал он мне эту записку и велел на словах тебе сказать, батько, что заедет на возвратном пути к нам пообедать.— Он это говорил?— Говорил.— Слышите ли? — говорил голова с важною осанкою, оборотившись к своим сопутникам, — комиссар сам своею особою приедет к нашему брату, то есть ко мне, на обед! О! — Тут голова поднял палец вверх и голову привел в такое положение, как будто бы она прислушивалась к чему-нибудь. — Комиссар, слышите ли, комиссар приедет ко мне обедать! Как думаешь, пан писарь, и ты, сват, это не совсем пустая честь! Не правда ли?— Еще, сколько могу припомнить, — подхватил писарь, — ни один голова не угощал комиссара обедом.— Не всякий голова голове чета! — произнес с самодовольным видом голова. Рот его покривился, и что-то вроде тяжелого, хриплого смеха, похожего более на гудение отдаленного грома, зазвучало в его устах. — Как думаешь, пан писарь, нужно бы для именитого гостя дать приказ, чтобы с каждой хаты принесли хоть по цыпленку, ну, полотна, еще кое-чего... А?— Нужно бы, нужно, пан голова!— А когда же свадьбу, батько? — спросил Левко.— Свадьбу? Дал бы я тебе свадьбу!.. Ну, да для именитого гостя... завтра вас поп и обвенчает. Черт с вами! Пусть комиссар увидит, что значит исправность! Ну, ребята, теперь спать! Ступайте по домам!.. Сегодняшний случай припомнил мне то время, когда я... — При сих словах голова пустил обыкновенный свой важный и значительный взгляд исподлобья.— Ну, теперь пойдет голова рассказывать, как вез царицу! — сказал Левко и быстрыми шагами и радостно спешил к знакомой хате, окруженной низенькими вишнями. «Дай тебе Бог Небесное Царство, добрая и прекрасная панночка, — думал он про себя. — Пусть тебе на том свете вечно усмехается между ангелами святыми! Никому не расскажу про диво, случившееся в эту ночь; тебе одной только, Галю, передам его. Ты одна только поверишь мне и вместе со мною помолишься за упокой души несчастной утопленницы!»Тут он приблизился к хате; окно было отперто; лучи месяца проходили чрез него и падали на спящую перед ним Ганну; голова ее оперлась на руку; щеки тихо горели; губы шевелились, неясно произнося его имя. «Спи, моя красавица! Приснись тебе все, что есть лучшего на свете; но и то не будет лучше нашего пробуждения!» Перекрестив ее, закрыл он окошко и тихонько удалился. И чрез несколько минут все уже уснуло на селе; один только месяц так же блистательно и чудно плыл в необъятных пустынях роскошного украинского неба. Так же торжественно дышало в вышине, и ночь, божественная ночь, величественно догорала. Так же прекрасна была земля в дивном серебряном блеске; но уже никто не упивался ими: все погрузилось в сон. Изредка только перерывалось молчание лаем собак, и долго еще пьяный Каленик шатался по уснувшим улицам, отыскивая свою хату.

Николай Некрасов

# **ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА**

Ваня *(в кучерском армячке)*. Папаша! кто строил эту дорогу?Папаша *(в пальто на красной подкладке)*. Граф Петр Андреевич Клейнмихель, душенька!

*Разговор в вагоне*

## **I**

Славная осень! Здоровый, ядреный  
Воздух усталые силы бодрит;  
Лед неокрепший на речке студеной  
Словно как тающий сахар лежит;  
Около леса, как в мягкой постели,  
Выспаться можно — покой и простор!  
Листья поблекнуть еще не успели,  
Желты и свежи лежат, как ковер.  
Славная осень! Морозные ночи,  
Ясные, тихие дни...  
Нет безобразья в природе! И кочи,  
И моховые болота, и пни —  
Всё хорошо под сиянием лунным,  
Всюду родимую Русь узнаю...  
Быстро лечу я по рельсам чугунным,  
Думаю думу свою...

## **II**

«Добрый папаша! К чему в обаянии  
Умного Ваню держать?  
Вы мне позвольте при лунном сиянии  
Правду ему показать.  
Труд этот, Ваня, был страшно громаден, —  
Не по плечу одному!  
В мире есть царь: этот царь беспощаден,  
Голод названье ему.  
Водит он армии; в море судами  
Правит; в артели сгоняет людей,  
Ходит за плугом, стоит за плечами  
Каменотесцев, ткачей.  
Он-то согнал сюда массы народные.  
Многие — в страшной борьбе,  
К жизни воззвав эти дебри бесплодные,  
Гроб обрели здесь себе.  
Прямо дороженька: насыпи узкие,  
Столбики, рельсы, мосты.  
А по бокам-то всё косточки русские...  
Сколько их! Ванечка, знаешь ли ты?  
Чу! восклицанья послышались грозные!  
Топот и скрежет зубов;  
Тень набежала на стекла морозные...  
Что там? Толпа мертвецов!  
То обгоняют дорогу чугунную,  
То сторонами бегут.  
Слышишь ты пение?.. „В ночь эту лунную  
Любо нам видеть свой труд!  
Мы надрывались под зноем, под холодом,  
С вечно согнутой спиной,  
Жили в землянках, боролися с голодом,  
Мерзли и мокли, болели цингой.  
Грабили нас грамотеи-десятники,  
Секло начальство, давила нужда...  
Всё претерпели мы, божий ратники,  
Мирные дети труда!  
Братья! Вы наши плоды пожинаете!  
Нам же в земле истлевать суждено...  
Всё ли нас, бедных, добром поминаете  
Или забыли давно?..“  
Не ужасайся их пения дикого!  
С Волхова, с матушки Волги, с Оки,  
С разных концов государства великого —  
Это всё братья твои — мужики!  
Стыдно робеть, закрываться перчаткою.  
Ты уж не маленький!.. Волосом рус,  
Видишь, стоит, изможден лихорадкою,  
Высокорослый, больной белорус:  
Губы бескровные, веки упавшие,  
Язвы на тощих руках,  
Вечно в воде по колено стоявшие  
Ноги опухли; колтун в волосах;  
Ямою грудь, что на заступ старательно  
Изо дня в день налегала весь век...  
Ты приглядись к нему, Ваня, внимательно:  
Трудно свой хлеб добывал человек!  
Не разогнул свою спину горбатую  
Он и теперь еще: тупо молчит  
И механически ржавой лопатою  
Мерзлую землю долбит!  
Эту привычку к труду благородную  
Нам бы не худо с тобой перенять...  
Благослови же работу народную  
И научись мужика уважать.  
Да не робей за отчизну любезную...  
Вынес достаточно русский народ,  
Вынес и эту дорогу железную —  
Вынесет всё, что господь ни пошлет!  
Вынесет всё — и широкую, ясную  
Грудью дорогу проложит себе.  
Жаль только — жить в эту пору прекрасную  
Уж не придется — ни мне, ни тебе».

## **III**

В эту минуту свисток оглушительный  
Взвизгнул — исчезла толпа мертвецов!  
«Видел, папаша, я сон удивительный, —  
Ваня сказал, — тысяч пять мужиков,  
Русских племен и пород представители  
Вдруг появились — и*он* мне сказал:  
„Вот они — нашей дороги строители!..“»  
        Захохотал генерал!  
— Был я недавно в стонах Ватикана,  
По Колизею две ночи бродил,  
Видел я в Вене святого Стефана,  
Что же... всё это народ сотворил?  
Вы извините мне смех этот дерзкий,  
Логика ваша немножко дика.  
Или для вас Аполлон Бельведерский  
Хуже печного горшка?  
Вот ваш народ — эти термы и бани,  
Чудо искусства — он всё растаскал! —  
«Я говорю не для вас, а для Вани...»  
Но генерал возражать не давал:  
— Ваш славянин, англосакс и германец  
Не создавать — разрушать мастера,  
Варвары! дикое скопище пьяниц!..  
Впрочем, Ванюшей заняться пора;  
Знаете, зрелищем смерти, печали  
Детское сердце грешно возмущать.  
Вы бы ребенку теперь показали  
Светлую сторону... —

## **IV**

                                «Рад показать!  
Слушай, мой милый: труды роковые  
Кончены — немец уж рельсы кладет.  
Мертвые в землю зарыты; больные  
Скрыты в землянках; рабочий народ  
Тесной гурьбой у конторы собрался...  
Крепко затылки чесали они:  
Каждый подрядчику должен остался,  
Стали в копейку прогульные дни!  
Всё заносили десятники в книжку —  
Брал ли на баню, лежал ли больной:  
„Может, и есть тут теперича лишку,  
Да вот поди ты!..“ Махнули рукой...  
В синем кафтане — почтенный лабазник,  
Толстый, присадистый, красный, как медь,  
Едет подрядчик по линии в праздник,  
Едет работы свои посмотреть.  
Праздный народ расступается чинно...  
Пот отирает купчина с лица  
И говорит, подбоченясь картинно:  
„Ладно... нешто... молодца!.. молодца!..  
С богом, теперь по домам, — проздравляю!  
(Шапки долой — коли я говорю!)  
Бочку рабочим вина выставляю  
И — *недоимку дарю!..*“  
Кто-то „ура“ закричал. Подхватили  
Громче, дружнее, протяжнее... Глядь:  
С песней десятники бочку катили...  
Тут и ленивый не мог устоять!  
Выпряг народ лошадей — и купчину  
С криком „ура!“ по дороге помчал...  
Кажется, трудно отрадней картину  
Нарисовать, генерал?..»

窗体顶端

窗体底端

## Николай Георгиевич Гарин-Михайловский. Детство Темы

Из семейной хроники

Содержание

I. Неудачный день

II. Наказание

III. Прощение

IV. Старый колодезь

V. Наемный двор

VI. Поступление в гимназию

VII. Будни

VIII. Иванов

IX. Ябеда

X. В Америку

XI. Экзамены

XII. Отец

## I

## НЕУДАЧНЫЙ ДЕНЬ

Маленький восьмилетний Тема стоял над сломанным цветком и с ужасом

вдумывался в безвыходность своего положения.

Всего несколько минут тому назад, как он, проснувшись, помолился богу,

напился чаю, причем съел с аппетитом два куска хлеба с маслом, одним словом

- добросовестным образом исполнивши все лежавшие на нем обязанности, вышел

через террасу в сад в самом веселом, беззаботном расположении духа. В саду

так хорошо было.

Он шел по аккуратно расчищенным дорожкам сада, вдыхая в себя свежесть

начинающегося летнего утра, и с наслаждением осматривался.

Вдруг... Его сердце от радости и наслаждения сильно забилось... Любимый

папин цветок, над которым он столько возился, наконец расцвел! Еще вчера

папа внимательно его осматривал и сказал, что раньше недели не будет цвести.

И что это за роскошный, что это за прелестный цветок! Никогда никто,

конечно, подобного не видал. Папа говорит, что когда гер Готлиб (главный

садовник ботанического сада) увидит, то у него слюнки потекут. Но самое

большое счастье во всем этом, конечно, то, что никто другой, а именно он,

Тема, первый увидел, что цветок расцвел. Он вбежит в столовую и крикнет во

все горло:

- Махровый расцвел!

Папа бросит чай и с чубуком в руках, в своем военном вицмундире, сейчас

же пройдет в сад. Он, Тема, будет бежать впереди и беспрестанно

оглядываться: радуется ли папа?

Папа, наверное, сейчас же поедет к геру Готлибу, может, прикажет

запрячь Гнедко, которого только что привели из деревни, Еремей (кучер, он же

и дворник), высокий, одноглазый, добродушный и ленивый хохол, Еремей

говорит, что Гнедко бегает так шибко, что ни одна лошадь в городе его не

догонит. Еремей, конечно, знает это: он каждый день ездит на Гнедке верхом

на водопой. И вот сегодня в первый раз запрягут Гнедко. Гнедко побежит

скоро-скоро! Все погонятся за ним - куда! Гнедка и след простыл.

А вдруг папа и Тему возьмет с собой?! Какое счастие! Восторг

переполняет маленькое сердце Темы. От мысли, что все это счастие произошло

от этого чудного, так неожиданно распустившегося цветка, в Теме просыпается

нежное чувство к цветку.

- Ми-и-ленький! - говорит он, приседая на корточки, и тянется к нему

губами.

Его поза самая неудобная и неустойчивая. Он теряет равновесие,

протягивает руки и...

Все погибло! Боже мой, но как же это случилось?! Может быть, можно

поправить? Ведь это случилось оттого, что он не удержался, упал. Если б он

немножко, вот сюда, уперся рукой, цветок остался бы целым. Ведь это одно

мгновение, одна секунда... Постойте!.. Но время не стоит. Тема чувствует,

что его точно кружит что-то, что-то точно вырывает у него то, что хотел бы

он удержать, и уносит на своих крыльях - уносит совершившийся факт, оставляя

Тему одного с ужасным сознанием непоправимости этого совершившегося факта.

Какой резкой, острой чертой, какой страшной, неумолимой, беспощадной

силой оторвало его вдруг сразу от всего!

Что из того, что так весело поют птички, что сквозь густую листву

пробивается солнце, играя на мягкой земле веселыми светлыми пятнышками, что

беззаботная мошка ползет по лепестку, вот остановилась, надувается,

выпускает свои крылышки и собирается лететь куда-то, навстречу нежному,

ясному дню?

Что из того, что когда-нибудь будет опять сверкать такое же веселое

утро, которое он не испортит, как сегодня? Тогда будет другой мальчик,

счастливый, умный, довольный. Чтоб добраться до этого другого, надо пройти

бездну, разделяющую его от этого другого, надо пережить что-то страшное,

ужасное. О, что бы он дал, чтобы все вдруг остановилось, чтобы всегда было

это свежее, яркое утро, чтобы папа и мама всегда спали... Боже мой, отчего

он такой несчастный? Отчего над ним тяготеет какой-то вечный неумолимый рок?

Отчего он всегда хочет так хорошо, а выходит все так скверно и гадко?.. О,

как сильно, как глубоко старается он заглянуть в себя, постигнуть причину

этого. Он хочет ее понять, он будет строг и беспристрастен к себе... Он

действительно дурной мальчик. Он виноват, и он должен искупить свою вину. Он

заслужил наказание, и пусть его накажут. Что же делать? И он знает причину,

он нашел ее! Всему виною его гадкие, скверные руки! Ведь он не хотел, руки

сделали, и всегда руки. И он придет к отцу и прямо скажет ему:

- Папа, зачем тебе сердиться даром, я знаю теперь хорошо, кто виноват,

- мои руки. Отруби мне их, и я всегда буду добрый, хороший мальчик. Потому

что я люблю и тебя, и маму, и всех люблю, а руки мои делают так, что я как

будто никого не люблю. Мне ни капли их не жалко.

Мальчику кажется, что его доводы так убедительны, так чистосердечны и

ясны, что они должны подействовать.

Но цветок по-прежнему лежит на земле... Время идет... Вот отец,

встающий раньше матери, покажется, увидит, все сразу поймет, загадочно

посмотрит на сына и, ни слова не говоря, возьмет его за руку и поведет...

Поведет, чтоб не разбудить мать, не через террасу, а через парадный ход,

прямо в свой кабинет. Затворится большая дверь, и он останется с глазу на

глаз с ним.

Ах, какой он страшный, какое нехорошее у него лицо... И зачем он

молчит, не говорит ничего?! Зачем он расстегивает свой мундир?! Какой

противный этот желтенький узенький ремешок, который виднеется в складке

синих штанов его. Тема стоит и, точно очарованный, впился в этот ремешок.

Зачем же он стоит? Он свободен, его никто не держит, он может убежать...

Никуда он не убежит. Он будет мучительно-тоскливо ждать. Отец не спеша

снимет этот гадкий ремешок, сложит вдвое, посмотрит на сына; лицо отца

нальется кровью, и почувствует, бесконечно сильно почувствует мальчик, что

самый близкий ему человек может быть страшным и чужим, что к человеку,

которого он должен и хотел бы только любить до обожания, он может питать и

ненависть, и страх, и животный ужас, когда прикоснутся к его щекам мягкие,

теплые ляжки отца, в которых зажмется голова мальчика.

Маленький Тема, бледный, с широко раскрытыми глазами, стоял перед

сломанным цветком, и все муки, весь ужас предстоящего возмездия ярко

рисовались в его голове. Все его способности сосредоточились теперь на том,

чтобы найти выход, выход во что бы то ни стало. Какой-то шорох послышался

ему по направлению от террасы. Быстро, прежде чем что-нибудь сообразить,

нога мальчика решительно ступает на грядку, он хватает цветок и втискивает

его в землю рядом с корнем. Для чего? Смутная надежда обмануть? Протянуть

время, пока проснется мать, объяснить ей, как все это случилось, и тем

отвратить предстоящую грозу? Ничего ясного не соображает Тема; он опрометью,

точно его преследуют все те ведьмы и волшебники, о которых рассказывает ему

по вечерам няня, убегает от злополучного места, минуя страшную теперь для

него террасу, - террасу, где вдруг он может увидать грозную фигуру отца,

который, конечно, по одному его виду сейчас же поймет, в чем дело.

Он бежит, и ноги бессознательно направляют его подальше от опасности.

Он видит между деревьями большую площадку, посреди которой устроены качели и

гимнастика и где возвышается высокий, выкрашенный зеленой краской столб для

гигантских шагов, видит сестер, бонну-немку. Он делает вольт в сторону,

незаметно пригнувшись, торопливо пробирается в виноградник, огибает большой

каменный сарай, выходящий в сад своими глухими стенами, перелезает ограду,

отделяющую сад от двора, и наконец благополучно достигает кухни.

Здесь он только свободно вздыхает.

В закоптелой, обширной, но низкой кухне, устроенной в подвальном этаже,

освещенный сверху маленькими окнами, все спокойно, все идет своим чередом.

Повар, в грязном белом фартуке, белокурый, ленивый, молодой, из бывших

крепостных, Аким лениво собирается разводить плиту. Ему не хочется

приниматься за скучную ежедневную работу, он тянет, хлопает дверцами печки,

заглядывает в духовой ящик, внимательно осматривает, точно в первый раз

видит конфорки, фыркает, брюзжит, двадцать раз их то сдвигает, то опять

ставит на место...

На большом некрашеном столе в беспорядке валяются грязные тарелки.

Горничная Таня, молодая девушка с длинной, еще нечесаной косой, торопливо

обгладывает какую-то вчерашнюю холодную кость. Еремей в углу молча возится с

концами упряжных ремней, бесконечно налаживая и пригоняя конец к концу,

собираясь сшивать их приготовленными шилом и дратвой. Его жена, Настасья,

толстая и грязная судомойка, громко и сердито перемывает тарелки, энергично

хватая их со дна дымящейся теплой лоханки. Вытертые тарелки с шумом летят на

рядом стоящую скамью. Рукава Настасьи засучены; здоровое белое тело на руках

трясется при всяком ее движении, губы плотно сжаты, глаза сосредоточены и

мечут искры.

Ровесник Темы - произведение Настасьи и Еремея - толстопузый рябой

Иоська сидит на кровати, болтает ногами и пристает к матери, чтобы та дала

ему грошик.

- Не дам, не дам, сто чертив твоей мами! - кричит отчаянно Настасья и

еще плотнее стискивает свои губы, еще энергичнее сверкает глазами.

- Г-е?! - тянет Иоська плаксивую монотонную ноту. - Дай грошик.

- Отчипысь, прокляте! Будь ты скажено! - кричит Настасья, точно ее

режут.

Тема с завистью смотрит на эти простые, несложные отношения. Вот она,

кажется, и кричит и бранится, а не боится ее Иоська. Если мать и побить его

захочет, - а Иоська отлично знает, когда она этого захочет, - он,

вырвавшись, убежит во двор. Если мать и бросится за ним и, не догнав, станет

кричать своим громким голосом, так кричать, что живот ее то и дело будет

подпрыгивать кверху: "Ходи сюда, бисова дытына!", то "бисова дытына"

понимает, что ходить не следует, потому что его побьют, а так как ему именно

этого не хочется, то он и не идет, но и не скрывается, инстинктивно

сознавая, что очень раздражать не следует. Стоит Иоська где-нибудь поодаль и

хнычет, лениво и притворно, а сам зорко следит за всяким движением матери;

ноги у него расставлены, сам наклонился вперед, вот-вот готов дать нового

стрекача.

Мать постоит, постоит, еще сто чертей посулит себе и уйдет в кухню.

Иоська фланирует, развлекается, шалит, но голод заставляет его наконец

возвратиться в кухню. Подойдет к двери и пустит пробный шар:

- Г-е?!

Это нечто среднее между нахальным требованием и просьбой о помиловании,

между хныканьем и криком.

- Только взойды, бодай тебе чертяка взяла! - несется из кухни.

- Г-е?! - настойчивее и смелее повторяет Иоська.

Кончается все это тем, что дверь с шумом растворяется, Иоська с

быстротой ветра улепетывает подальше, на пороге появляется грозная мать с

первым попавшимся поленом в руках, которое летит вдогонку за блудным сыном.

Дело уже Иоськи увернуться от полена, но после этого путь к столу с

объедками барской еды считается свободным. Иоська сразу сбрасывает свой

скромный облик и с видом делового человека, которому некогда тратить время

на пустые формальности, прямо и смело направляется к столу.

Если по дороге он все-таки получал иной раз легкую затрещину - он за

этим не гнался и, огрызнувшись каким-нибудь упрямым звуком вроде "у-у!",

энергично принимался за еду.

- Иеремей, Буланку закладывай! - кричит сверху нянька. - В дрожки!

- Кто едет? - кричит снизу встрепенувшийся Тема.

- Папа и мама в город.

Это целое событие.

- Скоро едут? - спрашивает Тема.

- Одеваются.

Тема соображает, что отец торопится, значит, перед отъездом в сад не

пойдет, и, следовательно, до возвращения родителей он свободен от всяких

взысканий. Он чувствует мгновенный подъем духа и вдохновенно кричит:

- Иоська, играться!

Он выбегает снова в сад и теперь смело и уверенно направляется к

сестрам.

- Будем играться! - кричит он, подбегая. - В индейцев?!

И Тема от избытка чувств делает быстрый прыжок перед сестрами.

Пока бонна и сестры, под предводительством старшей сестры Зины,

обсуждают его предложение, он уже рыщет, отыскивая подходящий материал для

луков. Бежать к изгороди слишком далеко, хочется скорей, сейчас... Тема

выхватывает несколько прутьев, почему-то торчавших из бочки, пробует их

гибкость, но они ломаются, не годятся.

- Тема! - раздается дружный вопль.

Тема замирает на мгновенье.

- Это папины лозы! Что ты сделал?!

Но Тема уже все и без этого сообразил: у него вихрем мелькает сознание

необходимости протянуть время до отъезда, и он небрежно кричит:

- Знаю, знаю, папа приказал их выбросить - они не годятся!

И для большей убедительности он подбирает поломанные лозы и с помощью

Иоськи несет их на черный двор. Зина подозрительно провожает его глазами, но

Тема искусно играет свою роль, идет тихо, не спеша вплоть до самой калитки.

Но за калиткой он быстро бросает лозы; отчаянье охватывает его. Он

стремительно бежит, бежит от мрачных мыслей тяжелой развязки, от туч,

неизвестно откуда скопляющихся над его горизонтом. Одно с мучительной

ясностью стоит в голове: поскорее бы отец и мать уезжали.

Еремей с озабоченным видом стоит около дрожек, нерешительно чешет

спину, мрачно смотрит на немытый экипаж, на засохшую грязь и окончательно

теряется от мысли, что теперь делать: начинать ли мыть, подмазывать ли, или

уж так запрягать. Тема волнуется, хлопочет, тащит хомут, понуждает Еремея

выводить лошадь, и Еремей под таким энергичным давлением начинает наконец

запрягать.

- Не так, панычику, не так, - громко замечает флегматичный Еремей,

тяготясь этой суетливой, бурной помощью.

Теме кажется, что время идет невыносимо медленно.

Наконец, экипаж готов.

Еремей надевает свой кучерской парусиновый кафтан с громадным сальным

пятном на животе, клеенчатую с поломанными полями шляпу, садится на козлы,

трогает, задевает обязательно за ворота, отделяющие грязный двор от чистого,

и подкатывает к крыльцу.

Время бесконечно тянется. Отчего они не выходят? Вдруг не поедут?! Тема

переживает мучительные минуты. Но вот парадные двери отворяются, выходят

отец с матерью.

Отец, седой, хмурый по обыкновению, в белом кителе, что-то озабоченно

соображает; мать в кринолине, черных нитяных перчатках без пальцев, в шляпе

с широкими черными лентами. Сестры бегут из сада. Мать наскоро крестит и

целует их и спохватывается о Теме; сестры ищут его глазами, но Тема с

Иоськой притаились за углом, и сестры говорят матери, что Тема в саду.

- Будьте с ним ласковы.

Тема, благоразумно решивший было не показываться, стремительно

выскакивает из засады и стремительно бросается к матери. Если бы не отец, он

сейчас бы ей все рассказал. Но он только особенно горячо целует ее.

- Ну, довольно! - говорит ласково мать и смутно соображает, что совесть

Темы не совсем чиста.

Но мысль о забытых ключах отвлекает ее.

- Ключи, ключи! - говорит она, и все стремительно бросаются в комнаты

за ключами.

Отец пренебрежительно косится на ласки сына и думает, что это

воспитание выработает в конце концов из его сына какую-то противную

слюнявку. Он срывает свое раздражение на Еремее.

- Буланка опять закована на правую переднюю ногу? - говорит он.

Еремей перегибается с козел и внимательно всматривается в отставленную

ногу Буланки.

Тема озабоченно следит за ними глазами. Еремей прокашливается и говорит

каким-то поперхнувшимся голосом:

- Мабуть, оступывся.

Ложь возмущает и бесит отца.

- Болван! - говорит он, точно выстреливает из ружья.

Еремей энергично откашливается, ерзает на козлах и молчит. Тема не

понимает, за что отец бранит Еремея, и тоскливое чувство охватывает его.

- Размазня, лентяй! Грязь развел такую, что сесть нельзя.

Тема быстро окидывает взглядом экипаж.

Еремей невозмутимо молчит. Тема видит, что Еремею нечего сказать, что

отец прав, и, облегченно вздыхая, чувствует удовлетворение за отца.

Ключи принесли, мать и отец сидят в экипаже, Еремей подобрал вожжи,

Настасья стоит у ворот.

- Трогай! - приказывает отец.

Мать крестит детей и говорит: "Тема, не шали", и экипаж торжественно

выкатывается на улицу. Когда же он исчезает из глаз, Тема вдруг ощущает

такой прилив радости, что ему хочется выкинуть что-нибудь такое, чтобы все,

все - и сестры, и бонна, и Настасья, и Иоська - так и ахнули. Он стоит,

несколько мгновений ищет в уме чего-нибудь подходящего и ничего другого не

может придумать, как, стремглав выбежав на улицу, перерезать дорогу

какому-то несущемуся экипажу. Раздается общий отчаянный вопль:

- Тема, Тема, куда?!

- Тема-а! - несется пронзительный крик бонны и достигает чуткого уха

матери.

Из облака пыли вдруг раздается голос матери, сразу все понявшей:

- Тема, домой!

Тема, успевший пробежать до половины дороги, останавливается, зажимает

обеими руками рот, на мгновение замирает на месте, затем стремглав

возвращается назад.

- А хочешь, я на Гнедке верхом поеду, как Еремей?! - мелькает в голове

Темы новая идея, с которой он обращается к Зине.

- Ну да! Тебя Гнедко сбросит! - говорит пренебрежительно Зина.

Этого совершенно достаточно, чтоб у Темы явилось непреодолимое желание

привести в исполнение свой план. Его сердце усиленно бьется и замирает от

мысли, как поразятся все, когда увидят его верхом на Гнедке, и, выждав

момент, он лихорадочно шепчет что-то Иоське. Они оба незаметно исчезают.

Препятствий нет.

В опустелой конюшне раздается ленивая, громкая еда Гнедка. Тема

дрожащими руками торопливо отвязывает повод. Красивый жеребец Гнедко

пренебрежительно обнюхивает маленькую фигурку и нехотя плетется за тянущим

его изо всей силы Темой.

- Но, но, - возбужденно понукает его Тема, стараясь губами делать, как

Еремей, когда тот выводит лошадь. Но от этого звука лошадь пугается,

фыркает, задирает голову и не хочет выходить из низких дверей конюшни.

- Иоська, подгони ее сзади! - кричит Тема.

Иоська лезет между ног лошади, но в это время Тема опять кричит ему:

- Возьми кнут!

Получив удар, Гнедко стрелой вылетает из конюшни и едва не вырывается

из рук Темы.

Тема замечает, что Гнедко от удара кнутом взял сразу в галоп, и

приказывает Иоське, когда он сядет, снова ударить лошадь.

Иоське одно удовольствие лишний раз хлестнуть лошадь.

Гнедко торжественно выводится с черного на чистый двор и подтягивается

к близстоящей водовозной бочке. В последний момент к Иоське возвращается

благоразумие.

- Упадете, панычику! - нерешительно говорит он.

- Ничего, - отвечает Тема с пересохшим от волнения горлом. - Ты только,

как я сяду, крепко ударь ее, чтоб она сразу в галоп пошла. Тогда легко

сидеть!

Тема, стоя на бочке, подбирает поводья, опирается руками на холку

Гнедка и легко вспрыгивает ему на спину.

- Дети, смотрите! - кричит он, захлебываясь от удовольствия.

- Ай, ай, смотрите! - в ужасе взвизгивают сестры, бросаясь к ограде.

- Бей! - командует, не помня себя от восторга, Тема.

Иоська из всей силы вытягивает кнутом жеребца. Лошадь, как ужаленная,

мгновенно подбирается и делает первый непроизвольный скачок к улице, куда

мордой она была поставлена, но затем, сообразив, она взвивается на дыбы,

круто на задних ногах делает поворот и полным карьером несется назад в

конюшню.

Теме, каким-то чудом удержавшемуся при этом маневре, некогда

рассуждать. Перед ним ворота черного двора; он вовремя успевает наклонить

голову, чтобы не разбить ее о перекладину, и вихрем влетает на черный двор.

Здесь ужас его положения обрисовывается ему с неумолимою ясностью.

Он видит в десяти саженях перед собой высокую каменную стену конюшни и

маленькую темную отворенную дверь и сознает, что разобьется о стену, если

лошадь влетит в конюшню. Инстинкт самосохранения удесятеряет его силы, он

натягивает, как может, левый повод, лошадь сворачивает с прямого пути,

налетает на торчащее дышло, спотыкается, падает с маху на землю, а Тема

летит дальше и распластывается у самой стены, на мягкой, теплой куче навоза.

Лошадь вскакивает и влетает в конюшню. Тема тоже вскакивает, запирает за нею

дверь и оглядывается.

Теперь, когда все благополучно миновало, ему хочется плакать, но он

видит в воротах бонну, сестер и соображает по их вытянувшимся лицам, что они

все видели. Он бодрится, но руки его дрожат; на нем лица нет, улыбка выходит

какой-то жалкой, болезненной гримасой.

Град упреков сыплется на его голову, но в этих упреках он чувствует

некоторое уважение к себе, удивление к его молодечеству и мирится с

упреками. Непривычная мягкость, с какой Тема принимает выговоры, успокаивает

всех.

- Ты испугался? - пристает к нему Зина, - ты бледен, как стена, выпей

воды, помочи голову.

Тему торжественно ведут опять к бочке и мочат голову. Между ним, бонной

и сестрой устанавливаются дружеские, миролюбивые отношения.

- Тема, - говорит ласково Зина, - будь умным мальчиком, не распускай

себя. Ты ведь знаешь свой характер, ты видишь: стоит тебе разойтись, тогда

уж ты не удержишь себя и наделаешь чего-нибудь такого, чему и сам не будешь

рад потом.

Зина говорит ласково, мягко, - просит.

Теме это приятно, он сознает, что в словах сестры все - голая правда, и

говорит:

- Хорошо, я не буду шалить.

Но маленькая Зина, хотя на год всего старше своего брата, уже понимает,

как тяжело будет брату сдержать свое слово.

- Знаешь, Тема, - говорит она как можно вкрадчивее, - ты лучше всего

дай себе слово, что ты не будешь шалить. Скажи: любя папу и маму, я не буду

шалить.

Тема морщится.

- Тема, тебе же лучше! - подъезжает Зина. - Ведь никогда еще папа и

мама не приезжали без того, чтобы не наказать тебя. И вдруг приедут сегодня

и узнают, что ты не шалил.

Просительная форма подкупает Тему.

- Как люблю папу и маму, я не буду шалить.

- Ну, вот умница, - говорит Зина. - Смотри же, Тема, - уже строгим

голосом продолжает сестра, - грех тебе будет, если ты обманешь. И даже

потихоньку нельзя шалить, потому что господь все видит, и если папа и мама

не накажут, бог все равно накажет.

- Но играться можно?

- Все то можно, что фрейлейн скажет: можно, а что фрейлейн скажет:

нельзя, то уже грех.

Тема недоверчиво смотрит на бонну и насмешливо спрашивает:

- Значит, фрейлейн святая?

- Вот видишь, ты уж глупости говоришь! - замечает сестра.

- Ну, хорошо! будем играться в индейцев! - говорит Тема.

- Нет, в индейцев опасно без мамы, ты разойдешься.

- А я хочу в индейцев! - настаивает Тема, и в его голосе слышится

капризное раздражение.

- Ну, хорошо! - спроси у фрейлейн, ведь ты обещал, как папу и маму

любишь, слушаться фрейлейн?

Зина становится так, чтобы только фрейлейн видела ее лицо, а Тема -

нет.

- Фрейлейн, правда в индейцев играть не надо?

Тема все же таки видит, как Зина делает невозможные гримасы фрейлейн;

он смеется и кричит:

- Э, так нельзя!

Он бросается к фрейлейн, хватает ее за платье и старается повернуть от

сестры. Фрейлен смеется.

Зина энергично подбегает к брату, кричит: "Оставь фрейлейн", а сама в

то же время старается стать так, чтобы фрейлейн видела ее лицо, а брат не

видел. Тема понимает маневр, хохочет, хватает за платье сестру и делает

попытку поворотить ее лицо к себе.

- Пусти! - отчаянно кричит сестра и тянет свое платье.

Тема еще больше хохочет и не выпускает сестриного платья, держась

другой рукой за платье бонны. Зина вырывается изо всей силы. Вдруг юбка

фрейлейн с шумом разрывается пополам, и взбешенная бонна кричит:

- Думмер кнабе!..\*

Тема считает, что, кроме матери и отца, никто не смеет его ругать.

Озадаченный и сконфуженный неожиданным оборотом дела, но возмущенный, он, не

задумываясь, отвечает:

- Ты сама!

- Ах! - взвизгивает фрейлейн.

- Тема, что ты сказал?! - подлетает сестра. - Ты знаешь, как тебе за

это достанется?! Проси сейчас прощения!!

Но требование - плохое оружие с Темой; он окончательно упирается и

отказывается просить прощения. Доводы не действуют.

- Так ты не хочешь?! - угрожающим голосом спрашивает Зина.

Тема трусит, но самолюбие берет верх.

- Так вот что, уйдем от него все, пусть он один остается.

Все, кроме Иоськи, уходят от Темы.

Сестра идет и беспрестанно оглядывается: не раскаялся ли Тема. Но Тема

явного раскаяния не обнаруживает. Хотя сестра и видит, что Тему кошки

скребут, но этого, по ее мнению, мало. Ее раздражает упорство Темы. Она

чувствует, что еще капельку - и Тема сдастся. Она быстро возвращается,

хватает Иоську за рукав и говорит повелительно:

- Уходи и ты, пусть он совсем один останется.

Неудачный маневр.

Тема кидается на нее, толкает так, что она летит на землю, и кричит:

- Убирайся к черту!

Зина испускает страшных вопль, поднимается на руки, некоторое время не

может продолжать кричать от схвативших ее горловых спазм и только судорожно

поводит глазами.

Тема в ужасе пятится. Зина испускает наконец новый отчаянный крик, но

на этот раз Теме кажется, что крик не совсем естественный, и он говорит:

- Притворяйся, притворяйся!

Зину поднимают и уводят; она хромает. Тема внимательно следит и

остается в мучительной неизвестности: действительно ли Зина хромает или

только притворяется.

- Пойдем, Иоська! - говорит он, подавляя вздох.

Но Иоська говорит, что он боится и уйдет на кухню.

- Иоська, - говорит Тема, - не бойся; я все сам расскажу маме.

Но кредит Темы в глазах Иоськи подорван. Он молчит, и Тема чувствует,

что Иоська ему не верит. Тема не может остаться без поддержки друга в такую

тяжелую для себя минуту.

- Иоська, - говорит он взволнованно, - если ты не уйдешь от меня, я

после завтрака принесу тебе сахару.

Это меняет положение вещей.

- Сколько кусков? - спрашивает нерешительно Иоська.

- Два, три, - обещает Тема.

- А куда пойдем?

- За горку! - отвечает Тема, выбирая самый дальний угол сада. Он

понимает, что Иоська не желал бы теперь встретиться с барышнями.

Они огибают двор, перелезают ограду и идут по самой отдаленной дорожке.

Тема взволнован и переполнен всевозможными чувствами.

- Иоська, - говорит он, - какой ты счастливый, что у тебя нет сестер! Я

хотел бы, чтобы у меня ни одной сестры не было. Если б они умерли все вдруг,

я ни капельки не плакал бы о них. Знаешь: я попросил бы, чтобы тебя сделали

моим братом. Хорошо?!

Иоська молчит.

- Иоська, - продолжает Тема, - я тебя ужасно люблю... так люблю, что,

что хочешь со мной делай...

Тема напряженно думает, чем доказать Иоське свою любовь.

- Хочешь, зарой меня в землю... или, хочешь, плюнь на меня.

Иоська озадаченно глядит на Тему.

- Милый, голубчик, плюнь... Милый, дорогой...

Тема бросается Иоське на шею, целует его, обнимает и умоляет плюнуть.

После долгих колебаний Иоська осторожно плюет на кончик Теминой рубахи.

Край рубахи с плевком Тема поднимает к лицу и растирает по своей щеке.

Иоська пораженно и сконфуженно смотрит...

Тема убежденно говорит:

- Вот... вот как я тебя люблю!

Друзья подходят к кладбищенской стене, отделяющей дом от старого,

заброшенного кладбища.

- Иоська, ты боишься мертвецов? - спрашивает Тема.

- Боюсь, - говорит Иоська.

Тема предпочел бы похвастаться тем, что он ничего не боится, потому что

его отец ничего не боится и что он хочет ничего не бояться, но в такую

торжественную минуту он чистосердечно признается, что тоже боится.

- Кто ж их не боится? - разражается красноречивой тирадой Иоська. - Тут

хоть самый первый генерал приди, как они ночью повылазят да рассядутся по

стенкам, так и тот убежит. Всякий убежит. Тут побежишь, как за ноги да за

плечи тебя хватать станет или вскочит на тебя, да и ну колотить ногами,

чтобы вез его, да еще перегнется, да зубы и оскалит; у другого половина лица

выгнила, глаз нет. Тут забоишься! Хоть какой, и то...

- Артемий Николаич, завтракать! - раздается по саду молодой, звонкий

голос горничной Тани.

Из-за деревьев мелькает платье Тани.

- Пожалуйте завтракать, - говорит горничная, ласково и фамильярно

обхватывая Тему.

Таня любит Тему. Она в чистом, светлом ситцевом платье; от нее несет

свежестью, густая коса ее аккуратно расчесана, добрые карие глаза смотрят

весело и мягко.

Она дружелюбно ведет за плечи Тему, наклоняется к его уху и веселым

шепотом говорит:

- Немка плакала!

Немку, несмотря на ее полную безобидность, прислуга не любит.

Тема вспоминает, что в его столкновении с бонной у него союзники вся

дворня, - это ему приятно, он чувствует подъем духа.

- Она назвала меня дураком, разве она смеет?

- Конечно, не смеет. Папаша ваш генерал, а она что? Дрянь какая-то.

Зазналась.

- Правда, когда я маме скажу все - меня не накажут?

Таня не хочет огорчать Тему; она еще раз наклоняется и еще раз его

целует, гладит его густые золотистые волосы.

За завтраком обычная история. Тема почти ничего не ест. Перед ним лежит

на тарелке котлетка, он косится на нее и лениво пощипывает хлеб. Так как с

ним никто не говорит, то обязанность уговаривать его есть добровольно берет

на себя Таня.

- Артемий Николаевич, кушайте!

Тема только сдвигает брови.

В Зине борется гнев к Теме с желанием, чтобы он ел.

Она смотрит в окошко и, ни к кому особенно не обращаясь, говорит:

- Кажется, мама едет!

- Артемий Николаич, скорей кушайте, - шепчет испуганно Таня.

Тема в первое мгновение поддается на удочку и хватает вилку, но,

убедившись, что тревога ложная, опять кладет вилку на стол.

Зина снова смотрит в окно и замечает:

- После завтрака всем, кто хорошо ел, будет сладкое.

Теме хочется сладкого, но не хочется котлеты.

Он начинает привередничать. Ему хочется налить на котлетку прованского

масла.

Таня уговаривает его, что масло не идет к котлетке.

Но ему именно так хочется, и, так как ему не дают судка с маслом, он

сам лезет за ним. Зина не выдерживает: она не может переваривать его

капризов, быстро вскакивает, хватает судок с маслом и держит его в руке под

столом.

Тема садится на место и делает вид, что забыл о масле. Зина зорко

следит и наконец ставит судок на стол, возле себя. Но Тема улавливает

подходящий момент, стремительно бросается к судку. Зина схватывает с другой

стороны, и судок летит на пол, разбиваясь вдребезги.

- Это ты! - кричит сестра.

- Нет, ты!

- Это тебя бог наказал за то, что ты папу и маму не любишь.

- Неправда, я люблю! - кричит Тема.

- Ласен зи инен\*, - говорит бонна и встает из-за стола.

За ней встают все, и начинается раздача пастилы. Когда очередь доходит

до Темы, бонна колеблется. Наконец она отламывает меньшую против других

порцию и молча кладет перед Темой.

Тема возмущенно толкает свою порцию, и она летит на пол.

- Очень мило, - говорит Зина. - Мама все будет знать!

Тема молчит и начинает ходить по комнате. Зину интересует: отчего

сегодня Тема не убегает, по обыкновению, сейчас после завтрака. Сначала она

думает, что Тема хочет просить прощения у бонны, и уже вступает в свои

права: она доказывает, что теперь уже поздно, что после этого сделано еще

столько...

- Убирайся вон! - перебивает грубо Тема.

- И это мама будет знать! - говорит Зина и окончательно становится в

тупик: зачем он не уходит?

Тема продолжает упорно ходить по комнате и наконец достигает своего:

все уходят, он остается один. Тогда он мгновенно кидается к сахарнице и

запускает в нее руку...

Дверь отворяется. На пороге появляются бонна и Зина. Он бросает

сахарницу и стремглав выскакивает на террасу.

Теперь все погибло! Такой поступок, как воровство, даже мать не

простит!

К довершению несчастия собирается гроза. По небу полезли со всех сторон

тяжелые грозовые тучи; солнце исчезло; как-то сразу потемнело: в воздухе

запахло дождем. Ослепительной змейкой блеснула молния, над самой головой

оглушительными раскатами прокатился гром. На минуту все стихло, точно

притаилось, выжидая. Что-то зашумело - ближе, ближе, и первые тяжелые,

большие капли дождя упали на землю. Через несколько мгновений все

превратилось в сплошную серую массу. Целые реки полились сверху. Была

настоящая южная гроза.

Волей-неволей надо бежать в комнаты, и так как вход туда Иоське

воспрещен, то Теме приходится остаться одному, наедине со своими грустными

мыслями.

Скучно. Время бесконечно тянется.

Тема уселся на окне в детской и уныло следил, как потоки воды стекали

по стеклам, как постепенно двор наполнялся лужами, как бульки и пузыри точно

прыгали по мутной и грязной поверхности.

- Артемий Николаич, кушать хотите? - спросила, появляясь в дверях,

Таня.

Теме давно хотелось есть, но ему было лень оторваться.

- Хорошо, только сюда принеси хлеба и масла.

- А котлетку?

Тема отрицательно замотал головой.

В ожидании Тема продолжал смотреть в окно. Потому ли, что ему не

хотелось оставаться наедине со своими мыслями, потому ли, что ему было

скучно и он придумывал, чем бы ему еще развлечься, или, наконец, по

общечеловеческому свойству вспоминать о своих друзьях в тяжелые минуты

жизни, Тема вдруг вспомнил о своей Жучке. Он вспомнил, что целый день не

видал ее. Жучка никогда никуда не отлучалась.

Теме пришли вдруг в голову таинственные недружелюбные намеки Акима, не

любившего Жучку за то, что она таскала у него провизию. Подозрение закралось

в его душу. Он быстро слез с окна, пробежал детскую, соседнюю комнату и стал

спускаться по крутой лестнице, ведущей в кухню. Этот ход был строго-настрого

воспрещен Теме (за исключением, когда бралась ванна), ввиду возможности

падения, но теперь Теме было не до того.

- Аким, где Жучка? - спросил Тема, войдя в кухню.

- А я откуда знаю? - отвечал Аким, тряхнув своими курчавыми волосами.

- Ты не убивал ее?

- Ну вот, стану я руки марать об этакую дрянь.

- Ты говорил, что убьешь ее?

- Ну! А вы и поверили? так, шутил.

И, помолчав немного, Аким проговорил самым естественным голосом:

- Лежит где-нибудь притаившись от дождя. Да вы разве ее не видали

сегодня?

- Нет, не видал.

- Не знаю. Польстился разве кто, украл?

Тема было совсем поверил Акиму, но последнее предположение опять

смутило его.

- Кто же ее украдет? Кому она нужна? - спросил он.

- Да никому, положим, - согласился Аким. - Дрянная собачонка.

- Побожись, что ты ее не убил! - И Тема впился глазами в Акима.

- Да что вы, панычику? Да ей-богу же я ее не убивал! Что ж вы мне не

верите?

Теме стало неловко, и он проговорил, ни к кому особенно не обращаясь:

- Куда ж она девалась?

И так как ответа никакого не последовало, то Тема, оглянувши еще раз

Акима и всех присутствовавших, причем заметил лукавый взгляд Иоськи,

свесившегося с печки и с любопытством наблюдавшего всю сцену, возвратился

наверх.

Он опять уселся на окно в детской и все думал: куда могла деваться

Жучка?

Перед ним живо рисовалась Жучка, тихая, безобидная Жучка, и мысль, что

ее могли убить, наполнила его сердце такой горечью, что он не выдержал,

отворил окно и стал звать изо всей силы:

- Жучка, Жучка! На, на, на! Цу-цу! Цу-цу! Фью, фью, фью!

В комнату ворвался шум дождя и свежий сырой воздух. Жучка не

отзывалась.

Все неудачи дня, все пережитые невзгоды, все предстоящие ужасы и муки,

как возмездие за сделанное, отодвинулись на задний план перед этой новой

бедой: лишиться Жучки.

Мысль, что он больше не увидит своей курчавой Жучки, не увидит больше,

как она при его появлении будет жалостно визжать и ползти к нему на брюхе,

мысль, что, может быть, уже больше ее нет на свете, переполняла душу Темы

отчаянием, и он тоскливо продолжал кричать:

- Жучка! Жучка!

Голос его дрожал и вибрировал, звучал так нежно и трогательно, что

Жучка должна была отозваться.

Но ответа не было.

Что делать?! Надо немедленно искать Жучку.

Вошедшая Таня принесла хлеб.

- Подожди, я сейчас приду.

Тема опять спустился по лестнице, которая вела на кухню, осторожно

пробрался мимо дверей, узким коридором достиг выхода, некоторое время

постоял в раздумье и выбежал во двор.

Осмотрев черный двор, он заглянул во все любимые закоулки Жучки, но

Жучки нигде не было. Последняя надежда! Он бросился к воротам заглянуть в

будку цепной собаки. Но у самых ворот Тема услышал шум колес подъехавшего

экипажа и, прежде чем что-нибудь сообразить, столкнулся лицом к лицу с

отцом, отворявшим калитку. Тема опрометью бросился к дому.

## II

## НАКАЗАНИЕ

Коротенькое следствие обнаруживает, по мнению отца, полную

несостоятельность системы воспитания сына. Может быть, для девочек она и

годится, но натуры мальчика и девочки - вещи разные. Он по опыту знает, что

такое мальчик и чего ему надо. Система?! Дрянь, тряпка, негодяй выйдет по

этой системе. Факты налицо, грустные факты - воровать начал. Чего еще

дожидаться?! Публичного позора?! Так прежде он сам его своими руками

задушит. Под тяжестью этих доводов мать уступает, и власть на время

переходит к отцу.

Двери кабинета плотно затворяются.

Мальчик тоскливо, безнадежно оглядывается. Ноги его совершенно

отказываются служить, он топчется, чтобы не упасть. Мысли вихрем, с

ужасающей быстротой несутся в его голове. Он напрягается изо всех сил, чтобы

вспомнить то, что он хотел сказать отцу, когда стоял перед цветком. Надо

торопиться. Он глотает слюну, чтобы смочить пересохшее горло, и хочет

говорить прочувствованным, убедительным тоном:

- Милый папа, я придумал... я знаю, что я виноват... Я придумал: отруби

мои руки!..

Увы! то, что казалось так хорошо и убедительно там, когда он стоял пред

сломанным цветком, здесь выходит очень неубедительно. Тема чувствует это и

прибавляет для усиления впечатления новую, только что пришедшую ему в голову

комбинацию:

- Или отдай меня разбойникам!

- Ладно, - говорит сурово отец, окончив необходимые приготовления и

направляясь к сыну. - Расстегни штаны...

Это что-то новое?! Ужас охватывает душу мальчика; руки его, дрожа,

разыскивают торопливо пуговицы штанишек; он испытывает какое-то болезненное

замирание, мучительно роется в себе, что еще сказать, и наконец голосом,

полным испуга и мольбы, быстро, несвязно и горячо говорит:

- Милый мой, дорогой, голубчик... Папа! Папа! Голубчик... Папа, милый

папа, постой! Папа?! Ай, ай, ай! Аяяяй!..

Удары сыплются. Тема извивается, визжит, ловит сухую, жилистую руку,

страстно целует ее, молит. Но что-то другое рядом с мольбой растет в его

душе. Не целовать, а бить, кусать хочется ему эту противную, гадкую руку.

Ненависть, какая-то дикая, жгучая злоба охватывает его.

Он бешено рвется, но железные тиски еще крепче сжимают его.

- Противный, гадкий, я тебя не люблю! - кричит он с бессильной злобой.

- Полюбишь!

Тема яростно впивается зубами в руку отца.

- Ах ты змееныш?!

И ловким поворотом Тема на диване, голова его в подушке. Одна рука

придерживает, а другая продолжает хлестать извивающегося, рычащего Тему.

Удары глухо сыплются один за другим, отмечая рубец за рубцом на

маленьком посинелом теле.

С помертвелым лицом ждет мать исхода, сидя одна в гостиной. Каждый

вопль рвет ее за самое сердце, каждый удар терзает до самого дна ее душу.

Ах! Зачем она опять дала себя убедить, зачем связала себя словом не

вмешиваться и ждать?

Но разве он смел так связать ее словом?! И, наконец, он сам

увлекающийся, он может не заметить, как забьет мальчика! Боже мой! Что это

за хрип?!

Ужас наполняет душу матери.

- Довольно, довольно! - кричит она, врываясь в кабинет. - Довольно!!.

- Полюбуйся, каков твой звереныш! - сует ей отец прокушенный палец.

Но она не видит этого пальца. Она с ужасом смотрит на диван, откуда

слезает в это время растрепанный, жалкий, огаженный звереныш и дико, с

инстинктом зверя, о котором на минуту забыли, пробирается к выходу.

Мучительная боль пронизывает мать. Горьким чувством звучат ее слова, когда

она говорит мужу:

- И это воспитание?! Это знание натуры мальчика?! Превратить в жалкого

идиота ребенка, вырвать его человеческое достоинство - это воспитание?!

Желчь охватывает ее. Вся кровь приливает к ее сердцу. Острой, тонкой

сталью впивается ее голос в мужа.

- О жалкий воспитатель! Щенков вам дрессировать, а не людей

воспитывать!

- Вон! - ревет отец.

- Да, я уйду, - говорит мать, останавливаясь в дверях, - но объявляю

вам, что через мой труп вы перешагнете, прежде чем я позволю вам еще раз

высечь мальчика.

Отец не может прийти в себя от неожиданности и негодования. Не скоро

успокаивается он и долго еще мрачно ходит по комнате, пока наконец не

останавливается возле окна, рассеянно всматривается в заволакиваемую ранними

сумерками серую даль и возмущенно шепчет:

- Ну, извольте вы тут с бабами воспитывать мальчика!

## III

## ПРОЩЕНИЕ

В то же время мать проходит в детскую, окидывает ее быстрым взглядом,

убеждается, что Темы здесь нет, идет дальше, пытливо всматривается на ходу в

отворенную дверь маленькой комнаты, замечает в ней маленькую фигурку Темы,

лежащего на диване с уткнувшимся лицом, проходит в столовую, отворяет дверь

в спальную и сейчас же плотно затворяет ее за собой.

Оставшись одна, она тоже подходит к окну, смотрит и не видит темнеющую

улицу. Мысли роем носятся в ее голове.

Пусть Тема так и лежит, пусть придет в себя, надо его теперь совершенно

предоставить себе... Белье бы переменить... Ах, боже мой, боже мой, какая

страшная ошибка, как могла она допустить это! Какая гнусная гадость! Точно

ребенок сознательный негодяй! Как не понять, что если он делает глупости,

шалости, то делает только потому, что не видит дурной стороны этой шалости.

Указать ему эту дурную сторону, не с своей, конечно, точки зрения взрослого

человека, с его, детской, не себя убедить, а его убедить, задеть самолюбие,

опять-таки его детское самолюбие, его слабую сторону, суметь добиться этого

- вот задача правильного воспитания.

Сколько времени надо, пока все это опять войдет в колею, пока ей

удастся опять подобрать все эти тонкие, неуловимые нити, которые связывают

ее с мальчиком, нити, которыми она втягивает, так сказать, этот живой огонь

в рамки повседневной жизни, втягивает, щадя и рамки, щадя и силу огня -

огня, который со временем ярко согреет жизнь соприкоснувшихся с ним людей,

за который тепло поблагодарят ее когда-нибудь люди. Он, муж, конечно,

смотрит с точки зрения своей солдатской дисциплины, его самого так

воспитывали, ну и сам он готов сплеча обрубить все сучки и задоринки

молодого деревца, обрубить, даже не сознавая, что рубит с ними будущие

ветки...

Няня маленькой Ани просовывает свою по-русски повязанную голову.

- Аню перекрестить...

- Давай! - И мать крестит девочку.

- Артемий Николаевич в комнате? - спрашивает она няню.

- Сидят у окошка.

- Свечка есть?

- Потушили. Так в темноте сидят.

- Заходила к нему?

- Заходила... Куды!.. Эх!.. - Но няня удерживается, зная, что барыня не

любит нытья.

- А больше никто не заходил?

- Таня еще... кушать носила.

- Ел?

- И-и! Боже упаси, и смотреть не стал... Целый день не емши. За

завтраком маковой росинки не взял в рот.

Няня вздыхает и, понижая голос, говорит:

- Белье бы ему переменить да обмыть... Это ему, поди, теперь пуще всего

зазорно...

- Ты говорила ему о белье?

- Нет... Куда!.. Как только наклонилась было, а он этак плечиками как

саданет меня... Вот Таню разве послушает...

- Ничего не надо говорить... Никто ничего не замечайте... Прикажи,

чтобы приготовили обе ванны поскорее для всех, кроме Ани... Позови бонну...

Смотри, никакого внимания...

- Будьте спокойны, - говорит сочувствующим голосом няня.

Входит фрейлейн.

Она очень жалеет, что все так случилось, но с мальчиком ничего нельзя

было сделать...

- Сегодня дети берут ванну, - сухо перебивает мать. - Двадцать два

градуса.

- Зер гут\*, мадам, - говорит фрейлейн и делает книксен.

Она чувствует, что мадам недовольна, но ее совесть чиста. Она не

виновата; фрейлейн Зина свидетельница, что с мальчиком нельзя было

справиться. Мадам молчит: бонна знает, что это значит. Это значит, что ее

оправдания не приняты.

Хотя она очень дорожит местом, но ее совесть спокойна. И, в сознании

своей невинности, она скромно, но с чувством оскорбленного достоинства

берется за ручку.

- Позовите Таню.

- Зер гут, мадам, - отвечает бонна и уже за дверями делает книксен.

В последней нотке мадам бонна услыхала что-то такое, что возвращает ей

надежду удержать за собой место, и она воскресшим голосом говорит:

- Таню, бариня идить!

Таня оправляется и входит в спальню.

Таня всегда купает Тему. Летом, в те дни, когда детей не мылили, ему

разрешалось самому купаться, без помощи Тани, и это доставляло Теме всегда

громадное удовольствие: он купался, как папа, один.

- Если Артемий Николаевич пожелает купаться один, пусть купается. Перед

тем как вести его в ванную, положи на стол кусок хлеба - не отрезанный, а

так, отломанный, как будто нечаянно его забыли. Понимаешь?

Таня давно все поняла и весело и ласково отвечает:

- Понимаю, сударыня!

- Купаться будут все; сначала барышни, а потом Артемий Николаевич.

Ванну на двадцать два градуса. Ступай.

Но тотчас же мать снова позвала Таню и прибавила:

- Таня, перед тем как поведешь Артемия Николаевича, убавь в ванной свет

в лампе так, чтобы был полумрак. И поведешь его не через детскую, а прямо

через девичью... И чтоб никого в это время не было, когда он будет идти. В

девичьей тоже убавь свет.

- Слушаю-с.

Купанье - всегда событие и всегда приятное. Но на этот раз в детской

оживление слабое. Дети находятся под влиянием наказания брата, а главное -

нет поджигателя обычного возбуждения, Темы. Дети идут как-то лениво, купанье

какое-то неудачное, поспешное, и через двадцать минут они уже, в белых

чепчиках, гуськом возвращаются назад в детскую.

Под дыханием мягкой южной ночи мать Темы возбужденно ходит по комнате.

По свойству своей оптимистической натуры она не хочет больше думать о

настоящем: оно будет исправлено, ошибка не повторится, и довольно.

Чтобы развлечь себя, она вышла на террасу подышать свежим воздухом.

Она видит в окно возвращающееся из ванной шествие и останавливается.

Вот впереди идет Зина - требовательный к себе и другим, суровый, жгучий

исполнитель воли. Девочка загадочно, непреклонно смотрит своими черными, как

ночь юга, глазами и точно видит уже где-то далеко какой-то ей одной ведомый

мир.

Вот тихая, сосредоточенная, болезненная Наташа смотрит своими

вдумчивыми глазами, пытливо чуя и отыскивая те тонкие, неуловимые звуки,

которые, собранные терпеливо и нежно, чудно зазвучат со временем близким

сладкою песнью любви и страданий.

Вот Маня - ясное майское утро, готовая всех согреть, осветить своими

блестящими глазками.

Сережик - "глубокий философ", маленький Сережик, только что начинающий

настраивать свой сложный маленький механизм, только что пробующий трогать

его струны и чутко прислушивающийся к этим тонким, протяжным отзвучьям, -

невольно манит к себе.

- Эт-та что? - медленно, певуче тянет он и так же медленно подымает

свой маленький пальчик.

- Синее небо, мой милый.

- Эт-та что?

- Небо, мой крошка, небо, малютка, недосягаемое синее небо, куда вечно

люди смотрят, но вечно ходят по земле.

Вот и Аня поднялась с своей кроватки навстречу идущим - крошечная Аня,

маленький вопросительный знак, с теплыми веселыми глазками.

А вот промелькнула в девичьей фигуре ее набедокурившего баловня -

живого, как огонь, подвижного, как ртуть, неуравновешенного, вечно

взбудораженного, возбужденного, впечатлительного, безрассудного сына. Но в

этой сутолоке чувств сидит горячее сердце.

Продолжая гулять, мать обошла террасу и пошла к ванной.

Шествие при входе в детскую заключает маленький Сережик, с откинутыми

ручонками, как-то потешно ковыляющий на своих коротеньких ножках.

- А папа Тему би-й, - говорит он, вспоминая почему-то о наказании

брата.

- Тс! - подлетает к нему стремительно Зина, строго соблюдавшая

установленное матерью правило, что о наказаниях, постигших виновных, не

имеют права вспоминать.

Но Сережик еще слишком мал. Он знать не желает никаких правил и потому

снова начинает:

- А папа...

- Молчи! - зажимает ему рот Зина. Сережик уже собирает в хорошо ему

знакомую гримасу лицо, но Зина начинает быстро, горячо нашептывать брату

что-то на ухо, указывая на двери соседней комнаты, где сидит Тема. Сережик

долго недоверчиво смотрит, не решаясь распроститься с сделанной гримасой и

извлечь из нее готовый уже вопль, но в конце концов уступает сестре, идет на

компромисс и соглашается смотреть картинки зоологического атласа.

- Артемий Николаич, пожалуйте! - говорит веселым голосом Таня, отворяя

дверь маленькой комнаты со стороны девичьей.

Тема молча встает и стесненно проходит мимо Тани.

- Одни или со мной? - беспечно спрашивает она вдогонку.

- Один, - отвечает быстро, уклончиво Тема и спешит пройти девичью.

Он рад полумраку. Он облегченно вздыхает, когда затворяет за собой

дверь ванной. Он быстро раздевается и лезет в ванну. Обмывшись, он вылезает,

берет свое грязное белье и начинает полоскать его в ванне. Ему кажется, он

умер бы со стыда, если бы кто-нибудь узнал, в чем дело; пусть лучше будет

мокрое. Кончив свою стирку, Тема скомкивает в узел белье и ищет глазами,

куда бы его сунуть; он засовывает наконец свой узел за старый, запыленный

комод. Успокоенный, он идет одеваться, и глаза его наталкиваются на кусок,

очевидно, забытого кем-то хлеба. Мальчик с жадностью кидается на него, так

как целый день ничего не ел. Годы берут свое: он сидит на скамейке, болтает

ножонками и с наслаждением ест. Всю эту сцену видит мать и взволнованно

отходит от окна. Она гонит от себя впечатление этой сцены, потому что

чувствует, что готова расплакаться. Она освежает лицо, поворачиваясь

навстречу мягкому южному ветру, стараясь ни о чем не думать.

Кончив есть, Тема встал и вышел в коридор. Он подошел к лестнице,

ведущей в комнаты, остановился на мгновенье, подумал, прошел мимо по

коридору и, поднявшись на крыльцо, нерешительно вполголоса позвал:

- Жучка, Жучка!

Он подождал, послушал, вдохнул в себя аромат масличного дерева,

потянулся за ним и, выйдя во двор, стал пробираться к саду.

Страшно! Он прижался лицом между двух стоек ограды и замер, охваченный

весь каким-то болезненным утомлением.

Ночь после бури.

Чем-то волшебным рисуется в серебристом сиянии луны сад. Разорванно

пробегают в далеком голубом небе последние влажные облака. Ветер точно

играет в пустом пространстве между садом и небом. Беседка задумчиво смотрит

на горке. А вдруг мертвецы, соскучившись сидеть на стене, забрались в

беседку и смотрят оттуда на Тему? Как-то таинственно страшно молчат дорожки.

Деревья шумят, точно шепчут друг другу: "Как страшно в саду". Вот что-то

черное беззвучно будто мелькнуло в кустах: на Жучку похоже! А может быть,

Жучки давно и нет?! Как жутко вдруг стало. А там что белеет?! Кто-то идет по

террасе.

- Артемий Николаевич, - говорит, отворяя калитку и подходя к нему,

Таня, - спать пора.

Тема точно просыпается.

Он не прочь, он устал, но перед сном надо идти прощаться, надо пожелать

спокойной ночи маме и папе. Ох, как не хочется! Он сжал судорожно крепко

руками перила ограды и еще плотнее прильнул к ним лицом.

- Артемий Николаич, Темочка, милый мой барин, - говорит Таня и целует

руки Темы, - идите к мамаше! Идите, мой милый, дорогой, - говорит она, мягко

отрывая и увлекая его за собой, осыпая на ходу поцелуями...

Он в спальне у матери.

Только лампадка льет из киота свой неровный, трепетный свет, слабо

освещая предметы.

Он стоит на ковре. Перед ним в кресле сидит мать и что-то говорит ему.

Тема точно во сне слушает ее слова, они безучастно летают где-то возле его

уха. Зато на маленькую Зину, подслушивающую у двери, речь матери бесконечно

сильно действует своею убедительностью. Она не выдерживает больше и, когда

до нее долетают вдруг слова матери: "а если тебе не жаль, значит, ты не

любишь маму и папу", врывается в спальню и начинает горячо:

- Я говорила ему...

- Как ты смела, скверная девчонка, подслушивать?!

И "скверная девчонка", подхваченная за руку, исчезает мгновенно за

дверью. Это изгнание его маленького врага пробуждает Тему. Он опять живет

всеми нервами своего организма. Все горе дня встает перед ним. Он весь

проникается сознанием зла, нанесенного ему сестрой. Обидное чувство, что его

никто не хочет выслушать, что к нему несправедливы, охватывает его.

- Все только слушают Зину... Все целый день на меня нападают, меня

никто не-е любит и никто не хо-о-чет вы-ы-слу-у...

И Тема горько плачет, закрывая руками лицо.

Долго плачет Тема, но горечь уже вылита.

Он передал матери всю повесть грустного дня, как она слагалась роковым

образом. Его глаза распухли от слез; он нервно вздрагивает и нет-нет

всхлипывает тройным вздохом. Мать, сидя с ним на диване, ласково гладит его

густые волосы и говорит ему:

- Ну, будет, будет... мама не сердится больше... мама любит своего

мальчика... мама знает, что он будет у нее хороший, любящий, когда поймет

только одну маленькую, очень простую вещь. И Тема может ее уже понять. Ты

видишь, сколько горя с тобой случилось, а как ты думаешь отчего? А я тебе

скажу: оттого, что ты еще маленький трус...

Тема, ждавший всяких обвинений, но только не этого, страшно поражен и

задет этим неожиданным выводом.

- Да, трус! Ты весь день боялся правды. И из-за того, что ты ее боялся,

все беды твои и случились. Ты сломал цветок. Чего ты испугался? Пойти

сказать правду сейчас же. Если б даже тебя и наказали, то ведь, как теперь

сам видишь, тем, что не сказал правды, наказанья не избег. Тогда как, если

бы ты правду сказал, тебя, может быть, и не наказали бы. Папа строгий, но

папа сам может упасть, и всякий может. Наконец, если ты боялся папы, отчего

ты не пришел ко мне?

- Я хотел сказать, когда вы садились в дрожки...

Мать вспомнила и пожалела, что не дала хода охватившему ее тогда

подозрению.

- Отчего ты не сказал?

- Я боялся папы...

- Сам же говоришь, что боялся, значит - трус. А трусить, бояться правды

- стыдно. Боятся правды скверные, дурные люди, а хорошие люди правды не

боятся и согласны не только, чтобы их наказывали за то, что они говорят

правду, но рады и жизнь отдать за правду.

Мать встала, подошла к киоту, вынула оттуда распятие и села опять возле

сына.

- Кто это?

- Бог.

- Да, бог, который принял вид человека и сошел с неба на землю. Ты

знаешь, зачем он пришел? Он пришел научить людей говорить и делать правду.

Ты видишь, у него на руках, на ногах и вот здесь кровь?

- Вижу.

- Эта кровь оттого, что его распяли, то есть повесили на кресте;

пробили ему гвоздями руки, ноги, пробили ему бок, и он умер от этого. Ты

знаешь, что бог все может, ты знаешь, что он пальцем вот так пошевелит - и

все, все мы сейчас умрем и ничего не будет: ни нашего дома, ни сада, ни

земли, ни неба. Как ты думаешь теперь, отчего он позволил себя распять,

когда мог бы взглядом уничтожить этих дурных людей, которые его умертвили?

Отчего?

Мать замолкла на мгновение и, выразительно, мягко заглядывая в широко

раскрытые глаза своего любимца-сына, проговорила:

- Оттого, что он не боялся правды, оттого, что правда была ему дороже

жизни, оттого, что он хотел показать всем, что за правду не страшно умереть.

И когда он умирал, он сказал: кто любит меня, кто хочет быть со мной, тот

должен не бояться правды. Вот когда ты подрастешь и узнаешь, как люди жили

прежде, узнаешь, что нельзя было бы жить на земле без правды, тогда ты не

только перестанешь бояться правды, а полюбишь ее так, что захочешь умереть

за нее, тогда ты будешь храбрый, добрый, любящий мальчик. А тем, что ты

сядешь на сумасшедшую лошадь, ты покажешь другим и сам убедишься только в

том, что ты еще глупый, не понимающий сам, что делаешь, мальчик, а вовсе не

то что ты храбрый, потому что храбрый знает, что делает, а ты не знаешь. Вот

когда ты знал, что папа тебя накажет, ты убежал, а храбрый так не делает.

Папа был на войне: он знал, что там страшно, а все-таки пошел. Ну, довольно:

поцелуй маму и скажи ей, что ты будешь добрый мальчик.

Тема молча обнял мать и спрятал голову на ее груди.

## IV

## СТАРЫЙ КОЛОДЕЗЬ

Ночь. Тема спит нервно и возбужденно. Сон то легкий, то тяжелый,

кошмарный. Он то и дело вздрагивает. Снится ему, что он лежит на песчаной

отмели моря, в том месте, куда их возят купаться, лежит на берегу моря и

ждет, что вот-вот накатится на него большая холодная волна. Он видит эту

прозрачную зеленую волну, как она подходит к берегу, видит, как пеной

закипает ее верхушка, как она вдруг точно вырастает, подымается перед ним

высокой стеной; он с замиранием и наслаждением ждет ее брызг, ее холодного

прикосновения, ждет привычного наслаждения, когда подхватит его она,

стремительно помчит к берегу и выбросит вместе с массою мелкого колючего

песку; но вместо холода, того живого холода, которого так жаждет воспаленное

от начинающейся горячки тело Темы, волна обдает его какими-то удушливым

жаром, тяжело наваливается и душит... Волна опять отливает, ему опять легко

и свободно, он открывает глаза и садится на кровати.

Неясный полусвет ночника слабо освещает четыре детских кроватки и пятую

большую, на которой сидит теперь няня в одной рубахе, с выпущенной косой,

сидит и сонно качает маленькую Аню.

- Няня, где Жучка? - спрашивает Тема.

- И-и, - отвечает няня, - Жучку в старый колодезь бросил какой-то ирод.

- И, помолчав, прибавляет: - Хоть бы убил сперва, а то так, живьем... Весь

день, говорят, визжала, сердечная...

Теме живо представляется старый заброшенный колодезь в углу сада, давно

превращенный в свал всяких нечистот, представляется скользящее, жидкое дно

его, которое иногда с Иоськой они любили освещать, бросая туда зажженную

бумагу.

- Кто бросил? - спрашивает Тема.

- Да ведь кто? Разве скажет!

Тема с ужасом вслушивается в слова няни. Мысли роем теснятся в его

голове, у него мелькает масса планов, как спасти Жучку, он переходит от

одного невероятного проекта к другому и незаметно для себя снова засыпает.

Он просыпается опять от какого-то толчка среди прерванного сна, в котором он

все вытаскивал Жучку какой-то длинной петлей. Но Жучка все обрывалась, пока

он не решил сам лезть за нею. Тема совершенно явственно помнит, как он

привязал веревку к столбу и, держась за эту веревку, начал осторожно

спускаться по срубу вниз; он уж добрался до половины, когда ноги его вдруг

соскользнули, и он стремглав полетел на дно вонючего колодца. Он проснулся

от этого падения и опять вздрогнул, когда вспомнил впечатление падения.

Сон с поразительной ясностью стоял перед ним. Через ставни слабо

брезжил начинающийся рассвет.

Тема чувствовал во всем теле какую-то болезненную истому, но, преодолев

слабость, решил немедля выполнить первую половину сна. Он начал быстро

одеваться. В голове у него мелькнуло опасение, как бы опять эта затея не

затянула его на путь вчерашних бедствий, но, решив, что ничего худого пока

не делает, он, успокоенный, подошел к няниной постели, поднял лежавшую на

полу коробку с серными спичками, взял горсть их к себе в карман, на цыпочках

прошел через детскую и вышел в столовую. Благодаря стеклянной двери на

террасу здесь было уже порядочно светло.

В столовой царил обычный утренний беспорядок - на столе стоял холодный

самовар, грязные стаканы, чашки, валялись на скатерти куски хлеба, стояло

холодное блюдо жаркого с застывшим белым жиром.

Тема подошел к отдельному столику, на котором лежала кипа газет,

осторожно выдернул из середины несколько номеров, на цыпочках подошел к

стеклянной двери и тихо, чтобы не произвести шума, повернул ключ, нажал

ручку и вышел на террасу.

Его обдало свежей сыростью рассвета.

День только что начинался. По бледному голубому небу там и сям точно

клочьями повисли мохнатые, пушистые облака. Над садом легкой дымкой стоял

туман. На террасе было пусто, и только платок матери, забытый на скамейке,

одиноко валялся, живо напомнив Теме вчерашний вечер со всеми его перипетиями

и с сладким примирительным концом.

Он спустился по ступенькам террасы в сад. В саду царил такой же

беспорядок вчерашнего дня, как и в столовой. Цветы с слепившимися

перевернутыми листьями, как их прибил вчера дождь, пригнулись к грязной

земле. Мокрые желтые дорожки говорили о силе вчерашних потоков. Деревья, с

опрокинутой ветром листвой, так и остались наклоненными, точно забывшись в

сладком предрассветном сне.

Тема пошел по главной аллее, потому что в каретнике надо было взять для

петли вожжи. Что касается до жердей, то он решил выдернуть их из беседки.

Проходя мимо злополучного места, с которого начинались его вчерашние

страдания, Тема увидел цветок, лежавший опрокинутым на земле. Его, очевидно,

смыло вчерашним ливнем.

"Вот ведь все можно было бы свалить на вчерашний дождь", - сообразил

Тема и пожалел, что теперь уж это бесполезно. Но пожалел как-то безучастно,

равнодушно. Болезнь быстро прогрессировала. Он чувствовал жар в теле, в

голове, общую слабость, болезненное желание упасть на траву, закрыть глаза и

так лежать без движения. Ноги его дрожали, иногда он вздрагивал, потому что

ему все казалось, что он куда-то падает. Иногда вдруг воскресала перед ним

какая-нибудь мелочь из прошлого, которую он давно забыл, и стояла с

болезненной ясностью. Тема вспомнил, что года два тому назад дядя Гриша

обещал подарить ему такую лошадку, которая сама, как живая, будет бегать.

Он долго мечтал об этой лошадке и все ждал, когда дядя Гриша привезет

ее ему, окидывая пытливым взглядом дядю при каждом его приезде и не решаясь

напомнить о забытом обещании. Потом он сам забыл об этом, а теперь вдруг

вспомнил.

В первое мгновение он встрепенулся от мысли, что вдруг дядя вспомнит и

привезет ему обещанную лошадку, но потом подумал, что теперь ему все равно,

ему уж не интересна больше эта лошадка. "Я маленький тогда был", - подумал

Тема.

Каретник оказался запертым, но Тема знал и без замка ход в него: он

пригнулся к земле и подлез в подрытую собаками подворотню. Очутившись в

сарае, он взял двое вожжей и захватил на всякий случай длинную веревку,

служившую для просушки белья.

При взгляде на фонарь он подумал, что будет удобнее осветить колодезь

фонарем, чем бумагой, потому что горящая бумага может упасть на Жучку -

обжечь ее. Выбравшись из сарая, Тема избрал кратчайший путь к беседке -

перелез прямо через стену, отделявшую черный двор от сада. Он взял в зубы

фонарь, намотал на шею вожжи, подвязался веревкой и полез на стену. Он

мастер был лазить, но сегодня трудно было взбираться: в голову точно стучали

два молотка, и он едва не упал. Взобравшись наверх, он на мгновение присел,

тяжело дыша, потом свесил ноги и наклонился, чтобы выбрать место, куда

прыгнуть. Он увидел под собой сплошные виноградные кусты и только теперь

спохватился, что его всего забрызгает, когда он попадет в свеженамоченную

листву. Он оглянулся было назад, но, дорожа временем, решил прыгать. Он

все-таки наметил глазами более редкое место и спрыгнул прямо на черневший

кусок земли. Тем не менее это его не спасло от брызг, так как надо было

пробираться между сплошными кустами виноградника, и он вышел на дорожку

совершенно мокрый. Эта холодная ванна мгновенно освежила его, и он

почувствовал себя настолько бодрым и здоровым, что пустился рысью к беседке,

взобрался проворно на горку, выдернул несколько самых длинных прутьев и

большими шагами по откосу горы спустился вниз. С этого места он опять

почувствовал слабость и уже шагом пробирался глухой заросшей дорожкой,

стараясь не смотреть на серую кладбищенскую стену.

Он знал, что неправда то, что говорил Иоська, но все-таки было страшно.

Тема шел, смотрел прямо перед собой, и чем больше он старался смотреть

прямо, тем ему делалось страшнее.

Теперь он был уверен, что мертвецы сидят на стене и внимательно следят

за ним. Тема чувствовал, как мурашки пробегали у него по спине, как что-то

страшное лезло на плечи, как чья-то холодная рука, точно играя, потихоньку

подымала сзади волосы. Тема не выдержал и, издавши какой-то вопль, принялся

было бежать, но звук собственного голоса успокоил его.

Вид заброшенного, пустынно торчавшего старого колодца, среди глухой,

поросшей только высокой травой местности, близость цели, Жучка - отвлекли

его от мертвецов. Он снова оживился и, подбежав к отверстию колодца,

вполголоса позвал:

- Жучка, Жучка!

Тема замер в ожидании ответа.

Сперва он ничего, кроме биения своего сердца да ударов молотков в

голове, не слышал. Но вот откуда-то издалека, снизу, донесся до него

жалобный, протяжный стон. От этого стона сердце Темы мучительно сжалось, и у

него каким-то воплем вырвался новый, громкий оклик.

- Жучка, Жучка!

На этот раз Жучка, узнав голос хозяина, радостно и жалобно завизжала.

Тему до слез тронуло, что Жучка его узнала.

- Милая Жучка! Милая, милая, я сейчас тебя вытащу, - кричал он ей,

точно она понимала его.

Жучка ответила новым радостным визгом, и Теме казалось, что она просила

его поторопиться исполнением обещания.

- Сейчас, Жучка, сейчас, - ответил ей Тема и принялся, с сознанием всей

ответственности принятого на себя обязательства перед Жучкой, выполнять свой

сон.

Прежде всего он решил выяснить положение дела. Он почувствовал себя

бодрым и напряженным, как всегда. Болезнь куда-то исчезла. Привязать фонар,

зажечь его и опустить в яму было делом одной минуты. Тема, наклонившись,

стал вглядываться. Фонарь тускло освещал потемневший сруб колодца, теряясь

все глубже и глубже в охватившем его мраке, и наконец на трехсаженной

глубине осветил дно.

Тонкой глубокой щелью какой-то далекой панорамы мягко сверкнула пред

Темой в бесконечной глубине мрака неподвижная, прозрачная, точно зеркальная

гладь вонючей поверхности, тесно обросшая со всех сторон слизистыми стенками

полусгнившего сруба.

Каким-то ужасом смерти пахнула на него со дна этой далекой, нежно

светившейся, страшной глади. Он точно почувствовал на себе ее прикосновение

и содрогнулся за свою Жучку. С замиранием сердца заметил он в углу черную

шевелившуюся точку и едва узнал, вернее угадал, в этой беспомощной фигурке

свою некогда резвую, веселую Жучку, державшуюся теперь на выступе сруба.

Терять времени было нельзя. От страха, хватит ли у Жучки силы дождаться,

пока он все приготовит, у Темы удвоилась энергия. Он быстро вытащил назад

фонарь, а чтобы Жучка не подумала, очутившись опять в темноте, что он ее

бросил, Тема во все время приготовления кричал:

- Жучка, Жучка, я здесь!

И радовался, что Жучка отвечает ему постоянно тем же радостным визгом.

Наконец все было готово. При помощи вожжей фонарь и два шеста с

перекладинкой внизу, на которой лежала петля, начали медленно спускаться в

колодезь.

Но этот так обстоятельно обдуманный план потерпел неожиданное и

непредвиденное фиаско благодаря стремительности Жучки, испортившей все.

Жучка, очевидно, поняла только одну сторону идеи, а именно, что

спустившийся снаряд имел целью ее спасение, и поэтому, как только он достиг

ее, она сделала попытку схватиться за него лапами. Этого прикосновения было

достаточно, чтобы петля бесполезно соскочила, а Жучка, потеряв равновесие,

свалилась в грязь.

Она стала барахтаться, отчаянно визжа и тщетно отыскивая оставленный ею

выступ.

Мысль, что он ухудшил положение дела, что Жучку можно было еще спасти и

теперь он сам виноват в том, что она погибнет, что он сам устроил гибель

своей любимице, заставляет Тему, не думая, благо план готов, решиться на

выполнение второй части сна - самому спуститься в колодезь.

Он привязывает вожжу к одной из стоек, поддерживающей перекладину, и

лезет в колодезь. Он сознает только одно, что времени терять нельзя ни

секунды.

Его обдает вонью и смрадом. На мгновенье в душу закрадывается страх,

как бы не задохнуться, но он вспоминает, что Жучка сидит там уже целые

сутки; это успокаивает его, и он спускается дальше. Он осторожно щупает

спускающейся ногой новую для себя опору и, найдя ее, сначала пробует, потом

твердо упирается и спускает следующую ногу. Добравшись до того места, где

застряли брошенные жердь и фонарь, он укрепляет покрепче фонарь, отвязывает

конец вожжи и спускается дальше. Вонь все-таки дает себя чувствовать и снова

беспокоит и пугает его. Тема начинает дышать ртом. Результат получается

блестящий: вони нет, страх окончательно улетучивается. Снизу тоже

благополучные вести. Жучка, опять уже усевшаяся на прежнее место,

успокоилась и веселым попискиванием выражает сочувствие безумному

предприятию.

Это спокойствие и твердая уверенность Жучки передаются мальчику, и он

благополучно достигает дна.

Между ним и Жучкой происходит трогательное свидание друзей, не чаявших

уже больше свидеться в этом мире. Он наклоняется, гладит ее, она лижет его

пальцы, и - так как опыт заставляет ее быть благоразумной - она не трогается

с места, но зато так трогательно, так нежно визжит, что Тема готов заплакать

и уже, забывшись, судорожно начинает втягивать носом воздух, необходимый для

первого непроизвольного всхлипывания, но зловоние отрезвляет и возвращает

его к действительности.

Не теряя времени он, осторожно держась зубами за изгаженную вожжу,

обвязывает свободным ее концом Жучку, затем поспешно карабкается наверх.

Жучка, видя такую измену, подымает отчаянный визг, но этот визг только

побуждает Тему быстрее подниматься.

Но подниматься труднее, чем спускаться! Нужен воздух, нужны силы, а

того и другого у Темы уже мало. Он судорожно ловит в себя всеми легкими

воздух колодца, рвется вперед и, чем больше торопится, тем скорее оставляют

его силы. Тема поднимает голову, смотрит вверх, в далекое ясное небо, видит

где-то высоко над собою маленькую веселую птичку, беззаботно скачущую по

краю колодца, и сердце его сжимается тоской: он чувствует, что не долезет.

Страх охватывает его. Он растерянно останавливается, не зная, что делать:

кричать, плакать, звать маму? Чувство одиночества, бессилия, сознания гибели

закрадываются в его душу. Он ясно видит, хотя инстинктивно не хочет

смотреть, хочет забыть, что под его ногами. Его уже тянет туда, вниз, по

этой гладкой скользящей стене, туда, где отчаянно визжит Жучка, где

блестящее вонючее дно ждет равнодушно свою, едва обрисовывающуюся во мраке,

обессилевшую жертву.

Ему уже хочется поддаться страшному, болезненному искушению - бросить

вожжи, но сознание падения на мгновение отрезвляет его.

- Не надо бояться, не надо бояться! - говорит он дрожащим от ужаса

голосом. - Стыдно бояться! Трусы только боятся! Кто делает дурное - боится,

а я дурного не делаю, я Жучку вытаскиваю, меня и мама и папа за это

похвалят. Папа на войне был, там страшно, а здесь разве страшно? Здесь ни

капельки не страшно. Вот отдохну и полезу дальше, потом опять отдохну и

опять полезу, так и вылезу, потом и Жучку вытащу. Жучка рада будет, все

будут удивляться, как я ее вытащил.

Тема говорит громко, у него голос крепнет, звучит энергичнее, тверже, и

наконец, успокоенный, он продолжает взбираться дальше.

Когда он снова чувствует, что начинает уставать, он опять громко

говорит себе:

- Теперь опять отдохну и потом опять полезу. А когда я вылезу и

расскажу, как я смешно кричал сам на себя, все будут смеяться, и я тоже.

Тема улыбается и снова спокойно ждет прилива сил.

Таким образом, незаметно его голова высовывается наконец над верхним

срубом колодца. Он делает последнее усилие, вылезает сам и вытаскивает

Жучку.

Теперь, когда дело сделано, силы быстро оставляют его. Почувствовав

себя на твердой почве, Жучка энергично встряхивается, бешено бросается на

грудь Темы и лижет его в самые губы. Но этого мало, слишком мало для того,

чтобы выразить всю ее благодарность, - она кидается еще и еще. Она приходит

в какое-то безумное неистовство!

Тема бессильно, слабеющими руками отмахивается от нее, поворачивается к

ней спиной, надеясь этим маневром спасти хоть лицо от липкой, вонючей грязи.

Занятый одной мыслью - не испачкать об Жучку лицо, - Тема ничего не

замечает, но вдруг его глаза случайно падают на кладбищенскую стену, и Тема

замирает на месте.

Он видит, как из-за стены медленно поднимается чья-то черная, страшная

голова.

Напряженные нервы Темы не выдерживают, он испускает неистовый крик и

без сознания валится на траву к великой радости Жучки, которая теперь уже

свободно, без препятствий выражает ему свою горячую любовь и признательность

за спасение.

Еремей (это был он), подымавшийся со свеженакошенной травой со старого

кладбища, - ежедневная дань с покойников в пользу двух барских коров, -

увидев Тему, довольно быстро на этот раз сообразил, что надо спешить к нему

на помощь.

Через час Тема, лежа на своей кроватке, с ледяными компрессами на

голове, пришел в себя.

Но уж связь событий потерялась в его воспаленном мозгу; предметы, мысли

проходили перед ним вопросами: отчего все так встревоженно толпятся вокруг

него? Вот мама...

- Мама!

Отчего мама плачет? Отчего ему тоже хочется плакать? Что говорит ему

мама? Отчего так вдруг хорошо ему стало? Но зачем же уходит от него мама,

зачем уходят все и оставляют его одного? Отчего так темно сделалось? Как

страшно вдруг стало! Что это лезет из-под кровати?!

- Это папа... милый папа!!

"Ах нет, нет, - тоскливо мечется мальчик, - это не папа, это что-то

страшное лезет".

- Иди, иди, иди себе! - с диким страхом кричит Тема. - Иди! - и крик

его переходит в какой-то низкий, полный ужаса и тоски рев.

- Иди! - несется по дому. И с напряженной болью прислушиваются все к

этому тяжелому горячечному бреду.

Всем жаль маленького Тему. Холодное дыхание смерти ярко колеблет

вот-вот готовое навсегда погаснуть разгоревшееся пламя маленькой свечки.

Быстро тает воск, быстро тает оболочка тела, и уже стоит перед всеми

горячая, любящая душа Темы, стоит обнаженная и тянет к себе.

## V

## НАЕМНЫЙ ДВОР

Проходили дни, недели в томительной неизвестности. Наконец здоровый

организм ребенка взял верх.

Когда в первый раз Тема показался на террасе, похудевший, выросший, с

коротко остриженными волосами, - на дворе уже стояла теплая осень.

Щурясь от яркого солнца, он весь отдался веселым, радостным ощущениям

выздоравливающего. Все ласкало, все веселило, все тянуло к себе: и солнце, и

небо, и видневшийся сквозь решетчатую ограду сад.

Ничего не переменилось со времени его болезни! Точно он только часа на

два уезжал куда-нибудь в город.

Та же бочка стоит посреди двора, по-прежнему такая же серая,

рассохшаяся, с еле державшимися широкими колесами, с теми же запыленными

деревянными осями, мазанными, очевидно, еще до его болезни. Тот же Еремей

тянет к ней ту же упирающуюся по-прежнему Буланку. Тот же петух озабоченно

что-то толкует под бочкой своим курам и сердится по-прежнему, что они его не

понимают.

Все то же, но все радует своим однообразием и будто говорит Теме, что

он опять здоров, что все точно только и ждали его выздоровления, чтобы

снова, вступив в прежнюю связь с ним, зажить одною общею жизнью.

Ему даже казалось, что вся его болезнь была каким-то сном... Только

лето прошло...

До его слуха долетели из отворенного окна кабинета голоса матери и отца

и заставили его еще раз почувствовать прелесть выздоровления.

Речь между отцом и матерью шла о нем.

Разговора в подробностях он не понял, но суть его уловил. Она

заключалась в том, что ему, Теме, разрешат бегать и играть на наемном дворе.

Наемный двор - громадное пустопорожнее место, принадлежавшее отцу Темы,

- примыкало к дому, где жила вся семья, отделяясь от него сплошной стеной.

Место было грязное, покрытое навозом, сорными кучами, и только там и сям

ютились отдельные землянки и низкие, крытые черепицей флигельки. Отец Темы,

Николай Семенович Карташев, сдавал его в аренду еврею Лейбе. Лейба, в свою

очередь, сдавал по частям: двор - под заезд, лавку - еврею Абрумке, в кабаке

сидел сам, а квартиры в землянках и флигелях отдавал внаем всякой городской

голытьбе. У этой голи было мало денег, но зато много детей. Дети -

оборванные, грязные, но здоровые и веселые - целый день бегали по двору.

Мысль о наемном дворе давно уже приходила в голову матери Темы, Аглаиде

Васильевне.

Нередко, сидя в беседке за книгой, она невольно обращала внимание на

эту ватагу вечно возбужденных веселых ребятишек. Наблюдая в бинокль за их

играми, за их неутомимой беготней, она часто думала о Теме.

Нередко и Тема, прильнув к щелке ворот, разделявших оба двора, с

завистью следил из своей сравнительно золотой темницы за резвой толпой.

Иногда он заикался о разрешении побегать на наемном дворе; мать слушала и

нерешительно отклоняла его просьбу.

Но болезнь Темы, упрек мужа относительно того, что Тема не

воспитывается как мальчик, положили конец ее колебаниям.

Как натура непосредственная и впечатлительная, Аглаида Васильевна

мыслила и решала вопросы так, как мыслят и решают только такие натуры. С

виду ее решения часто бывали для окружающих чем-то неожиданным; в

действительности же тот процесс мышления, результатом которого получалось

такое с виду неожиданное решение, несомненно существовал, но происходил, так

сказать, без сознательного участия с ее стороны. Факты накоплялись, и когда

их собиралось достаточно для данного вывода, - довольно было ничтожного

толчка, чтобы запутанное до того времени положение вещей освещалось сразу, с

готовыми уже выводами.

Так было и теперь. Упрек мужа был этим толчком, и Аглаида Васильевна

пошла в кабинет к нему поговорить о пришедшей ей в голову идее. Результатом

разговора было разрешение Теме посещать наемный двор.

Через две недели Тема уже носился с ребятишками наемного двора. Он весь

отдался ощущениям совершенно иной жизни своих новых приятелей - жизни, ни в

чем не схожей с его прежней, своим контрастом, неизгладимыми образами

отпечатлевшейся в его памяти.

Наемный двор, как уже было сказано, представлял собой сплошной пустырь,

заваленный всевозможными кучами.

Для всех эти кучи были грязным сором, выбрасываемым раз в неделю, по

субботам, из всех этих нищенских лачуг, но для оборванных мальчишек они

представляли собою неисчерпаемые источники богатств и наслаждений. Один вид

их - серый, пыльный, блестящий от кусочков битого стекла, сиявших на солнце

всеми переливами радуги, - уже радовал их сердца. В этих кучах были зарыты

целые клады: костяшки для игры в пуговки, бабки, нитки. С каким

наслаждением, бывало, в субботу, когда выбрасывался свежий сор, накидывалась

на него ватага жадных ребятишек, и в числе их - Тема с Иоськой.

Вот дрожащими от волнения руками тянется кусочек серой нитки и

пробуется ее крепость. Она годится для пускания змея, - ничего, что коротка,

она будет связана с другими такими же нитками; ничего, что в ней запутались

какие-то волосы и что-то прилипло, что она вся сбита в один запутанный

комок, - тем больше наслаждения будет, когда, собравши свою добычу, ватага

перелезет через кладбищенскую стену и, усевшись где-нибудь на старом

памятнике, станет приводить в порядок свое богатство.

Тема сидит, весь поглощенный своей трудной работой. Глаза его

машинально блуждают по старым покосившимся памятникам, и он думает: какой он

глупый был, когда испугался головы Еремея.

Гераська, главный атаман ватаги, рассказывает о ночных похождениях тех,

которых зарывают без отпевания.

- Прикинет тебе дорогу и ведет... ведет, ведет... Вот будто, вот сейчас

домой... Так и дотянет до петухов... Как кочета закричат, ну и будет, -

глядишь, а ты на том же месте стоишь. Верно! Накажи меня бог! - крестится в

подтверждение своих слов Гераська.

- Что ж? Это ни капельки не страшно, - пренебрежительно замечает Тема.

- Не страшно? - воспламеняется Гераська. - А попади-ка к ним под

сочельник, они тебе покажут, как не страшно! Погляжу я на тебя, когда

Пульчиха...

Пульчиха, старая, восьмидесятилетняя, высокая, толстая одинокая баба,

занимала одну из лачуг наемного двора. Она всегда отличалась угрюмым,

сосредоточенным, несообщительным нравом и всегда нагоняла на детей какой-то

инстинктивный ужас своим низким, грубым голосом, когда гоняла, бывало, их

подальше от своих дверей.

Однажды дверь обыкновенно аккуратной Пульчихи оказалась затворенной,

несмотря на то, что все давно уже встали. Гераська сейчас же, заметив эту

ненормальность, заглянул осторожно в окошечко лачуги и с ужасом отскочил

назад: выпученные глаза Пульчихи страшно смотрели на него со своего

вздутого, посинелого лица.

Преодолев ужас, Гераська опять заглянул и разглядел тонкую бечевку,

тянувшуюся с потолка к ее шее. Пульчиха, казалось, стояла на коленях, но не

касаясь пола, а как-то на воздухе. Подняли тревогу, выломали дверь, вытащили

старуху из петли, но уж все было кончено - Пульчиха умерла. Ее отнесли к

"висельникам", а лачуга так и оставалась пустой, не привлекая к себе новых

квартирантов.

Эта неожиданная, страшная смерть Пульчихи произвела на ватагу сильное,

потрясающее впечатление.

- Ты думаешь, - продолжал Гераська, воодушевляясь, и мурашки забегали

по спинам ватаги, - ты думаешь, она подохла? держи карман! Вот пусть-ка

снимет кто ее хату?! А-га! Вот тогда и узнает, где эта самая Пульчиха, как

она, подлая, ночью притащится на четвереньках под окно и станет смотреть,

что там делают. Рожа страшная, си-и-и-няя, вздутая, зубами ляскает, а

глазищи так и ворочаются, так и ворочаются... Накажи меня бог! Она и сейчас

каждую ночь шляется, сволочь, и пока ей в брюхо не забьют осиновый кол, она

так и будет лазить. А забьют, ну и шабаш!

Рассказ производит потрясающее впечатление. Тема давно сорван со своих

скептических подмостов и с напряженным лицом следит за каждым движением

Гераськи.

Напряженнее всех всегда слушает Колька, у которого даже жилы надуваются

на лбу, а рот остается открытым и тогда, когда все остальные уже давно

пришли в себя.

- У-у! - ткнет ему, бывало, Яшка пальцем в открытый рот.

Поднимется хохот. Колька вспыхнет и наметит обидчику прямо в ухо. Но

Яшка увернется и со смехом отбежит в сторону. Колька пустится за ним, Яшка

от него. Смех и общее веселье.

Солнце окончательно исчезает за деревьями; доносятся крикливые голоса

матерей всех этих Герасек, Колек, Яшек; ватага шумно карабкается по стене, с

размаху прыгает во двор и расходится. Тема некоторое время наблюдает, как

родители встречают запоздалых друзей шлепками, и нехотя возвращается со

своим оруженосцем Иоськой домой. Все ему так нравится, все внутри так живет

у него, что он жалеет в эту минуту только о том, что не может вечно

оставаться на наемном дворе, вечно играть со своими новыми друзьями.

Вечером за чайным столом сидит вся семья, сидит Тема, и образы двора

толпятся перед ним. Он как-то смутно вслушивается в разговор и оживляется

лишь тогда, когда до его слуха долетает жалоба пришедшего арендатора на то,

что номер Пульчихи по-прежнему не занят.

- Он и не будет никогда занят, - авторитетно заявляет Тема.

На вопрос "почему?" Тема сообщает причину. Заметив, что рассказ

производит впечатление, Тема продолжает, стараясь подражать во всем

Гераське:

- Как кто наймет, она, подлая, полезет к окну, морда си-иняя, зубами

ляскает, сама вздутая, подлая...

Тема все силы напрягает на последнем слове.

- Боже мой! что это?! - восклицает мать.

Тема немного озадачен, но доканчивает:

- А вот если ей в брюхо кол осиновый загнать, она, сволочь, перестанет

ходить.

На другой день Тему на наемный двор не пускают, и весь день посвящается

чистке от нравственного сора, накопившегося в душе Темы.

Тщательное следствие никакого, впрочем, особенного сора не

обнаруживает, хотя одна не совсем красивая история как-то сама собой

выплывает на свет божий.

В числе игр, развлекавших ребятишек, были и такие, в которых сорные

кучи были ни при чем, а именно: "дзига" - вид волчка, свайка, мяч и орехи.

Последняя игра требовала уже денег, так как орехов Абрумка даром не давал.

Был, конечно, способ достать орехов в саду. Но орехи сада не годились: они

были слишком крупны, шероховаты, а для игры требовались маленькие орехи,

круглые и легкие. Ничего, что внутри их все давно сгнило, зато они хорошо

катились в ямку. В случае крайности за три садовых ореха Теме давали один

Абрумкин. Эти садовые орехи тоже нелегко давались. Тема должен был рвать их

с риском попасться; иногда ломались ветви под его ногами, что тоже мог

заметить зоркий глаз отца. Тема придумал выход более простой. Он пришел раз

к Абрумке и сказал:

- Абрумка, скоро будет мое рождение, и мне подарят двадцать копеек. Дай

мне теперь орехов, а в рождение я тебе отдам деньги.

Абрумка дал. Таким образом, набралось на двадцать копеек. Тема

некоторое время не ходил к Абрумке, но нужда заставила, и, придя к нему, он

сказал:

- Абрумка, дай мне еще орехов.

Но Абрумка напомнил Теме, что в рождение ему подарят только двадцать

копеек.

Тогда Тема сказал Абрумке:

- Я забыл, Абрумка, мне Таня обещала еще десять копеек подарить.

Абрумка подозрительно покосился на Тему. Тема покраснел и почувствовал

к Абрумке что-то враждебное и злое. Он уже хотел убежать от гадкого Абрумки

и отказаться от своего намерения взять у него еще орехов, но так как Абрумка

пошел в лавку, то и Тема передумал и направился за ним. Абрумка копался за

темным, грязным прилавком, отыскивая между загаженными мухами полками

грязную банку с гнилыми орехами, а Тема ждал, пугливо косясь на соседнюю,

тоже темную, комнату, где в полумраке на кровати обрисовывалась фигура

больной жены Абрумки. Она уже давным-давно не вставала и лежала на своей

кровати, казалось, засунутая в пуховую перину, - вечно больная, бледная,

изможденная, с горевшими черными глазами, с всклокоченными волосами, - и

изредка тихо, мучительно стонала.

Получив орехи, Тема опрометью бросился из лавки, подальше от страшной

жены Абрумки, у которой Гераська как-то умудрился заметить хвостик и сам

своими глазами видел, как она однажды верхом на метле, ночью под шабаш,

вылетела в трубу. Так как Гераська при этом снял шапку, перекрестился и

сказал: "Накажи меня бог!" - то сомнения быть не могло в справедливости его

слов.

Получив орехи и проиграв их, Тема больше уже не решался идти к Абрумке.

Он чувствовал, что надул его, и это его мучило. Ему казалось, что и Абрум

это понял. Тема чувствовал свою вину перед ним и без щемящего чувства не мог

смотреть на угнетенную фигуру вечно торчавшего у своих дверей Абрумки.

Иногда вдруг, среди веселой игры, мелькнет перед Темой образ Абрумки,

вспомнится близость дня рождения, безвыходность положения, и тоскливо замрет

сердце. Только одно утешение и было, что день рождения еще не так близок. Но

беда пришла раньше, чем ждал Тема. Однажды Абрумка, никогда не отходивший ни

на шаг от своей лавочки, вдруг, заметив Тему во дворе, пошел к нему.

Тема при его приближении вильнул было, как будто играя, в кирпичный

сарай, но Абрумка вошел и в сарай и потребовал от Темы денег, мотивируя

нужду в деньгах неожиданной смертью жены.

Тема уже с утра слышал от своих товарищей, что жена Абрумки умерла;

слышал даже подробный рассказ, как Абрумка сам задушил ее ночью, наложив ей

на голову подушку, и, усевшись; сидел на этой подушке до тех пор, пока его

жена не перестала хрипеть; затем он слез и лег спать, а утром пошел и сказал

всем, что его жена умерла.

- Ты сам видел? - спросил с широко открывшимися глазами Тема.

- Накажи меня бог, видел! - проговорил Гераська и в доказательство снял

шапку и перекрестился.

Теперь этот Абрумка, как будто он никогда не душил своей жены, стоял

перед Темой в темном сарае и требовал денег.

Теме стало страшно: а вдруг и его злой Абрумка сейчас задушит и пойдет

скажет всем, что Тема взял и сам умер.

- У меня нет денег, - ответил Тема коснеющим языком.

- Ну, так я лучше папеньке скажу, - просительно проговорил Абрумка, -

очень нужно, нечем хоронить мою бедную Химку...

И Абрум вытер скатившуюся слезу.

- Нет, не говори, я сам скажу, - быстро проговорил Тема, - я сейчас же

принесу тебе.

У Темы пропал всякий страх к Абрумке. Искреннее, неподдельное горе,

звучавшее в его словах, повернуло к нему сердце Темы. Он решил немедленно

идти к матери и сознаться ей во всем.

Он застал мать за чтением.

Тема горячо обнял мать.

- Мама, дай мне тридцать копеек.

- Зачем тебе?

Тема замялся и сконфуженно проговорил:

- Мне жалко Абрумки, ему нечем похоронить Химку, я обещал ему.

- Это хорошо, что тебе жаль его, но все-таки обещать ему ты не имел

никакого права. Разве у тебя есть свои деньги? Только своими деньгами можно

располагать.

Тема напряженно, сконфуженно слушал, и когда Аглаида Васильевна вынесла

ему деньги, он обнял ее и горячо ответил ей, мучимый раскаянием за свою

ложь:

- Милая моя мама, я никогда больше не буду.

- Ну, иди, иди, - ласково отвечала мать, целуя его.

Тема бежал к Абрумке, и в воображении рисовалось его лицо, полное

блаженства, когда он увидит принесенные ему Темой деньги.

Раскрасневшись, с блестящими глазами, он влетел в лавочку и, чувствуя

себя хорошо и смело, как до того времени, когда он еще не сделался

должником, проговорил восторженно:

- Вот, Абрумка!

Абрумка, рывшийся за прилавком, молча поднял голову и равнодушно-уныло

взял протянутые ему деньги. Но, взглянув на разочарованного Тему, Абрумка

инстинктивно понял, что Теме нет дела до его горя, что Тема поглощен собой и

требует награды за свой подвиг. Движимый добрым чувством, Абрумка вынул одну

конфетку из банки, подал ее мальчику и, потрепав его по плечу, проговорил

рассеянно:

- Хороший панич.

Теме не по душе была фамильярность Абрумки, не по душе было равнодушие,

с каким последний принял от него деньги, и восторженное чувство сменилось

разочарованием. То, что-то близкое, что он за мгновение до этого чувствовал

к обездоленному, тихому Абрумке, сменилось опять чем-то чужим, равнодушным,

брезгливым. Тема уже хотел оттолкнуть конфетку и убежать, хотел сказать

Абрумке, что он не смеет трепать его по плечу, потому что он - Абрумка, а он

Тема - генеральский сын, но что-то удержало его. Он на мгновение

почувствовал унизительное бессилие от своей неспособности обрезать так, как,

наверно, обрезала бы Зина, и, скрывая брезгливость, разочарование,

раздражение и сознание бессилия молча взял конфетку и, не глядя на Абрумку,

уже собирался поскорее вильнуть из лавки, как вдруг дверь отворилась, и Тема

увидел, что происходило в другой комнате. Там толпа грязных евреек суетливо

доканчивала печальный обряд. Тема увидел что-то белое, спеленатое и

догадался, что это что-то было тело жены Абрумки. В комнате, обыкновенно

темной, было теперь светло от отворенных окон; кровать, на которой лежала

больная, была пуста и прибрана. "И никогда уж больше не будет лежать на ней

жена Абрумки", - подумал Тема. Ее сейчас понесут на кладбище, зароют, и

останется она там одна с червями, тогда как он, Тема, сейчас выбежит из

лавочки, и счастливый, полный радости жизни будет играть, смотреть на

веселое солнце, дышать воздухом. А она не может дышать. Ах, как хорошо

дышать! И Тема вздохнул всей грудью. Как хорошо бегать, смеяться, жить!.. А

она не может жить, она никогда не откроет глаз и никогда, никогда не ляжет

больше на эту кровать. Как пусто, тяжело стало на душе Темы. Какой мрак и

тоска охватили его от формулированного в первый раз понятия о смерти. Да,

это все пройдет. Не будет ни Абрумки, ни всех, ни его, Темы, ни этой

лавочки, - все, все когда-нибудь исчезнет. И все равно когда-нибудь смерть

придет, и никуда нельзя от нее уйти, никуда... Вот жена Абрумки... А если б

она спряталась под кровать?! Нет, нельзя, - смерть и там нашла бы ее. И его

найдет... И от этой мысли у Темы захватило дыхание, и он стремительно

выбежал из лавки на свежий воздух.

Скучно стало Теме. Точно все - все умерли вдруг, и никого, кроме него,

не осталось, и все так пусто, тоскливо кругом. Когда Тема прибежал к

игравшей в пуговки ватаге, озабоченно и взволнованно следившей за движениями

Гераськи, в третий раз победоносно собиравшегося бить кон, Тема облегченно

вздохнул, но по-прежнему безучастный, присел на пыльную землю, прижавшись к

стене избушки, возле которой происходила игра. Он рассеянно следил за тем,

как мелькали по воздуху отскакивавшие от стены медные пуговки, как, сверкнув

в лучах яркого солнца, они падали на пыльную, мягкую землю, мгновенно

покрываясь серым слоем, следил за напряженными, возбужденными лицами, и

невольная параллель контрастов - того, что было у Абрумки и что происходило

здесь, - смутно давило его. Тут радуются, а там смерть, им нет дела до

Абрумки, а Абрумке - до них, и нельзя так сделать, чтобы и Абрумка

радовался. Если его позвать играть с ними? Он не пойдет. Это им, детям,

весело, а большие не любят играть. Как скучно большим жить - ничего они не

любят: ни бабок, ни пуговиц, ни мяча. И он будет большой, и он ничего этого

не будет любить - скучно будет. Нет, он будет любить! Он условится вот с

Яшкой, Гераськой, Колькой, чтобы всегда любить играть, и будет им всегда

весело... Нет, не будет - он тоже разлюбит... Нет, не разлюбит, ни за что не

разлюбит! И, вскочив, точно боясь, что может отвыкнуть, он энергично

закричал:

- Мой кон!

И вдруг в тот момент когда Тема так живо почувствовал желание играть,

жить, - у него неприятно екнуло сердце при мысли, что он обманул мать.

"Ничего! Когда я просил у мамы прощения, я думал, что прошу за то, что

обманул ее, я когда-нибудь расскажу ей все".

Успокоив себя, Тема забыл и думать обо всем этом. И вдруг все открылось

как-то так, что он и оглянуться не успел, как сам же спутал себя.

К удивлению Темы, Аглаида Васильевна отнеслась к этой истории очень

мягко и только взяла с Темы слово, что на будущее время он будет говорить ей

всегда правду, - иначе ворота наемного двора для него навсегда запрутся.

Прошел год. Тема вырос, окреп и развернулся. В жизни ватаги произошла

некоторая перемена. Приятно было бегать по двору, лазить на кладбище, но еще

приятнее было убегать в ту сторону, где синело необъятное море. В таких

прогулках было столько заманчивого!.. Тема забывал, что он еще маленький

мальчик. Он стоял на берегу моря; нежный, мягкий ветер гладил его лицо,

играл волосами и вселял в него неопределенное желание чего-то, еще не

изведанного. Он следил за исчезавшим на горизонте пароходом с каким-то

особенно щемящим, замирающим чувством, полный зависти к счастливым людям,

уносившимся в туманную даль. Рыбаки, пускавшиеся в море на своих утлых

челноках, были в глазах Темы и всей ватаги какими-то полубогами. С каким

уважением он и ватага смотрели на их загорелые лица; с каким благоговейным

напряжением выбивались они из сил, помогая такому собиравшемуся в путь

рыбаку стащить в море с гравелистого берега лодку!

- Дяденька, пояс! - кричал какой-нибудь счастливчик, заметив забытый

рыбаком на берегу пояс.

Какой завистью горели глазенки остальных, какой удовлетворенной

гордостью блистали глаза счастливца, на долю которого досталось оказать

последнюю услугу отважному, неразговорчивому рыбаку! Напрасно глаза жадно

ищут еще чего-нибудь, забытого на песке!

- Мальчик! Поднеси-ка корзинку! Вон, вон на песке, - кричит с

выступающего камня другой рыболов, поймавший на удочку рыбу.

Новая работа: ребятишки вперегонку пускаются за корзинкой и

какой-нибудь счастливец уже несется с ней.

- О-го! Здоровый! - разрешает он себе замечание, принимая в корзину

пойманную рыбу.

Рыболов снова погружается в безмолвное созерцание неподвижного

поплавка, корзинка относится на место, и мальчишки ищут новых занятий. Они

собирают по берегу плоские камешки и с размаху пускают их по воде. "Раз,

два, три, четыре" - скользя, полетел камень по гладкой поверхности.

- Чебурых! - презрительно говорит кто-нибудь, когда камень, пущенный

неумелой рукой, с места зарезывается в воду, вместо того чтобы лететь

касательно.

А то, засучив по колена штаны, ватага лезет в воду и ловит под камнями

рачков, разных ракушек. Поймает, полюбуется и съест. Ест и Тема и испытывает

бесконечное наслаждение.

Однажды ватага забрела на бойню. Тема, увлекшись, не заметил, как

очутился в самом дворе, как раз в тот момент, когда рассвирепевший бык,

оторвавшись от привязи, бросился на присутствовавших, а в том числе и на

Тему. Тему едва спасли. Мясник, выручивший его, на прощанье надрал ему уши.

Тема был рад, что его спасли, но обиделся, что его выдрали за уши. Он стоял

сконфуженный, избегая любопытных взглядов ватаги, и обдумывал план мести.

Между тем мясники, кончив свою работу, нагрузили телеги и поехали в город.

Тема знал, что их путь лежит мимо дома его отца, и потому отправился за

ними. Увидев у калитки дома Еремея, Тема обогнал обоз и стал у калитки с

камнем в руках. Когда выдравший его за ухо мясник поровнялся с ним, Тема

размахнулся и пустил в него камнем, который и попал мяснику в лицо.

- Держи, держи! - закричали мясники и бросились за маленьким

разбойником.

Влететь в калитку, задвинуть засов - было делом одного мгновения. На

улице раненый мясник благим матом вопил:

- Батюшки, убил! Убил, разбойник!

Мясники на все голоса кричали:

- Грабеж, караул! Караул, режут!

"Убил!" - пронеслось в голове Темы.

На крыльцо выскочили из дому испуганные сестры, бонна, а за ней и сама

Аглаида Васильевна, бледная, перепуганная непонятной тревогой.

Физиономия Темы, его растерянный вид ясно говорили, что в нем кроется

причина всего этого шума.

- Что? Что такое? Что ты сделал?

- Я... я убил мясника, - заревел благим матом Тема, приседая от ужаса к

земле.

Было не до расспросов. Аглаида Васильевна бросилась в кабинет мужа.

Появление генерала дало делу более спокойный оборот. Все объяснилось, рана

оказалась неопасной. Обиженный получил на водку, и через несколько минут

мясники снова отправились в путь. У Темы отлегло от сердца.

- Негодный мальчик! - проговорила, входя с улицы, мать.

Тема потупился и почувствовал себя действительно негодным мальчиком.

Николай Семенович был не того мнения.

- За что ж ты ругаешь его? - возмущенно обратился он к жене. - Что ж,

по-твоему, ему уши будут рвать, а он ручки за это должен целовать?

Аглаида Васильевна, в свою очередь, была озадачена.

- Ну, так и берите себе этого разбойника, а мне он больше не сын, -

проговорила она и быстро ушла в комнаты.

Тема не почувствовал никакой радости от поддержки отца и удовлетворенно

вздохнул только тогда, когда последний ушел. На душе у него было неспокойно;

лучше было бы, если бы отец его выругал, а мать похвалила.

Походив с час, Тема отправился к матери и, как полагалось, когда мать

на него сердилась, проговорил:

- Мама, я больше не буду.

- Скверный мальчик! Что ты больше не будешь? Ты понимаешь, в чем ты

виноват?

- В том, что дрался.

- В том, что ты такой же грубый, как и тот мясник, в которого ты

швырнул камнем. Ты знаешь, что, если бы не он, бык разорвал бы тебя?

- Знаю.

- Если бы ты тонул и тебя за волосы вытащили бы из воды, ты тоже бросил

бы камнем в того, кто тебя вытащил?

- Ну да... А зачем он меня за руку не взял?

- А зачем ты без позволения к нему во двор пошел? Зачем ставишь себя в

такое положение, что тебя могут взять за ухо? Зачем ты без позволения на

бойне был? Зачем ты злой? Зачем ты волю рукам даешь, негодный ты мальчик?

Мясник грубый, но добрый человек, а ты грубый и злой... Иди, я не хочу

такого сына!..

Тема приходил и снова уходил, пока наконец само собой как-то не

осветилось ему все: и его роль в этом деле, и его вина, и несознаваемая

грубость мясника, и ответственность Темы за созданное положение дела.

- Ты, всегда ты будешь виноват, потому что им ничего не дано, а тебе

дано; с тебя и спросится.

Закончилось все уже вечером притчей о талантах и рассуждением на тему:

кому много дано, с того много и спросится.

Тема внимательно и с интересом слушал, задавал вопросы, в которых

чувствовалось, что он сознательно переживает смысл сказанного.

Горячая Аглаида Васильевна не могла удержаться, чтобы в такой удобный

момент не подбросить несколько лишних полен...

- Ты большой уже мальчик, тебе десятый год. Один мальчик в твои годы

уже царем был.

Глаза Темы широко раскрылись.

- А я когда буду царем? - спросил он, уносясь мыслью в сказочную

обстановку Ивана-царевича.

- Ты царем не будешь, но ты, если захочешь, ты можешь помогать царю.

Вот такой же мальчик, как ты...

И Тема узнал о Петре Великом, Ломоносове, Пушкине. Он услышал

коротенькие стихи, которые мать так звучно и красиво прочла ему:

Сети рыбак расстилал по берегу студеного моря;

Мальчик ему помогал. Мальчик, оставь рыбака!

Сети иные тебя ожидают,

Будешь умы уловлять, будешь помощник царям.

Теме рисовалась знакомая картина: морской берег, загорелые рыбаки, он,

нередко помогавший им расстилать на берегу для просушки мокрые сети, и,

вздохнув от избытка чувств, он проговорил удовлетворенно:

- Мама, я тоже помогал расстилать сети рыбакам.

Засыпая в этот вечер, Тема чувствовал себя как-то особенно возвышенно

настроенным. В сладких, неясных образах носились перед ним и рыбаки, и сети,

и неведомый мальчик, отмеченный какой-то особой печатью, и десятилетний

грозный царь, и все это, согреваемое сознанием чего-то близкого,

соприкосновенного, ярко переливало в сонном мозгу Темы.

"А все-таки я хорошо сделал, что хватил мясника: теперь уж никто не

захочет взять меня за ухо!" - пронеслось вдруг последней сознательной

мыслью, и Тема безмятежно заснул.

## VI

## ПОСТУПЛЕНИЕ В ГИМНАЗИЮ

Еще год прошел. Подоспела гимназия. Тема держал в первый класс и

выдержал. Накануне начала уроков Тема в первый раз надел форму.

Это был счастливый день!

Все смотрели и говорили, что форма ему очень идет. Тема отпросился на

наемный двор. Он шел сияющий и счастливый.

Было августовское воскресенье; яркие лучи заливали сверху, глаза тонули

в мягкой синеве чистого неба. Акации, окаймлявшие кладбищенскую стену, точно

спали в сиянии веселого, ласкового дня.

Семья Кейзера, вся налицо, сидит за обедом перед дверями своей

квартиры. Благообразный старик, точильщик Кейзера, чопорно и сухо меряет

Тему глазами. С тою же неприветливостью смотрит и похожий на отца старший

сын. Зато "Кейзеровна" вся исчезла в доброй, ласковой улыбке, и ее белый

высокий чепчик усердно кивает Теме. Маленький Кейзер - младшая ветвь, весь в

мать - тоже растаял и переводит свои блаженные глаза с чепчика матери на

Темин мундир.

- Здравствуйте, здравствуйте, Темочка! - говорит Кейзеровна. - Ну вот

вы, слава богу, и гимназист... совсем как генерал...

Тема сомневается, чтобы он был похож на генерала.

- Папеньке и маменьке радость, - продолжает Кейзеровна. - Папенька

здоров?

- Здоров, - отвечает Тема, смотря в пространство и роя сапогом землю.

- И маменька здорова? и братик? и сестрички? Ну, слава богу, что все

здоровы.

Тема чувствует, что можно идти дальше, и тихо, чинно двигается вперед.

У дверей своей лачуги сидит громадный Яков и наслаждается. Его красное

лицо блестит, маленькие черные глаза блестят, разутые большие ноги греются,

вытянутые на солнце. Он уже пропустил перед обедом...

В отворенное окно несется писк и шипение сковороды, на которой жарится

одна из пойманных сегодня камбал. Яков каждое воскресенье ходит удить рыбу.

Шесть дней он переносит пятипудовые мешки на своих плечах с телег на суда, а

в седьмой - до обеда удит, а с обеда до вечера кейфует и наслаждается

отдыхом. С ним живет старуха мать, и больше никого. Была когда-то жена, но

давно сбежала, и давно уже ничего о ней не знает Яков.

- Яков, я уже поступил в гимназию, - говорит Тема, останавливаясь перед

ним.

- В гимназию, - добродушно тянет Яков и улыбается.

- Это мой мундир.

- Мундир? - повторяет Яков и опять улыбается.

Наступает молчание. Яков смотрит на большой палец ноги, как-то особенно

загнувшийся к соседу, и протягивает к нему руку.

- Много наловил? - спрашивает Тема.

- Наловил, - отвечает Яков, отставив рукой большой палец ноги, который,

как только его выпустил Яков, еще плотнее насел на соседний.

- А мне уж нельзя больше с тобой ходить, - говорит Тема, вздыхая, - я

теперь гимназист.

- Гимназист, - повторяет Яков и опять улыбается.

Тема идет дальше, и везде, где только сидят, он останавливается, чтоб

показать себя. Только заметив Ивана Ивановича, он спешит пройти мимо. Тема

не любит разговаривать с Иваном Ивановичем, когда он пьян. А Иван Иванович,

отставной унтер-офицер, сослуживец отца, несомненно пьян. Он сидит на

завалинке, качается и поводит кругом мутными глазами.

- Стой! - кричит он, увидав Тему, - на караул!

- Дурак, - отвечает, не останавливаясь, Тема.

- Стой!! Едят тя мухи с комарами!

- И Иван Иванович делает вид, что бросается за Темой.

Тема пускается в рысь, а Иван Иванович весело визжит:

- Держи, держи!

Тема скандализован; он заворачивает за угол, оправляется и опять чинно

идет дальше.

Появление Темы перед ватагой произвело надлежащий эффект. Тема

наслаждается впечатлением и рассказывает, с чужих слов, какие в гимназии

порядки.

- Если кто шалит, а придет учитель и спросит, кто шалил, а другой

скажет, - тот ябеда. Как только учитель уйдет, его сейчас поведут в

переднюю, накроют шинелями и бьют.

Ватага, поджав свои босые грязные ноги, сидела под забором и с

разинутыми ртами слушала Тему. Когда небольшой запас сведений Темы о

гимназии был исчерпан, кто-то предложил идти купаться. Поднялся вопрос,

можно ли теперь идти и Теме. Тема решил, что если принять некоторые меры

предосторожности, то можно. Он приказал ватаге идти поодаль, потому что

теперь уже неловко ему - гимназисту - идти рядом с ними. Тема шел впереди, а

вся, ватага, сбившись в тесную кучу, робко шла сзади, не сводя глаз со

своего преобразившегося сочлена. Тема выбирал самые людные улицы, шел и

беспрестанно оглядывался назад. Иногда он забывал и по старой памяти

ровнялся с ватагой, но, вспомнив, опять уходил вперед. Так они все дошли до

берега моря.

Ах, какое чудное было море! Все оно точно золотыми кружками отливало и

сверкало на солнце и тихо, едва слышно билось о мягкий песчаный берег. А

там, на горизонте, оно, уже совсем спокойное и синее-синее, уходило в

бесконечную даль. Там, казалось, было еще прохладнее.

Но и тут хорошо, когда скинешь горячий мундир и останешься в одной

рубахе. Тема оглянулся, где бы уложить новенький мундир?

- А вот дайте, я подержу, - проговорил вдруг высокий, худой старик.

Тема с удовольствием принял предложение.

- Да вы бы, сударь, немного подальше от этих... неловко вам, - шепнул

Теме на ухо старик, когда Тема собрался было раздеваться.

"Это верно!" - подумал Тема и, обратившись к ватаге, сказал:

- Нам в гимназии нельзя... нам запрещено вместе... Вы здесь купайтесь,

а я пойду подальше...

Ватага переглянулась, а Тема со стариком ушли.

- Ну, вот здесь уж можно, - проговорил старик, когда ватага скрылась из

глаз благодаря выступающему камню. Тема разделся и полез в воду. Пока он

купался, старик сидел на берегу и не мог надивиться искусству Темы. А Тема

старался.

- Я могу вон до тех пор доплыть под водой, - кричал он и с размаху

бросался в воду. - Я и на спине могу, - кричал опять Тема. - Я могу и

смотреть в воде!

И Тема опускался в воду, открывал глаза и видел желтые круги.

- А я могу... - начал снова Тема, да так и замер: ни старика, ни платья

не было больше на берегу. В первую минуту Тема и не догадался о печальной

истине: ему просто стало жутко от одиночества и пустоты, которые вдруг

охватили его с исчезновением старика, и он бросился к берегу. Он думал, что

старик просто перешел на другое место. Но старика нигде не было. Тогда он

понял, что старик обокрал его. Растерянный, он пришел к ватаге, уже

выкупавшейся и одетой, и сообщил ей свое горе. Розыски были бесполезны. Все

пространство, какое охватывал глаз, было безлюдно. Старик точно провалился

сквозь землю.

- Может, это нечистый был, - сделал кто-то предположение, и у всех

пробежали мурашки по телу.

- Пойдем, - предложил Яшка, не отличавшийся храбростью, и, быстро

вскочив, напялил шапку на мокрые волосы.

- А я как же? - жалобно проговорил Тема.

Была одна комбинация: остаться Теме на берегу и ждать, пока дадут знать

домой. Но одному было страшно, а из ватаги никто не хотел оставаться с ним.

Всех напугал нечистый, всем было страшно, все спешили уйти, и Тема

волей-неволей потянулся за всеми.

- У-ла-ла-а! Голый мальчик!

- Голый мальчик! Голый мальчик! - И толпа городских ребятишек,

припрыгивая и улюлюкая, бежала за Темой.

Голый мальчик не каждый день ходит по улицам, и все спешили посмотреть

на голого мальчика. Тема шел и горько плакал. Почти каждый прохожий желал

знать, в чем дело. Но Тема так плакал, что говорить сам не мог; за него

говорили его друзья. Это было очень трогательно. Все останавливались и

слушали, слушал и Тема. Когда рассказ доходил до мундира, Тема не выдерживал

и начинал снова рыдать.

- Но почему же вы не возьмете извозчика? - спросил Тему господин в

золотых очках.

"Извозчика?!" - думал Тема. Разве мало убытков папе и маме от

пропавшего платья! Нет, он не возьмет извозчика.

Два господина остановили процессию и тоже пожелали узнать, в чем дело.

Выслушав, один из них спросил Тему:

- Как ваша фамилия?

- Ка-ка-рташев, - ответил, захлебываясь, Тема.

- Генерала Карташева? - переспросил удивленно господин и, посмотрев

насмешливо на своего спутника, проговорил пренебрежительно: - Венгерский

герой!

- А-га! - протянул небрежно его спутник. И оба прошли, чему-то

улыбаясь.

Сердце Темы болезненно сжалось от этих туманных, насмешливых намеков.

Ему ясно было одно: над его отцом смеются! И ему стало так больно, что он

забыл, что он голый, и весь потонул в мучительной мысли. Теперь, когда

спрашивали его, как фамилия, Тема отвечал уже нерешительно и робко.

Съежившись, он снова ждал какого-нибудь обидного намека и пытливо смотрел в

глаза спрашивавших.

- Вы сын генерала?

- Да, - отвечал почти шепотом Тема.

- Бедный мальчик! Возьмите извозчика.

Слава богу, этот ничего не сказал.

- Генерала Карташева?! Николая Семеныча?!

Тема стоял ни жив ни мертв. Это было на базарной площади, и говорил

высокий, здоровый, немного пьяный старик.

"А вдруг он меня сейчас ударит?!" - подумал Тема.

- Батюшки мои! Да ведь это мой генерал! Я ведь с ним, когда он

эскадронным еще... Я и жив через него остался! Лизка! Лизка-а!

Подошла толстая краснощекая торговка.

- Воз давай! - орал старик.

- Какой еще воз?

- Давай воз! Генеральский сын! Того генерала, что жизнь мою... Помнишь,

дура, говорил тебе сколько раз... Офицер на войне... Ну, вот из-под

лошади... Э, дура!

"Дура" вспомнила и с любопытством осматривала Тему.

- Ну, так вот сын его... Ну, давай, что ли, воз! Сам повезу... С рук на

руки сдам. Вот что!

- А кавуны? С десяток еще осталось.

- Ну их! Какие тут кавуны! Давай воз! Ах ты, грех какой! Ну, беда! Ах

он, окаянный!

Так причитая, размахивая руками, то наклоняясь к Теме, то опять

выпрямляясь, ораторствовал старик, пока дочь его, сидя на краю телеги,

поворачивала лошадь в толпе.

- Вот какое дело вышло! - продолжал кричать старик, обращаясь к

окружающим, - первый генерал, можно сказать, и на вот!.. То ись, значит...

одно слово! Прямо отец!.. Строг!.. А чтоб обидеть - ни-ни! Тут вот сейчас

смерть твоя, а тут отошел, отошел... и нет его: голыми руками бери! И любили

ж! Ну, прямо вот скажи: ложись и помирай! Сейчас! Ей-богу!

- Конечно, ежели, к примеру, хороший господин... - поддержал старика

мастеровой.

- То ись, вот какой господин - что тебе, солдату, полагается, значит,

бери, а водку особо. Вот какой господин!

Этот довод окончательно убедил толпу.

- Такому господину и послужить можно!

- Известно, можно!

- То вже не то що як, а то господын...

А старик уже сидел на возу и только молча одобрительно кивал головой на

сочувственные отзывы толпы. Сидел и Тема, укутанный в свиту, с наслаждением

прислушиваясь к словам старика.

- Ты хорошо знаешь моего отца? - спрашивал Тема.

- Ах ты, мой милый, милый! - говорил старик, - отца твоего я во как

знаю. Я двадцать лет его изо дня в день видал. Этакого человека нет и не

будет! Он за тебя и душу свою, и себя самого, и рубаху последнюю снимет! Вот

он какой!

Тема уж так расстроился, что не мог удержаться от слез; слезы радости,

слезы счастья за отца текли по его щекам. Ватага не отставала от Темы и вся

шла тут же возле телеги.

- Вы тут что? - накинулся было на них старик.

- Это мои мальчики, они со мной, - вступился Тема. - Они у нас живут в

доме.

- Вот как! Дружки, значит? Так что ж... айда в телегу и вы!

Ватага не заставила себя упрашивать и, живо вскарабкавшись,

разместились, кто как мог. Через несколько минут ребятишки веселым шепотом

еще раз передавали случившееся, на этот раз передавая все с комическим

оттенком. Как ни был опечален Тема, но и он не мог удержаться и фыркнул,

когда Яшка передавал, как они утекали от нечистого. Нередко на чью-нибудь

меткую остроту раздавался дружный, сдержанный смех остальной компании.

- Прысь, прысь! - говорил старик, за спиной которого шушукались дети,

как котята в мешке.

И, откинувшись к ним, старик долго любовался своим грузом:

- Вишь, как они!.. Как мухи к меду... Не брезгуешь...

И, повернувшись назад, старик убежденно докончил:

- И господь не побрезгует тобой.

Только через неделю была готова новая форма.

Когда Тема появился в первый раз в классе, занятия были уже в полном

разгаре.

Тему проводили из дому с большим почетом. Приехавший батюшка отслужил

молебен. Мать торжественно перекрестила его с надлежащими наставлениями

новеньким образком, который и повесили ему на шею. Он перецеловался со

всеми, как будто уезжал на несколько лет. Сережику он обещал принести из

гимназии лошадку. Мать, стоя на крыльце, в последний раз перекрестила

отъезжавших отца и сына. Отец сам вез Тему, чтобы сдать его с рук в руки

гимназическому начальству. На козлах сидел Еремей, больше чем когда-либо

торжественный. Сам Гнедко вез Тему. В воротах стоял Иоська и сиротливо

улыбался своему товарищу. Из наемного двора высыпала вся ватага ребятишек, с

разинутыми ртами провожавшая глазами своего члена. Тут были все налицо:

Гераська, Яшка, Колька, Тимошка, Петька, Васька... В открытые ворота

мелькнул наемный двор, всевозможные кучи, вросшие в землю избушки, чуть

блеснула стена старого кладбища. Вспомнилось прошлое, мелькнуло сознание,

что все уж это назади, как ножом отрезано... Что-то сжало горло Темы, но он

покосился на отца и удержался. Дорогой отец говорил Теме о том, что его ждет

в гимназии, о товариществе, как в его время преследовали ябед - накрывали

шинелями и били.

Тема слушал знакомые рассказы и чувствовал, что он будет надежным

хранителем товарищеской чести. В его голове рисовались целые картины

геройских подвигов.

У дверей класса Тема поцеловался в последний раз с отцом и остался

один.

Сердце его немного дрогнуло при виде большого класса, набитого массой

детских фигур. Одни на него смотрели с любопытством, другие насмешливо, но

все равнодушно и безучастно; их было слишком много, чтобы интересоваться

Темой.

Вошел Иван Иванович, высокий черный надзиратель, совсем молодой еще,

конфузливый, добрый, и крикнул:

- Господа, есть еще место?

На каждой скамейке сидело по четыре человека. Свободное место оказалось

на последней скамейке.

- Ну, вот и садись, - проговорил Иван Иванович и, постояв еще

мгновение, вышел из класса.

Тема пошел скрепя сердце на последнюю скамейку. Из рассказов отца он

знал, что там сидят самые лентяи, но делать было нечего.

- Сюда! - строго скомандовал высокий, плотный, краснощекий мальчик лет

четырнадцати.

Тему поразил этот верзила, составлявший резкий контраст со всеми

остальными ребятишками.

- Полезай! - скомандовал Вахнов и довольно бесцеремонно толкнул Тему

между собой и маленьким черным гимназистом, точно шапкой покрытым мохнатыми,

нечесаными волосами.

Из-под этих волос на Тему сверкнула пара косых черных глаз и снова

куда-то скрылась.

Несколько человек бесцеремонно подошли к соседним скамьям и смотрели на

конфузившегося, не знавшего куда девать свои руки и ноги Тему. Из чих

особенно впился в Тему белобрысый некрасивый гимназист Корнев, с заплывшими

небольшими глазами, как-то в упор, пренебрежительно и недружелюбно

осматривая его. Вахнов, облокотившись локтем о скамейку, подперев щеку

рукой, тоже осматривал Тему сбоку с каким-то бессмысленным любопытством.

- Как твоя фамилия? - спросил он наконец у Темы.

- Карташев.

- Как? Рубль нашел? - переспросил Вахнов.

- Очень остроумно! - едко проговорил белобрысый гимназист и,

пренебрежительно отвернувшись, пошел на свое место.

- Это - сволочь! - шепнул Вахнов на ухо Теме.

- Ябеда? - спросил тоже на ухо Тема.

Вахнов кивнул головой.

- Его били под шинелями? - спросил опять Тема.

- Нет еще, тебя дожидались, - как-то загадочно проговорил Вахнов.

Тема посмотрел на Вахнова.

Вахнов молча, сосредоточенно поднял вверх палец.

Вошел учитель географии, желтый, расстроенный. Он как-то устало,

небрежно сел и раздраженно начал перекличку. Он то и дело харкал и плевался

во все стороны. Когда дошло до фамилии Карташева, Тема, по примеру других,

сказал:

- Есть.

Учитель остановился, подумал и спросил:

- Где?

- Встань! - толкнул его Вахнов. Тема встал.

- Где вы там? - перегнулся учитель и чуть не крикнул: - Да подите сюда!

Прячется где-то... ищи его.

Тема выбрался, получив от Вахнова пинка, и стал перед учителем.

Учитель смерил глазами Тему и сказал:

- Вы что ж? Ничего не знаете из пройденного?

- Я был болен, - ответил Тема.

- Что ж мне-то прикажете делать? С вами отдельно начинать с начала, а

остальные пусть ждут?

Тема ничего не ответил. Учитель раздраженно проговорил:

- Ну, так вот что, как вам угодно: если чрез неделю вы не будете знать

всего пройденного, я вам начну ставить единицы до тех пор, пока вы не

нагоните. Понятно?

- Понятно, - ответил Тема.

- Ну, и ступайте.

- Ничего, - прошептал успокоительно Вахнов. - Уж без того не обойдется,

все равно, чтобы не застрять на второй год. Ты знаешь, сколько я лет уж

высидел?

- Нет.

- Угадай!

- Больше двух лет, кажется, нельзя.

- Три. Это только для меня, потому что я сын севастопольского героя.

Следующий урок был рисование. Теме дали карандаш и бумагу.

Тема начал выводить с модели какой-то нос, но у него не было никаких

способностей к рисованию. Выходило что-то совсем несообразное.

- Ты совсем не умеешь рисовать? - спросил Вахнов.

- Не умею, - ответил Тема.

- Сотри! Я тебе нарисую.

Тема стер. Вахнов в несколько штрихов красиво нарисовал ему большой,

выпуклый, с шишкой нос.

- Разве он похож на этот нос? - спросил огорченно Тема, сравнивая его с

моделью римского носа.

- Ну, вот глупости, ты можешь рисовать всякий, какой захочешь... Лишь

бы был нос. Ну, скажешь, что у дяди твоего такой нос... вот и все. Это все

глупости, а вот хочешь, я покажу тебе фокус, только крепко держи.

Вахнов сунул в руку Темы какой-то продолговатый предмет.

- Крепко держи!

- Ты что-нибудь сделаешь?

- Ну вот... только держи... крепче! - И Вахнов с силой дернул шнурок.

В то же мгновение Тема с пронзительным криком, уколотый двумя

высунувшимися иголками, хватил со всего размаха Вахнова по лицу.

Учитель встал со своего места и пошел к Теме.

- Только выдай, сегодня же отделаем под шинелями, - прошептал Вахнов.

Учитель, с каким-то болезненным, прозрачным лицом, с длинными

бакенбардами, с стеклянными глазами, подошел и уставился на Тему.

- Как фамилия?

- Карташев.

- Встаньте!

Тема встал.

- Вы что ж, в кабак сюда пришли?

Тема молчал.

- Ваше рисование?

Тема протянул свой нос.

- Это что ж такое?

- Это моего дяди нос, - отвечал Тема.

- Вашего дяди? - загадочно переспросил учитель. - Хорошо-с, ступайте из

класса!

- Я больше не буду, - прошептал Тема.

- Хорошо-с, ступайте из класса. - И учитель ушел на свое место.

- Иди, это ничего, - прошептал Вахнов. - Постоишь до конца урока и

придешь назад. Молодец! Первым товарищем будешь!

Тема вышел из класса и стал в темном коридоре у самых дверей. Немного

погодя в конце коридора показалась фигура в форменном фраке. Фигура быстро

подвигалась к Теме.

- Вы зачем здесь? - наклонясь к Теме, спросил как-то неопределенно

мягко господин.

Тема увидел перед собой черное, с козлиной бородой лицо, большие черные

глаза с массой тонких синих жилок вокруг них.

- Я... Учитель сказал мне постоять здесь.

- Вы шалили?

- Н... нет.

- Ваша фамилия?

- Карташев.

- Вы маленький негодяй, однако! - проговорил господин, совсем близко

приближая свое лицо, таким голосом, что Теме показалось, будто господин этот

оскалил зубы. Тема задрожал от страха. Его охватило такое же чувство ужаса,

как в сарае, когда он остался с глазу на глаз с Абрумкой.

- За что Карташев выслан из класса? - спросил он, распахнув дверь.

При появлении господина весь класс шумно встал и вытянулся в струнку.

- Дерется, - проговорил учитель. - Я дал ему модель носа, а он вот что

нарисовал и говорит, что это нос его дяди.

Светлый класс, масса народа успокоили Тему. Он понял, что сделался

жертвой Вахнова, понял, что необходимо объясниться, но, на свое несчастье,

он вспомнил и наставление отца о товариществе. Ему показалось особенно

удобным именно теперь, пред всем классом, заявить, так сказать, себя сразу,

и он заговорил взволнованным, но уверенным и убежденным голосом:

- Я, конечно, никогда не выдам товарищей, но я все-таки могу сказать,

что я ни в чем не виноват, потому что меня очень нехорошо обманули и ска...

- Молчать!! - заревел благим матом господин в форменном фраке. -

Негодный мальчишка!

Теме, не привыкшему к гимназической дисциплине, пришла другая

несчастная мысль в голову.

- Позвольте... - заговорил он дрожащим, растерянным голосом, - вы разве

смеете на меня так кричать и ругать меня?

- Вон!! - заревел господин во фраке и, схватив за руку Тему, потащил за

собой по коридору.

- Постойте... - упирался сбившийся окончательно с толку Тема. - Я не

хочу с вами идти... Постойте...

Но господин продолжал волочить Тему. Дотащив его до дежурной, господин

обратился к выскочившему надзирателю и проговорил, задыхаясь от бешенства:

- Везите этого дерзкого сорванца домой и скажите, что он исключен из

гимназии.

Отец, успевший только что возвратиться из города, передавал жене

гимназические впечатления.

Мать сидела в столовой и занималась с Зиной и Наташей. Из отворенных

дверей детской доносилась возня Сережика с Аней.

- Так все-таки испугался?

- Струсил, - усмехнулся отец. - Глазенки забегали. Привыкнет.

- Бедный мальчик, - трудно ему будет! - вздохнула мать и, посмотрев на

часы, проговорила: - Второй урок кончается. Сегодня надо будет ему

торжественную встречу сделать. Надо заказать к обеду все любимые его блюда.

- Мама, - вмешалась Зина, - он любит больше всего компот.

- Я подарю ему свою записную книжечку.

- Какую, мама, - из слоновой кости? - спросила Зина.

- Да.

- Мама, а я подарю ему свою коробочку. Знаешь? Голубенькую.

- А я, мама, что подарю? - спросила Наташа. - Он шоколад любит... я

подарю ему шоколаду.

- Хорошо, милая девочка. Все положим на серебряный поднос и, когда он

войдет в гостиную, торжественно поднесем ему.

- Ну, и я ему тоже подарю: кинжал в бархатной оправе, - проговорил

отец.

- Ну, уж это будет полный праздник ему...

Звонок прервал дальнейшие разговоры.

- Кто б это мог быть? - спросила мать и, войдя в спальню, заглянула на

улицу.

У калитки стоял Тема с каким-то незнакомым господином в помятой шляпе.

Сердце матери тоскливо екнуло.

- Что с тобой?! - окликнула она Тему, входившего с каким-то

взбудораженным, перевернутым лицом.

На этом лице было в это мгновение все: стыд, растерянность, какая-то

тупая напряженность, раздражение, оскорбленное чувство, - одним словом,

такого лица мать не только никогда не видела у своего сына, но даже и

представить себе не могла, чтобы оно могло быть таким. Своим материнским

сердцем она сейчас же поняла, что с Темой случилось какое-то большое горе.

- Что с тобой, мой мальчик?

Этот мягкий, нежный вопрос, обдав Тему привычным теплом и лаской семьи,

после всех этих холодных, безучастных лиц гимназии потряс его до самых

тончайших фибр его существования.

- Мама! - мог только закричать он и бросился, судорожно, безумно рыдая,

к матери...

После обеда Карташевы, муж и жена, поехали объясняться к директору.

Господин во фраке, оказавшийся самим директором, принял их в своей

гостиной сухо и сдержанно, но вежливо, с порядочностью воспитанного

человека.

Горячий пыл матери разбился о нервный, но сдержанный и сухой тон

директора. Он деликатно, терпеливо слушал ее взгляды на воспитание, какие

именно цели она преследовала, слушал, скрывая ощущение какого-то невольного

пренебрежения к словам матери, и, когда она кончила, как-то нехотя начал:

- В моем распоряжении с лишком четыреста детей. Каждая мать, конечно,

воспитывает своих детей, как ей кажется лучше, считает, конечно, свою

систему идеальной и решительно забывает только об одном: о дальнейшем,

общественном уже воспитании своего ребенка, совершенно забывает о том

руководителе, на обязанности которого лежит сплотить всю эту разрозненную

массу в нечто такое, с чем, говоря о практической стороне дела, можно было

бы совладать. Если каждый ребенок начнет рассуждать с своей точки зрения о

правах своего начальника, забьет себе в свою легкомысленную, взбалмошную

голову правила какого-то товарищества, цель которого прежде всего скрывать

шалости, - следовательно, в основе его - уже стремление высвободиться от

влияния руководителя, - зачем же тогда эти руководители? Будем

последовательны - зачем же вы тогда? Мне кажется: раз вы почему-либо

признаете необходимостью для вашего сына общественное воспитание, раз вы

почему-либо отказываетесь от его дальнейшего обучения и передаете его нам,

вы тем самым обязаны беспрекословно признать все наши правила, созданные не

для одного, а для всех. К этому обязывает вас и справедливость; мы не

мешались в воспитание вашего сына до поступления его в гимназию...

- Но ведь он остается же моим сыном?

- Во всем остальном, кроме гимназии. С момента его поступления ребенок

должен понимать и знать, что вся власть над ним в сфере его занятий

переходит к его новым руководителям. Если это сознание будет глубоко сидеть

в нем - это даст ему возможность благополучно сделать свою карьеру; в

противном случае рано или поздно явится необходимость пожертвовать им для

поддержания порядка существующего гимназического строя. Это я прошу вас

принять, как мой окончательный ультиматум как директора гимназии, а как

частный человек - могу только прибавить, что если б даже я желал что-нибудь

изменить в этом, то мне ничего другого не оставалось бы сделать, как выйти в

отставку. Говорю вам это, чтоб яснее обрисовать положение вещей. Сын ваш,

конечно, не будет исключен, и я должен был прибегнуть к такой крутой мере

только для того, чтобы прекратить невозможную, говоря откровенно,

возмутительную сцену. Безнаказанным его поступка тоже нельзя оставить... для

других. Я верю в его невинность и в самом скором времени постараюсь удалить

эту язву, Вахнова, которого мы держим из-за раненого отца, оказавшего в

севастопольскую кампанию большие услуги городу... Но всякому терпению есть

граница. Педагогический совет определит сегодня меру наказания вашему сыну,

и сегодня же я уведомлю вас. Больше, к сожалению, я ничего не могу для вас

сделать.

Мать Карташева молча, взволнованно встала. В ней все бурлило и

волновалось, но она как-то совершенно потеряла под собой почву. Она

чувствовала свое полное бессилие и вместе с тем чувствовала, что ее все

больше охватывало желание чем-нибудь задеть неуязвимого директора. Но она

побоялась повредить сыну и предпочла лучше поскорее уехать.

- Я хотел только сказать, - проговорил, вставая за женой, Карташев, - я

вполне разделяю все ваши взгляды... Я сам военный, и странно было бы не

сочувствовать вам... Дисциплина... конечно... Но я хотел только вам сказать

насчет товарищества... Все ж таки, мне кажется, нельзя отрицать его

пользы...

Жена с неудовольствием нетерпеливо ждала конца начатого мужем

совершенно бесполезного разговора.

- Совершенно отрицаю в том виде, как оно вообще понимается, - ответил

директор, - а именно - скрывать негодяев, заслуживающих наказания.

- Боже мой, - прошептала Карташева, - нашаливший ребенок - негодяй!

И вдруг то, чего она боялась, что еще держала в себе, вылетело как-то

само собой:

- Но этот негодяй заслуживает все-таки, чтобы его выслушали, прежде чем

осыпать его бранью?

Директор вспыхнул до корня волос.

- Сударыня, если я смею сказать вам у себя в доме... Я сказал бы... Я

сказал бы, что не считаю себя ответственным в своих поступках перед вами.

Карташева спохватилась.

- Я прошу вас извинить мою невольную горячность... Это все так ново...

пожалуйста, извините... У вашей жены есть дети? - обратилась она с

неожиданным вопросом к директору.

- Есть, - озадаченно ответил он.

- Передайте ей, - дрожащим голосом проговорила Карташева, - что я от

всего сердца желаю ей и ее детям никогда не пережить того, что пережили

сегодня я и мой сын.

И, едва сдерживая слезы, она вышла на лестницу и поспешно спустилась к

экипажу.

Сидя в экипаже, она ждала мужа, который остался еще, чтобы какой-нибудь

прощальной фразой смягчить впечатление, произведенное его женой на

директора... Мысли беспорядочно, нервно проносились в ее голове. Чужая...

Совсем чужая... Все пережитое, перечувствованное, выстраданное - не дает

никаких прав. Это оценка того, кому непосредственно с рук на руки отдаешь

свой десятилетний, напряженный до боли труд. Убийственное равнодушие...

Общие соображения?! Точно это общее существует отвлеченно, где-то само для

себя, а не для тех же отдельных субъектов... Точно это общее, а не они сами,

со временем станет за них в ряды честных, беззаветных работников своей

родины... Точно нельзя, не нарушая этого общего, не топтать в грязь

самолюбия ребенка.

- Едем, - проговорила она нервно садившемуся мужу, - едем скорее от

этих неуязвимых людей, которые думают только о своих удобствах и не в

состоянии даже вспомнить, что сами были когда-то детьми.

Вечером было прислано определение педагогического совета. Тема в

течение недели должен был на лишний час оставаться в гимназии после уроков.

На следующий день Тема с надлежащими инструкциями был отправлен в

гимназию уже один.

Поднимаясь по лестнице, Тема лицом к лицу столкнулся с директором. Он

не заметил сначала директора, который, стоя наверху, молча, внимательно

наблюдал маленькую фигурку, усердно шагавшую через две ступени. Когда,

поднявшись, он увидал директора, - черные глаза последнего строго и холодно

смотрели на него.

Тема испуганно, неловко стащил шапку и поклонился.

Директор едва заметно кивнул головой и отвел глаза.

## VII

## БУДНИ

Мелкий ноябрьский дождь однообразно барабанил в окна.

На больших часах в столовой медленно-хрипло пробило семь часов утра.

Зина, поступившая в том же году в гимназию, в форменном коричневом

платье, в белой пелеринке, сидела за чайным столом, пила молоко и тихо

бурчала себе под нос, постоянно заглядывая в открытую, лежавшую перед ней

книгу.

Когда пробили часы, Зина быстро встала и, подойдя к Теминой комнате,

проговорила через дверь:

- Тема, уже четверть восьмого.

Из Теминой комнаты послышалось какое-то неопределенное мычание.

Зина возвратилась к книге, и снова в столовой раздался тихий,

равномерный гул ее голоса.

В комнате Темы царила мертвая тишина.

Зина опять подошла к двери и энергично произнесла:

- Тема, да вставай же!

На этот раз недовольным, сонным голосом Тема ответил:

- И без тебя встану!

- Осталось всего пятнадцать минут, я тебя ни одной минуты не буду

ждать. Я не желаю из-за тебя каждый раз опаздывать.

Тема нехотя поднялся.

Надев сапоги, он подошел к умывальнику, раза два плеснул себе в лицо

водой, кое-как обтерся, схватил гребешок, сделал небрежный раздел сбоку -

кривой и неровный, несколько раз чеснул свои густые волосы; не докончив,

пригладил их нетерпеливо руками и, одевшись, застегивая сюртук на ходу,

вошел в столовую.

- Мама приказала, чтоб ты непременно стакан молока выпил, - проговорила

Зина.

Тема только сдвинул молча брови.

- Я не буду такой бурды пить... Пей сама! - ответил Тема, толкая

поданный Таней стакан чаю.

- Артемий Николаевич, мама крепкий же не позволяют.

Тема посидел несколько мгновений, затем решительно вскочил, взял чайник

и подлил себе в стакан крепкого чаю.

Таня посмотрела на Зину, Зина на Тему; а Тема, довольный, что добился

своего, макал в чай хлеб и ел его, ни на кого не глядя.

- Молоко будете пить? - спросила Таня.

- Полстакана!

После молока Зина встала и, решительно проговорив: "Я больше ни минуты

не жду", - начала поспешно собирать свои тетради и книги.

Тема не спеша последовал ее примеру.

Брат и сестра вышли на подъезд, где давно уже ждал их со всех сторон

закрытый, точно облитый водой, экипаж, мокрая Буланка и такой же мокрый,

сгорбившийся, одноглазый Еремей.

В экипаже исчезли сперва Зина, а за ней Тема.

Еремей застегнул фартук и поехал.

Дождь уныло барабанил по крыше экипажа. Теме вдруг показалось, что Зина

заняла больше половины сиденья, и потому он начал полегоньку теснить Зину.

- Тема, что тебе надо? - спросила будто ничего не понимавшая Зина.

- Ну, да ты расселась так, что мне тесно!

И Тема еще сильнее нажал на Зину.

- Тема, если ты сейчас не перестанешь, - проговорила Зина, упираясь изо

всех сил ногами, - я назад поеду, к папе!..

Тема молча продолжал свое дело. Сила была на его стороне.

- Еремей, поезжай назад! - потеряв терпение, крикнула Зина.

- Еремей, пошел вперед! - закричал в то же время Тема.

- Еремей - назад!

- Еремей - вперед!

Окончательно растерявшийся Еремей остановился и, заглядывая через щель

единственным глазом к своим неуживчивым седокам, проговорил:

- Ну ей-же-богу, я слизу с козел, и идьте, як хотыте, бо вже не знаю,

кого и слухаты!

Внутри экипажа все стихло. Еремей поехал дальше. Он благополучно

добрался до женской гимназии, где сошла Зина. Тема поехал дальше один.

Фантазия незаметно унесла его далеко от действительности, на

необитаемый остров, где он, всласть навоевавшись с дикарями и со

всевозможными чудовищами мира, надумался наконец умирать.

Умирать Тема любил. Все будут жалеть его, плакать; и он будет

плакать... И слезы вот-вот уж готовы брызнуть из глаз Темы... А Еремей давно

уже стоит у ворот гимназии и удивленным глазом смотрит в щелку. Тема

испуганно приходит в себя, оглядывается, по царящей тишине во дворе

соображает, что опоздал, и сердце его тоскливо замирает. Он быстро пробегает

двор, лестницу, проворно снимает пальто и старается незамеченным

проскользнуть по коридору.

Но высокий Иван Иванович, размахивая своими длинными руками, уже идет

навстречу. Он как-то мимоходом ловит за плечо Тему, заглядывает ему в лицо и

лениво спрашивает:

- Карташев?

- Иван Иванович, - не записывайте, - просит Тема.

- Учитель же все равно запишет, - отвечает флегматично Иван Иванович, у

которого не хватает духу прямо отказать.

- У нас батюшка... я попрошу...

Иван Иванович нерешительно, нехотя говорит:

- Хорошо...

Тема отворяет большую дверь и как-то боком входит в свой класс. Его

обдает спертым, теплым воздухом, он торопливо кланяется батюшке и спешит

озабоченно на свое место.

По окончании урока маленькая фигурка бежит за священником:

- Батюшка, сотрите мне.

Батюшка идет, переваливаясь с боку на бок, не спеша откидает свою

шелковую рясу, достает платок, сморкается и спрашивает Тему:

- А зачем же вы опаздываете?

За Темой и батюшкой, толкаясь, бежит целый хвост любопытных учеников.

Всякому интересно хоть одним ухом послушать, в чем дело.

- У нас часы отстают, - отвечает Тема, понижая голос так, чтобы другие

не слышали. - Я теперь их поставлю на четверть часа вперед.

- Вы часов не портите, а лучше сами вставайте на четверть часа раньше,

- говорит батюшка и исчезает в дверях учительской.

Хвост фыркает.

Тема подавляет недоумение, делает беспечную физиономию перед насмешливо

смотрящими на него учениками и спешит в класс. Там он садится на свое место,

поднимает оба колена, упирается ими в скамью и, стараясь смотреть

равнодушно, вдумывается в смысл батюшкиных слов.

Вахнов свернул бумажку и, помочив ее слюнями, водит ею вокруг шеи и

лица Темы. Тема досадливо говорит:

- Ну, отстань же!

Но Вахнов не отстает.

- Ну, что ты за свинья! - говорит Тема.

В ответ Вахнов хватает Тему за руку и выкручивает ее ему за спину. У

Темы закипает бессильная злоба, ему хочется "треснуть" Вахнова, и он

пускается на хитрость.

- Ну, оставь же, - повторяет уже ласково Тема.

Вахнов смягчается, снисходительно дает Теме щелчок и выпускает его

руку. Тема быстро вскакивает на скамью и, "треснув" Вахнова, мчится от него

по скамьям. Верзила Вахнов несется за ним. Тема прыгает на пол и бросается к

двери. Вахнов настигает его, мнет и со всего размаха бьет ладонью по

лопаткам.

- Ну, что ты за свинья?! - говорит тоскливо Тема.

Вахнов отвечает увесистыми шлепками.

- Оставь же, - уже жалобно молит Тема. - Ну, что ты меня мучишь?

В голосе Темы слышатся Вахнову слезы. Ему делается жаль Тему.

- Му-мочка! - говорит Вахнов и опять, уже от избытка чувств, тискает

Тему.

По коридору идет молодой, в очках, учитель латинского языка Хлопов. При

входе учителя все уже по местам. Хлопов внимательно осматривает класс,

быстро делает перекличку, затем сходит с своего возвышения и весь урок

гуляет по классу, не упуская ни на мгновение никого из виду. Проходя мимо

скамьи, где сидит маленький с кудрявой головой и потешной птичьей

физиономией Герберг, учитель останавливается, нюхает воздух и говорит:

- Опять чесноком воняет?!

Герберг краснеет, так как аромат несется из его ящика, где лежит

аппетитный кусок принесенной им для завтрака фаршированной щуки.

- Я вас в класс не буду пускать! Что это за гадость?! Сейчас же

вынесите вон! - И, помолчав, говорит вслед уносящему свое лакомство

Гербергу:

- Можете себе наслаждаться, когда уж так нравится, дома.

Ученики фыркают, смотрят на Герберга, но на лице последнего, кроме

непонимания: как может не нравиться такая вкусная вещь, как фаршированная

щука, - ничего другого не отражается. Тема с любопытством смотрит на

Герберга, потому что он сын Лейбы, и Тема, постоянно видевший Мошку за

прилавком отца, никак не может освоиться с фигурой его в гимназическом

сюртуке.

- Корнев, склоняйте, - говорит учитель.

Корнев встает, перекашивает свое и без того некрасивое, вздутое лицо и

кисло начинает хриплым, низким голосом.

Учитель слушает и раздраженно морщится.

- Да что вы скрипите, как немазаная телега? Ведь, наверно же, во время

рекреации\* умеете говорить другим голосом.

Корнев прокашливается и начинает с более высокой ноты.

- Иванов, продолжайте...

Сосед Темы, Иванов, встает, смотрит своими косыми глазами на учителя и

продолжает.

- Неверно! Вахнов, поправить!

Вахнов встрепанно вскакивает и молчит.

- Карташев!

Тема вскакивает и поправляет.

- Ну? Дальше!

- Я не знаю, - угрюмо отвечает Иванов.

- Вахнов!

- Я вчера болен был.

- Болен, - кивает головой учитель. - Карташев!

Тема встает и вздыхает: недаром он хотел повторить перед уроком - все

выскочило из головы.

- Ну, не знаете, говорите прямо!

- Я вчера учил.

- Ну, так говорите же!

Тема сдвигает брови и усиленно смотрит вперед.

- Садитесь!

Учитель в упор осматривает Вахнова, Карташева и Иванова.

Вахнов самодовольно водит глазами из стороны в сторону. Иванов, сдвинув

брови, угрюмо смотрит в скамью. Затянутый, бледный Тема огорченно, пытливо

всматривается своими испуганными голубыми глазами в учителя и говорит:

- Я вчера знал. Я испугался...

Учитель пренебрежительно фыркает и отворачивается.

- Яковлев, фразы!

Встает первый ученик Яковлев и уверенно и спокойно говорит:

- Asinus excitatur baculo.

- Швандер! Переводите.

Встает ненормально толстый, упитанный, чистенький мальчик. Он корчит

болезненные рожи и облизывается.

- Пошел облизываться! Да что вы меня есть собираетесь, что ли?!

Ученики смеются.

Швандер судорожно нажимает большой палец на скамью, делает усилие и

говорит:

- Осел...

- Ну?

- Погоняется...

Швандер делает еще одну болезненную гримасу и кончает:

- Палкою.

- Слава богу, родил.

Вторая половина урока посвящается письменному ответу.

Учитель ходит и внимательно следит, чтобы не списывали. Глаза его

встречаются с глазами Данилова, в которых вдруг что-то подметил

проницательный учитель.

- Данилов, дайте вашу книжку.

- У меня нет книжки, - говорит, краснея, Данилов и неловко поднимается

с места, зажимая в то же время коленями латинскую грамматику.

Учитель заглядывает и собственноручно вытаскивает злополучную книгу.

Данилов сконфуженно смотрит в скамью.

- Тихоня, тихоня, а мошенничать уже научился. Стыдно! Станьте без

места!

Симпатичная сутуловатая фигура Данилова как-то решительно идет к

учительскому месту и становится лицом к классу. Его сконфуженные красивые

глаза смотрят добродушно и открыто прямо в глаза учителю.

Раздается давно ожидаемый, отрадный для ученического слуха звонок.

- К следующему классу...

Учитель задает по грамматике, потом фразы с латинского на русский,

затем сам диктует с русского на латинский и, отняв еще пять минут из

рекреационных, наконец уходит.

Больше всего огорчают учеников эти лишние пять минут.

После урока Хлопова как-то мало оживления. Большинство сидит в любимой

позе - с коленками, упертыми в скамью, и устало, бесцельно смотрит.

На учительском возвышении неожиданно появляется старый, толстый учитель

русского языка.

- У попугая на шесте было весело! - монотонно, нараспев тянет он и

чешет свою лысину о приставленную к ней линейку.

Теме с Вахновым тоже весело, и никакого дела им нет ни до попугая, ни

до учителя, ни до его системы, в силу которой учитель считал необходимым

прежде всего ознакомить детей с синтаксисом.

- Герберг, где подлежащее?

- На шесте, - вскакивает Герберг и впивается своей птичьей физиономией

в учителя.

- Дурак, - тем же тоном говорит учитель, - ты сам на шесте...

Карташев!..

Тема, только что получивший в самый нос щелчок, встрепанно вскакивает и

в то же мгновение совсем исчезает, потому что Вахнов ловким движением своей

ноги сталкивает его на пол.

- Карташев, ты куда девался? - кричит учитель.

Тема, красный, появляется и объясняет, что он провалился.

- Как ты мог провалиться, когда под тобою твердый пол?

- Я поскользнулся...

- Как ты мог поскользнуться, когда ты стоял?

Вместо ответа Тема опять едет под скамью. Он снова появляется и с

ожесточенным отчаянием смотрит украдкой на Вахнова. Вахнов, положив локоть

на скамью, прижимает ладонью рот, чтобы не прыснуть, и не смотрит на Тему.

Тема срывает сердце незаметным пинком Вахнову в плечо, но учитель увидел это

и обиделся.

- Карташеву единицу за поведение.

Лысая, как колено, голова учителя наклоняется и ищет фамилию Карташева.

Тема, пока учитель не видит, еще раз срывает свой гнев и теребит Вахнова за

волосы.

- Карташев, где подлежащее?

Тема мгновенно бросает Вахнова и ищет глазами подлежащее.

Яковлев, отвалившись вполуоборот с передней скамьи, смотрит на Тему.

"Подскажи!" - молят глаза Темы.

- У попугая, - шепчет Яковлев, и ноздри его раздуваются от предстоящего

наслаждения.

- У попугая, - подхватывает радостно Тема.

Общий хохот.

- Дурак, ты сам попугай. С этих пор Карташев не Карташев, а попугай.

Герберг не Герберг, а шест. Попугай на шесте - Карташев на Герберге.

Класс хохочет. Яковлев стонет от восторга.

Толстая, громадная фигура учителя начинает слегка колыхаться.

Добродушные маленькие серые глаза прищуриваются, и некоторое время

старческое "хе-хе-хе" несется по классу.

Но вдруг лицо учителя опять делается серьезным, класс стихает, и тот же

монотонный голос нараспев продолжает:

- В классе - где подлежащее?

Гробовое молчание.

- Дурачье, - добродушно, нараспев говорит учитель. - Все попугаи и

шесты. Сидят попугаи на шестах.

Между тем Тема не спускает глаз с Яковлева.

- Разве он смеет подсказать глупости? - не то советуется, не то

протестует Тема, обращаясь к Вахнову.

Как только раздается звонок, он бросается к Яковлеву:

- Ты смеешь глупости подсказывать?!

- А тебе вольно повторять, - пренебрежительно фыркает Яковлев.

- Так вот же тебе! - говорит Тема и со всего размаха бьет его кулаком

по лицу. - Теперь подсказывай!

Яковлев первое мгновенье растерянно смотрит и затем порывисто, не

удостоивая никого взглядом, быстро уходит из класса. Немного погодя

появляется в дверях бритое, широкое лицо инспектора, а за ним весь в слезах

Яковлев.

- Карташев, подите сюда! - сухо и резко раздается в классе.

Тема поднимается, идет и испуганно смотрит в выпученные голубые глаза

инспектора.

- Вы ударили Яковлева?

- Он...

- Я вас спрашиваю: ударили вы Яковлева?

И голос инспектора переходит в сухой треск.

- Ударил, - тихо отвечает Тема.

- Завтра на два часа без обеда.

Инспектор уходит. Тема, воспрянувший от милостивого наказания,

победоносно обращается к Яковлеву и говорит:

- Ябеда!

- А по-твоему, ты будешь по морде бить, а тебе ручки за это целовать? -

грызя ногти и впиваясь своими маленькими глазами в Тему, ядовито-спокойно

спросил Корнев.

Вошел новый учитель - немецкого языка, Борис Борисович Кноп. Это была

маленькая, тщедушная фигурка. Такие фигурки часто попадаются между

фарфоровыми статуэтками: в клетчатых штанах и синем, с длинными узкими

рукавами, фраке. Он шел тихо, медленною походкой, которую ученики называли

"раскорякой".

В Борисе Борисовиче ничего не было учительского. Встретив его на улице,

можно было бы принять его за портного, садовника, мелкого чиновника, но не

за учителя.

Ученики ни про одного учителя ничего не знали из его домашней жизни, но

про Бориса Борисовича знали все. Знали, что у него жена злая, две дочки -

старые девы, мать - слепая старуха, горбатая тетка. Знали, что Борис

Борисович бедный, что он трепещет перед начальством не хуже любого из них.

Знали и то, что Борису Борисовичу можно перо смазывать салом, в чернильницу

сыпать песок, а в потолок, нажевав бумаги, пускать бумажных чертей.

В последнее время Борис Борисович стал заметно подаваться.

Сделав перекличку, он с трудом сошел с возвышения, на котором стоял его

стол, и расслабленно, по-стариковски, остановившись перед классом, начал не

спеша вынимать из заднего кармана фрака носовой платок.

Высморкавшись, Борис Борисович поднял голову и обратился к ученикам с

благодушной речью, в которой предложил им не шуметь, слушать спокойно урок и

быть хорошими, добрыми детьми.

- Пожалуйста, - кончил Борис Борисович, и в голосе его зазвучала

просьба усталого, больного человека.

Но Борис Борисович сейчас же спохватился и уже более строго прибавил:

- А кто не захочет смирно сидеть, того я без жалости буду совсем строго

наказывать.

Несколько минут все шло хорошо. Болезненный вид учителя смирил

учеников. Но Вахнов, уже наладив опытной рукой перо, издал им тонкий,

тревожный, хорошо знакомый учителю звук.

Борис Борисович вскипел.

- Вы свиньи, и с вами нельзя по-человечески говорить... Вы тогда только

чувствуете уважение к человеку, когда он вас вот как душить будет.

И, дрожа от бешенства, Борис Борисович поднял свой кулачок и показал,

как будет душить.

- Ах ты, немецкая селедка! - прошептал кто-то и, разжевав бумагу,

искусно влепил ее в борт фрака Бориса Борисовича.

Учитель опешил. Несколько секунд длилось молчание.

- Хорошо, - наконец как-то подавленно проговорил он. - Я вот так с этим

и пойду к директору. Я покажу ему это. Я расскажу ему, что вы со мной

делаете, как вы меня мучаете. Я приведу его в класс, и пусть он сам смотрит

на всех этих чертей (учитель показал на висевших по потолку на ниточке

чертей), на это перо и на эту чернильницу, и я скажу, что самый главный и

злой, самый грубый, бессмысленный скот - это Вахнов.

- За что вы ругаетесь?! - вскочил Вахнов. - Вы всегда надо мной

издеваетесь. Я ничего не делаю, а вы ругаетесь.

И Вахнов вдруг завыл благим матом.

Учитель растерялся и полез в карман за табакеркой. Он медленно вынул ее

из кармана, постучал по ней пальцем, открыл крышку, достал щепотку табаку и,

не сводя глаз с Вахнова, начал потихоньку нюхать. Вахнов продолжал выть,

внимательно наблюдая сквозь пальцы учителя.

- Я пойду жаловаться инспектору, - проговорил Вахнов, перестав вдруг

завывать, и порывисто направился к двери.

- Вахнов, назад! - остановил его нерешительно учитель.

- А за что вы ругаетесь? Вы меня поймали? Когда поймаете...

- А не пойман, так не вор? Эхе-хе... Вахнов... Нехорошо...

В ответ Вахнов, садясь на место, дернул за перо.

- Ты и теперь скажешь, что не ты.

- Теперь я со злости.

- Со злости? - огорченно переспросил учитель и покачал головой. -

Вахнов, Вахнов...

Учитель глубоко вздохнул и задумался.

Вахнов начал пищать так, как пищат маленькие, еще слепые щенки.

- Ва-а-хнов!.. - уныло проговорил учитель.

- Я давно знаю, что я Вахнов.

- Ты знаешь... Ты много знаешь... У тебя хорошее сердце, Вахнов...

Сердце лошади... иди жалуйся.

Борис Борисович закрыл глаза и опустил голову на руку. Он чувствовал

какой-то особенный упадок сил.

- Иди жалуйся на меня, - повторил он снова, с трудом открывая глаза. -

Иди скажи, что тебе надоел старый, больной Борис Борисович, у которого пять

человек на плечах...

Вахнов опять задергал перо.

Учитель бессильно опустил голову.

- Да брось, - обратился к Вахнову Касицкий, - ведь болен же человек!

Но на Вахнова нашло. Он, спрятав голову под скамью, начал хрюкать.

Борис Борисович беспомощно оглянулся.

- Послушай ты, идиот! - вскочил Корнев, обращаясь к Вахнову. - Господа,

да уймите же его! - обратился он к ближайшим товарищам Вахнова.

Серб Августич, сорвавшись с места, каким-то клубком подлетел к Вахнову

и, как зверь, скаля зубы, с налитыми кровью глазами, прохрипел своим твердым

наречием:

- Скотына! Убью!

Вахнов так и обмер.

- Дрянь!

- Я больной, - прошептал тихо Борис Борисович, - пожалуйста, скорее

позовите надзирателя.

Августич бросился в коридор. Дети испуганно стихли.

- Ничего, ничего, это пройдет, - тоскливо шептали побелевшие губы

учителя.

В классе воцарилась мертвая тишина. Учитель точно застыл, наклонившись

и едва держась рукой за край стола. Весь класс замер в неподвижных позах, и

только бумажные черти, подвешенные к потолку и приводимые в движение

сквозняком, тянувшим из отворенной в коридор двери, медленно и беззвучно

раскачивались над головой больного.

- Пожалуйста... - тоскливо обратился учитель к вошедшему Ивану

Ивановичу. - Я немножко болен. Пожалуйста, помогайте мне.

И учитель с помощью надзирателя, грузно опершись на его руку, медленно

и тихо потащился из класса.

Последний урок был Томылина - учителя естественной истории.

Ученики свободно и непринужденно встретили входившего средних лет,

представительного, полного учителя.

Он шел и легко, красиво нес в своих руках фигуры разных зверей. Положив

их на стол, он вынул чистый, белый платок, смахнул им пыль с рукавов своего,

безукоризненно сидевшего на нем, синего фрака и вытер руки. Еще на ходу,

окинув весело класс, он бросил свое обычное, как будто небрежное:

- Здравствуйте, дети!

Но это "здравствуйте, дети!" током пробежало по детским сердцам и

заставило их весело встрепенуться.

Сделав перекличку, учитель поднял голову и проговорил:

- Я принес вам, дети, прекрасный экземпляр чучела очковой змеи.

Учитель взял коробку и осторожно вынул змею. Он высоко поднял руку, и

ученики приподнялись, с напряжением всматриваясь в страшную змею с большими

желтыми, точно в очках, глазами.

- Очковая змея, - проговорил учитель, - ядовита. Укус ее смертелен. Яд

помещается, так же как и у других ядовитых змей, в голове, возле зубов.

Томылин нажал пружинку, и змея открыла рот.

- Просунь осторожно палец, - сказал Томылин, обращаясь к Августичу. -

Не бойся...

Когда Августич просунул палец, Томылин отпустил пружину, и змея снова

закрыла рот.

Августич нервно отдернул палец. Все и Томылин рассмеялись.

- Ты видишь на своем пальце черные полоски: это безвредная, простая

жидкость, заменяющая собою яд. Теперь смотри, как этот яд из головы проходит

в зубы змеи.

Учитель поднял часть кожи на голове змеи, и Августич через стеклянный

череп увидел возле зубов маленькое черное пятнышко с тоненькими ниточками,

исчезавшими в зубах.

Ученики вскочили с своих мест и наперебой спешили заглянуть в аппарат.

- Не теснитесь, всем покажу, - произнес Томылин.

Когда осмотр кончился и класс снова пришел в порядок, Томылин

заговорил:

- Дети, сегодня эта дверь затворилась, и, может быть, навсегда, за

вашим учителем, потому что Борис Борисович страдает тяжелой, неизлечимой

болезнью. Там, за этой дверью, ждут его пять бедных, не способных

зарабатывать себе хлеб женщин, которые без него останутся без куска хлеба...

Учитель замолчал, прошелся по классу и проговорил:

- Ну, начнем. Тема, отвечай!

Тема, всегда добросовестно учивший естественную историю, но этот раз не

знал урока, потому что, по расписанию, Томылин должен был в этот урок

рассказывать.

Тема сгорел со стыда, прежде чем открыл рот. Когда он окончил, Томылин,

огорченный, не то спросил, не то сказал:

- Не выучил?

Тема сел и расплакался.

Томылин вызвал другого, третьего и, казалось, забыл о Теме.

Тема перестал плакать и угрюмо-сконфуженно сидел, облокотившись на

локоть. В нем шевелилось злое чувство и на себя, и на весь класс -

свидетелей его слез, - и на Томылина. И он еще угрюмее сдвигал брови.

- К следующему классу выучишь урок? - спросил вдруг, мимоходом,

Томылин, по обыкновению положив руку на волосы Темы и слегка поднимая его

голову.

Тема нехотя поднял глаза, но встретил такой приветливый, ласковый

взгляд учителя, взгляд, проникший в самую глубь его души, что сердце Темы

екнуло, и он быстро ответил:

- Выучу.

- Отчего ты на сегодня не выучил?

- Я думал, что вы будете рассказывать.

- Ну, выучи, я еще раз спрошу.

Последний урок кончился. Ученики толпами валят на улицу.

Тема заходит за Зиной, и они оба идут пешком домой.

Зина весела. Она получила пять и вдобавок несет матери целый ворох

самых интересных, самых свежих новостей.

- Спрашивали? - обращается она к Теме. - Сколько?

- Тебе какое дело?

- А мне пять, - говорит Зина.

- Ваша пятерка меньше нашей тройки, - отвечает Тема презрительно.

- Поче-е-му?

- А потому, что вы девочки, а учителя больше любят девочек, - говорит

авторитетно Тема.

- Какие глупости!

- Вот тебе и глупости.

За обедом Зина ест с аппетитом и говорит, говорит. Тема ест лениво,

молчит и равнодушно-устало слушает Зину. К общему обеду они опоздали. В

столовой тем не менее, кроме отца, все налицо. Мать сидит, облокотившись на

стол, и любуется своей смуглой, раскрасневшейся дочкой. Переведя глаза на

сына, мать тоскливо говорит:

- Ты совсем зеленый стал... Отчего ты ничего не ешь?

- Мама, оттого, что он всегда на свои деньги сласти покупает.

- Неправда, - отвечает Тема, пораженный сообразительностью Зины.

- Ну да, неправда.

- Я поеду и попрошу директора, чтоб он устроил для желающих завтраки, -

говорит мать.

Теме представляется фигура матери с ее странным проектом и сдержанная,

стройная фигура директора. От одной мысли ему делается неловко за мать, и он

торопится предупредить ее, говоря совершенно естественно:

- Одна мать уже приезжала, и директор не согласился.

После обеда Тема идет в сад, где ветер уныло качает обнаженные деревья,

сквозь которые видны все заборы сада, и кажется Теме, что меньше как будто

стал сад. Из сада Тема идет к Иоське, который в теплой, грязной кухне, сидя

где-нибудь в уголке и распустив свои толстые губы, возится над чем-то. Тема

идет на наемный двор, пробирается между кучами и ищет глазами ватагу. Но уже

нет прежних приятелей. И Гераська, и Яшка, и Колька - все они за работой.

Гераська - за верстаком. Яшка и Колька - ушли в город помогать родителям.

У забора копошатся остатки ватаги. Много новых, все маленькие: красные,

в лохмотьях, посиневшие от холода, усердно потягивают носом и с любопытством

смотрят на чужого им Тему. Знакомая пуговка блестит на воздухе, но нет уже

больше ее веселых хозяев. Тема любовно, тоскливо узнает и всматривается в

эту, пережившую своих хозяев, пуговку, и еще дороже она ему. Какие-то

обрывки неясных, грустных и сладких мыслей - как этот замирающий день, здесь

холодный и неприветливый, а там, между туч, в том кусочке догорающего неба,

охватывающий мальчика жгучим сожалением, - толпятся в голове Темы и не

хотят, и мешают, и не пускают на свободу где-то там, глубоко в голове или в

сердце как будто сидящую отчетливую мысль.

- Темочка, зайдите на часок ко мне, - выскакивает, увидев в окно Тему,

Кейзеровна.

Тема входит в теплую, чистую избу, вдыхает в себя знакомый запах глины

с навозом, которой заботливая хозяйка смазывает пол и печку, скользит

глазами по желтому чистому полу, белым стенам, маленьким занавесочкам,

потемневшему лицу рыхлой Кейзеровны и ждет.

- Темочка, кто у вас учитель немецкого языка?

- Борис Борисович, - отвечает Тема.

- Вы знаете, Темочка, у Бориса Борисовича моя сестра в услужении.

Тема ласково, осторожно говорит:

- Он сегодня немножко заболел.

- Заболел? Чем заболел? - встрепенулась Кейзеровна.

- У него голова заболела, он не докончил урока.

- Голова? - И Кейзеровна делает большие глаза, и губы ее собираются в

маленький, тесный кружок. - Ох, Темочка, сестре они больше тридцати рублей

должны. Надо идтить.

Тема слышит тревожную, тоскливую нотку в этом "идтить", и эта тревога

передается и охватывает его.

В его воображении рисуется больной учитель и пять старых женщин,

которых Тема никогда не видал, но которые вдруг, как живые, встали перед

ним: вот горбатая, морщинистая старуха - это тетка; вот слепая, с длинными

седыми волосами - мать.

- Кейзеровна, у матери учителя бельма на глазах?

- Нет.

- Они бедные?

- Бедные, Темочка! Не дай бог его смерти, хуже моего им будет.

- Что ж они будут делать?

- А уж и не знаю... Старуху и тетку, может, в богадельню возьмут...

пастор устроит, а жена и дочери - хоть милостыньку на улице иди просить.

- Милостыньку? - переспрашивает Тема, и его глаза широко раскрываются.

- Милостыньку, Темочка. Вот когда вырастете, будете ехать в карете и

дадите им копеечку...

- Я рубль дам.

- Что бросите, за все господь заплатит. Бедному человеку подать, все

равно что господа встретить... и удача всегда во всем будет. Ну, Темочка, я

пойду.

Тема неохотно встает. Ему хочется расспросить и об учителе еще, и об

этих женщинах, которые обречены на милостыньку. Мысли его толпятся около

этой милостыньки, которая представляется ему неизбежным выходом.

Придя домой, он утомленно садится на диван возле матери и говорит:

- Знаешь, мама, Борис Борисович заболел... Кейзеровны сестра у них

служит. Я ей сказал, что он заболел... Знаешь, мама, если он умрет, его мать

и тетку в богадельню возьмут, а жена и две дочки пойдут милостыню просить.

- Кейзеровна говорит?

- Да, Кейзеровна. Мама, можно мне яблока?

- Можно.

Тема пошел достал себе яблоко и, усевшись у окна, начал усердно и в то

же время озабоченно грызть его.

- А ты хочешь поехать к Борису Борисовичу?

- С кем?

- Со мной.

Тема нерешительно заглянул в окно.

- Тебе хочется?

- А это не будет стыдно?

- Стыдно? отчего тебе кажется, что это стыдно?

- Ну хорошо, поедем, - согласился Тема.

В доме учителя Тема неловко сидел на стуле, посматривая то на старушку

- мать его, маленькую, худенькую женщину в черном платье, с зеленым зонтиком

на глазах, то на высокую, худую девушку с белым лицом и черненькими

глазками, ласково и приветливо посматривавших на Тему. Только жена не

понравилась Теме, полная, недовольная, бледная женщина.

Сказали учителю и повели Тему к нему. За ситцевыми ширмами стояла

простая кровать, столик с баночками, вышитые красивые туфли.

"Какой же он бедный, - пронеслось в голове Темы, - когда у него такие

туфли?"

Тема подошел к кровати и испуганно посмотрел в лицо Бориса Борисовича.

Ему бросились в глаза бледное, жалкое лицо учителя и тонкая, худая рука,

которую Борис Борисович держал на груди. Борис Борисович поднял эту руку и

молча погладил Тему по голове. Тема не знал, долго ли он простоял у кровати.

Кто-то взял его за руку и опять повел назад. Он вошел в гостиную и

остановился.

Его мать разговаривала с Томылиным. Тему как-то поразило сочетание

красивого лица учителя и возбужденного, молодого лица матери. Мать

приветливо улыбнулась сыну своими выразительными глазами.

Теме вдруг показалось, что он давно-давно уже видел где-то вместе и

мать, и Томылина, и себя.

- Здравствуй, Тема, - проговорил Томылин, ласково притянул его к себе

и, обняв его рукой, продолжал слушать Аглаиду Васильевну.

- Я понимаю, конечно, - говорила она, - и все-таки можно было бы иначе

устроить. Все основано на форме, на дисциплине, на страхе старших уронить

как-нибудь свое достоинство, но из-за этого достоинство ребенка ни во что не

ставится и безжалостно попирается на каждом шагу нашими педагогами. А

посмотрите у англичан! Там уже десятилетний мальчуган сознает себя

джентльменом. Я не о вас говорю... Ваши уроки совершенно отвечают тому, как,

по-моему, должно быть поставлено дело. И я не могу удержаться, чтобы не

сказать, monsieur Томылин... - мать посмотрела на Тему, на мгновение

остановилась в нерешительности, вскинула глазами на Томылина и быстро

продолжала по-французски: - ...чем вы влияете на детей и чем получаете

широкий доступ к их сердцам: вы щадите чувство собственного достоинства

ребенка; он знает, что его маленькое самолюбие вам так же дорого, как и ваше

собственное.

- Если приятна деятельность, то еще приятнее оценка ее...

- Она приятна и необходима, по-моему. Поверьте, что мы, родители, ничем

не повредили бы вам, если б имели возможность почаще делиться с вами,

учителями, впечатлениями. А в теперешнем виде ваша гимназия мне напоминает

суд, в котором есть и председатель, и прокурор, и постоянный подсудимый и

только нет защитника этого маленького и, потому что маленького, особенно

нуждающегося в защитнике подсудимого...

Томылин молча улыбнулся.

- Ах, какая прелесть твой Томылин, - сказала дорогой мать, полная

впечатлений неожиданной встречи.

Тема был счастлив за своего учителя и тоже переживал наслаждение от

бывшего свидания.

- Мама, за что тебя у Бориса Борисовича благодарили?

- Я предложила им переговорить с тетей Надей, чтобы устроить одну дочь

классной дамой, а другую учительницей музыки.

- В институте?

- В институте. Вот видишь, и не будут просить милостыню, если даже, не

дай бог, и умрет Борис Борисович...

Теме после всего пережитого совсем не хотелось приниматься за

приготовление уроков для другого дня.

Зина давно уже сидела за уроками, а Тема все никак не мог найти нужной

ему тетради. Брат и сестра занимались в маленькой комнатке, всегда под

непосредственным наблюдением матери, которая обыкновенно в это время

что-нибудь читала, сидя поодаль в кресле.

Тема уже двадцатый раз рассеянно переходил от стола к этажерке, где на

отдельной полке, в невозможном беспорядке, в контрасте с полкой сестры,

валялась перепутанная, хаотическая куча книг и тетрадей.

Зина не выдержала и, молча, бросив работу, наблюдала за братом.

- Показать тебе, Тема, как ты ходишь? - спросила она и, не дожидаясь,

встала, вытянула шею, сделала бессмысленные глаза, открыла рот, опустила

руки и с согнутыми коленками начала ходить бесцельно, толкаясь от одной

стенки к другой.

Теме решительно все равно было как ни тянуть время, лишь бы не

заниматься, и он с удовольствием смотрел на сестру.

Мать, оторвавшись от чтения, строго прикрикнула на детей.

- Мама, - проговорила Зина, - я уже полстраницы написала.

- Моя тетрадь где-то затерялась, - в оправдание проговорил нараспев

Тема.

- Сама затерялась? - строго спросила мать, опуская книгу.

- Я ее вот здесь положил вчера, - ответил Тема и при этом точно указал

место на своей полке, куда именно он положил.

- Может быть, мне поискать тебе тетрадь?

Тема сдвинул недовольно брови и уже сосредоточенно стал искать тетрадь,

которую и вытащил наконец из перепутанной кучи.

- Я ее сам закинул, - проговорил он улыбаясь.

На некоторое время воцарилось молчание.

Тема погрузился в писание и с чувством начал выводить буквы, или,

вернее, невозможные каракули.

Зина, вскинув глазами на брата, так и замерла в наблюдательной позе.

- Тема, показать тебе, как ты пишешь?

Тема с удовольствием оставил свое писание и, предвкушая наслаждение,

уставился на сестру.

Зина, расставив локти как можно шире, совсем легла на стол, высунула на

щеку язык, скосила глаза и застыла в такой позе.

- Неправда, - проговорил сомнительно Тема.

- Мама, Тема хорошо сидит, когда пишет?

- Отвратительно.

- Правда - похоже?

- Хуже даже.

- А, что? - торжествующе обратилась Зина к брату.

- А зато я быстрее тебя стихи учу, - ответил Тема.

- И вовсе нет.

- Ну, давай пари: я только два раза прочитаю и уж буду знать на память.

- Вовсе не желаю.

- Зато через час и забудешь, - проговорила мать, - а Зина всю жизнь

будет помнить. Надо учить так, как Зина.

- А, что? - обрадовалась Зина.

- Ну да, если б я все так учил, как ты, - проговорил самодовольно Тема,

помолчав, - я бы давно уж дураком был.

- Мама, слышишь, что он говорит?

- Это почему? - спросила мать.

- Это папа говорил.

- Кому говорил?

- Дяде Ване. Если б я, говорит, все учил, что надо, - я бы и вышел

таким дураком, как ты.

- А дядя Ваня что же сказал?

- А дядя Ваня рассмеялся и говорит: ты умный, оттого ты и генерал, а я

не генерал и глупый... Нет, не так: ты генерал потому, что умный... Нет, не

так...

- То-то - не так. Слушаешь, не понимаешь и выдергиваешь, что тебе

нравится. И выйдешь недоучкой.

Опять водворилось молчание.

- Зато я играю лучше тебя, - проговорила Зина.

- Это бабья наука, - ответил пренебрежительно Тема.

Зина озадаченно промолчала и принялась опять писать.

- А как же Кравченко? - вдруг спросила она, вспомнив своего учителя

музыки. - Он, значит, баба?

- Баба, - ответил уверенно Тема, - оттого у него и борода не растет.

- Мама, это правда? - спросила Зина.

- Глупости, - ответила мать. - Не видишь, разве, что он смеется над

тобою?

- У него и хвостик есть, вот такой маленький, - проговорил Тема,

показывая рукой размер хвоста.

- Мама?!

- Тема, перестань глупости говорить.

Тема смолк, но продолжал показывать руками размеры хвоста.

- Мама?!

- Тема, что я сказала?

- Я ничего не говорю.

- Он показывает руками - какой хвостик.

- Еще одно слово, - и я вас обоих в угол поставлю, - не глядя на Тему,

ответила мать.

Он безбоязненно опять показал Зине размеры хвоста. Зина мгновенно

подумала и в отместку высунула язык. Тема в долгу не остался и начал делать

ей гримасы. Зина отвечала тем же, и некоторое время они усердно старались

перещеголять друг друга в этом искусстве. Тема окончательно взял верх,

скорчив такое лицо, что Зина не выдержала и фыркнула.

- Тема, садись за маленький столик спиною к Зине и не смей вставать и

поворачиваться, пока не кончишь уроков. Стыдись! Ленивый мальчик.

Водворилась тишина, и Тема наконец благополучно кончил свои занятия.

Последнюю латинскую фразу ему лень было учить, и он, отвечая матери и

указывая, до каких пор ему было задано, показал пальцем до выпущенных им

предлогов. Вообще поверка по латинскому языку была слаба; мать в нем знала

меньше Темы и познакомилась с языком при помощи самого же Темы, с целью хоть

как-нибудь проверять занятия своего ленивого сына. Но это приносило скорее

вред, чем пользу, и Тема, ради одного школьничества, часто морочил мать,

смотря на нее как на подготовительную для себя школу по части надувания

более опытных своих учителей.

Когда уроки кончились, Тема, посмотрев на часы, с наслаждением подумал

об остающемся до сна часе, совершенно свободном от всяких забот. Он заглянул

в темную переднюю и, заметив там Еремея, топившего соломой печь, через ворох

соломы перебрался к нему и, сев рядом с ним, стал, как и Еремей, смотреть в

ярко горевшую печь. Все новая и новая солома быстро исчезала в огне. Тема

усердно помогал Еремею задвигать солому и с интересом ждал, когда

потемневшая печь справится с новой порцией. Вот только искры да пепел

сквозят через свежую охапку, и кажется, никогда она не загорится; вот как-то

лениво вспыхнуло в одном, другом, третьем месте, и, охваченная вдруг вся

сразу, солома с страшной, откуда-то взявшеюся силой огня уже рвется и

исчезает бесследно в пожирающем ее пламени. Ярко и тепло до боли.

И опять оба, и Еремей и Тема, ждут нового взрыва.

- Еремей, ты от брата получил письмо из деревни?

- Получил, - отвечает Еремей.

- Что он пишет?

- Пишет, что, слава богу, урожай был. Четвертую лошадь купили.

Еремей оживляется и рассказывает Теме о земле, посеве, хозяйстве,

которое совместно с ним ведет брат.

- Вот, к празднику, если бог даст, попрошусь у папы в деревню, -

говорит Еремей.

- Как, на елке не будешь?

Еремей снисходительно улыбается и говорит:

- Там же ж у меня рыдня - сваты, дружки...

- Ты кого больше всех любишь?

- Я всех люблю.

И от сладкой мысли свидания у Еремея рисуются приятные сердцу картины:

повязанные головы хохлуш, хустки, тяжелые чеботы, расписная хата, на столе

вареники, галушки, горилка, а за столом разгоревшиеся, добродушные, веселые

и "ледащие лыца" Грицко, Остапов, Дунь и Марусенек.

- Как ты думаешь, Еремей, мне что подарят на елку?

Еремей оставляет мечты и внимательно смотрит своим одним глазом в

огонь:

- Мабуть, ружье?

- Настоящее?

- Настоящее, должно буть, - нерешительно говорит Еремей.

- Вот, Темочка, - говорит подошедшая и присевшая Таня, - вырастайте

скорей да в офицеры поступайте... сабля сбоку, усики такие...

- Я не буду офицером, - равнодушно говорит Тема, задумчиво смотря в

огонь.

- Отчего не будете? Офицерам хорошо.

И Еремей соглашается, что офицерам хорошо.

- Енералом будете, як папа ваш.

- Мама не хочет, чтобы я был офицером.

- А вы попросите.

- Не хочу. Я ученым буду... как Томылин.

- Не люблю я их; я одного учителя видала, - такой некрасивый, худой...

Военный лучше... усики.

- У меня тоже будут усы, - говорит Тема и старается посмотреть на свою

верхнюю губу.

Таня смотрит и целует его. Тема недовольно отстраняется.

- Зачем ты целуешь?

- Скорее расти будут усы...

- Отчего скорее?

Таня молча смотрит лукаво на Еремея и улыбается. Тема переводит глаза

на Еремея, который тоже загадочно улыбается и весело глядит в печку.

- Еремей, отчего?

- Да так, она шуткует, - говорит Еремей и медленно встает, так как

топка печки кончилась.

Тема тоже встает и идет.

В столовой Зина, придвинув свечку, осторожно держит над ней сахар,

который тает и желтыми прозрачными каплями падает на ложку, которую Зина

держит другой рукой.

Наташа, Сережа и Аня внимательно следят за каждою каплей.

- И я, - говорит Тема, бросаясь к сахарнице.

- Тема, это для Наташи, у нее кашель, - протестует Зина.

- У меня тоже кашель, - отвечает Тема и с сахаром и ложкой лезет на

стол. Он усаживается с другой стороны свечи и делает то же, что Зина.

- Тема, если ты только меня толкнешь, я отниму свечку... Это моя

свечка.

- Не толкну, - говорит Тема, весь поглощенный работой, с высунутым от

усердия языком.

У Темы на ложку падают какие-то совсем черные, пережженные, с копотью,

капли.

- Фу, какая гадость, - говорит Зина.

Маленькая компания весело хохочет.

- Ничего, - отвечает Тема, - больше будет... - И он с наслаждением

набивает себе рот леденцами в саже.

- Дети, спать пора, - говорит мать.

Тема, Зина и вся компания идут к отцу в кабинет, целуют у него руку и

говорят:

- Папа, покойной ночи.

Отец отрывается от работы и быстро, озабоченно одного за другим

рассеянно крестит.

Тема у себя в комнате молится перед образом богу.

Медленно, где-то за окном, с каким-то однообразным отзвуком, капля за

каплей падает с крыши вода на каменный пол террасы. "День, день, день" -

раздается в ушах Темы. Он прислушивается к этому звонку, смотрит куда-то

вперед и, забыв давно о молитве, весь потонул в ощущениях прожитого дня:

Еремей, Кейзеровна, дочка Бориса Борисовича, Томылин с матерью...

"Вот хорошо, если б Томылин был мой отец", - думает вдруг почему-то

Тема.

Эта откуда-то взявшаяся мысль тут же неприятно передергивает Тему.

Томылин в эту минуту как-то сразу делается ему чужим, и взамен его

выдвигается образ сурового, озабоченного отца.

"Я очень люблю папу, - проносится у него приятное сознание сыновней

любви. - И маму люблю, и Еремея, и Бориса Борисовича, всех, всех".

- Артемий Николаевич, - заглядывает Таня, - ложитесь уже, а то завтра

долго будете спать...

Тема неприятно оторван.

Да, завтра опять вставать в гимназию; и завтра, и послезавтра, и целый

ряд скучных, тоскливых дней...

Тема тяжело вздыхает.

## VIII

## ИВАНОВ

Через несколько дней Борис Борисович умер. Мать его и тетка поступили в

приют, жена и старшая дочь, заботами Аглаиды Васильевны, попали в институт,

жена - экономкой, дочь - классной дамой. Младшую дочь Аглаида Васильевна

взяла к себе, а бывшую у нее фрейлейн устроила надзирательницею детского

приюта.

На место Бориса Борисовича пришел толстый, краснощекий молодой немец,

Роберт Иванович Клау.

Ученики сразу почувствовали, что Роберт Иванович - не Борис Борисович.

Дни пошли за днями, бесцветные своим однообразием, но сильные и

бесповоротные своими общими результатами.

Тема как-то незаметно сошелся с своим новым соседом, Ивановым.

Косые глаза Иванова, в первое время неприятно поражавшие Тему, при

более близком знакомстве начали производить на него какое-то манящее к себе,

особенно сильное впечатление. Тема не мог дать отчета, что в них было

привлекательного: глубже ли взгляд казался, светлее ли как-то был он, но

Тема так поддался очарованию, что стал и сам косить, сначала шутя, потом уже

не замечая, как глаза его сами собою вдруг скашивались.

Матери стоило большого труда отучить его от этой привычки.

- Что ты уродуешь свои глаза? - спрашивала она.

Но Тема, чувствуя себя похожим в этот момент на Иванова, испытывал

бесконечное наслаждение.

Иванов незаметно втянул Тему в сферу своего влияния.

Вечно тихий, неподвижный, никого не трогавший, как-то равнодушно

получавший единицы и пятерки, Иванов почти не сходил с своего места.

- Ты любишь страшное? - тихо спросил однажды, закрывая рукою рот,

Иванов во время какого-то скучного урока.

- Какое страшное? - повернулся к нему Тема.

- Да тише, - нервно проговорил Иванов, - сиди так, чтобы незаметно

было, что ты разговариваешь. Ну, про страшное: ведьм, чертей...

- Люблю.

- В каком роде любишь?

Тема подумал и ответил:

- Во всяком роде.

- Я расскажу тебе про один случай в Испании. Да не поворачивайся же...

сиди, как будто слушаешь учителя. Ну, так. В одном замке в Испании пришлось

как-то заночевать одному путешественнику...

У Темы по спине уже забегали мурашки от предстоящего удовольствия.

- Его предупреждали, что в замке происходит по ночам что-то страшное.

Ровно в двенадцать часов отворялись все двери...

У Темы широко раскрылись глаза.

- Опусти глаза!.. Что ты смотришь так?.. Заметят... Когда страшно

сделается, смотри в книгу!.. Вот так. Ровно в двенадцать часов отворялись

сами собою двери, зажигались все свечи, и в самой дальней комнате

показывалась вдруг высокая, длинная фигура, вся в белом... Смотри в книгу...

Я брошу рассказывать.

Тема, как очарованный, слушал.

Он любил эти страшные рассказы, неистощимым источником которых являлся

Иванов. Бывало, скажет Иванов во время рекреации: "Не ходи сегодня во двор,

буду рассказывать". И Тема, как прикованный, оставался на месте. Начнет и

сразу захватит Тему. Подопрется, бывало, коленом о скамью и говорит, говорит

- так и льется у него. Смотрит на него Тема, смотрит на маленький,

болтающийся в воздухе порыжелый сапог Иванова, на лопнувшую кожу этого

сапога; смотрит на едва выглядывающий, засаленный, покрытый перхотью

форменный воротничок; смотрит в его добрые светящиеся глаза и слушает, и

чувствует, что любит он Иванова, так любит, так жалко ему почему-то этого

маленького, бедно одетого мальчика, которому ничего, кроме его рассказов, не

надо, - что готов он, Тема, прикажи ему только Иванов, все сделать, всем для

него пожертвовать.

- Как много ты знаешь! - сказал раз Тема, - как ты все это можешь

выдумать?

- Какой ты смешной, - ответил Иванов. - Разве это моя фантазия? Я

читаю.

- Разве такие вещи печатают?

- Конечно, печатают. Ты читаешь что-нибудь?

- Как читаю?

- Ну, как читаешь? Возьмешь какой-нибудь рассказ, сядешь и читаешь.

Тема удивленно слушал Иванова. В его голове не вмещалось, чтоб можно

было добровольно, без урока, сидеть и читать.

- Ты вот попробуй, когда-нибудь я принесу тебе одну занимательную

книжку... Только не порви.

Во втором классе Тема уже читал Гоголя, Майн-Рида, Вагнера и втянулся в

чтение. Он любил, придя из гимназии, под вечер, с куском хлеба, забраться

куда-нибудь в каретник, на чердак, в беседку - куда-нибудь подальше от

жилья, и читать, переживая все ощущения выводимых героев.

Он познакомился с Ивановым по дому и, узнав его жизнь, еще больше

привязался к нему. Добрый, кроткий с теми, кого он любил, Иванов был круглый

сирота, жил у богатых родственников, помещиков, но как-то заброшенно, в

стороне от всей квартиры, в маленькой, возле самой кухни, комнатке. К нему

никто не заглядывал, он тоже не любил ходить в общие комнаты и всегда почти

просиживал один у себя.

- Тебе он нравится, мама? - приставал Тема по сто раз к своей матери и,

получая утвердительный ответ, переживал наслаждение за своего друга. - Мама,

скажи, что тебе больше всего в нем нравится?

- Глаза.

- Правда, глаза? Знаешь, мама, его мать умерла перед тем, как он

поступил в гимназию. Я видел ее портрет. Она казачка, мама... Такая

хорошенькая... Он на груди в маленьком медальоне носит ее портрет. Он мне

показывал, только сказал, чтобы я никому ничего не говорил. Ты тоже, мама,

никому не говори. Ах, мама, если б ты знала, как я его люблю!

- Больше мамы?

Тема сконфуженно опускал голову и нерешительно произносил:

- Одинаково...

- Глупый ты мальчик! - улыбаясь, говорила мать.

- Мама, он говорит, чтобы летом я ехал к ним в деревню. Там у них пруд

есть, рыбу будем ловить, сад большой; у него большой кожаный диван под

окнами, и вишни прямо в окно висят. У дяди его пропасть книг... Мы вдвоем

запремся и будем читать. Пустишь меня, мама?

- Если перейдешь в третий класс - пущу.

- Ах, вот счастье будет! Я тебе привезу много вишен. Хорошо?

- Хорошо, хорошо. Пора уж заниматься.

- Так не хочется... - говорил Тема, сладко потягиваясь.

- А в деревню хочется?

- Хочется, - смеялся Тема.

Иногда утром, когда Теме не хотелось вставать, когда почему-либо

перспектива идти в гимназию не представляла ничего заманчивого, Тема вдруг

вспоминал своего друга, и сладкое чувство охватывало его, - он вскакивал и

начинал одеваться. Он переживал наслаждение от мысли, что опять увидит

Иванова, который уж будет ждать его и весело сверкнет своими добрыми черными

глазами из-под мохнатой шапки волос. Поздороваются друзья, сядут поближе

друг к другу и радостно будут улыбаться Корневу, который, грызя ногти,

насмешливо скажет:

- Сто лет не видались... Поцелуйтесь на радостях.

В такие минуты Тема считал себя самым счастливым человеком.

## IX

## ЯБЕДА

Но ничто не вечно под луною. И дружба Темы с Ивановым прекратилась, и

мечты о деревне не осуществились, и на самое воспоминание об этих лучших

днях из детства Темы жизнь безжалостно наложила свою гадливую печать, как бы

в отместку за доставленное блаженство.

Учитель французского языка, Бошар, скромно начавший карьеру с кучера,

сохранивший свою представительную фигуру, заседал на своем учительском месте

так же величественно и добродушно, как в былые дни восседал на козлах своего

фиакра. Как прежде, бывало, он по временам стегал свою клячу длинным бичом,

так и теперь, от времени до времени, он хлопал своей широкой, пухлой ладонью

и кричал громким равнодушным голосом:

- Voyons, voyons dons!\*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Эй, вы, потише! (франц.)

Однажды, по заведенному порядку, шел урок Бошара. Очередной переводил,

остальной класс был в каком-то среднем состоянии между сном и

бодрствованием.

В маленькое, круглое окошко класса, проделанное в дверях, заглянул

чей-то глаз.

Вахнов сложил машинально кукиш, полюбовался им сначала сам, а затем

предложил полюбоваться и смотревшему в окошечко.

При всем своем добродушии Иван Иванович, который и смотрел в окошко, не

вытерпел и, отворив дверь, пригласил Вахнова к директору.

Вахнов струсил и стал божиться, что это не он. В подтверждение своих

слов он сослался на Бошара, будто бы видевшего, как он, Вахнов, сидел

смирно.

Бошар, видевший все и с любопытством естествоиспытателя наблюдавший сам

зверька низшей расы - Вахнова, проговорил с пренебрежением удовлетворенного

наблюдателя:

- Allez, allez, bete animal!

Вахнов скрепя сердце пошел за Иваном Ивановичем в коридор, но когда

дверь затворилась и они остались одни с глазу на глаз, Вахнов, не долго

думая, встал на колени и проговорил:

- Иван Иванович, не губите меня! Директор исключит за это, а отец убьет

меня. Честное слово, я говорю правду: вы знаете моего отца.

Иван Иванович хорошо знал отца Вахнова, который был в полном смысле

слова зверь по свирепости и крутости нрава. Он славился на весь город этими

своими качествами, наряду, впрочем, и с другими, признанными обществом:

идеальной честностью и беззаветным мужеством.

- Встаньте скорей! - сконфуженно и растерянно заговорил Иван Иванович и

сам бросился поднимать Вахнова.

Вахнов, для усиления впечатления, вставая, чмокнул надзирателя в руку.

Иван Иванович, окончательно растерявшись, опрометью бросился от Вахнова,

отмахиваясь и отплевываясь на ходу. Вахнов, постояв немного в коридоре,

снова вошел в класс.

Какими-то судьбами эта история все-таки дошла до директора, и

педагогическим советом Вахнов был приговорен к двухнедельному аресту по два

часа каждый день.

Убедившись, что донес не Иван Иванович, Вахнов остановился на Бошаре,

как на единственном человеке, который мог донести. Это было и общее мнение

всего класса. Хотя и не горячо, но почти все высказывали порицание Бошару.

"Идиот" Вахнов на мгновение приобрел если не уважение, то сочувствие.

Это сочувствие пробудило в Вахнове затоптанное сперва отцом, а потом и

гимназией давно уже спавшее самолюбие. Он испытал сладкое нравственное

удовлетворение, которое чувствует человек от сочувствия к нему общества. Но

что-то говорило ему, что это сочувствие ненадежное и, чтоб удержать его, от

него, Вахнова, требовалось что-то такое, что заставило бы навсегда забыть

его прошлое.

Бедная голова Вахнова, может быть, в первый раз в жизни, была полна

другими мыслями, чем те, какие внушало ей здоровое, праздное тело

пятнадцатилетнего отупевшего отрока. Его мозги тяжело работали над трудной

задачей, с которой он и справился наконец.

За мгновение до прихода Бошара Вахнов не удержался, чтобы не сказать

Иванову и Теме (по настоянию Иванова они и во втором классе продолжали

сидеть втроем и по-прежнему на последней скамейке) о том, что он всунул в

стул, на который сядет Бошар, иголку.

Так как на лицах Иванова и Темы изобразился какой-то ужас вместо

ожидаемого одобрения, то Вахнов на всякий случай проговорил:

- Только выдайте!

- Мы не выдадим, но не потому, что испугались твоих угроз, - ответил с

достоинством Иванов, - а потому, что к этому обязывают правила товарищества.

Но это такая гнусная гадость...

Тема только взглядом ответил на так отчетливо выраженные Ивановым его

собственные мысли.

Спорить было поздно. Бошар уже входил, величественный и спокойный. Он

поднялся на возвышение, стал спиной к стулу, не спеша положил книги на стол,

оглянул взглядом сонного орла класс и, раздвигая слегка фалды, грузно

опустился.

В то же мгновение он вскочил, как ужаленный, с пронзительным криком,

нагнулся и стал щупать рукой стул. Разыскав иголку, он вытащил ее с большим

трудом из сиденья и бросился из класса\*.

\* Прошу читателя иметь в виду, что речь идет о гимназии в отдаленное

время, т.е. 20 лет тому назад.

Совершенно бледный, с провалившимися вдруг куда-то внутрь глазами,

откуда они горели огнем, влетел в класс директор и прямо бросился к

последней скамейке.

- Это не я! - прижатый к скамье, в диком ужасе закричал Тема.

- Кто?! - мог только прохрипеть директор, схватив его за руку.

- Я не знаю! - ответил высоким визгом Тема.

Рванув Тему за руку, директор одним движением выдернул его в проход и

потащил за собой.

Тема каким-то вихрем понесся с ним по коридору. Как-то тупо застыв, он

безучастно наблюдал ряды вешалок, шинелей, грязную калошу, валявшуюся

посреди коридора... Он пришел в себя, только очутившись в директорской,

когда его слух поразил зловеще щелкнувший замок запиравшейся на ключ двери.

Смертельный ужас охватил его, когда он увидел, что директор, покончив с

дверью, стал как-то тихо, беззвучно подбираться к нему.

- Что вы хотите со мной делать?! - неистово закричал Тема и бросился в

сторону.

В то же мгновение директор схватил его за плечо и проговорил быстрым,

огнем охватившим Тему шепотом:

- Я ничего не сделаю, но не шутите со мною: кто?!

Тема помертвелыми глазами, застыв на месте, с ужасом смотрел на

раздувавшиеся ноздри директора.

Впившиеся черные горящие глаза ни на мгновение не отпускали от себя

широко раскрытых глаз Темы. Точно что-то, помимо воли, раздвигало ему глаза

и входило через них властно и сильно, с мучительной болью вглубь, в Тему,

туда... куда-то далеко, в ту глубь, которую только холодом прикосновения

чего-то чужого впервые ощущал в себе онемевший мальчик...

Ошеломленный, удрученный, Тема почувствовал, как он точно погружался

куда-то...

И вот, как жалобный подсвист в бурю, рядом с диким воем зазвучали в его

ушах и посыпались его бессвязные, слабеющие слова о пощаде, слова мольбы,

просьбы и опять мольбы о пощаде и еще... ужасные, страшные слова,

бессознательно слетевшие с помертвелых губ... ах! более страшные, чем

кладбище и черная шапка Еремея, чем розги отца, чем сам директор, чем все,

чтобы то ни было на свете. Что смрад колодца?! Там, открыв рот, он больше не

чувствовал его... От смрада души, охватившего Тему, он бешено рванулся.

- Нет! Нет! Не хочу! - с безумным воплем бесконечной тоски бросился

Тема к вырвавшему у него признание директору.

- Молчать! - со спокойным, холодным презрением проговорил

удовлетворенный директор и, втолкнув Тему в соседнюю комнату, запер за ним

дверь.

Оставшись один, Тема как-то бессильно, тупо оглянулся, точно отыскивая

потерявшуюся связь событий. Затихавшие в отдалении шаги директора дали ему

эту связь. Ослепительной, мучительной болью сверкнуло сознание, что директор

пошел за Ивановым.

- И-и! - ухватил себя ногтями за щеки Тема и завертелся волчком.

Натолкнувшись на что-то, он так и затих, охваченный какой-то бесконечной

пустотой.

В соседнюю комнату опять вошел директор. Снова раздался его бешеный

крик.

Тема пришел в себя и замер в томительно напряженном ожидании ответа

Иванова.

- Я не могу... - тихой мольбой донеслось к Теме, и сердце его сжалось

мучительной болью.

Опять загремел директор, и новый залп угроз оглушил комнату.

- Я не могу, я не могу... - доносился как будто с какой-то бесконечной

высоты до слуха Темы быстрый, дрожащий голос Иванова. - Делайте со мной, что

хотите, я приму на себя всю вину, но я не могу выдать...

Наступило гробовое молчание.

- Вы исключаетесь из гимназии, - проговорил холодно и спокойно

директор. - Можете отправляться домой. Лица с таким направлением не могут

быть терпимы.

- Что ж делать? - ответил раздраженно Иванов, - выгоняйте, но вы

все-таки не заставите меня сделать подлость.

- Вон!!

Тема уже ничего не чувствовал. Все как-то онемело в нем.

Через полчаса состоялось определение педагогического совета. Вахнов

исключался. Родным Иванова предложено было добровольно взять его. Карташев

наказывался на неделю оставаться во время обеда в гимназии по два часа

каждый день.

Теме приказали идти в класс, куда он и пошел, подавленный, униженный,

тупой, чувствуя отвращение и к себе, и к директору, и к самой жизни,

чувствуя одно бесконечное желание, чтобы жизнь отлетела сразу, чтобы сразу

перестать чувствовать.

Но жизнь не отлетает по желанию, чувствовать надо, и Тема почувствовал,

решившись поднять наконец глаза на товарищей, что нет Иванова, нет Вахнова,

но есть он, ябеда и доносчик, пригвожденный к своему позорному месту...

Неудержимой болью охватила его мысль о том светлом, безвозвратно погибшем

времени, когда и он был чистым и незапятнанным; охватило его горькое чувство

тоски, зачем он живет, и рыдания подступили к его горлу.

Но он удержал их, и только какой-то тихий, жалобный писк успел

вырваться из его горла, писк, замерший в самом начале. Что-то забытое,

напомнившее Теме Жучку в колодце, мелькнуло в его голове...

Тема быстро, испуганно оглянулся... Но никто не смотрел на него.

Передавая дома эту историю, Тема скрыл, что выдал товарища.

Отец, выслушав, проговорил:

- Иначе ты и не мог поступить... И без наказания нельзя было оставить;

Вахнова давно пора было выгнать; Иванов, видно, за что-нибудь намечен, а ты,

как меньше других виноватый, поплатился недельным наказанием. Что ж?

отсидишь.

Сердце Темы тоскливо ныло, и, еще более униженный, он стоял и не смел

поднять глаз на отца и мать.

Аглаида Васильевна ничего не сказала и ушла к себе.

Не дотронувшись почти до еды, Тема тоскливо ходил по комнатам,

отыскивая такие, в которых никого не было, и, останавливаясь у окон,

неподвижно, без мысли, замирал, смотря куда-то. При малейшем шорохе он

быстро отходил от своего места и испуганно оглядывался.

Когда наступили сумерки, ему стало еще тяжелее, и он как-то

бессознательно потянулся к матери. Он рассмотрел ее возле окна и молча

подошел.

- Тема, расскажи мне, как все было... - мягко, ласково, но

требовательно-уверенно проговорила мать.

Тема замер и почувствовал, что мать уже догадалась.

- Все расскажи.

Этот ласковый, вперед прощающий голос охватил Тему какой-то жгучей

потребностью - все до последнего передать матери.

Передав истину, Тема горько оборвал рассказ и униженно опустил голову.

- Бедный мой мальчик, - произнесла охваченная той же тоской унижения и

горечи мать.

Тема облокотился на спинку ее кресла и тихо заплакал.

Мать молча вытирала капавшие по его щекам слезы. Собравшись с мыслями и

дав время успокоиться сыну, она сказала:

- Что делать? Если мы видим свои недостатки и если, замечая их,

стараемся исправиться, то и ошибки наши уже являются источниками искупления.

Сразу ничего не приходит. Все достается тяжелой борьбой в жизни. В этой

борьбе ты уже нашел сегодня одну свою слабую сторону... Когда будешь

молиться, попроси у бога, чтобы он послал тебе твердость и крепкую волю в

минуты страха и опасности.

- Ах, мама, как я вспомню про Иванова, как вспомню... так бы, кажется,

и умер сейчас.

Мать молча гладила голову сына.

- Ну, а если б ты пошел к нему? - спросила она ласково.

Тема не сразу ответил.

- Нет, мама, не могу, - сказал он дрогнувшим голосом. - Когда я знаю,

что больше не увижу его... так жалко... я так люблю его... а как подумаю,

что пойду к нему... я больше не люблю его, - тоскливо докончил Тема, и слезы

опять брызнули из его глаз.

- Ну и не надо, не ходи. Когда-нибудь в жизни, когда ты выйдешь

хорошим, честным человеком, бог даст, ты встретишься с ним и скажешь ему,

что если ты вышел таким, то оттого, что ты всегда думал о нем и хотел быть

таким же честным, хорошим, как он. Хорошо?

Тема молча вздохнул и задумался. Мать тоже замолчала и только

продолжала ласкать своего не устоявшего в первом бою сына.

Вечером, в кровати, Тема осторожно поднял голову и убедившись, что все

уже спят, беззвучно спустился на пол и, весь проникнутый горячим экстазом,

охваченный каким-то особенным, так редко, но с такой силой посещающим детей

огнем веры, - жарко молился, прося бога послать ему силы ничего не бояться.

И вдруг, среди молитвы, Тема вспомнил Иванова, его добрые глаза, так

ласково, доверчиво смотревшие на него, вспомнил, что больше его никогда не

увидит... и, как-то завизжавши от боли, впился зубами в подушку и замер в

безысходной тоске...

## X

## В АМЕРИКУ

Тоскливо, холодно и неприветно потекла гимназическая жизнь Темы. Он не

мог выносить классной комнаты - этой свидетельницы его былого счастья и

падения, хотя между товарищами Тема и встретил неожиданную для него

поддержку. Через несколько дней после тяжелого одиночества Касицкий, подойдя

и улегшись на скамейку перед Темой, подперев подбородок рукой, спросил его

ласково и сочувственно, смотря в глаза:

- Как это случилось, что ты выдал? Струсил?

- Черт его знает, как это вышло, - заговорил Тема, и слезы подступили к

его глазам, - раскричался, затопал, я и не помню...

- Да, это неприятно... Ну, теперь ученый будешь...

- Теперь пусть попробует, - вспыхнул Тема, и глаза его сверкнули, - я

ему, подлецу, в морду залеплю...

- Вот как... Да, свинство, конечно... Жалко Иванова?

- Эх, за Иванова я полжизни бы отдал!

- Конечно... водой ведь вас, бывало, не разольешь. А моя-то сволочь,

Яковлев, радуется.

Каждый день Касицкий подсаживался к Теме и с удовольствием заводил с

ним разговоры.

- Послушай, - предложил однажды Касицкий, - хочешь, я пересяду к тебе?

Тема вспыхнул от радости.

- Ей-богу... у меня там такая дрянь...

И Данилов все чаще и чаще стал оглядываться на Тему. Данилов подолгу,

стараясь это делать незаметно, вдумчиво всматривался в бледное, измученное

лицо "выдавшего", и в душе его живо рисовались муки, которые переживал в это

время Тема. Чувство стыдливости не позволяло ему выразить Теме прямо свое

участие, и он ограничивался тем, что только как-то особенно сильно жал, при

встрече утром, руку Темы и краснел. Тема чувствовал расположение Данилова и

тоже украдкой смотрел на него и быстро отводил глаза, когда Данилов замечал

его взгляд.

- Ты куда? - спросил Данилов Касицкого, который с ворохом тетрадей и

книг несся весело по классу.

- А вот, перебраться задумал...

Эта мысль понравилась Данилову; он весь урок что-то соображал, а в

рекреацию, подойдя решительно к Теме и став как-то, по своей привычке,

вполуоборот к нему, спросил, краснея:

- Ты ничего не будешь иметь против, если и я пересяду к тебе?

- Я очень рад, - ответил Тема, в свою очередь краснея до волос.

- Ну, и отлично.

- И ты? - увидав Данилова, проговорил обрадованный и возвратившийся

откуда-то в это время Касицкий.

И он заорал во все горло:

Вот мчится тройка удалая!

Один из двух старых соседей Касицкого, Яковлев, шепнул на ухо

Филиппову:

- Карташев и им удружит...

И оба весело рассмеялись.

- Моя дрянь смеется, - проговорил Касицкий, перестав петь. -

Сплетничают что-нибудь. Черт с ними!.. Постойте, теперь надо так рассесться:

ты, Данилов, как самый солидный, садись в корень, между нами, двумя

сорванцами. Ты, Карташев, полезай к стене, а я, так как не могу долго сидеть

на месте, сяду поближе к проходу.

Когда все было исполнено, он проговорил:

- Ну вот, теперь настоящая тройка! Ничего, отлично заживем.

- Ты любишь море? - спросил однажды Данилов у Темы.

- Люблю, - ответил Тема.

- А на лодке любишь кататься?

- Люблю, только я еще ни разу не катался.

Данилов никак не мог понять, как, живя в приморском городе, до сих пор

ни разу не покататься на лодке. Он давно уже умел и грести, и управлять

рулем. Он, сколько помнил себя, все помнил то же безбрежное море, их дом,

стоявший на самом берегу, всегда вдыхал в себя свежий запах этого моря,

перемешанный с запахом пеньки, смоляных канатов и каменноугольного дыма

пристани. Сколько он помнил себя, всегда его ухо ласкал шум моря, то тихий и

мягкий, как шепот, то страстный и бурный, как стон и вопли разъяренного

дикого зверя. Он любил это море, сроднился с ним; любовь эту поддерживали и

развили в нем до страсти молодые моряки, бывавшие у его отца, капитана

порта.

Он спал и грезил морем. Он любовался у открытого окна, когда, бывало,

вечером луна заливала своим чудным светом эту бесконечную водную даль со

светлой серебряной полосой луны, сверкавшей в воде и терявшейся на далеком

горизонте; он видел, как вдруг выплывшая лодка попадала в эту освещенную

полосу, разрезая ее дружными, мерными взмахами весел, с которых, как

серебряный дождь, сбегала напитанная фосфорическим блеском вода. Он любил

тогда море, как любит маленьких хорошеньких детей. Но не этой картиной море

влекло его душу, вызывало восторг и страсть к себе. Его разжигала буря, в

нем подымалась неизведанная страсть в утлой лодке померяться силами с

рассвирепевшим морем, когда оно, взбешенное, как титан швыряло далеко на

берег свои бешеные волны. Тогда Данилов уж не был похож на мягкого,

обыкновенного Данилова. Тогда, вдохновенный, он простаивал по целым часам на

морском берегу, наблюдая расходившееся море. Он с какою-то завистью смотрел

в упор на своих бешено набегавших врагов - волны, которые тут же, у его ног,

разбивались о берег.

- Не любишь! - с наслаждением шептали его побледневшие губы, а глаза

уже впивались в новый набегавший вал, который, точно разбежавшийся человек,

споткнувшись с размаха, высоко взмахнув руками, тяжело опрокидывался на

острые камни.

"Э-эх!" - злорадно отдавалось в его сердце.

Однажды Данилов сказал Теме и Касицкому:

- Хотите завтра покататься на лодке?

Тема, замирая от счастья, восторженно ответил:

- Хочу.

Касицкий тоже изъявил согласие.

- Так прямо из гимназии и пойдем. Сначала пообедаем у меня, а потом и

кататься.

Вопрос у Темы был только в том, как отнесутся к этому дома. Но и дома

он получил разрешение.

Прогулки по морю стали излюбленным занятием друзей в третьем классе.

Зимой, когда море замерзло и нельзя было больше ездить, верные друзья ходили

по берегу, смотрели на расстилавшуюся перед ними ледяную равнину, на темную

полосу воды за ней, там, где море сливалось с низкими свинцовыми тучами, -

щелкали зубами, синели от холода, ежились в своих форменных пальтишках,

прятали в короткие рукава красные руки и говорили все о том же море. Главным

образом говорил Данилов; Тема с раскрытым ртом слушал, а Касицкий и слушал,

и возражал, и развлекался.

- А вот я знаю такой случай, - начинал, бывало, Касицкий, - один

корабль опрокинулся...

- Килевой? - спрашивал Данилов.

- Килевой, конечно.

- Ну и врешь, - отрезывал Данилов. - Такой корабль не может

опрокинуться...

- Ну, уж это дудки! Ах, оставьте, пожалуйста. Так может...

- Да понимаешь ты, что не может. Единственный случай был...

- Был же? Значит, может.

- Да ты дослушай. Этот корабль...

Но Касицкий уже не слушал; он завидел собаку и бежал доказывать

друзьям, что собака его не укусит. Эти доказательства нередко кончались тем,

что собака из выжидательного положения переходила в наступательное и

стремительно рвала у Касицкого то брюки, то пальто, вследствие чего у него

не было такого платья, на котором не нашлось бы непочиненного места. Но он

не смущался и всегда находил какое-нибудь основание, почему собака его

укусила. То оттого, что она бешеная, то нарочно...

- Нарочно поддразнил, - говорил снисходительно Касицкий.

- Ну да, нарочно? - смеялся Тема.

- Дура, нарочно! - смеялся и Касицкий, надвигая Теме на лицо фуражку.

Если ничего другого не оставалось для развлечения, то Касицкий не

брезгал и колесом пройтись по панели. За это Данилов снисходительно называл

его "мальчишкой". Данилов вообще был старшим в компании - не летами, но

солидностью, которая происходила от беспредельной любви к морю; о нем только

и думал он, о нем только и говорил и ничего и никого, кроме своего моря, не

признавал. Одно терзало его, что он не может посвятить всего своего времени

этому морю, а должен тратить это дорогое время и на сон, и на еду, и на

гимназию. В последнем ему сочувствовали и Тема и Касицкий.

- Есть люди с твердой волей, которые и без гимназии умели прокладывать

себе дорогу в жизни, - говорил Данилов. Тема только вздыхал.

Есть, конечно, есть... Робинзон... А все эти юнги, с детства попавшие

случайно на пароход, прошедшие сквозь огонь и медные трубы, закалившиеся во

всех неудачах. Боже мой! Чего они не видали, где не бывали: и пустыни, и

львы, и тигры, и американские индейцы.

- А ведь такие же, как и мы, люди, - говорил Данилов.

- Конечно, такие.

- Тоже и отца, и мать, и сестер имели, тоже, вероятно, страшно сначала

было, а пересилили, не захотели избитым путем пошлой жизни жить, и что ж -

разве они жалели? Никогда не жалели: все они всегда вырастали без этих

дурацких единиц и экзаменов, женились всегда на ком хотели, стариками

делались, и все им завидовали.

И вот понемногу план созрел: попытать счастья и с первым весенним днем

удрать в Америку на первом отходящем пароходе. Мысль эту бросил Касицкий и

сейчас же забыл о ней. Данилов долго вдумывался и предложил однажды привести

ее в исполнение. Тема дал согласие, не думая, главным образом ввиду далекой

еще весны. Касицкий дал согласие, так как ему было решительно все равно: в

Америку так в Америку. Данилов все тонко, во всех деталях обдумал. Прежде

всего совсем без денег ехать нельзя; положим, юнге даже платят

сколько-нибудь, но до юнги надо доехать. А потому необходимо было

пользоваться каждым удобным моментом, чтобы откладывать все, что можно. Все

ресурсы должны были поступать в кассу: деньги, выдаваемые на завтраки, -

раз, именинные - два, случайные (вроде на извозчика), подарки дядей и пр. и

пр. - три. Данилов добросовестно отбирал у друзей деньги сейчас же по

приходе их в класс, так как опыт показал, что у Касицкого и Темы деньги в

первую же рекреацию улетучивались. Результатом этого был волчий голод в

компании во все время уроков, то есть с утра до двух-трех часов дня. Данилов

крепился, Касицкий без церемонии отламывал куски у первого встречного, а

Тема терпел, терпел и тоже кончал тем, что просил у кого-нибудь "кусочек", а

то отправлялся на поиски по скамьям, где и находил всегда какую-нибудь

завалявшуюся корку.

Было, конечно, довольно простое средство избавить себя от таких

ежедневных мук - это брать с собой из дому хоть запасный кусок хлеба. Но вся

беда заключалась в том, что после утреннего чая, когда компания отправлялась

в гимназию, им не хотелось есть, и с точки зрения этого настоящего они

каждый день впадали в ошибочную уверенность, что и до конца уроков им не

захочется есть.

- На что ты похож стал?! Под глазами синяки, щеки втянуло, худой как

скелет! - допытывалась мать.

Хуже всего, что, удерживаясь, Тема дотягивал обыкновенно до последней

рекреации, и уж когда голод чуть не заставлял его кричать, тогда он только

отправлялся на фуражировку. Вследствие этого аппетит перебивался, и так

основательно, что, придя домой, Тема ни до чего, кроме хлеба и супа, не

касался.

Обдумывая в подробностях свой план, Данилов пришел к заключению, что

прямо в гавани сесть на корабль не удастся, потому что, во-первых, узнают и

не пустят, а во-вторых, потребуют заграничные паспорты. Поэтому Данилов

решил так: узнав, когда отходит подходящий корабль, заблаговременно

выбраться в открытое море на лодке и там, пристав к кораблю, объяснить, в

чем дело, и уехать на нем. Вопрос о дальнейшем был решен в утвердительном

смысле на том простом основании, что кому же даровых работников не надо?

Гораздо труднее был вопрос о лодке. Чтоб отослать ее назад, нужен был

проводник. Этим подводился проводник. Если пустить лодку на произвол судьбы,

- пропажа казенного имущества - отец подводился. Все это привело Данилова к

заключению, что надо строить свою лодку. Отец Данилова отозвался

сочувственно, дал им лесу, руководителей, и компания приступила к работе.

Выбор типа лодки подвергся всестороннему обсуждению. Решено было строить

килевую и отдано было предпочтение ходу перед вместимостью.

- Весь секрет, чтобы было как можно меньшее сопротивление. Чем она

уже...

- Ну, конечно, - перебивал нетерпеливый Касицкий.

- Понимаешь? - спрашивал Данилов Тему.

- Понимаю, - отвечал Тема, понимавший больше потому, что это было

понятно Данилову и Касицкому: что там еще докапываться! Уже - так уже.

- Мне даже кажется, что эта модель, самая узкая из всех, и та широка.

- Конечно, широка, - энергично поддержал Касицкий. - К чему такое

брюхо?

- Отец настаивает, - нерешительно проговорил Данилов.

- Еще бы ему не настаивать, у него живот-то, слава богу; ему и надо, а

нам на что?

- А мы, чтоб не дразнить его, сделаем уже, а ему благоразумно умолчим.

- Подлец, врать хочешь...

- Не врать, молчать буду. Спросит - ну, тогда признаюсь.

Всю зиму шла работа; сперва киль выделали, затем шпангоуты насадили,

потом обшивкой занялись, а затем и выкрасили в белый цвет, с синей полоской

кругом.

Собственно говоря, постройка лодки подвигалась непропорционально труду,

какой затрачивался на нее друзьями, и секрет этот объяснялся тем, что им

помогали какие-то таинственные руки. Друзья благоразумно молчали об этом, и

когда лодка была готова, они с гордостью объявили товарищам:

- Мы кончили.

Впрочем, Касицкий не удержался и тут же сказал, подмигивая Теме:

- Мы?!

- Конечно, мы, - ответил Тема. - Матросы помогали, а все-таки, мы.

- Помогали?! Рыло!

И Касицкий, рассмеявшись, добавил:

- Кой черт, мы! Ну, Данилов действительно работал, а мы вот с этим

подлецом все больше насчет глаз. Да ей-богу же, - кончил он добродушно. -

Зачем врать.

- Я считаю, что и я работал.

- Ну да, ты считаешь. Ну, считай, считай.

- Да зачем вам лодка? - спросил Корнев, грызя, по обыкновению, ногти.

- Лодка? - переспросил Касицкий. - Зачем нам лодка? - обратился он к

Теме.

Тему подмывало.

- Свинья! - смеялся он, чувствуя непреодолимое желание выболтать.

- Чтоб кататься, - ответил Данилов, не сморгнув, что называется,

глазом.

Корнев видел, что тут что-то не то.

- Мало у отца твоего лодок?

- Ходких нет, - ответил Данилов.

- Что значит - ходких?

- Что б резали хорошо воду.

- А что значит - чтоб резали хорошо воду?

- Это значит, что ты дурак, - вставил Касицкий.

- Бревно! - вскользь ответил Корнев, - не с тобой говорят.

- Ну, чтоб узкая была, шла легко, оказывала бы воде меньшее

сопротивление.

- Зачем же вам такую лодку?

- Чтобы больше удовольствия было от катанья.

Корнев подозрительно всматривался по очереди в каждого.

- Эх ты, дура! - произнес Касицкий полушутя-полусерьезно. - В Америку

хотим ехать.

После этого уже сам Корнев говорил пренебрежительно:

- Черти, с вами гороху наесться сперва надо, - и уходил.

- Послушай, зачем ты говоришь? - замечал Данилов Касицкому.

- Что говорю? Именно так действуя, ничего и не говорю.

- Конечно, - поддерживал Тема, - кто ж догадается принять его слова за

серьезные.

- Все догадаются. Вас подмывает на каждом слове, и кончится тем, что вы

все разболтаете. Глупо же. Если не хотите, скажите прямо, зачем было и

затевать тогда.

Обыкновенно невозмутимый, Данилов не на шутку начинал сердиться.

Касицкий и Тема обещали ему соблюдать вперед строгое молчание. И хотя

нередко на приятелей находило страстное желание подсидеть самих себя, но

сознание огорчения, которое они нанесут этим Данилову, останавливало их.

Понятное дело, что тому, кто едет в Америку, никаких, собственно,

уроков готовить не к чему, и время, потраченное на такой труд, считалось

компанией погибшим временем.

Обстоятельства помогли Теме в этом отношении. Мать его родила еще

одного сына, и выслушивание уроков было оставлено. Следующая треть,

последняя перед экзаменами, была весьма печальна по результатам: единица,

два, закон божий - три, по естественной - пять, поведение - и то "хорошего"

вместо обычного "отличного". На Карташева махнули в гимназии рукой, как на

ученика, который остается на второй год.

Тема благоразумно утаил от домашних отметки. Так как требовалась

расписка, то он, как мог, и расписался за родителей, что отметки они видели.

При этом благоразумно подписал: "По случаю болезни, за мать, сестра

З.Карташева". Дома, на вопрос матери об отметках, он отделывался обычным

ответом, произносимым каким-то слишком уж равнодушным и беспечным голосом:

- Не получил еще.

- Отчего ж так затянулось?

- Не знаю, - отвечал Тема и спешил заговорить о чем-нибудь другом.

- Тема, скажи правду, - пристала раз к нему мать, - в чем дело? Не

может быть, чтоб до сих пор не было отметок?

- Нет, мама.

- Смотри, Тема, я вот встану и поеду сама.

Тема пожал плечами и ничего не ответил: чего, дескать, пристали к

человеку, который уже давно мысленно в Америке?

Друзья назначили свой отъезд на четвертый день пасхи. Так было решено с

целью не отравлять родным пасху.

Заграничный пароход отходил в шесть часов вечера. Решено было тронуться

в путь в четыре.

Тема, стараясь соблюдать равнодушный вид, бросая украдкой растроганные

взгляды кругом, незаметно юркнул в калитку и пустился к гавани.

Данилов уже озабоченно бегал от дома к лодке.

Тема заглянул внутрь их общей красавицы - белой с синей каемкой лодки,

с девизом "Вперед", и увидел там всякие кульки.

- Еда, - озабоченно объяснил Данилов. - Где же Касицкий?

Наконец показался и Касицкий с какой-то паршивой собачонкой.

- Да брось! - нетерпеливо проговорил Данилов.

Касицкий с сожалением выпустил собаку.

- Ну, готово! Едем.

Тема с замиранием сердца прыгнул в лодку и сел на весло.

"Неужели навсегда?" - пронеслось у него в голове и мучительно-сладко

где-то далеко-далеко замерло.

Касицкий сел на другое весло. Данилов - на руль.

- Отдай! - сухо скомандовал Данилов матросу.

Матрос бросил веревку, которую держал в руке, и оттолкнул лодку.

- Навались!

Тема и Касицкий взмахнули веслами. Вода быстро, торопливо, гулко

заговорила у борта лодки.

- Навались!

Гребцы сильно налегли. Лодка помчалась по гладкой поверхности гавани. У

выхода она ловко вильнула под носом входившего парохода и, выскочив на

зыбкую, неровную поверхность открытого моря, точно затанцевала по мелким

волнам.

- Норд-ост! - коротко заметил Данилов.

Весенний холодный ветер срывал с весел воду и разносил брызги.

- Навались!

Весла, ровно и мерно стуча в уключинах, на несколько мгновений

погружались в воду и снова сверкали на солнце, ловким движением гребцов

обращенные параллельно к воде.

Отъехав версты две, гребцы, по команде Данилова, подняли весла и сняли

шапки с вспотевших голов.

- Черт, пить хочется, - сказал Касицкий и, перегнувшись, зачерпнул

двумя руками морской воды и хлебнул глоток.

То же самое проделал и Тема.

- Навались!

Опять мерно застучали весла, и лодка снова весело и легко начала резать

набегавшие волны.

Ветер свежел.

- К вечеру разыграется, - заметил Данилов.

- О-го, рвет, - ответил Касицкий, надвигая чуть было не сорвавшуюся в

море шапку.

- Экая красота! - проговорил немного погодя Данилов, любуясь небом и

морем. - Посмотрите на солнце, как наседают тучи! Точно рядом день и ночь.

Там все темное, грозное; а сюда, к городу, - ясное, тихое, спокойное.

Касицкий и Тема сосредоточенно молчали.

Тема скользнул глазами по сверкавшему вдали городу, по спокойному,

ясному берегу, и сердце его тоскливо сжалось: что-то теперь делают мать,

отец, сестры?! Может быть, весело сидят на террасе, пьют чай и не знают,

какой удар приготовил он им. Тема испуганно оглянулся, точно проснулся от

какого-то тяжелого сна.

- Что, может, назад пойдем, Карташев? - спросил спокойно Данилов,

наблюдая его.

"Назад?!" - радостно рванулось было сердце Темы к матери. А мечты об

Америке, а гимназия, экзамены, неизбежный провал...

Тема отрицательно мотнул головой и угрюмо молча налег на весло.

- Пароход! - крикнул Касицкий.

Из гавани, выпуская клубы черного дыма, показался громадный заграничный

пароход.

- Пойдем потихоньку навстречу.

Лодка сделала красивый полукруг и медленно пошла навстречу.

Пароход приближался. Уже можно было разобрать толпу пассажиров на

палубе!

"Через несколько минут мы уже будем между ними", - мелькнуло у каждого

из друзей.

- Пора!

Все было наготове.

Согласно законам аварий, Касицкий выстрелил два раза из револьвера, а

Данилов выбросил специально приготовленный для этого случая белый флаг,

навязанный на длинный шест.

Тяжелое чудовище летело совсем близко, высоко задрав свои могучие

борты, и гул машины явственно отдался в ушах беглецов, обдав их запахом пара

и перегорелого масла.

Лодку закачало во все стороны.

Ура! Их заметили. Целый ворох белых платков замахал им с палубы. Но что

ж это? Зачем они не останавливаются?

- Стреляй еще! Маши платком.

Друзья стреляли, махали и кричали как могли.

Увы! Пароход уж был далеко и все больше и больше прибавлял ходу...

Разочарование было полное.

- Они думали, - проговорил огорченно Тема, - что мы им хорошей дороги

желаем.

- Я говорил, что все это ерунда, - сказал Касицкий, бросая в лодку

револьвер. - Ну кто, в самом деле, нас возьмет?! Кто для нас остановится?!

Уныло, хотя, и быстро было возвращение обратно. Норд-ост был попутный.

- Надо обдумать... - начал было Данилов.

- Ерунда! Ни в какую Америку я больше не поеду, - сказал Касицкий,

когда лодка пристала к берегу. - Все это чушь.

- Ну, вот уж и чушь, - ответил сконфуженно Данилов.

- Да, конечно, чушь, и пора понять это.

Тема грустно слушал, задумчиво смотря вдаль так коварно изменившему

пароходу.

- Надо обдумать...

- Как выдержать экзамены, - фыркнул Касицкий и, нахлобучив шапку, пожав

наскоро руки друзьям, быстро пошел в город.

- Духом упал. Все еще можно исправить, - грустно докончил Данилов.

- Прощай, - ответил Тема и, пожав товарищу руку, тоже побрел домой.

Да, не выгорела Америка! С одной стороны, конечно, приятно опять

увидеть мать, отца, сестер, братьев, с которыми думал уже никогда, может

быть, не встретиться, но, с другой стороны, тяжело и тоскливо вставали

экзамены, почти неизбежный провал, все то, с чем, казалось, было уже

навсегда покончено.

Да, жаль, - а хороший было придумали выход.

И Тема от души вздохнул.

Когда после пасхи в первый раз собрались в класс, все уже перемололось,

и Касицкий не удержался, чтобы в веселых красках не передать о неудавшейся

затее. Тема весело помогал ему, а Данилов только снисходительно слушал.

Все смеялись и прозвали Данилова, Касицкого и Тему "американцами".

## XI

## ЭКЗАМЕНЫ

Подошли и экзамены.

Несмотря на то, что Тема не пропускал ни одной церкви без того, чтобы

не перекреститься, не ленился за квартал обходить встречного батюшку, или в

крайнем случае при встречах хватался за левое ухо и скороговоркой говорил:

"Чур, чур, не меня!", или усердно на том же месте перекручивался три раза, -

дело, однако, плохо подвигалось вперед.

Дома тем не менее Тема продолжал взятый раньше тон.

- Выдержал?

- Выдержал.

- Сколько поставили?

- Не знаю, отметок не показывают.

- Откуда ж ты знаешь, что выдержал?

- Отвечал хорошо...

- Ну, сколько же, ты думаешь, тебе все-таки поставили?

- Я без ошибки отвечал...

- Значит, пять?

- Пять! - недоумевал Тема.

Экзамены кончились. Тема пришел с последнего экзамена.

- Ну?

- Кончил...

Опять ответ поразил мать какою-то неопределенностью.

- Выдержал?

- Да...

- Значит, перешел?

- Верно...

- Да когда же узнать-то можно?

- Завтра, сказали.

Назавтра Тема принес неожиданную новость, что он срезался по трем

предметам, что передержку дают только по двум, но если особенно просить, то

разрешат и по трем. Это-то последнее обстоятельство и вынудило его открыть

свои карты, так как просить должны были родители.

Тема не мог вынести пристального, презрительного взгляда матери,

устремленного на него, и смотрел куда-то вбок.

Томительное молчание продолжалось довольно долго.

- Негодяй! - проговорила наконец мать, толкнув ладонью Тему по лбу.

Тема ждал, конечно, сцены гнева, неудовольствия, упреков, но такого

выражения презрения он не предусмотрел, и тем обиднее оно ему показалось. Он

сидел в столовой и чувствовал себя очень скверно. С одной стороны, он не мог

не сознавать, что все его поведение было достаточно пошло; но, с другой

стороны, он считал себя уже слишком оскорбленным. Обиднее всего было то, что

на драпировку в благородное негодование у него не хватало материала, и,

кроме фигуры жалкого обманщика, ничего из себя и выкроить нельзя было. А

между тем какое-то раздражение и тупая злость разбирали его и искали выхода.

Отец пришел. Ему уже сказала мать.

- Болван! - проговорил с тем же оттенком пренебрежения отец. - В

кузнецы отдам...

Тема молча высунул ему вдогонку язык и подумал: "Ни капельки не

испугался". Тон отца еще больше опошлил перед ним его собственное положение.

Нет! Решительно ничего нет, за что бы уцепиться и почувствовать себя хоть

чуточку не так пошло и гадко! И вдруг светлая мысль мелькнула в голове Темы:

отчего бы ему не умереть?! Ему даже как-то весело стало от мысли, какой

эффект произвело бы это. Вдруг приходят, а он мертвый лежит. Вот тогда и

сердись сколько хочешь! Конечно, он виноват - он понимал это очень хорошо, -

но он умрет и этим вполне искупит свою вину. И это, конечно, поймут и отец и

мать, и это будет для них вечным укором! Он отомстит им! Ему ни капли их не

жалко, - сами виноваты! Тема точно снова почувствовал презрительный шлепок

матери по лбу. Злое, недоброе чувство с новой силой зашевелилось в его

сердце. Он злорадно остановил глаза на коробке спичек и подумал, что такая

смерть была бы очень хороша, потому что будет не сразу и он успеет еще

насладиться чувством удовлетворенного торжества при виде горя отца и матери.

Он занялся вопросом, сколько надо принять спичек, чтоб покончить с собой.

Всю коробку? Это, пожалуй, будет слишком много, он быстро умрет, а ему

хотелось бы подольше полюбоваться. Половину? Тоже, пожалуй, много. Тема

остановился почему-то на двадцати головках. Решив это, он сделал маленький

антракт, так как, когда вопрос о количестве был выяснен, решимость его

значительно ослабела. Он в первый раз серьезно вник в положение вещей и

почувствовал непреодолимый ужас к смерти. Это было решающее мгновение, после

которого, успокоенный каким-то подавленным сознанием, что дело не будет

доведено до конца, он протянул руку к спичкам, отобрал горсть их и начал

потихоньку, держа руки под столом, осторожно обламывать головки. Он делал

это очень осторожно, зная, что спичка может вспыхнуть в руке, а это иногда

кончается антоновым огнем. Наломав, Тема аккуратно собрал головки в кучку и

некоторое время с большим удовольствием любовался ими в сознании, что их

проглотит кто угодно, но только не он. Он взял одну головку и попробовал на

язык: какая гадость!

С водой разве?!

Тема потянулся за графином и налил себе четверть стакана. Это много для

одного глотка. Тема встал, на цыпочках вышел в переднюю и, чтоб не делать

шума, выплеснул часть воды на стену. Затем он вернулся назад и остановился в

нерешительности. Несмотря на то, что он знал, что это шутка, его стало

охватывать какое-то странное волнение. Он чувствовал, что в его решимости не

глотать спичек стала показываться какая-то страшная брешь: почему и в самом

деле не проглотить? В нем уж не было уверенности, что он не сделает этого. С

ним что-то происходило, чего он ясно не сознавал. Он, если можно так

сказать, перестал чувствовать себя, как будто был кто-то другой, а не он.

Это наводило на него какой-то невыразимый ужас. Этот ужас все усиливался и

толкал его. Рука автоматично протянулась к головкам и всыпала их в стакан.

"Неужели я выпью?! - думал он, поднимая дрожащей рукою стакан к побелевшим

губам. Мысли вихрем завертелись в его голове. "Зачем? Разве я не виноват

действительно? Я, конечно, виноват. Разве я хочу нанести такое горе людям,

для которых так дорога моя жизнь? Боже сохрани! Я люблю их..."

- Артемий Николаевич, что вы делаете?! - закричала Таня не своим

голосом.

У Темы мелькнула только одна мысль, чтобы Таня не успела вырвать

стакан. Судорожным, мгновенным движением он опрокинул содержимое в рот. Он

остановился с широко раскрытыми, безумными от ужаса глазами.

- Батюшки! - завопила режущим, полным отчаяния голосом Таня, стремглав

бросаясь к кабинету. - Барин... барин!..

Голос ее обрывался какими-то воплями:

- Артемий... Николаич... отравились!!

Отец бросился в столовую и остановился, пораженный идиотским лицом

сына.

- Молока!

Таня бросилась к буфету.

Тема сделал слабое усилие и отрицательно качнул головой.

- Пей, негодяй, или я расшибу твою мерзкую башку об стену! - закричал

неистово отец, схватив сына за воротник мундира.

Он так сильно сжимал, что Тема, чтоб дышать, должен был наклониться,

вытянуть шею и в таком положении, жалкий, растерянный, начал жадно пить

молоко.

- Что такое?! - вбежала мать.

- Ничего, - ответил взбешенным, пренебрежительным голосом отец, -

фокусами занимается.

Узнав, в чем, дело, мать без сил опустилась на стул.

- Ты хотел отравиться?!

В этом вопросе было столько отчаянной горечи, столько тоски, столько

чего-то такого, что Тема вдруг почувствовал себя как бы оторванным от

прежнего Темы, любящего, нежного, и его охватило жгучее, непреодолимое

желание во что бы то ни стало, сейчас же, сию секунду снова быть прежним

мягким, любящим Темой. Он стремглав бросился к матери, схватил ее руки,

крепко сжал своими и голосом, доходящим до рева, стал просить:

- Мама, непременно прости меня! Я буду прежний, но забудь все! Ради

бога, забудь!

- Все, все забыла, все простила, - проговорила испуганная мать.

- Мама, голубка, не плачь, - ревел Тема, дрожа, как в лихорадке.

- Пей молоко, пей молоко! - твердила растерянно, испуганно мать, не

замечая, как слезы лились у нее по щекам.

- Мама, не бойся ничего! Ничего не бойся! Я пью, я уже три стакана

выпил. Мама, это пустяки, вот, смотри, все головки остались в стакане. Я

знаю, сколько их было... Я знаю... Раз, два, три...

Тема судорожно считал головки, хотя перед ним была одна сплошная,

сгустившаяся масса, тянувшаяся со дна стакана к его краям...

- Четырнадцать! Все! Больше не было, - я ничего не выпил... Я еще один

стакан выпью молока.

- Боже мой, скорей за доктором!

- Мама, не надо!

- Надо, мой милый, надо!

Отец, возмущенный всей этой сценой, не выдержал и, плюнув, ушел в

кабинет.

- Милая мама, пусть он идет, я не могу тебе сказать, что я пережил, но

если б ты меня не простила, я не знаю... я еще бы раз... Ах, мама, мне так

хорошо, как будто я снова родился! Я знаю, мама, что должен искупить перед

тобою свою вину, и знаю, что искуплю, оттого мне так легко и весело. Милая,

дорогая мама, поезжай к директору и попроси его, - я выдержу передержку, я

знаю, что выдержу, потому что я знаю, что я способный и могу учиться.

Тема, не переставая, все говорил, говорил и все целовал руки матери.

Мать молча, тихо плакала. Плакала и Таня, сидя тут же на стуле.

- Не плачь, мама, не плачь, - повторял Тема. - Таня, не надо плакать.

Исключительные обстоятельства выбили всех из колеи. Тема совершенно не

испытывал той обычной, усвоенной манеры отношения сына к матери, младшего к

старшему, которая существовала обыкновенно. Точно перед ним сидел его

товарищ, и Таня была товарищ, и обе они и он попали неожиданно в какую-то

беду, из которой он, Тема, знает, что выведет их, но только надо торопиться.

- Поедешь, мама, к директору? - нервно, судорожно спрашивал он.

- Поеду, милый, поеду.

- Непременно поезжай. Я еще стакан молока выпью. Пять стаканов, больше

не надо, а то понос сделается. Понос очень нехорошо.

Мысли Темы быстро перескакивали с одного предмета на другой, он говорил

их вслух, и чем больше говорил, тем больше ему хотелось говорить и тем

удовлетвореннее он себя чувствовал.

Мать со страхом слушала его, боясь этой бесконечной потребности

говорить, с тоской ожидая доктора. Все ее попытки остановить сына были

бесполезны, он быстро перебивал ее:

- Ничего, мама, ничего, пожалуйста, не беспокойся.

И снова начинался бесконечный разговор.

Вошли дети, гулявшие в саду. Тема бросился к ним и, сказав: "Вам нельзя

тут быть", - запер перед ними дверь.

Наконец приехал доктор, осмотрел, выслушал Тему, потребовал бумаги,

перо, чернила, написал рецепт и, успокоив всех, остался ждать лекарства. У

Темы начало жечь внутри.

- Пустяки, - проговорил доктор, - сейчас пройдет.

Когда принесли лекарство, доктор молча, тяжело сопя, приготовил в двух

рюмках растворы и сказал, обращаясь к Теме:

- Ну, теперь закусите вот этим все ваши разговоры. Отлично! Теперь вот

это! Ну, теперь можете продолжать.

Тема снова начал, но через несколько минут он как-то сразу раскис и

вяло оборвал себя:

- Мама, я спать хочу.

Его сейчас же уложили, и, под влиянием порошков, он заснул крепким

детским сном.

На другой день Тема был вне всякой опасности и хотя ощущал некоторую

слабость и боль в животе, но чувствовал себя прекрасно, был весел и с

нетерпением гнал мать к директору. Только при появлении отца он умолкал, и

было что-то такое в глазах сына, от чего отец скорее уходил к себе в

кабинет. Приехал доктор, и мать, оставив Тему на его попечении, уехала к

директору.

- Я сяду заниматься, чтобы не терять времени, - заявил весело Тема.

- Вот и отлично, - ответил доктор.

Тема забрал книги и отправился в маленькую комнатку, а доктор ушел в

кабинет к старику Карташеву.

Когда разговор коснулся текущих событий, генерал не утерпел, чтобы не

пожаловаться на жену за неправильное воспитание сына.

- Да, нервно немножко... - проговорил доктор как-то нехотя. - Век

такой... Вы, однако, с сыном-то все-таки помягче, а то ведь можно и совсем

свихнуть мальчугана... Нервы у него не вашего времени...

- Пустяки, весь он в меня...

- Может, в вас он... да уж... одним словом, надо сдерживать себя.

- Пропал мальчик, - с отчаянием в голосе произнес отец.

Доктор добродушно усмехнулся.

- Славный мальчик, - заметил он и забарабанил пальцами по столу.

- Эх! - махнул огорченно отец и зашагал угрюмо по комнате.

Приехала мать с радостным лицом.

- Разрешил?! - спросил Тема, выскакивая с латинской грамматикой. -

Мама, я вот уже сколько прошел!

Неделя промелькнула для Темы незаметно. Он не мог оторваться от книг. В

голову, строчка за строчкой, вкладывались страницы книги, как в какой-то,

мешок. Иногда он закрывал глаза и мысленно пробегал пройденное, и все в

систематическом порядке, рельефно и выпукло проносилось перед ним. Довольный

опытом, Тема с новым жаром продолжал занятия. Передержка была по русскому,

латинскому и географии, но уже она сидела вся в голове. Иногда он звал

сестру и говорил ей:

- Экзаменуй меня.

Зина добросовестно принималась спрашивать, и Тема без запинки отвечал с

малейшими деталями. В награду Зина говорила огорченно:

- Стыдно с такими способностями так лениться.

- Я на будущий год буду отлично заниматься, сяду на первую скамейку и

буду первым учеником.

- Ну да...

- Хочешь пари?

- Не хочу.

- А-га, знаешь, что могу!

- Конечно, можешь - да не будешь.

- Буду, если Маня меня будет любить.

Зина засмеялась.

- Будет любить?

- Не знаю... если заслужишь.

- А я знаю, что она меня любит!

- И неправда.

- А зачем не смотришь? А я знаю, что она тебе говорила в беседке.

- Ну, что?

- Не скажу.

- А я скажу, если хочешь: она говорила, что ты ей надоел.

Тема озадаченно посмотрел на Зину и потом весело закричал:

- Неправда, неправда! А зачем она мне сказала, что любит Жучку, потому

что это моя собака?

- А ты и уши развесил.

- А-га! - торжествовал Тема. - Передай ей, когда увидишь, что я влюблен

в нее и хочу жениться на ней.

- Скажите пожалуйста! Так и пойдет она за тебя.

- А почему не пойдет?

- Так...

В день экзамена Таня разбудила Тему на заре, и он, забравшись в

беседку, все три предмета еще раз бегло просмотрел. От волнения он не мог

ничего есть и, едва выпив стакан чаю, поехал с неизменным Еремеем в

гимназию. Директор присутствовал при всех трех экзаменах. Тема отвечал без

запинки.

По исхудалому, тонкому, вытянутому лицу Темы видно было, что не даром

дались ему его знания.

Директор молча слушал, всматривался в мягкие, горящие внутренним огнем

глаза Темы и в первый раз почувствовал к нему какое-то сожаление.

По окончании последнего экзамена он погладил его по голове и

проговорил:

- Отличные способности. Могли бы быть украшением гимназии. Будете

учиться?

- Буду, - прошептал, вспыхнув, Тема.

- Ну, ступайте домой и передайте вашей матушке, что вы перешли в третий

класс.

Счастливый Тема выскочил, как бомба, из гимназии.

- Еремей, я перешел! Все экзамены выдержал, все без запинки отвечал.

- Слава богу, - заерзал, облегченно вздыхая, Еремей. - Чтоб оны вси тые

екзамены сказылысь! - разразился он неожиданной речью. - Дай бог, щоб их вси

уж покончали, да в офицеры б вас произвели, - щоб вы, як папа ваш, енералом

булы.

Выговорив такую длинную тираду, Еремей успокоился и впал в свое

обычное, спокойное состояние.

Тема мысленно усмехнулся его пожеланиям и, усевшись поудобнее в экипаж,

беззаботно отдался своему праздничному настроению.

- Ну? - встретила его мать у калитки.

- Выдержал.

- Слава богу, - и мать медленно перекрестилась. - Перекрестись и ты,

Тема.

Но Теме показалось вдруг обидным креститься: за что? он столько уже

крестился и всегда, пока не стал учиться, резался.

- Я не буду креститься, - буркнул обиженный Тема.

- Тема, ты серьезно хочешь вогнать меня в могилу? - спросила его

холодно мать.

Тема молча снял шапку и перекрестился.

- Ах, какой глупый мальчик! Если ты и занимался и благодаря этому и

своим способностям выдержал, так кто же тебе все дал? Стыдно! Глупый

мальчик.

Но уж эта нотация была сделана таким ласкающим голосом, что Тема, как

ни желал изобразить из себя обиженного, не удержался и распустил губы в

довольную, глупую улыбку.

"Да, уж такой возраст!" - подумала мать и, ласково притянув Тему,

поцеловала его в голову. Мальчик почувствовал себя тепло и хорошо и, поймав

руку матери, горячо ее поцеловал.

- Ну, зайди к папе и обрадуй его... ласково, как ты умеешь, когда

захочешь.

Окрыленный, Тема вошел в кабинет и в один залп проговорил:

- Милый папа, я перешел в третий класс.

- Умница, - ответил отец и поцеловал сына в лоб.

Тема, тоже с чувством, поцеловал у него руку и с облегченным сердцем

направился в столовую.

Он с наслаждением увидел чисто сервированный стол, самовар, свой

собственный сливочник, большую двойную просфору - его любимое лакомство к

чаю. Мать налила сама в граненый стакан прозрачного, немного крепкого, как

он любил, горячего чаю. Он влил в стакан весь сливочник, разломил просфору и

с наслаждением откусил какой только мог большой кусок.

Зина, потягиваясь и улыбаясь, вышла из маленькой комнаты.

- Ну? - спросила она.

Но Тема не удостоил ее ответом.

- Выдержал, выдержал, - проговорила весело мать.

Напившись чаю, Тема хотя и нехотя, но передал все, не пропустив и слов

директора.

Мать с наслаждением слушала сына, облокотившись на стол.

В эту минуту, если б кто захотел написать характерное выражение

человека, живущего чужой жизнью, - лицо Аглаиды Васильевны было бы

высокоблагородной моделью. Да, она уж не жила своей жизнью, и все и вся ее

заключалось в них, в этих подчас и неблагодарных, подчас и ленивых, но

всегда милых и дорогих сердцу детях. Да и кто же, кроме нее, пожалеет их?

Кому нужен испошленный мальчишка и в ком его глупая, самодовольная улыбка

вызовет не раздражение, а желание именно в такой невыгодный для него момент

пожалеть и приласкать его?

- Добрый человек директор, - задумчиво произнесла Аглаида Васильевна,

прислушиваясь к словам сына.

Тема кончил и без мысли задумался.

"Хорошо, - пронеслось в его голове. - А что было неделю тому назад?!"

Тема вздрогнул: неужели это был он?! Нет, не он! Вот теперь это он.

И Тема ласково, любящими глазами смотрел на мать.

## XII

## ОТЕЦ

Сильный организм Николая Семеновича Карташева начал изменять ему.

Ничего как будто не переменилось: та же прямая фигура, то же николаевское

лицо с усами и маленькими, узенькими бакенбардами, тот же пробор сбоку, с

прической волос к вискам, - но под этой сохранившейся оболочкой

чувствовалось, что это как-то уже не тот человек. Он стал мягче, ласковее и

чаще искал общества своей семьи.

Тему особенно трогала перемена в отце, потому что с ним отец был всегда

строже и суровее, чем с другими.

Но при всем добром желании с обеих сторон сближение отца с сыном очень

туго подвигалось вперед.

- Ну, что твое море? - спросил Тему как-то отец во время вечернего чая,

за которым, кроме семьи, скромно и конфузливо сидел учитель музыки - молодой

худосочный господин.

- Да, что море? - огорченно заметала мать, - гребут до изнеможения,

вчера восемь часов не вставали с весел... Ездят в бурю и кончат тем, что

утонут в своем море.

- Я в этом отношении фаталист, - сказал отец, исчезая в клубах дыма. -

Двум смертям не бывать, а одной - как ни вертись, все равно не миновать. За

делом-то, пожалуй, и приятнее умереть, чем так сидеть да дожидаться смерти.

Глаза Темы сверкнули на отца.

- Ну, пожалуйста, - обратилась мать к сыну. - Сначала дело свое сделай,

как папа, курс кончи, обзаведись семьей.

- Я никогда не женюсь, - ответил Тема. - Моряку нельзя жениться, у

моряка жена - море.

Он с удовольствием потянулся.

- Данилов тоже, конечно, не женится? - спросила Зина.

- Конечно, не женится, мы с ним будем всегда вместе, на одном корабле.

- Вместе и командовать будете, конечно? - пошутил отец.

Отец был в духе.

Тема, пригнувшись к столу так, что только торчала его голова, ответил

весело, сконфуженно улыбаясь:

- Ну-у, командовать...

- Не надеешься? - быстро, немного пренебрежительно спросил отец и,

затянувшись, проговорил: - А не надеешься - и командовать никогда не

будешь... По поводу фатализма... - обратился он к учителю музыки. - В нашей

военной службе, да и во всякой службе не фаталист не может сделать

карьеры... Под Германштадтом наш полк, - отец бросил взгляд на сына, - стоял

на левом фланге. Я тогда был еще командиром эскадрона, а командиром полка

мой же дядя был. Я считался непокорным офицером. Никакого непокорства не

было, но раздражали нелепые распоряжения. Ну-с... Так вот, сижу я на своем

Черте...

- Папина лошадь, - подсказала мать.

- ...и говорю офицерам... А так, с косогора, нам вся картина как на

ладони видна: стоит в долине авангардом каре венгерцев - человек тысяча, два

орудия при них, а за ними остальной табор - тысяч четырнадцать. С этой

стороны по косогору наши войска. Я и говорю: "Вот сбить бы с позиции это

каре да под их прикрытием и двинуть вперед; без одного выстрела подобрались

бы". Командир и говорит: "Тут целый полк перебьешь, пока до этого каре

доберешься только". Заспорил я с ним, что с одним своим эскадроном собью

каре... конечно, в сущности, какое ж это войско было? Пушки дрянные,

ружья... да и войско-то: сапожник, шарманщик, франт... так - сброд. А наши

ведь: николаевские. Дядя и говорит: "Э, сумасшедший человек! Мелешь чепуху,

потому что еще пороху как следует не нюхал, а послать тебя, так тогда бы и

узнал..." Как будто отрезал! Подлетает адъютант главнокомандующего и

передает приказание выслать эскадрон против каре. Я, долго не думая, и

говорю дяде на ухо: "Ну, дядя, выбирай: или дай мне возможность делом смыть

твои слова с моей чести, или я должен буду выбрать другой какой-нибудь

способ искать удовлетворения..." Говорю, а сам и бровью не моргну. А дядя уж

был семейный, - как стоянка, сейчас жене письма... дети уж были, - какая там

дуэль! Покосился он на меня вроде того, что за черт такой к нему привязался,

плюнул и говорит, обращаясь к офицерам: "А что, господа, признаете за ним

право идти в атаку?" Неприятно, конечно: всякому хочется, ну, а

действительно так ловко вышло, что право-то за мной. "Ну, говорит, будем

любоваться, как ты умудришься смерти в глотку влезть да вылезть оттуда.

Кстати уж скажи - куда и на сорокоуст отдать: ведь, кроме меня, за тебя-то,

бешеного, и молиться некому".

Отец усмехнулся и несколько раз энергично затянулся.

Тема так и замер на своем месте.

Раскурив трубку, отец боковым взглядом посмотрел на сына и продолжал:

- А молиться-то за меня и в самом деле некому было: я сиротой рос...

Ну-с... Подскакал я к своему эскадрону: "Ребята! Милость нам - в атаку! Живы

будем, от царя награда, а от меня хоть залейся водкой!" - "Хоть к черту в

зубы веди!.." Скомандовал я, и стали мы заходить... А так: овраг кончался, и

этакий холмик стоял в долине, - я и хотел было за ним выстроить эскадрон и

тогда уже сразу развернутым фронтом ударить на каре. Тут как тут, смотрю -

проклятая речушка, - не заметил, надо бы правой стороной оврага

спускаться... - дрянь, сажени три, а топкая. Сунулся один, увяз, - уж по

лошади пролез назад... Нечего делать, пришлось идти до мостика и уж в

открытом месте переходить речку: мостик жиденький, только-только одному в

поводу пройти с лошадью. Заметили... Сейчас же, конечно, огонь открыли... В

движении, на ходу не чувствуешь как-то этой тоски смерти: ну, свалится

лошадь, сорвется человек с седла - не слышно. А тут упадет и стонет. Вижу, у

солдатиков уж дух не тот. Ну, и самому-таки и жутко и неловко: как-никак

виноват. Нечаянно зло сделаешь, пустое, и то мучит, а здесь ведь жизнь

человеческая: тут, там пятнадцать человек уложили, пока переходили, - все на

твою совесть. Повернулся я к солдатам - смотрят покорно, конечно, а тоже

ведь все понимают. Так как-то вырвалось: "Ну, братцы, виноват - оплошал! Жив

буду - заслужу, а теперь не выдавайте!"

Отец затянулся.

- Встрепенулись... "Отцом был - не выдадим!" Конечно, николаевские

времена: с человеком, как со скотом... Ласку ценили... Ну, и меня, конечно,

тронуло. Да и минута ведь какая же! Может, и сам уже стоишь перед своим

смертным часом... Прямо - отец, а это твои дети: и не то, чтобы жаль, а так

как-то, вот за каждого самого последнего солдата, как за самого родного, вот

сейчас всю душу свою положить готов. И у всех такое же чувство... вот какое

только после причастия бывает... Нет, сильнее! Ну вот, точно вдруг само небо

раскрылось и сам господь благословил нас и дал нам одно тело, одну душу и

сказал: идите. Куда и страх девался! Под огнем, а как на плацу построились.

И картина же действительно! Уланы... Один к одному - красавцы на подбор!..

Чепраки малиновые... Лошади вороные... Солнце блестит, в небе ни тучки...

двадцать пятое июля... наши войска как на ладони... Эх!! Нет уж того, что

было, теперь нет и не будет. Впереди смерть, ад... тысячи ружей в упор,

десять смертей на одного, а на душе, как тронулись, точно прямо в рай лететь

собрался.

Отец остановился и опять несколько раз затянулся.

- Ну-с, так вот... Тронулись мы... Собрал я своего Черта и стал

выпускать понемногу. А Чертом я называл свою лошадь оттого, что не выносила

она, когда ее между ушами трогали, сразу освирепеет: стена не стена, огонь

не огонь, - одним словом, черт! А так - первая лошадь. И уж сколько мне

говорили: сломишь голову; жаль расстаться, хоть ты что... Ну-с, так вот...

Стали забирать кони... шибче, шибче... Марш-марш, в карьер!.. И-ить!.. Весь

эскадрон, как один человек... только земля дрожит... пики наперевес...

Лошадь врастяжку, точно на месте стоишь... А там ждут... Да хоть бы

стрелял... Ждет... в упор хочет... Смотрит: глаз видно!.. Тошно, прямо

тошно: бей, не томи! Пли!!! Все перевернуло сразу... эскадрон как вкопанный!

Пыль... лошади... люди... Каша. "Вперед!!" Ни с места! Так секунда...

Назад?! Серая шинель?! Позор?! А мои уж поворачивают коней... "Ребята, что ж

вы?!" И не смотрят. Э-эх!.. За сердце схватило!.. "Па-а-длецы!" Да как хвачу

меж ушей своего Черта...

Несколько мгновений длилось молчание.

- Уж и не помню... Так, вихрь какой-то... Весь эскадрон за мной, как

один человек: врезались, опрокинули, смяли... Бойня, настоящая бойня

пошла... прямо бунчуками, - перевернет пику да бунчуком, как баранов, по

голове и лупит. Люди... Что люди?! Лошади остервенели; вот где настоящий

ужас был: прижмет уши, оскалит зубы, изовьет шею, вопьется в тело и рванет

под себя.

Отец замолчал и потонул в облаках дыма.

Молчание длилось очень долго.

- А ты сам, папа, много убил? - спросила Зина.

- Никого, - ответил, усмехнувшись, отец. - У меня и сабля не была

отточена. Да и сабля-то... Так, ковырялка. Никита, мой денщик, шельма,

бывало, все ею в самоваре ковырялся.

- Папа, а как же ты Черта удержал? - спохватилась вдруг аккуратная

Зина.

- Да уж не я его удержал... Кто-то другой... Пуля ему угодила: мне

назначалась, а он мотнулся, ему прямо в лоб и влепилась. Упал он и прижал

мне ногу... ну, а ведь давят, бьют, режут... только я было на локоть, чтобы

рвануться, смотрю - прямо в меня дуло торчит? Глянул: батюшки, смерть, -

целит какая-то образина! Ну, уж тут я... вторую жизнь прожил... а ведь всего

какая-нибудь секунда... Смотрю: а уж Бондарчук, унтер-офицер - пьяница,

шельма, а молодец, в плечах сажень косая - бунчуком по башке его... и не

пикнул... И что значит страх?! Рожей мне показался невообразимой, а как

посмотрел на него, когда уж он упал: шляпа откинулась - лежит мальчик лет

пятнадцати, не больше, ребенок! Раскидал ручонки, точно в небо смотрит...

лицо тихое, спокойное... Господи! вот уж насмотрелся... Ночью что было: не

могу заснуть. Стоят перед глазами... Бондарчук, которого сейчас же после

того, как он спас меня, свалили - стоит: глаза стеклянные, посинел, - стоит

и смотрит, смотрит прямо в глаза! Тьфу ты! А в ушах: ая-яй! ая-яй! Открою

глаза, зажгу свечку, выкурю папироску, успокоюсь, потушу... опять

потянулись: венгерец весь в крови, с разорванным лицом лезет из-под лошади,

солдатик Иванчук, пуля в живот попала, скрутился калачиком, смотрит на меня,

качает головой и воет; лошадь с выпущенными потрохами тянется на

четвереньках, а головой так и ищет туда и сюда, а глаза... ну, ей-богу же,

как у человека. А как дойдет опять до Бондарчука, встанет и стоит: ну, хоть

ты что хочешь делай! Смешно, а ведь хоть плачь! Вдруг слышу, Никита: "Ваше

благородие, ваше благородие, чи вы спите?" - "Тебе чего?" - спрашиваю.

"Бондарчук воскрес". Тьфу ты, черт! Я думал, что с ума сойду. Действительно:

и так не знаешь, куда деваться, а тут еще такой сюрприз: Бросился я, как

был. А так, саженях в ста положили всех убитых рядышком, смотрю -

действительно идет Бондарчук; весь эскадрон уж выскочил: все любили его -

пьяница, а балагур-товарищ. "Ты что ж это, с того света?" - спрашиваю. "Так

точно, ваше благородие". На радостях я и пошутил. "Ты зачем же, говорю,

назад пришел?". А он, мерзавец, вытянулся, руку к козырьку, да самым этак

заковыристым голосом: "Опохмелиться, ваше благородие, пришел: там не дают!"

Ну, тут уж и я и солдаты прыснули. Что ж оказалось?! Он, подлец, на случай

атаки с собой в манерку водки взял; пока оврагом спускались - он и

нализался. А пьяного только царапни ведь: он сейчас, как мертвый, свалится.

А проснется, встанет как ни в чем не бывало.

- Ну, что ж, дал, папа, на водку ему? - спросила Зина.

- Водки-то всем дал... А Бондарчуку, как возвратились на стоянке, после

похода, тысячу рублей ассигнациями дал... только не ему уж, а жене.

- Доволен был?

- Надо думать, - ответил отец, вставая и уходя к себе.

Однажды, вскоре после описанного рассказа, Николай Семенович

почувствовал себя так нехорошо, что должен был слечь в кровать, - слечь и уж

больше не вставать. Походы, раны, ревматизм - сделали свое дело.

Теперь по наружному виду это уж был не прежний Николай Семенович. Без

мундира, в ночной рубахе, с бессильно опущенною на подушку головой, укрытой

одеялом, из-под которого сквозило исхудавшее тело, - Николай Семенович

глядел таким слабым, беспомощным.

Эта беспомощность щемила сердце и вызывала невольные слезы.

Иногда, не выдержав, Тема спешил выйти из комнаты отца, путаясь на ходу

с маленьким девятилетним Сержиком.

- Чего тебе?! - выскочив за дверь, спрашивал Тема, всматриваясь сквозь

слезы в Сержика.

Бледное, растерянное лицо Сержика смотрело в лицо Темы, и дрогнувший

голос делил с ним общее горе:

- Жалко папу!

"Жалко папу" - вот ясная, отчетливая фраза, которая болью охватывала

сердца детей, которая, как рычажок, заставляла сбегаться в морщинки их лица,

трогала клапан слез и вызывала жалобный, тихий писк тоски и беспомощности.

- Тише, тише, - шепотом и жестами останавливал Тема и свои и Сержика

слезы, и вместе с Сержиком, который судорожно удерживался, толкаясь головой

в брата, они спешили куда-нибудь поскорее выбраться подальше, где не было б

слышно их слез.

Однажды, придя из гимназии, Тема по лицам всех увидел и догадался, что

что-то страшное уж где-то близко.

Наскоро поев, Тема на носках пошел к кабинету отца.

Он осторожно нажал дверь и вошел.

Отец лежал и задумчиво, загадочно смотрел перед собою.

Тему потянуло к отцу, ему хотелось подойти, обнять его, высказать, как

он его любит, но привычка брала свое, - он не мог победить чувства

неловкости, стеснения и ограничился тем, что осторожно присел у постели

отца.

Отец остановил на нем глаза и молча, ласково смотрел на сына. Он видел

и понимал, что происходило в его душе.

- Ну, что, Тема, - проговорил он мягким, снисходительным тоном.

Сын поднял голову, его глаза сверкнули желанием ответить отцу

как-нибудь ласково, горячо, но слова не шли на язык.

"Холодный я", - подумал тоскливо Тема.

Отец и это понял и, вздохнув, как-то загадочно тепло проговорил:

- Живи, Тема.

- Вместе, папа, будем жить.

- Нет уж... пора мне собираться... - И, помолчав, прибавил: - В дальнюю

дорогу...

Воцарилось тяжелое, томительное молчание. И отец и сын жили каждый

своим. Отец весь погрузился в прошлое. Сын мучился сложным чувством к отцу и

неумением его высказать.

Глаза отца смотрели куда-то вдаль долгим, каким-то преобразившимся,

ясным взглядом, полным мысли и чувства всей долгой пережитой жизни.

Так глубокой осенью, когда солнце давно уже исчезло в непроглядном

сером небе, когда глаз повсюду уже освоился с однообразным, оголенным,

унылым видом, вдруг под вечер ворвется в окно сноп ярко-красных лучей и,

скользя, заиграет на полу, на стенах, тоскливо напомнив о прожитом лете.

- Жил как мог... - тихо, как бы сам с собой, заговорил отец. - Все

позади... И ты будешь жить... узнаешь много... а кончишь тем же, - будешь,

как я, лежать да дожидаться смерти... Тебе труднее будет, жизнь все сложнее

делается. Что еще вчера хорошо было, сегодня уж не годится... Мы росли в

военном мундире, и вся наша жизнь в нем сосредоточивалась. Мы относились к

нему, как к святыне, он был наша честь, наша слава и гордость. Мы любили

родину, царя... Теперь другие времена... Бывало, я помню, маленьким еще был:

идет генерал, - дрожишь - бог идет, а теперь идешь, так, писаришка какой-то

прошел. Молокосос натянет плед, задерет голову и смотрит на тебя в свои очки

так, как будто уж он мир завоевал... Обидно умирать в чужой обстановке... А

впрочем, общая это судьба... И ты то же самое переживешь, когда тебя

перестанут понимать, отыскивая одни прошлые и смешные стороны... Везде они

есть... Одно, Тема... Если...

Отец поднялся и уставил холодные глаза в сына.

- Если ты когда-нибудь пойдешь против царя, я прокляну тебя из гроба...

Разговор кончился.

В немом молчании, с широко раскрытыми глазами сидел Тема, прижавшись к

стенке кровати...

Начинались новые приступы болезни. Отец сказал, что желает отдохнуть и

остаться один.

Вечером умирающему как будто стало легче. Он ласково перекрестил всех

детей, мягко удержал на мгновение руку сына, когда тот по привычке взял его

руку, чтоб поднести к губам, тихо сжал, приветливо заглянул сыну в глаза и

проговорил спокойно, точно любуясь:

- Молодой хозяин.

Потрясенный непривычной лаской, Тема зарыдал и, припав к отцу, осыпал

его лицо горячими, страстными поцелуями.

В комнате все стихло, и только глухо, тоскливо отдавалось рыдание

сиротевшей семьи.

Не выдержал и отец... Волна теплой, согретой жизни неудержимо пахнула и

охватила его... Дрогнуло неподвижное, спокойное лицо, и непривычные слезы

тихо закапали на подушку... Когда все успокоились и молча уставились опять в

отца - на преображенном лице его, точно из отворенной двери, горела уже заря

новой, неведомой жизни. Спокойный, немного строгий, но от глубины сердца

сознательный взгляд точно мерял ту неизмеримую бездну, которая открывалась

между ним, умирающим, и остающимися в живых, между тем светлым, бесконечным

и вечным, куда он уходил, и страстным, бурливым, подвижным и изменчивым -

что оставлял на земле. Голосом, уже звучавшим на рубеже двух миров, он тихо

прошептал, осеняя всех крестом:

- Благословляю... живите...

В половине ночи весь дом поднялся на ноги. Началась агония...

Тихо прижавшись к своим кроваткам, сидели дети с широко раскрытыми

глазами, в тоскливом ожидании прочесть на каждом новом появлявшемся лице о

чем-то страшном, ужасном, неотвратимом и неизбежном.

К рассвету отца не стало.

Вместо него на возвышении в гостиной, в массе белого, в блеске свечей,

утопало что-то, перед чем, недоумевая, замирало все живое, что-то и вечное,

и тленное, и близкое, и чужое, и дорогое, и страшное, вызывая одно только

определенное ощущение, что общего между этим чем-то и тем, кто жил в этой

оболочке, - ничего нет. Тот папа, суровый и строгий, но добрый и честный,

тот живой папа, с которым связана была вся жизнь, который чувствовался во

всем и везде, который проникал во все фибры существования, - не мог

оставаться в этом немом, неподвижном "чем-то". Он оторвался от этого, ушел

куда-то и вот-вот опять войдет, сядет, закурит свою трубку и, веселый,

довольный, опять заговорит о походах, товарищах, сражениях...

Ярко горят и колеблются свечи, сверкает катафалк и вся длинная,

нарядная процессия; жжет солнце, сквозь духоту и пыль мостовой пробивается

аромат молодой весны, маня в поле на мягкую, свежую мураву, говоря о всех

радостях жизни, а из-под катафалка безмолвно и грозно несется дыхание

смерти, безжизненно мотается голова, протяжно разносится погребальное пение,

звучит и льется торжественный погребальный марш, то тоскливо надрывающий

сердце, то напоминающий о том, что скоро скроется навсегда в тесной могиле

дорогое и близкое сердцу, то примиряющий, говорящий о вечности, о смертном

часе, неизбежном для каждого пришедшего на землю. А слезы льются, льются по

лицу молодого Карташева; жаль отца, жаль живущих, жаль жизни. Хочется ласки,

любви - любить мать, людей, любить мир со всем его хорошим и дурным, хочется

жизнью своею, как этим ясным, светлым днем, пронестись по земле и, совершив

определенное, скрыться, исчезнуть, растаять в ясной лазури небес...

Иван Тургенев

# **ЗАПИСКИ ОХОТНИКА**

## **ХОРЬ И КАЛИНЫЧ**

Кому случалось из Волховского уезда перебираться в Жиздринский, того, вероятно, поражала резкая разница между породой людей в Орловской губернии и калужской породой. Орловский мужик невелик ростом, сутуловат, угрюм, глядит исподлобья, живет в дрянных осиновых избенках, ходит на барщину, торговлей не занимается, ест плохо, носит лапти; калужский оброчный мужик обитает в просторных сосновых избах, высок ростом, глядит смело и весело, лицом чист и бел, торгует маслом и дегтем и по праздникам ходит в сапогах. Орловская деревня (мы говорим о восточной части Орловской губернии) обыкновенно расположена среди распаханных полей, близ оврага, кое-как превращенного в грязный пруд. Кроме немногих ракит, всегда готовых к услугам, да двух-трех тощих берез, деревца на версту кругом не увидишь; изба лепится к избе, крыши закиданы гнилой соломой... Калужская деревня, напротив, большею частью окружена лесом; избы стоят вольней и прямей, крыты тесом; ворота плотно запираются, плетень на задворке не разметан и не вывалился наружу, не зовет в гости всякую прохожую свинью... И для охотника в Калужской губернии лучше. В Орловской губернии последние леса и площадя[\*](http://ilibrary.ru/text/1204/p.1/index.html" \l "fn1) исчезнут лет через пять, а болот и в помине нет; в Калужской, напротив, засеки тянутся на сотни, болота на десятки верст, и не перевелась еще благородная птица тетерев, водится добродушный дупель, и хлопотунья куропатка своим порывистым взлетом веселит и пугает стрелка и собаку.В качестве охотника посещая Жиздринский уезд, сошелся я в поле и познакомился с одним калужским мелким помещиком, Полутыкиным, страстным охотником и, следовательно, отличным человеком. Водились за ним, правда, некоторые слабости: он, например, сватался за всех богатых невест в губернии и, получив отказ от руки и от дому, с сокрушенным сердцем доверял свое горе всем друзьям и знакомым, а родителям невест продолжал посылать в подарок кислые персики и другие сырые произведения своего сада; любил повторять один и тот же анекдот, который, несмотря на уважение г-на Полутыкина к его достоинствам, решительно никогда никого не смешил; хвалил сочинения Акима Нахимова и повесть «Пинну»; заикался; называл свою собаку Астрономом; вместо *однако* говорил *одначе* и завел у себя в доме французскую кухню, тайна которой, по понятиям его повара, состояла в полном изменении естественного вкуса каждого кушанья: мясо у этого искусника отзывалось рыбой, рыба — грибами, макароны — порохом; зато ни одна морковка не попадала в суп, не приняв вида ромба или трапеции. Но, за исключением этих немногих и незначительных недостатков, г-н Полутыкин был, как уже сказано, отличный человек.В первый же день моего знакомства с г. Полутыкиным он пригласил меня на ночь к себе.— До меня верст пять будет, — прибавил он, — пешком идти далеко; зайдемте сперва к Хорю. (Читатель позволит мне не передавать его заиканья.)— А кто такой Хорь?— А мой мужик... Он отсюда близехонько.Мы отправились к нему. Посреди леса, на расчищенной и разработанной поляне, возвышалась одинокая усадьба Хоря. Она состояла из нескольких сосновых срубов, соединенных заборами; перед главной избой тянулся навес, подпертый тоненькими столбиками. Мы вошли. Нас встретил молодой парень, лет двадцати, высокий и красивый.— А, Федя! Дома Хорь? — спросил его г-н Полутыкин.— Нет, Хорь в город уехал, — отвечал парень, улыбаясь и показывая ряд белых, как снег, зубов. — Тележку заложить прикажете?— Да, брат, тележку. Да принеси нам квасу.Мы вошли в избу. Ни одна суздальская картина не залепляла чистых бревенчатых стен; в углу, перед тяжелым образом в серебряном окладе, теплилась лампадка; липовый стол недавно был выскоблен и вымыт; между бревнами и по косякам окон не скиталось резвых прусаков, не скрывалось задумчивых тараканов. Молодой парень скоро появился с большой белой кружкой, наполненной хорошим квасом, с огромным ломтем пшеничного хлеба и с дюжиной соленых огурцов в деревянной миске. Он поставил все эти припасы на стол, прислонился к двери и начал с улыбкой на нас поглядывать. Не успели мы доесть нашей закуски, как уже телега застучала перед крыльцом. Мы вышли. Мальчик лет пятнадцати, кудрявый и краснощекий, сидел кучером и с трудом удерживал сытого пегого жеребца. Кругом телеги стояло человек шесть молодых великанов, очень похожих друг на друга и на Федю. «Всё дети Хоря!» — заметил Полутыкин. «Всё Хорьки, — подхватил Федя, который вышел вслед за нами на крыльцо, — да еще не все: Потап в лесу, а Сидор уехал со старым Хорем в город... Смотри же, Вася, — продолжал он, обращаясь к кучеру, — духом сомчи: барина везешь. Только на толчках-то, смотри, потише: и телегу-то попортишь, да и барское черево обеспокоишь!» Остальные Хорьки усмехнулись от выходки Феди. «Подсадить Астронома!» — торжественно воскликнул г-н Полутыкин. Федя, не без удовольствия, поднял на воздух принужденно улыбавшуюся собаку и положил ее на дно телеги. Вася дал вожжи лошади. Мы покатили. «А вот это моя контора, — сказал мне вдруг г-н Полутыкин, указывая на небольшой низенький домик, — хотите зайти?» — «Извольте». — «Она теперь упразднена, — заметил он, слезая, — а всё посмотреть стоит». Контора состояла из двух пустых комнат. Сторож, кривой старик, прибежал с задворья. «Здравствуй, Миняич, — проговорил г-н Полутыкин, — а где же вода?» Кривой старик исчез и тотчас вернулся с бутылкой воды и двумя стаканами. «Отведайте, — сказал мне Полутыкин, — это у меня хорошая, ключевая вода». Мы выпили по стакану, причем старик нам кланялся в пояс. «Ну, теперь, кажется, мы можем ехать, — заметил мой новый приятель. — В этой конторе я продал купцу Аллилуеву четыре десятины лесу за выгодную цену». Мы сели в телегу и через полчаса уже въезжали на двор господского дома.— Скажите, пожалуйста, — спросил я Полутыкина за ужином, — отчего у вас Хорь живет отдельно от прочих ваших мужиков?— А вот отчего: он у меня мужик умный. Лет двадцать пять тому назад изба у него сгорела; вот и пришел он к моему покойному батюшке и говорит: дескать, позвольте мне, Николай Кузьмич, поселиться у вас в лесу на болоте. Я вам стану оброк платить хороший. — «Да зачем тебе селиться на болоте?» — «Да уж так; только вы, батюшка, Николай Кузьмич, ни в какую работу употреблять меня уж не извольте, а оброк положите, какой сами знаете». — «Пятьдесят рублев в год!» — «Извольте». — «Да без недоимок у меня, смотри!» — «Известно, без недоимок...» Вот он и поселился на болоте. С тех пор Хорем его и прозвали.— Ну, и разбогател? — спросил я.— Разбогател. Теперь он мне сто целковых оброка платит, да еще я, пожалуй, накину. Я уж ему не раз говорил: «Откупись, Хорь, эй, откупись!..» А он, бестия, меня уверяет, что нечем; денег, дескать, нету... Да, как бы не так!..На другой день мы тотчас после чаю опять отправились на охоту. Проезжая через деревню, г-н Полутыкин велел кучеру остановиться у низенькой избы и звучно воскликнул: «Калиныч!» — «Сейчас, батюшка, сейчас, — раздался голос со двора, — лапоть подвязываю». Мы поехали шагом; за деревней догнал нас человек лет сорока, высокого роста, худой, с небольшой загнутой назад головкой. Это был Калиныч. Его добродушное смуглое лицо, кое-где отмеченное рябинами, мне понравилось с первого взгляда. Калиныч (как узнал я после) каждый день ходил с барином на охоту, носил его сумку, иногда и ружье, замечал, где садится птица, доставал воды, набирал земляники, устроивал шалаши, бегал за дрожками; без него г-н Полутыкин шагу ступить не мог. Калиныч был человек самого веселого, самого кроткого нрава, беспрестанно попевал вполголоса, беззаботно поглядывал во все стороны, говорил немного в нос, улыбаясь, прищуривал свои светло-голубые глаза и часто брался рукою за свою жидкую, клиновидную бороду. Ходил он нескоро, но большими шагами, слегка подпираясь длинной и тонкой палкой. В течение дня он не раз заговаривал со мною, услуживал мне без раболепства, но за барином наблюдал, как за ребенком. Когда невыносимый полуденный зной заставил нас искать убежища, он свел нас на свою пасеку, в самую глушь леса. Калиныч отворил нам избушку, увешанную пучками сухих душистых трав, уложил нас на свежем сене, а сам надел на голову род мешка с сеткой, взял нож, горшок и головешку и отправился на пасеку вырезать нам сот. Мы запили прозрачный теплый мед ключевой водой и заснули под однообразное жужжанье пчел и болтливый лепет листьев.Легкий порыв ветерка разбудил меня... Я открыл глаза и увидел Калиныча: он сидел на пороге полураскрытой двери и ножом вырезывал ложку. Я долго любовался его лицом, кротким и ясным, как вечернее небо. Г-н Полутыкин тоже проснулся. Мы не тотчас встали. Приятно после долгой ходьбы и глубокого сна лежать неподвижно на сене: тело нежится и томится, легким жаром пышет лицо, сладкая лень смыкает глаза. Наконец мы встали и опять пошли бродить до вечера. За ужином я заговорил опять о Хоре да о Калиныче. «Калиныч — добрый мужик, — сказал мне г. Полутыкин, — усердный и услужливый мужик; хозяйство в исправности, одначе, содержать не может: я его всё оттягиваю. Каждый день со мной на охоту ходит... Какое уж тут хозяйство, — посудите сами». Я с ним согласился, и мы легли спать.На другой день г-н Полутыкин принужден был отправиться в город по делу с соседом Пичуковым. Сосед Пичуков запахал у него землю и на запаханной земле высек его же бабу. На охоту поехал я один и перед вечером завернул к Хорю. На пороге избы встретил меня старик — лысый, низкого роста, плечистый и плотный — сам Хорь. Я с любопытством посмотрел на этого Хоря. Склад его лица напоминал Сократа: такой же высокий, шишковатый лоб, такие же маленькие глазки, такой же курносый нос. Мы вошли вместе в избу. Тот же Федя принес мне молока с черным хлебом. Хорь присел на скамью и, преспокойно поглаживая свою курчавую бороду, вступил со мною в разговор. Он, казалось, чувствовал свое достоинство, говорил и двигался медленно, изредка посмеивался из-под длинных своих усов.Мы с ним толковали о посеве, об урожае, о крестьянском быте... Он со мной всё как будто соглашался; только потом мне становилось совестно, и я чувствовал, что говорю не то... Так оно как-то странно выходило. Хорь выражался иногда мудрено, должно быть, из осторожности... Вот вам образчик нашего разговора:— Послушай-ка, Хорь, — говорил я ему, — отчего ты не откупишься от своего барина?— А для чего мне откупаться? Теперь я своего барина знаю и оброк свой знаю... барин у нас хороший.— Всё же лучше на свободе, — заметил я.Хорь посмотрел на меня сбоку.— Вестимо, — проговорил он.— Ну, так отчего же ты не откупаешься?Хорь покрутил головой.— Чем, батюшка, откупиться прикажешь?— Ну, полно, старина...— Попал Хорь в вольные люди, — продолжал он вполголоса, как будто про себя, — кто без бороды живет, тот Хорю и на́больший.— А ты сам бороду сбрей.— Что борода? борода — трава: скосить можно.— Ну, так что ж?— А, знать, Хорь прямо в купцы попадет; купцам-то жизнь хорошая, да и те в бородах.— А что, ведь ты тоже торговлей занимаешься? — спросил я его.— Торгуем помаленьку маслишком да дегтишком... Что же, тележку, батюшка, прикажешь заложить?«Крепок ты на язык и человек себе на уме», — подумал я.— Нет, — сказал я вслух, — тележки мне не надо; я завтра около твоей усадьбы похожу и, если позволишь, останусь ночевать у тебя в сенном сарае.— Милости просим. Да покойно ли тебе будет в сарае? Я прикажу бабам постлать тебе простыню и положить подушку. Эй, бабы! — вскричал он, поднимаясь с места, — сюда, бабы!.. А ты, Федя, поди с ними. Бабы ведь народ глупый.Четверть часа спустя Федя с фонарем проводил меня в сарай. Я бросился на душистое сено, собака свернулась у ног моих; Федя пожелал мне доброй ночи, дверь заскрипела и захлопнулась. Я довольно долго не мог заснуть. Корова подошла к двери, шумно дохнула раза два; собака с достоинством на нее зарычала; свинья прошла мимо, задумчиво хрюкая; лошадь где-то в близости стала жевать сено и фыркать... Я, наконец, задремал.На заре Федя разбудил меня. Этот веселый, бойкий парень очень мне нравился; да и, сколько я мог заметить, у старого Хоря он тоже был любимцем. Они оба весьма любезно друг над другом подтрунивали. Старик вышел ко мне навстречу. Оттого ли, что я провел ночь под его кровом, по другой ли какой причине, только Хорь гораздо ласковее вчерашнего обошелся со мной.— Самовар тебе готов, — сказал он мне с улыбкой, — пойдем чай пить.Мы уселись около стола. Здоровая баба, одна из его невесток, принесла горшок с молоком. Все его сыновья поочередно входили в избу.— Что у тебя за рослый народ! — заметил я старику.— Да, — промолвил он, откусывая крошечный кусок сахару, — на меня да на мою старуху жаловаться, кажись, им нечего.— И все с тобой живут?— Все. Сами хотят, так и живут.— И все женаты?— Вон один, пострел, не женится, — отвечал он, указывая на Федю, который по-прежнему прислонился к двери. — Васька, тот еще молод, тому погодить можно.— А что мне жениться? — возразил Федя, — мне и так хорошо. На что мне жена? Лаяться с ней, что ли?— Ну, уж ты... уж я тебя знаю! кольца серебряные носишь... Тебе бы всё с дворовыми девками нюхаться... «Полноте, бесстыдники!» — продолжал старик, передразнивая горничных. — Уж я тебя знаю, белоручка ты этакой!— А в бабе-то что хорошего?— Баба — работница, — важно заметил Хорь. — Баба мужику слуга.— Да на что мне работница?— То-то, чужими руками жар загребать любишь. Знаем мы вашего брата.— Ну, жени меня, коли так. А? что! Что ж ты молчишь?— Ну, полно, полно, балагур. Вишь, барина мы с тобой беспокоим. Женю, небось... А ты, батюшка, не гневись: дитятко, видишь, малое, разуму не успело набраться.Федя покачал головой...— Дома Хорь? — раздался за дверью знакомый голос, — и Калиныч вошел в избу с пучком полевой земляники в руках, которую нарвал он для своего друга, Хоря. Старик радушно его приветствовал. Я с изумлением поглядел на Калиныча: признаюсь, я не ожидал таких «нежностей» от мужика.Я в этот день пошел на охоту часами четырьмя позднее обыкновенного и следующие три дня провел у Хоря. Меня занимали новые мои знакомцы. Не знаю, чем я заслужил их доверие, но они непринужденно разговаривали со мной. Я с удовольствием слушал их и наблюдал за ними. Оба приятеля нисколько не походили друг на друга. Хорь был человек положительный, практический, административная голова, рационалист; Калиныч, напротив, принадлежал к числу идеалистов, романтиков, людей восторженных и мечтательных. Хорь понимал действительность, то есть: обстроился, накопил деньжонку, ладил с барином и с прочими властями; Калиныч ходил в лаптях и перебивался кое-как. Хорь расплодил большое семейство, покорное и единодушное; у Калиныча была когда-то жена, которой он боялся, а детей и не бывало вовсе. Хорь насквозь видел г-на Полутыкина; Калиныч благоговел перед своим господином. Хорь любил Калиныча и оказывал ему покровительство; Калиныч любил и уважал Хоря. Хорь говорил мало, посмеивался и разумел про себя; Калиныч объяснялся с жаром, хотя и не пел соловьем, как бойкий фабричный человек... Но Калиныч был одарен преимуществами, которые признавал сам Хорь, например: он заговаривал кровь, испуг, бешенство, выгонял червей; пчелы ему дались, рука у него была легкая. Хорь при мне попросил его ввести в конюшню новокупленную лошадь, и Калиныч с добросовестною важностью исполнил просьбу старого скептика. Калиныч стоял ближе к природе; Хорь же — к людям, к обществу; Калиныч не любил рассуждать и всему верил слепо; Хорь возвышался даже до иронической точки зрения на жизнь. Он много видел, много знал, и от него я многому научился. Например, из его рассказов узнал я, что каждое лето, перед покосом, появляется в деревнях небольшая тележка особенного вида. В этой тележке сидит человек в кафтане и продает косы. На наличные деньги он берет рубль двадцать пять копеек — полтора рубля ассигнациями; в долг — три рубля и целковый. Все мужики, разумеется, берут у него в долг. Через две-три недели он появляется снова и требует денег. У мужика овес только что скошен, стало быть, заплатить есть чем; он идет с купцом в кабак и там уже расплачивается. Иные помещики вздумали было покупать сами косы на наличные деньги и раздавать в долг мужикам по той же цене; но мужики оказались недовольными и даже впали в уныние; их лишали удовольствия щелкать по косе, прислушиваться, перевертывать ее в руках и раз двадцать спросить у плутоватого мещанина-продавца: «А что, малый, коса-то не больно того?» Те же самые проделки происходят и при покупке серпов, с тою только разницей, что тут бабы вмешиваются в дело и доводят иногда самого продавца до необходимости, для их же пользы, поколотить их. Но более всего страдают бабы вот при каком случае. Поставщики материала на бумажные фабрики поручают закупку тряпья особенного рода людям, которые в иных уездах называются «орлами». Такой «орел» получает от купца рублей двести ассигнациями и отправляется на добычу. Но, в противность благородной птице, от которой он получил свое имя, он не нападает открыто и смело: напротив, «орел» прибегает к хитрости и лукавству. Он оставляет свою тележку где-нибудь в кустах около деревни, а сам отправляется по задворьям да по задам, словно прохожий какой-нибудь или просто праздношатающийся. Бабы чутьем угадывают его приближенье и крадутся к нему навстречу. Второпях совершается торговая сделка. За несколько медных грошей баба отдает «орлу» не только всякую ненужную тряпицу, но часто даже мужнину рубаху и собственную паневу. В последнее время бабы нашли выгодным красть у самих себя и сбывать таким образом пеньку, в особенности «замашки», — важное распространение и усовершенствование промышленности «орлов»! Но зато мужики, в свою очередь, навострились и при малейшем подозрении, при одном отдаленном слухе о появлении «орла» быстро и живо приступают к исправительным и предохранительным мерам. И в самом деле, не обидно ли? Пеньку продавать их дело, и они ее точно продают, не в городе, — в город надо самим тащиться, — а приезжим торгашам, которые, за неимением безмена, считают пуд в сорок горстей — а вы знаете, что за горсть и что за ладонь у русского человека, особенно когда он «усердствует»!Таких рассказов я, человек неопытный и в деревне не «живалый» (как у нас в Орле говорится), наслушался вдоволь. Но Хорь не всё рассказывал, он сам меня расспрашивал о многом. Узнал он, что я бывал за границей, и любопытство его разгорелось... Калиныч от него не отставал; но Калиныча более трогали описания природы, гор, водопадов, необыкновенных зданий, больших городов; Хоря занимали вопросы административные и государственные. Он перебирал всё по порядку: «Что, у них это там есть так же, как у нас, аль иначе?.. Ну, говори, батюшка, — как же?..» — «А! ах, господи, твоя воля!» — восклицал Калиныч во время моего рассказа; Хорь молчал, хмурил густые брови и лишь изредка замечал, что, «дескать, это у нас не шло бы, а вот это хорошо — это порядок». Всех его расспросов я передать вам не могу, да и незачем; но из наших разговоров я вынес одно убежденье, которого; вероятно, никак не ожидают читатели, — убежденье, что Петр Великий был по преимуществу русский человек, русский именно в своих преобразованиях. Русский человек так уверен в своей силе и крепости, что он не прочь и поломать себя: он мало занимается своим прошедшим и смело глядит вперед. Что хорошо — то ему и нравится, что разумно — того ему и подавай, а откуда оно идет, — ему всё равно. Его здравый смысл охотно подтрунит над сухопарым немецким рассудком; но немцы, по словам Хоря, любопытный народец, и поучиться у них он готов. Благодаря исключительности своего положенья, своей фактической независимости, Хорь говорил со мной о многом, чего из другого рычагом не выворотишь, как выражаются мужики, жерновом не вымелешь. Он действительно понимал свое положенье. Толкуя с Хорем, я в первый раз услышал простую, умную речь русского мужика. Его познанья были довольно, по-своему, обширны, но читать он не умел; Калиныч — умел. «Этому шалопаю грамота далась, — заметил Хорь, — у него и пчелы отродясь не мерли». — «А детей ты своих выучил грамоте?» Хорь помолчал. «Федя знает». — «А другие?» — «Другие не знают». — «А что́?» Старик не отвечал и переменил разговор. Впрочем, как он умен ни был, водились и за ним многие предрассудки и предубеждения. Баб он, например, презирал от глубины души, а в веселый час тешился и издевался над ними. Жена его, старая и сварливая, целый день не сходила с печи и беспрестанно ворчала и бранилась; сыновья не обращали на нее внимания, но невесток она содержала в страхе божием. Недаром в русской песенке свекровь поет: «Какой ты мне сын, какой семьянин! Не бьешь ты жены, не бьешь молодой...» Я раз было вздумал заступиться за невесток, попытался возбудить сострадание Хоря; но он спокойно возразил мне, что «охота-де вам такими... пустяками заниматься, — пускай бабы ссорятся... Их что разнимать — то хуже, да и рук марать не стоит». Иногда злая старуха слезала с печи, вызывала из сеней дворовую собаку, приговаривая: «Сюды, сюды, собачка!» — и била ее по худой спине кочергой или становилась под навес и «лаялась», как выражался Хорь, со всеми проходящими. Мужа своего она, однако же, боялась и, по его приказанию, убиралась к себе на печь. Но особенно любопытно было послушать спор Калиныча с Хорем, когда дело доходило до г-на Полутыкина. «Уж ты, Хорь, у меня его не трогай», — говорил Калиныч. «А что ж он тебе сапогов не сошьет?» — возражал тот. «Эка, сапоги!.. на что мне сапоги? Я мужик...» — «Да вот и я мужик, а вишь...» При этом слове Хорь поднимал свою ногу и показывал Калинычу сапог, скроенный, вероятно, из мамонтовой кожи. «Эх, да ты разве наш брат!» — отвечал Калиныч. «Ну, хоть бы на лапти дал: ведь ты с ним на охоту ходишь; чай, что день, то лапти». — «Он мне дает на лапти». — «Да, в прошлом году гривенник пожаловал». Калиныч с досадой отворачивался, а Хорь заливался смехом, причем его маленькие глазки исчезали совершенно.Калиныч пел довольно приятно и поигрывал на балалайке. Хорь слушал, слушал его, загибал вдруг голову набок и начинал подтягивать жалобным голосом. Особенно любил он песню: «Доля ты моя, доля!» Федя не упускал случая подтрунить над отцом. «Чего, старик, разжалобился?» Но Хорь подпирал щеку рукой, закрывал глаза и продолжал жаловаться на свою долю... Зато в другое время не было человека деятельнее его: вечно над чем-нибудь копается — телегу чинит, забор подпирает, сбрую пересматривает. Особенной чистоты он, однако, не придерживался и на мои замечания отвечал мне однажды, что «надо-де избе жильем пахнуть».— Посмотри-ка, — возразил я ему, — как у Калиныча на пасеке чисто.— Пчелы бы жить не стали, батюшка, — сказал он со вздохом.«А что, — спросил он меня в другой раз, — у тебя своя вотчина есть?» — «Есть». — «Далеко отсюда?» — «Верст сто». — «Что же ты, батюшка, живешь в своей вотчине?» — «Живу». — «А больше, чай, ружьем пробавляешься?» — «Признаться, да». — «И хорошо, батюшка, делаешь; стреляй себе на здоровье тетеревов да старосту меняй почаще».На четвертый день, вечером, г. Полутыкин прислал за мной. Жаль мне было расставаться с стариком. Вместе с Калинычем сел я в телегу. «Ну, прощай, Хорь, будь здоров, — сказал я... — Прощай, Федя». — «Прощай, батюшка, прощай, не забывай нас». Мы поехали; заря только что разгоралась. «Славная погода завтра будет», — заметил я, глядя на светлое небо. «Нет, дождь пойдет, — возразил мне Калиныч, — утки вон плещутся, да и трава больно сильно пахнет». Мы въехали в кусты. Калиныч запел вполголоса, подпрыгивая на облучке, и всё глядел да глядел на зарю...На другой день я покинул гостеприимный кров г-на Полутыкина.

## **БЕЖИН ЛУГ**

Был прекрасный июльский день, один из тех дней, которые случаются только тогда, когда погода установилась надолго. С самого раннего утра небо ясно; утренняя заря не пылает пожаром: она разливается кротким румянцем. Солнце — не огнистое, не раскаленное, как во время знойной засухи, не тускло-багровое, как перед бурей, но светлое и приветно лучезарное — мирно всплывает под узкой и длинной тучкой, свежо просияет и погрузится в лиловый ее туман. Верхний, тонкий край растянутого облачка засверкает змейками; блеск их подобен блеску кованого серебра... Но вот опять хлынули играющие лучи, — и весело и величаво, словно взлетая, поднимается могучее светило. Около полудня обыкновенно появляется множество круглых высоких облаков, золотисто-серых, с нежными белыми краями. Подобно островам, разбросанным по бесконечно разлившейся реке, обтекающей их глубоко прозрачными рукавами ровной синевы, они почти не трогаются с места; далее, к небосклону, они сдвигаются, теснятся, синевы между ними уже не видать; но сами они так же лазурны, как небо: они все насквозь проникнуты светом и теплотой. Цвет небосклона, легкий, бледно-лиловый, не изменяется во весь день и кругом одинаков; нигде не темнеет, не густеет гроза; разве кое-где протянутся сверху вниз голубоватые полосы: то сеется едва заметный дождь. К вечеру эти облака исчезают; последние из них, черноватые и неопределенные, как дым, ложатся розовыми клубами напротив заходящего солнца; на месте, где оно закатилось так же спокойно, как спокойно взошло на небо, алое сиянье стоит недолгое время над потемневшей землей, и, тихо мигая, как бережно несомая свечка, затеплится на нем вечерняя звезда. В такие дни краски все смягчены; светлы, но не ярки; на всем лежит печать какой-то трогательной кротости. В такие дни жар бывает иногда весьма силен, иногда даже «парит» по скатам полей; но ветер разгоняет, раздвигает накопившийся зной, и вихри-круговороты — несомненный признак постоянной погоды — высокими белыми столбами гуляют по дорогам через пашню. В сухом и чистом воздухе пахнет полынью, сжатой рожью, гречихой; даже за час до ночи вы не чувствуете сырости. Подобной погоды желает земледелец для уборки хлеба...В такой точно день охотился я однажды за тетеревами в Чернском уезде, Тульской губернии. Я нашел и настрелял довольно много дичи; наполненный ягдташ немилосердно резал мне плечо; но уже вечерняя заря погасала, и в воздухе, еще светлом, хотя не озаренном более лучами закатившегося солнца, начинали густеть и разливаться холодные тени, когда я решился, наконец, вернуться к себе домой. Быстрыми шагами прошел я длинную «площадь» кустов, взобрался на холм и, вместо ожиданной знакомой равнины с дубовым леском направо и низенькой белой церковью в отдалении, увидал совершенно другие, мне не известные места. У ног моих тянулась узкая долина; прямо, напротив, крутой стеной возвышался частый осинник. Я остановился в недоумении, оглянулся... «Эге! — подумал я, — да это я совсем не туда попал: я слишком забрал вправо», — и, сам дивясь своей ошибке, проворно спустился с холма. Меня тотчас охватила неприятная, неподвижная сырость, точно я вошел в погреб; густая высокая трава на дне долины, вся мокрая, белела ровной скатертью; ходить по ней было как-то жутко. Я поскорей выкарабкался на другую сторону и пошел, забирая влево, вдоль осинника. Летучие мыши уже носились над его заснувшими верхушками, таинственно кружась и дрожа на смутно-ясном небе; резво и прямо пролетел в вышине запоздалый ястребок, спеша в свое гнездо. «Вот как только я выйду на тот угол, — думал я про себя, — тут сейчас и будет дорога, а с версту крюку я дал!»Я добрался, наконец, до угла леса, но там не было никакой дороги: какие-то некошеные, низкие кусты широко расстилались передо мною, а за ними, далёко-далёко, виднелось пустынное поле. Я опять остановился. «Что за притча?.. Да где же я?» Я стал припоминать, как и куда ходил в течение дня... «Э! да это Парахинские кусты! — воскликнул я наконец, — точно! Вон это, должно быть, Синдеевская роща... Да как же это я сюда зашел? Так далеко?.. Странно! Теперь опять нужно вправо взять».Я пошел вправо, через кусты. Между тем ночь приближалась и росла, как грозовая туча; казалось, вместе с вечерними парами отовсюду поднималась и даже с вышины лилась темнота. Мне попалась какая-то неторная, заросшая дорожка; я отправился по ней, внимательно поглядывая вперед. Всё кругом быстро чернело и утихало, — одни перепела изредка кричали. Небольшая ночная птица, неслышно и низко мчавшаяся на своих мягких крыльях, почти наткнулась на меня и пугливо нырнула в сторону. Я вышел на опушку кустов и побрел по полю межой. Уже я с трудом различал отдаленные предметы; поле неясно белело вокруг; за ним, с каждым мгновением надвигаясь, громадными клубами вздымался угрюмый мрак. Глухо отдавались мои шаги в застывающем воздухе. Побледневшее небо стало опять синеть — но то уже была синева ночи. Звездочки замелькали, зашевелились на нем.Что я было принял за рощу, оказалось темным и круглым бугром. «Да где же это я?» — повторил я опять вслух, остановился в третий раз и вопросительно посмотрел на свою английскую желто-пегую собаку Дианку, решительно умнейшую изо всех четвероногих тварей. Но умнейшая из четвероногих тварей только повиляла хвостиком, уныло моргнула усталыми глазками и не подала мне никакого дельного совета. Мне стало совестно перед ней, и я отчаянно устремился вперед, словно вдруг догадался, куда следовало идти, обогнул бугор и очутился в неглубокой, кругом распаханной лощине. Странное чувство тотчас овладело мной. Лощина эта имела вид почти правильного котла с пологими боками; на дне ее торчало стоймя несколько больших белых камней, — казалось, они сползлись туда для тайного совещания, — и до того в ней было немо и глухо, так плоско, так уныло висело над нею небо, что сердце у меня сжалось. Какой-то зверок слабо и жалобно пискнул между камней. Я поспешил выбраться назад на бугор. До сих пор я всё еще не терял надежды сыскать дорогу домой; но тут я окончательно удостоверился в том, что заблудился совершенно, и, уже нисколько не стараясь узнавать окрестные места, почти совсем потонувшие во мгле, пошел себе прямо, по звездам — наудалую... Около получаса шел я так, с трудом переставляя ноги. Казалось, отроду не бывал я в таких пустых местах: нигде не мерцал огонек, не слышалось никакого звука. Один пологий холм сменялся другим, поля бесконечно тянулись за полями, кусты словно вставали вдруг из земли перед самым моим носом. Я всё шел и уже собирался было прилечь где-нибудь до утра, как вдруг очутился над страшной бездной.Я быстро отдернул занесенную ногу и, сквозь едва прозрачный сумрак ночи, увидел далеко под собою огромную равнину. Широкая река огибала ее уходящим от меня полукругом; стальные отблески воды, изредка и смутно мерцая, обозначали ее теченье. Холм, на котором я находился, спускался вдруг почти отвесным обрывом; его громадные очертания отделялись, чернея, от синеватой воздушной пустоты, и прямо подо мною, в углу, образованном тем обрывом и равниной, возле реки, которая в этом месте стояла неподвижным, темным зеркалом, под самой кручью холма, красным пламенем горели и дымились друг подле дружки два огонька. Вокруг них копошились люди, колебались тени, иногда ярко освещалась передняя половина маленькой кудрявой головы...Я узнал, наконец, куда я зашел. Этот луг славится в наших околотках под названием Бежина луга... Но вернуться домой не было никакой возможности, особенно в ночную пору; ноги подкашивались подо мной от усталости. Я решился подойти к огонькам и в обществе тех людей, которых принял за гуртовщиков, дождаться зари. Я благополучно спустился вниз, но не успел выпустить из рук последнюю ухваченную мною ветку, как вдруг две большие, белые, лохматые собаки со злобным лаем бросились на меня. Детские звонкие голоса раздались вокруг огней; два-три мальчика быстро поднялись с земли. Я откликнулся на их вопросительные крики. Они подбежали ко мне, отозвали тотчас собак, которых особенно поразило появление моей Дианки, и я подошел к ним.Я ошибся, приняв людей, сидевших вокруг тех огней, за гуртовщиков. Это просто были крестьянские ребятишки из соседних деревень, которые стерегли табун. В жаркую летнюю пору лошадей выгоняют у нас на ночь кормиться в поле: днем мухи и оводы не дали бы им покоя. Выгонять перед вечером и пригонять на утренней заре табун — большой праздник для крестьянских мальчиков. Сидя без шапок и в старых полушубках на самых бойких клячонках, мчатся они с веселым гиканьем и криком, болтая руками и ногами, высоко подпрыгивают, звонко хохочут. Легкая пыль желтым столбом поднимается и несется по дороге; далеко разносится дружный топот, лошади бегут, навострив уши; впереди всех, задравши хвост и беспрестанно меняя ногу, скачет какой-нибудь рыжий космач, с репейником в спутанной гриве.Я сказал мальчикам, что заблудился, и подсел к ним. Они спросили меня, откуда я, помолчали, посторонились. Мы немного поговорили. Я прилег под обглоданный кустик и стал глядеть кругом. Картина была чудесная: около огней дрожало и как будто замирало, упираясь в темноту, круглое красноватое отражение; пламя, вспыхивая, изредка забрасывало за черту того круга быстрые отблески; тонкий язык света лизнет голые сучья лозника и разом исчезнет; острые, длинные тени, врываясь на мгновенье, в свою очередь, добегали до самых огоньков: мрак боролся со светом. Иногда, когда пламя горело слабее и кружок света суживался, из надвинувшейся тьмы внезапно выставлялась лошадиная голова, гнедая, с извилистой проточиной, или вся белая, внимательно и тупо смотрела на нас, проворно жуя длинную траву, и, снова опускаясь, тотчас скрывалась. Только слышно было, как она продолжала жевать и отфыркивалась. Из освещенного места трудно разглядеть, что делается в потемках, и потому вблизи всё казалось задернутым почти черной завесой; но далее к небосклону длинными пятнами смутно виднелись холмы и леса. Темное чистое небо торжественно и необъятно высоко стояло над нами со всем своим таинственным великолепием. Сладко стеснялась грудь, вдыхая тот особенный, томительный и свежий запах — запах русской летней ночи. Кругом не слышалось почти никакого шума... Лишь изредка в близкой реке с внезапной звучностью плеснет большая рыба и прибрежный тростник слабо зашумит, едва поколебленный набежавшей волной... Одни огоньки тихонько потрескивали.Мальчики сидели вокруг их; тут же сидели и те две собаки, которым так было захотелось меня съесть. Они еще долго не могли примириться с моим присутствием и, сонливо щурясь и косясь на огонь, изредка рычали с необыкновенным чувством собственного достоинства; сперва рычали, а потом слегка визжали, как бы сожалея о невозможности исполнить свое желание. Всех мальчиков было пять: Федя, Павлуша, Ильюша, Костя и Ваня. (Из их разговоров я узнал их имена и намерен теперь же познакомить с ними читателя.)Первому, старшему изо всех, Феде, вы бы дали лет четырнадцать. Это был стройный мальчик, с красивыми и тонкими, немного мелкими чертами лица, кудрявыми белокурыми волосами, светлыми глазами и постоянной полувеселой, полурассеянной улыбкой. Он принадлежал, по всем приметам, к богатой семье и выехал-то в поле не по нужде, а так, для забавы. На нем была пестрая ситцевая рубаха с желтой каемкой; небольшой новый армячок, надетый внакидку, чуть держался на его узеньких плечиках; на голубеньком поясе висел гребешок. Сапоги его с низкими голенищами были точно его сапоги — не отцовские. У второго мальчика, Павлуши, волосы были всклоченные, черные, глаза серые, скулы широкие, лицо бледное, рябое, рот большой, но правильный, вся голова огромная, как говорится, с пивной котел, тело приземистое, неуклюжее. Малый был неказистый — что и говорить! — а все-таки он мне понравился: глядел он очень умно и прямо, да и в голосе у него звучала сила. Одеждой своей он щеголять не мог: вся она состояла из простой замашной рубахи да из заплатанных портов. Лицо третьего, Ильюши, было довольно незначительно: горбоносое, вытянутое, подслеповатое, оно выражало какую-то тупую, болезненную заботливость; сжатые губы его не шевелились, сдвинутые брови не расходились — он словно всё щурился от огня. Его желтые, почти белые волосы торчали острыми косицами из-под низенькой войлочной шапочки, которую он обеими руками то и дело надвигал себе на уши. На нем были новые лапти и онучи; толстая веревка, три раза перевитая вокруг стана, тщательно стягивала его опрятную черную свитку. И ему и Павлуше на вид было не более двенадцати лет. Четвертый, Костя, мальчик лет десяти, возбуждал мое любопытство своим задумчивым и печальным взором. Всё лицо его было невелико, худо, в веснушках, книзу заострено, как у белки: губы едва было можно различить; но странное впечатление производили его большие, черные, жидким блеском блестевшие глаза: они, казалось, хотели что-то высказать, для чего на языке, — на его языке по крайней мере, — не было слов. Он был маленького роста, сложения тщедушного и одет довольно бедно. Последнего, Ваню, я сперва было и не заметил: он лежал на земле, смирнехонько прикорнув под угловатую рогожу, и только изредка выставлял из-под нее свою русую кудрявую голову. Этому мальчику было всего лет семь.Итак, я лежал под кустиком в стороне и поглядывал на мальчиков. Небольшой котельчик висел над одним из огней; в нем варились «картошки». Павлуша наблюдал за ним и, стоя на коленях, тыкал щепкой в закипавшую воду. Федя лежал, опершись на локоть и раскинув полы своего армяка. Ильюша сидел рядом с Костей и всё так же напряженно щурился. Костя понурил немного голову и глядел куда то вдаль. Ваня не шевелился под своей рогожей. Я притворился спящим. Понемногу мальчики опять разговорились.Сперва они покалякали о том и сем, о завтрашних работах, о лошадях; но вдруг Федя обратился к Ильюше и, как бы возобновляя прерванный разговор, спросил его:— Ну, и что ж ты, так и видел домового?— Нет, я его не видал, да его и видеть нельзя, — отвечал Ильюша сиплым и слабым голосом, звук которого как нельзя более соответствовал выражению его лица, — а слышал... Да и не я один.— А он у вас где водится? — спросил Павлуша.— В старой рольне[1\*](http://ilibrary.ru/text/1204/p.8/index.html" \l "fn1).— А разве вы на фабрику ходите?— Как же, ходим. Мы с братом, с Авдюшкой, в лисовщиках состоим[2\*](http://ilibrary.ru/text/1204/p.8/index.html" \l "fn2).— Вишь ты — фабричные!..— Ну, так как же ты его слышал? — спросил Федя.— А вот как. Пришлось нам с братом Авдюшкой, да с Федором Михеевским, да с Ивашкой Косым, да с другим Ивашкой, что с Красных Холмов, да еще с Ивашкой Сухоруковым, да еще были там другие ребятишки; всех было нас ребяток человек десять — как есть вся смена; но а пришлось нам в рольне заночевать, то есть не то чтобы этак пришлось, а Назаров, надсмотрщик, запретил; говорит: «Что, мол, вам, ребяткам, домой таскаться; завтра работы много, так вы, ребятки, домой не ходите». Вот мы остались и лежим все вместе, и зачал Авдюшка говорить, что́, мол, ребята, ну, как домовой придет?.. И не успел он, Авдей-от, проговорить, как вдруг кто-то над головами у нас и заходил; но а лежали-то мы внизу, а заходил он наверху, у колеса. Слышим мы: ходит, доски под ним так и гнутся, так и трещат; вот прошел он через наши головы; вода вдруг по колесу как зашумит, зашумит; застучит, застучит колесо, завертится; но а за́ставки у дворца-то[3\*](http://ilibrary.ru/text/1204/p.8/index.html" \l "fn3) спущены. Дивимся мы: кто ж это их поднял, что вода пошла; однако колесо повертелось, повертелось да и стало. Пошел тот опять к двери наверху да по лестнице спущаться стал, и этак спущается, словно не торопится; ступеньки под ним так даже и стонут... Ну, подошел тот к нашей двери, подождал, подождал — дверь вдруг вся так и распахнулась. Всполохнулись мы, смотрим — ничего... Вдруг, глядь, у одного чана форма[4\*](http://ilibrary.ru/text/1204/p.8/index.html" \l "fn4) зашевелилась, поднялась, окунулась, походила, походила этак по воздуху, словно кто ею полоскал, да и опять на место. Потом у другого чана крюк снялся с гвоздя да опять на гвоздь; потом будто кто-то к двери пошел да вдруг как закашляет, как заперхает, словно овца какая, да зычно так... Мы все так ворохом и свалились, друг под дружку полезли... Уж как же мы напужались о ту пору!— Вишь как! — промолвил Павел. — Чего ж он раскашлялся?— Не знаю; может, от сырости.Все помолчали.— А что, — спросил Федя, — картошки сварились?Павлуша пощупал их.— Нет, еще сыры... Вишь, плеснула, — прибавил он, повернув лицо в направлении реки, — должно быть, щука... А вон звездочка покатилась.— Нет, я вам что, братцы, расскажу, — заговорил Костя тонким голоском, — послушайте-ка, намеднись что тятя при мне рассказывал.— Ну, слушаем, — с покровительствующим видом сказал Федя.— Вы ведь знаете Гаврилу, слободского плотника?— Ну да; знаем.— А знаете ли, отчего он такой всё невеселый, всё молчит, знаете? Вот отчего он такой невеселый. Пошел он раз, тятенька говорил, — пошел он, братцы мои, в лес по орехи. Вот пошел он в лес по орехи да и заблудился; зашел — бог знает куды зашел. Уж он ходил, ходил, братцы мои, — нет! не может найти дороги; а уж ночь на дворе. Вот и присел он под дерево; давай, мол, дождусь утра, — присел и задремал. Вот задремал и слышит вдруг, кто-то его зовет. Смотрит — никого. Он опять задремал — опять зовут. Он опять глядит, глядит: а перед ним на ветке русалка сидит, качается и его к себе зовет, а сама помирает со́ смеху, смеется... А месяц-то светит сильно, так сильно, явственно светит месяц — всё, братцы мои, видно. Вот зовет она его, и такая вся сама светленькая, беленькая сидят на ветке, словно плотичка какая или пескарь, — а то вот еще карась бывает такой белесоватый, серебряный... Гаврила-то плотник так и обмер, братцы мои, а она знай хохочет да его всё к себе этак рукой зовет. Уж Гаврила было и встал, послушался было русалки, братцы мои, да, знать, господь его надоумил: положил-таки на себя крест... А уж как ему было трудно крест-то класть, братцы мои; говорит, рука просто как каменная, не ворочается... Ах ты этакой, а!.. Вот как положил он крест, братцы мои, русалочка-то и смеяться перестала, да вдруг как заплачет... Плачет она, братцы мои, глаза волосами утирает, а волоса у нее зеленые, что твоя конопля. Вот поглядел, поглядел на нее Гаврила, да и стал ее спрашивать: «Чего ты, лесное зелье, плачешь?» А русалка-то как взговорит ему: «Не креститься бы тебе, говорит, человече, жить бы тебе со мной на веселии до конца дней; а плачу я, убиваюсь оттого, что ты крестился; да не я одна убиваться буду: убивайся же и ты до конца дней». Тут она, братцы мои, пропала, а Гавриле тотчас и понятственно стало, как ему из лесу, то есть, выйти... А только с тех пор вот он всё невеселый ходит.— Эка! — проговорил Федя после недолгого молчанья, — да как же это может этакая лесная нечисть хрестиянскую душу спортить, — он же ее не послушался?— Да вот поди ты! — сказал Костя. — И Гаврила баил, что голосок, мол, у ней такой тоненький, жалобный, как у жабы.— Твой батька сам это рассказывал? — продолжал Федя.— Сам. Я лежал на полатях, всё слышал.— Чудно́е дело! Чего ему быть невеселым?.. А, знать, он ей понравился, что позвала его.— Да, понравился! — подхватил Ильюша. — Как же! Защекотать она его хотела, вот что она хотела. Это ихнее дело, этих русалок-то.— А ведь вот и здесь должны быть русалки, — заметил Федя.— Нет, — отвечал Костя, — здесь место чистое, вольное. Одно — река близко.Все смолкли. Вдруг, где-то в отдалении, раздался протяжный, звенящий, почти стенящий звук, один из тех непонятных ночных звуков, которые возникают иногда среди глубокой тишины, поднимаются, стоят в воздухе и медленно разносятся наконец, как бы замирая. Прислушаешься — и как будто нет ничего, а звенит. Казалось, кто-то долго, долго прокричал под самым небосклоном, кто-то другой как будто отозвался ему в лесу топким, острым хохотом, и слабый, шипящий свист промчался по реке. Мальчики переглянулись, вздрогнули...— С нами крестная сила! — шепнул Илья.— Эх вы, вороны! — крикнул Павел, — чего всполохнулись? Посмотрите-ка, картошки сварились. (Все пододвинулись к котельчику и начали есть дымящийся картофель; один Ваня не шевельнулся.) Что же ты? — сказал Павел.Но он не вылез из-под своей рогожи. Котельчик скоро весь опорожнился.— А слыхали вы, ребятки, — начал Ильюша, — что намеднись у нас на Варнавицах приключилось?— На плотине-то? — спросил Федя.— Да, да, на плотине, на прорванной. Вот уж нечистое место, так нечистое, и глухое такое. Кругом всё такие буераки, овраги, а в оврагах всё казюли[5\*](http://ilibrary.ru/text/1204/p.8/index.html" \l "fn5) водятся.— Ну, что такое случилось? сказывай...— А вот что случилось. Ты, может быть, Федя, не знаешь, а только там у нас утопленник похоронен; а утопился он давным-давно, как пруд еще был глубок; только могилка его еще видна, да и та чуть видна: так — бугорочек... Вот на днях зовет приказчик псаря Ермила; говорит: «Ступай, мол, Ермил, на пошту». Ермил у нас завсегда на пошту ездит; собак-то он всех своих поморил: не живут они у него отчего-то, так-таки никогда и не жили, а псарь он хороший, всем взял. Вот поехал Ермил за поштой, да и замешкался в городе, но а едет назад уж он хмелён. А ночь, и светлая ночь: месяц светит... Вот и едет Ермил через плотину: такая уж его дорога вышла. Едет он этак, псарь Ермил, и видит: у утопленника на могиле барашек, белый такой, кудрявый, хорошенький, похаживает. Вот и думает Ермил: «Сем возьму его, — что ему так пропадать», да и слез, и взял его на руки... Но а барашек — ничего. Вот идет Ермил к лошади, а лошадь от него таращится, храпит, головой трясет; однако он ее отпрукал, сел на нее с барашком и поехал опять: барашка перед собой держит. Смотрит он на него, и барашек ему прямо в глаза так и глядит. Жутко ему стало, Ермилу-то псарю: что, мол, не помню я, чтобы этак бараны кому в глаза смотрели; однако ничего; стал он его этак по шерсти гладить, — говорит: «Бяша, бяша!» А баран-то вдруг как оскалит зубы, да ему тоже: «Бяша, бяша...»Не успел рассказчик произнести это последнее слово, как вдруг обе собаки разом поднялись, с судорожным лаем ринулись прочь от огня и исчезли во мраке. Все мальчики перепугались. Ваня выскочил из-под своей рогожи. Павлуша с криком бросился вслед за собаками. Лай их быстро удалялся... Послышалась беспокойная беготня встревоженного табуна. Павлуша громко кричал: «Серый! Жучка!..» Через несколько мгновений лай замолк; голос Павла принесся уже издалека... Прошло еще немного времени; мальчики с недоумением переглядывались, как бы выжидая, что-то будет... Внезапно раздался топот скачущей лошади; круто остановилась она у самого костра, и, уцепившись за гриву, проворно спрыгнул с нее Павлуша. Обе собаки также вскочили в кружок света и тотчас сели, высунув красные языки.— Что там? что такое? — спросили мальчики.— Ничего, — отвечал Павел, махнув рукой на лошадь, — так, что-то собаки зачуяли. Я думал, волк, — прибавил он равнодушным голосом, проворно дыша всей грудью.Я невольно полюбовался Павлушей. Он был очень хорош в это мгновение. Его некрасивое лицо, оживленное быстрой ездой, горело смелой удалью и твердой решимостью. Без хворостинки в руке, ночью, он, нимало не колеблясь, поскакал один на волка... «Что за славный мальчик!» — думал я, глядя на него.— А видали их, что ли, волков-то? — спросил трусишка Костя.— Их всегда здесь много, — отвечал Павел, — да они беспокойны только зимой.Он опять прикорнул перед огнем. Садясь на землю, уронил он руку на мохнатый затылок одной из собак, и долго не поворачивало головы обрадованное животное, с признательной гордостью посматривая сбоку на Павлушу.Ваня опять забился под рогожку.— А какие ты нам, Илюшка, страхи рассказывал, — заговорил Федя, которому, как сыну богатого крестьянина, приходилось быть запевалой (сам же он говорил мало, как бы боясь уронить свое достоинство). — Да и собак тут нелегкая дернула залаять... А точно, я слышал, это место у вас нечистое.— Варнавицы?.. Еще бы! еще какое нечистое! Там не раз, говорят, старого барина видали — покойного барина. Ходит, говорят, в кафтане долгополом и всё это этак охает, чего-то на земле ищет. Его раз дедушка Трофимыч повстречал: «Что, мол, батюшка, Иван Иваныч, изволишь искать на земле?»— Он его спросил? — перебил изумленный Федя.— Да, спросил.— Ну, молодец же после этого Трофимыч... Ну, и что ж тот?— Разрыв-травы, говорит, ищу. Да так глухо говорит, глухо: — разрыв-травы. — А на что тебе, батюшка Иван Иваныч, разрыв-травы? — Давит, говорит, могила давит, Трофимыч: вон хочется, вон...— Вишь какой! — заметил Федя, — мало, знать, пожил.— Экое диво! — промолвил Костя. — Я думал, покойников можно только в родительскую субботу видеть.— Покойников во всяк час видеть можно, — с уверенностью подхватил Ильюша, который, сколько я мог заметить, лучше других знал все сельские поверья... — Но а в родительскую субботу ты можешь и живого увидать, за кем, то есть, в том году очередь помирать. Стоит только ночью сесть на паперть на церковную да всё на дорогу глядеть. Те и пойдут мимо тебя по дороге, кому, то есть, умирать в том году. Вот у нас в прошлом году баба Ульяна на паперть ходила.— Ну, и видела она кого-нибудь? — с любопытством спросил Костя.— Как же. Перво-на́перво она сидела долго, долго, никого не видала и не слыхала... только всё как будто собачка этак залает, залает где-то... Вдруг, смотрит: идет по дорожке мальчик в одной рубашонке. Она приглянулась — Ивашка Федосеев идет...— Тот, что умер весной? — перебил Федя.— Тот самый. Идет и головушки не подымает... А узнала его Ульяна... Но а потом смотрит: баба идет. Она вглядываться, вглядываться — ах ты, господи! — сама идет по дороге, сама Ульяна.— Неужто сама? — спросил Федя.— Ей-богу, сама.— Ну что ж, ведь она еще не умерла?— Да году-то еще не прошло. А ты посмотри на нее: в чем душа держится.Все опять притихли. Павел бросил горсть сухих сучьев на огонь. Резко зачернелись они на внезапно вспыхнувшем пламени, затрещали, задымились и пошли коробиться, приподнимая обожженные концы. Отражение света ударило, порывисто дрожа, во все стороны, особенно кверху. Вдруг откуда ни возьмись белый голубок, — налетел прямо в это отражение, пугливо повертелся на одном месте, весь обливаясь горячим блеском, и исчез, звеня крылами.— Знать, от дому отбился, — заметил Павел. — Теперь будет лететь, покуда на что наткнется, и где ткнет, там и ночует до зари.— А что, Павлуша, — промолвил Костя, — не праведная ли эта душа летела на небо, ась?Павел бросил другую горсть сучьев на огонь.— Может быть, — проговорил он наконец.— А скажи, пожалуй, Павлуша, — начал Федя, — что, у вас тоже в Шаламове было видать предвиденье-то небесное?[6\*](http://ilibrary.ru/text/1204/p.8/index.html" \l "fn6)— Как солнца-то не стало видно? Как же.— Чай, напугались и вы?— Да не мы одни. Барин-то наш, хоша и толковал нам напредки, что, дескать, будет вам предвиденье, а как затемнело, сам, говорят, так перетрусился, что на-поди. А на дворовой избе баба стряпуха, так та, как только затемнело, слышь, взяла да ухватом все горшки перебила в печи: «Кому теперь есть, говорит, наступило светопрестановление». Так шти и потекли. А у нас на деревне такие, брат, слухи ходили, что, мол, белые волки по земле побегут, людей есть будут, хищная птица полетит, а то и самого Тришку[7\*](http://ilibrary.ru/text/1204/p.8/index.html" \l "fn7) увидят.— Какого это Тришку? — спросил Костя.— А ты не знаешь? — с жаром подхватил Ильюша, — ну, брат, откентелева же ты, что Тришки не знаешь? Сидни же у вас в деревне сидят, вот уж точно сидни! Тришка — эвто будет такой человек удивительный, который придет; а придет он, когда наступят последние времена. И будет он такой удивительный человек, что его и взять нельзя будет, и ничего ему сделать нельзя будет: такой уж будет удивительный человек. Захотят его, например, взять хрестьяне; выйдут на него с дубьем, оцепят его, но а он им глаза отведет — так отведет им глаза, что они же сами друг друга побьют. В острог его посадят, например, — он попросит водицы испить в ковшике: ему принесут ковшик, а он нырнет туда, да и поминай как звали. Цепи на него наденут, а он в ладошки затрепещется — они с него так и попадают. Ну, и будет ходить этот Тришка по селам да по городам; и будет этот Тришка, лукавый человек, соблазнять народ хрестиянский... ну, а сделать ему нельзя будет ничего... Уж такой он будет удивительный, лукавый человек.— Ну да, — продолжал Павел своим неторопливым голосом, — такой. Вот его-то и ждали у нас. Говорили старики, что вот, мол, как только предвиденье небесное зачнется, так Тришка и придет. Вот и зачалось предвиденье. Высыпал весь народ на улицу, в поле, ждет, что будет. А у нас, вы знаете, место видное, привольное. Смотрят — вдруг от слободки с горы идет какой-то человек, такой мудреный, голова такая удивительная... Все как крикнут: «Ой, Тришка идет! ой, Тришка идет!» — да кто куды! Староста наш в канаву залез; старостиха в подворотне застряла, благим матом кричит, свою же дворную собаку так запужала, что та с цепи долой, да через плетень, да в лес; а Кузькин отец, Дорофеич, вскочил в овес, присел, да и давай кричать перепелом: «Авось, мол, хоть птицу-то враг, душегубец, пожалеет». Таково-то все переполошились!.. А человек-то это шел наш бочар, Вавила: жбан себе новый купил да на голову пустой жбан и надел.Все мальчики засмеялись и опять приумолкли на мгновенье, как это часто случается с людьми, разговаривающими на открытом воздухе. Я поглядел кругом: торжественно и царственно стояла ночь; сырую свежесть позднего вечера сменила полуночная сухая теплынь, и еще долго было ей лежать мягким пологом на заснувших полях; еще много времени оставалось до первого лепета, до первых шорохов и шелестов утра, до первых росинок зари. Луны не было на небе: она в ту пору поздно всходила. Бесчисленные золотые звезды, казалось, тихо текли все, наперерыв мерцая, по направлению Млечного Пути, и, право, глядя на них, вы как будто смутно чувствовали сами стремительный, безостановочный бег земли...Странный, резкий, болезненный крик раздался вдруг два раза сряду над рекой и спустя несколько мгновений повторился уже далее...Костя вздрогнул. «Что это?»— Это цапля кричит, — спокойно возразил Павел.— Цапля, — повторил Костя... — А что такое, Павлуша, я вчера слышал вечером, — прибавил он, помолчав немного, — ты, может быть, знаешь...— Что ты слышал?— А вот что я слышал. Шел я из Каменной Гряды в Шашкино; а шел сперва всё нашим орешником, а потом лужком пошел — знаешь, там, где он сугибелью[8\*](http://ilibrary.ru/text/1204/p.8/index.html" \l "fn8) выходит, — там ведь есть бучило[9\*](http://ilibrary.ru/text/1204/p.8/index.html" \l "fn9); знаешь, оно еще всё камышом заросло; вот пошел я мимо этого бучила, братцы мои, и вдруг из того-то бучила как застонет кто-то, да так жалостливо, жалостливо: y-y... y-y... у-у! Страх такой меня взял, братцы мои: время-то позднее, да и голос такой болезный. Так вот, кажется, сам бы и заплакал... Что бы это такое было? ась?— В этом бучиле в запрошлом лете Акима-лесника утопили воры, — заметил Павлуша, — так, может быть, его душа жалобится.— А ведь и то, братцы мои, — возразил Костя, расширив свои и без того огромные глаза... — Я и не знал, что Акима в том бучиле утопили: я бы еще не так напужался.— А то, говорят, есть такие лягушки махонькие, — продолжал Павел, — которые так жалобно кричат.— Лягушки? Ну, нет, это не лягушки... какие это... (Цапля опять прокричала над рекой.) — Эк ее! — невольно произнес Костя, — словно леший кричит.— Леший не кричит, он немой, — подхватил Ильюша, — он только в ладоши хлопает да трещит...— А ты его видал, лешего-то, что ли? — насмешливо перебил его Федя.— Нет, не видал, и сохрани бог его видеть; но а другие видели. Вот на днях он у нас мужичка обошел: водил, водил его по лесу, и всё вокруг одной поляны... Едва-те к свету домой добился.— Ну, и видел он его?— Видел. Говорит, такой стоит большой, большой, темный, скутанный, этак словно за деревом, хорошенько не разберешь, словно от месяца прячется, и глядит, глядит глазищами-то, моргает ими, моргает...— Эх ты! — воскликнул Федя, слегка вздрогнув и передернув плечами, — пфу!..— И зачем эта погань в свете развелась? — заметил Павел. — Не понимаю, право!— Не бранись: смотри, услышит, — заметил Илья.Настало опять молчание.— Гляньте-ка, гляньте-ка, ребятки, — раздался вдруг детский голос Вани, — гляньте на божьи звездочки, — что пчелки роятся!Он выставил свое свежее личико из-под рогожи, оперся на кулачок и медленно поднял кверху свои большие тихие глаза. Глаза всех мальчиков поднялись к небу и не скоро опустились.— А что, Ваня, — ласково заговорил Федя, — что, твоя сестра Анютка здорова?— Здорова, — отвечал Ваня, слегка картавя.— Ты ей скажи — что́ она к нам, отчего не ходит?..— Не знаю.— Ты ей скажи, чтобы она ходила.— Скажу.— Ты ей скажи, что я ей гостинца дам.— А мне дашь?— И тебе дам.Ваня вздохнул.— Ну, нет, мне не надо. Дай уж лучше ей: она такая у нас добренькая.И Ваня опять положил свою голову на землю. Павел встал и взял в руку пустой котельчик.— Куда ты? — спросил его Федя.— К реке, водицы зачерпнуть: водицы захотелось испить.Собаки поднялись и пошли за ним.— Смотри, не упади в реку! — крикнул ему вслед Ильюша.— Отчего ему упасть? — сказал Федя, — он остережется.— Да, остережется. Всяко бывает: он вот нагнется, станет черпать воду, а водяной его за руку схватит да потащит к себе. Станут потом говорить: упал, дескать, малый в воду... А какое упал?.. Во-вон, в камыши полез, — прибавил он, прислушиваясь.Камыши точно, раздвигаясь, «шуршали», как говорится у нас.— А правда ли, — спросил Костя, — что Акулина-дурочка с тех пор и рехнулась, как в воде побывала?— С тех пор... Какова теперь! Но а говорят, прежде красавица была. Водяной ее испортил. Знать, не ожидал что ее скоро вытащут. Вот он ее, там у себя на дне, и испортил.(Я сам не раз встречал эту Акулину. Покрытая лохмотьями, страшно худая, с черным, как уголь, лицом, помутившимся взором и вечно оскаленными зубами, топчется она по целым часам на одном месте, где-нибудь на дороге, крепко прижав костлявые руки к груди и медленно переваливаясь с ноги на ногу, словно дикий зверь в клетке. Она ничего не понимает, что бы ей ни говорили, и только изредка судорожно хохочет.)— А говорят, — продолжал Костя, — Акулина оттого в реку и кинулась, что ее полюбовник обманул.— От того самого.— А помнишь Васю? — печально прибавил Костя.— Какого Васю? — спросил Федя.— А вот того, что утонул, — отвечал Костя, — в этой вот в самой реке. Уж какой же мальчик был! и-их, какой мальчик был! Мать-то его, Феклиста, уж как же она его любила, Васю-то! И словно чуяла она, Феклиста-то, что ему от воды погибель произойдет. Бывало, пойдет-от Вася с нами, с ребятками, летом в речку купаться, — она так вся и встрепещется. Другие бабы ничего, идут себе мимо с корытами, переваливаются, а Феклиста поставит корыто наземь и станет его кликать: «Вернись, мол, вернись, мой светик! ох, вернись, соколик!» И как утонул, господь знает. Играл на бережку, и мать тут же была, сено сгребала; вдруг слышит, словно кто пузыри по воде пускает, — глядь, а только уж одна Васина шапонька по воде плывет. Ведь вот с тех пор и Феклиста не в своем уме: придет да и ляжет на том месте, где он утоп; ляжет, братцы мои, да и затянет песенку, — помните, Вася-то всё такую песенку певал, — вот ее-то она и затянет, а сама плачет, плачет, горько богу жалится...— А вот Павлуша идет, — молвил Федя.Павел подошел к огню с полным котельчиком в руке.— Что, ребята, — начал он, помолчав, — неладно дело.— А что? — торопливо спросил Костя.— Я Васин голос слышал.Все так и вздрогнули.— Что ты, что ты? — пролепетал Костя.— Ей-богу. Только стал я к воде нагибаться, слышу вдруг зовут меня этак Васиным голоском и словно из-под воды: «Павлуша, а Павлуша!» Я слушаю; а тот опять зовет: «Павлуша, подь сюда». Я отошел. Однако воды зачерпнул.— Ах ты, господи! ах ты, господи! — проговорили мальчики, крестясь.— Ведь это тебя водяной звал, Павел, — прибавил Федя... — А мы только что о нем, о Васе-то, говорили.— Ах, это примета дурная, — с расстановкой проговорил Ильюша.— Ну, ничего, пущай! — произнес Павел решительно и сел опять, — своей судьбы не минуешь.Мальчики приутихли. Видно было, что слова Павла произвели на них глубокое впечатление. Они стали укладываться перед огнем, как бы собираясь спать.— Что это? — спросил вдруг Костя, приподняв голову.Павел прислушался.— Это кулички летят, посвистывают.— Куда ж они летят?— А туда, где, говорят, зимы не бывает.— А разве есть такая земля?— Есть.— Далеко?— Далеко, далеко, за теплыми морями.Костя вздохнул и закрыл глаза.Уже более трех часов протекло с тех пор, как я присоседился к мальчикам. Месяц взошел наконец; я его не тотчас заметил: так он был мал и узок. Эта безлунная ночь, казалось, была всё так же великолепна, как и прежде... Но уже склонились к темному краю земли многие звезды, еще недавно высоко стоявшие на небе; всё совершенно затихло кругом, как обыкновенно затихает всё только к утру: всё спало крепким, неподвижным, передрассветным сном. В воздухе уже не так сильно пахло, — в нем снова как будто разливалась сырость... Недолги летние ночи!.. Разговор мальчиков угасал вместе с огнями... Собаки даже дремали; лошади, сколько я мог различить, при чуть брезжущем, слабо льющемся свете звезд, тоже лежали, понурив головы... Сладкое забытье напало на меня; оно перешло в дремоту.Свежая струя пробежала по моему лицу. Я открыл глаза: утро зачиналось. Еще нигде не румянилась заря, но уже забелелось на востоке. Всё стало видно, хотя смутно видно, кругом. Бледно-серое небо светлело, холодело, синело; звезды то мигали слабым светом, то исчезали; отсырела земля, запотели листья, кое-где стали раздаваться живые звуки, голоса́, и жидкий, ранний ветерок уже пошел бродить и порхать над землею. Тело мое ответило ему легкой, веселой дрожью. Я проворно встал и подошел к мальчикам. Они все спали как убитые вокруг тлеющего костра; один Павел приподнялся до половины и пристально поглядел на меня.Я кивнул ему головой и пошел восвояси вдоль задымившейся реки. Не успел я отойти двух верст, как уже полились кругом меня по широкому мокрому лугу, и спереди по зазеленевшимся холмам, от лесу до лесу, и сзади по длинной пыльной дороге, по сверкающим, обагренным кустам, и по реке, стыдливо синевшей из-под редеющего тумана, — полились сперва алые, потом красные, золотые потоки молодого, горячего света... Всё зашевелилось, проснулось, запело, зашумело, заговорило. Всюду лучистыми алмазами зарделись крупные капли росы; мне навстречу, чистые и ясные, словно тоже обмытые утренней прохладой, принеслись звуки колокола, и вдруг мимо меня, погоняемый знакомыми мальчиками, промчался отдохнувший табун...Я, к сожалению, должен прибавить, что в том же году Павла не стало. Он не утонул: он убился, упав с лошади. Жаль, славный был парень!

Николай Лесков.

# ЧЕЛОВЕК НА ЧАСАХ (1839 г.)

## ГЛАВА ПЕРВАЯ

Событие, рассказ о котором ниже сего предлагается вниманию читателей, трогательно и ужасно по своему значению для главного героического лица пьесы, а развязка дела так оригинальна, что подобное ей даже едва ли возможно где-нибудь, кроме России.

Это составляет отчасти придворный, отчасти исторический анекдот, недурно характеризующий нравы и направление очень любопытной, но крайне бедно отмеченной эпохи тридцатых годов совершающегося девятнадцатого столетия.

Вымысла в наступающем рассказе нет нисколько.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

Зимою, около Крещения, в 1839 году в Петербурге была сильная оттепель. Так размокропогодило, что совсем как будто весне быть; снег таял, с крыш падали днем капели, а лед на реках посинел и взялся водой. На Неве перед самым Зимним дворцом стояли глубокие полыньи. Ветер дул теплый, западный, но очень сильный; со взморья нагоняло воду, и стреляли пушки.

Караул во дворце занимала рота Измайловского полка, которою командовал блестяще образованный и

154

очень хорошо поставленный в обществе молодой офицер, [Николай Иванович Миллер](http://rvb.ru/leskov/02comm/060.htm" \l "c1) (впоследствии полный генерал и директор лицея). Это был человек с так называемым «гуманным» направлением, которое за ним было давно замечено и немножко вредило ему по службе во внимании высшего начальства.

На самом же деле Миллер был офицер исправный и надежный, а дворцовый караул в тогдашнее время и не представлял ничего опасного. Пора была самая тихая и безмятежная. От дворцового караула не требовалось ничего, кроме точного стояния на постах, а между тем как раз тут, на караульной очереди капитана Миллера при дворце, произошел весьма чрезвычайный и тревожный случай, о котором теперь едва вспоминают немногие из доживающих свой век тогдашних современников.

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Сначала в карауле все шло хорошо: посты распределены, люди расставлены, и все обстояло в совершенном порядке. Государь Николай Павлович был здоров, ездил вечером кататься, возвратился домой и лег в постель. Уснул и дворец. Наступила самая спокойная ночь. В [кордегардии](http://rvb.ru/leskov/02comm/060.htm" \l "c2) тишина. Капитан Миллер приколол булавками свой белый носовой платок к высокой и всегда традиционно засаленной сафьянной спинке офицерского кресла и сел коротать время за книгой.

Н. И. Миллер всегда был страстный читатель, и потому он не скучал, а читал и не замечал, как уплывала ночь; но вдруг, в исходе второго часа ночи, его встревожило ужасное беспокойство: пред ним является разводный унтер-офицер и, весь бледный, объятый страхом, лепечет скороговоркой:

— Беда, ваше благородие, беда!

— Что такое?!

— Страшное несчастие постигло!

Н. И. Миллер вскочил в неописанной тревоге и едва мог толком дознаться, в чем именно заключались «беда» и «страшное несчастие».

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Дело заключалось в следующем: часовой, солдат Измайловского полка, по фамилии Постников, стоя на часах снаружи у нынешнего Иорданского подъезда, услыхал, что в полынье, которою против этого места покрылась Нева, заливается человек и отчаянно молит о помощи.

Солдат Постников, из дворовых господских людей, был человек очень нервный и очень чувствительный. Он долго слушал отдаленные крики и стоны утопающего и приходил от них в оцепенение. В ужасе он оглядывался туда и сюда на все видимое ему пространство набережной и ни здесь, ни на Неве, как назло, не усматривал ни одной живой души.

Подать помощь утопающему никто не может, и он непременно зальется...

А между тем тонущий ужасно долго и упорно борется.

Уж одно бы ему, кажется, — не тратя сил, спускаться на дно, так ведь нет! Его изнеможденные стоны и призывные крики то оборвутся и замолкнут, то опять начинают раздаваться, и притом все ближе и ближе к дворцовой набережной. Видно, что человек еще не потерялся и держит путь верно, прямо на свет фонарей, но только он, разумеется, все-таки не спасется, потому что именно тут на этом пути он попадет в иорданскую прорубь. Там ему нырок под лед и конец... Вот и опять стих, а через минуту снова полощется и стонет: «Спасите, спасите!» И теперь уже так близко, что даже слышны всплески воды, как он полощется...

Солдат Постников стал соображать, что спасти этого человека чрезвычайно легко. Если теперь сбежать на лед, то тонущий непременно тут же и есть. Бросить ему веревку, или протянуть шестик, или подать ружье, и он спасен. Он так близко, что может схватиться рукою и выскочить. Но Постников помнит и службу и присягу; он знает, что он часовой, а часовой ни за что и ни под каким предлогом не смеет покинуть своей будки.

С другой же стороны, сердце у Постникова очень непокорное; так и ноет, так и стучит, так и замирает...

Хоть вырви его да сам себе под ноги брось, — так беспокойно с ним делается от этих стонов и воплей... Страшно ведь слышать, как другой человек погибает, и не подать этому погибающему помощи, когда, собственно говоря, к тому есть полная возможность, потому что будка с места не убежит и ничто иное вредное не случится. «Иль сбежать, а?.. Не увидят?.. Ах, господи, один бы конец! Опять стонет...»

За один получас, пока это длилось, солдат Постников совсем истерзался сердцем и стал ощущать «сомнения рассудка». А солдат он был умный и исправный, с рассудком ясным, и отлично понимал, что оставить свой пост есть такая вина со стороны часового, за которою сейчас же последует военный суд, а потом гонка сквозь строй шпицрутенами и каторжная работа, а может быть даже и «расстрел»; но со стороны вздувшейся реки опять наплывают все ближе и ближе стоны, и уже слышно бурканье и отчаянное барахтанье.

— Т-о-о-ну!.. Спасите, тону!

Тут вот сейчас и есть иорданская прорубь... Конец!

Постников еще раз-два оглянулся во все стороны. Нигде ни души нет, только фонари трясутся от ветра и мерцают, да по ветру, прерываясь, долетает этот крик... может быть, последний крик...

Вот еще всплеск, еще однозвучный вопль, и в воде забулькотало.

Часовой не выдержал и покинул свой пост.

## ГЛАВА ПЯТАЯ

Постников бросился к сходням, сбежал с сильно бьющимся сердцем на лед, потом в наплывшую воду полыньи и, скоро рассмотрев, где бьется заливающийся утопленник, протянул ему ложу своего ружья.

Утопавший схватился за приклад, а Постников потянул его за штык и вытащил на берег.

Спасенный и спаситель были совершенно мокры, и как из них спасенный был в сильной усталости и дрожал и падал, то спаситель его, солдат Постников, не

решился его бросить на льду, а вывел его на набережную и стал осматриваться, кому бы его передать. А меж тем, пока все это делалось, на набережной показались сани, в которых сидел офицер существовавшей тогда придворной инвалидной команды (впоследствии упраздненной).

Этот столь не вовремя для Постникова подоспевший господин был, надо полагать, человек очень легкомысленного характера, и притом немножко бестолковый, и изрядный наглец. Он соскочил с саней и начал спрашивать:

— Что за человек... что за люди?

— Тонул, заливался, — начал было Постников.

— Как тонул? Кто, ты тонул? Зачем в таком месте?

А тот только отпырхивается, а Постникова уже нет: он взял ружье на плечо и опять стал в будку.

Смекнул или нет офицер, в чем дело, но он больше не стал исследовать, а тотчас же подхватил к себе в сани спасенного человека и покатил с ним на Морскую в съезжий дом Адмиралтейской части.

Тут офицер сделал приставу заявление, что привезенный им мокрый человек тонул в полынье против дворца и спасен им, господином офицером, с опасностью для его собственной жизни.

Тот, которого спасли, был и теперь весь мокрый, иззябший и изнемогший. От испуга и от страшных усилий он впал в беспамятство, и для него было безразлично, кто спасал его.

Около него хлопотал заспанный полицейский фельдшер, а в канцелярии писали протокол по словесному заявлению инвалидного офицера и, с свойственною полицейским людям подозрительностью, недоумевали, как он сам весь сух из воды вышел? А офицер, который имел желание получить себе установленную медаль «за спасение погибавших», объяснял это счастливым стечением обстоятельств, но объяснял нескладно и невероятно. Пошли будить пристава, послали наводить справки.

А между тем во дворце по этому делу образовались уже другие, быстрые течения.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

В дворцовой караульне все сейчас упомянутые обороты после принятия офицером спасенного утопленника в свои сани были неизвестны. Там измайловский офицер и солдаты знали только то, что их солдат, Постников, оставив будку, кинулся спасать человека, и как это есть большое нарушение воинских обязанностей, то рядовой Постников теперь непременно пойдет под суд и под палки, а всем начальствующим лицам, начиная от ротного до командира полка, достанутся страшные неприятности, против которых ничего нельзя ни возражать, ни оправдываться.

Мокрый и дрожащий солдат Постников, разумеется, сейчас же был сменен с поста и, будучи приведен в кордегардию, чистосердечно рассказал Н. И. Миллеру все, что нам известно, и со всеми подробностями, доходившими до того, как инвалидный офицер посадил к себе спасенного утопленника и велел своему кучеру скакать в Адмиралтейскую часть.

Опасность становилась все больше и неизбежнее. Разумеется, инвалидный офицер все расскажет приставу, а пристав тотчас же доведет об этом до сведения обер-полицеймейстера [Кокошкина](http://rvb.ru/leskov/02comm/060.htm" \l "c3), а тот доложит утром государю, и пойдет «горячка».

Долго рассуждать было некогда, надо было призывать к делу старших.

Николай Иванович Миллер тотчас же послал тревожную записку своему батальонному командиру подполковнику [Свиньину](http://rvb.ru/leskov/02comm/060.htm" \l "c4), в которой просил его как можно скорее приехать в дворцовую караульню и всеми мерами пособить совершившейся страшной беде.

Это было уже около трех часов, а Кокошкин являлся с докладом к государю довольно рано утром, так что на все думы и на все действия оставалось очень мало времени.

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Подполковник Свиньин не имел той жалостливости и того мягкосердечия, которые всегда отличали Николая Ивановича Миллера; Свиньин был человек не

бессердечный, но прежде всего и больше всего «службист» (тип, о котором нынче опять вспоминают с сожалением). Свиньин отличался строгостью и даже любил щеголять требовательностью дисциплины. Он не имел вкуса ко злу и никому не искал причинить напрасное страдание; но если человек нарушал какую бы то ни было обязанность службы, то Свиньин был неумолим. Он считал неуместным входить в обсуждение побуждений, какие руководили в данном случае движением виновного, а держался того правила, что на службе всякая вина виновата. А потому в караульной роте все знали, что придется претерпеть рядовому Постникову за оставление своего поста, то он и оттерпит, и Свиньин об этом скорбеть не станет.

Таким этот штаб-офицер был известен начальству и товарищам, между которыми были люди не симпатизировавшие Свиньину, потому что тогда еще не совсем вывелся «гуманизм» и другие ему подобные заблуждения. Свиньин был равнодушен к тому, порицают или хвалят его «гуманисты». Просить и умолять Свиньина или, даже пытаться его разжалобить — было дело совершенно бесполезное. От всего этого он был закален крепким закалом карьерных людей того времени, но и у него, [как у Ахиллеса, было слабое место](http://rvb.ru/leskov/02comm/060.htm" \l "c5).

Свиньин тоже имел хорошо начатую служебную карьеру, которую он, конечно, тщательно оберегал и дорожил тем, чтобы на нее, как на парадный мундир, ни одна пылинка не села; а между тем несчастная выходка человека из вверенного ему батальона непременно должна была бросить дурную тень на дисциплину всей его части. Виноват или не виноват батальонный командир в том, что один из его солдат сделал под влиянием увлечения благороднейшим состраданием,— этого не станут разбирать те, от кого зависит хорошо начатая и тщательно поддерживаемая служебная карьера Свиньина, а многие даже охотно подкатят ему бревно под ноги, чтобы дать путь своему ближнему или подвинуть молодца, протежируемого людьми в случае. Государь, конечно, рассердится и непременно скажет полковому командиру, что у него «слабые офицеры», что у них «люди распущены». А кто это

наделал? — Свиньин. Вот так это и пойдет повторяться, что «Свиньин слаб», и так, может, покор слабостью и останется несмываемым пятном на его, Свиньина, репутации. Не быть ему тогда ничем достопримечательным в ряду современников и не оставить своего портрета в галерее исторических лиц государства Российского.

Изучением истории тогда хотя мало занимались, но, однако, в нее верили, и особенно охотно сами стремились участвовать в ее сочинении.

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Как только Свиньин получил около трех часов ночи тревожную записку от капитана Миллера, он тотчас же вскочил с постели, оделся по форме и, под влиянием страха и гнева, прибыл в караульню Зимнего дворца. Здесь он немедленно же произвел допрос рядовому Постникову и убедился, что невероятный случай совершился. Рядовой Постников опять вполне чистосердечно подтвердил своему батальонному командиру все то же самое, что произошло на его часах и что он, Постников, уже раньше показал своему ротному капитану Миллеру. Солдат, говорил, что он «богу и государю виноват без милосердия», что он стоял на часах и, заслышав стоны человека, тонувшего в полынье, долго мучился, долго был в борьбе между служебным долгом и состраданием, и, наконец, на него напало искушение, и он не выдержал этой борьбы: покинул будку, соскочил на лед и вытащил тонувшего на берег, а здесь, как на грех, попался проезжавшему офицеру дворцовой инвалидной команды.

Подполковник Свиньин был в отчаянии; он дал себе единственное возможное удовлетворение, сорвав свей гнев на Постникове, которого тотчас же прямо отсюда послал под арест в казарменный карцер, а потом сказал несколько колкостей Миллеру, попрекнув его «гуманерией», которая ни на что не пригодна в военной службе; но все это было недостаточно для того, чтобы поправить дело. Подыскать если не оправдание, то хотя извинение такому поступку, как оставление

часовым своего поста, было невозможно, и оставался один исход — скрыть все дело от государя...

Но есть ли возможность скрыть такое происшествие?

По-видимому, это представлялось невозможным, так как о спасении погибавшего знали не только все караульные, но знал и тот ненавистный инвалидный офицер, который до сих пор, конечно, успел довести обо всем этом до ведома генерала Кокошкина.

Куда теперь скакать? К кому бросаться? У кого искать помощи и защиты?

Свиньин хотел [скакать к великому князю Михаилу Павловичу](http://rvb.ru/leskov/02comm/060.htm" \l "c6) и рассказать ему все чистосердечно. Такие маневры тогда были в ходу. Пусть великий князь, по своему пылкому характеру, рассердится и накричит, но его нрав и обычай были таковы, что чем он сильнее окажет на первый раз резкости и даже тяжко обидит, тем он потом скорее смилуется и сам же заступится. Подобных случаев бывало немало, и их иногда нарочно искали. «Брань на вороту не висла», и Свиньин очень хотел бы свести дело к этому благоприятному положению, но разве можно ночью доступить во дворец и тревожить великого князя? А дожидаться утра и явиться к Михаилу Павловичу после того, когда Кокошкин побывает с докладом у государя, будет уже поздно. И пока Свиньин волновался среди таких затруднений, он обмяк, и ум его начал прозревать еще один выход, до сей поры скрывавшийся в тумане.

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

В ряду известных военных приемов есть один такой, чтобы в минуту наивысшей опасности, угрожающей со стен осаждаемой крепости, не удаляться от нее, а прямо идти под ее стенами. Свиньин решился не делать ничего того, что ему приходило в голову сначала, а немедленно ехать прямо к Кокошкину.

Об обер-полицеймейстере Кокошкине в Петербурге говорили тогда много ужасающего и нелепого, но, между прочим, утверждали, что он обладает

удивительным многосторонним тактом и при содействии этого такта не только «умеет сделать из мухи слона, но так же легко умеет сделать из слона муху».

Кокошкин в самом деле был очень суров и очень грозен и внушал всем большой страх к себе, но он иногда мирволил шалунам и добрым весельчакам из военных, а таких шалунов тогда было много, и им не раз случалось находить себе в его лице могущественного и усердного защитника. Вообще он много мог и много умел сделать, если только захочет. Таким его знали и Свиньин и капитан Миллер. Миллер тоже укрепил своего батальонного командира отважиться на то, чтобы ехать немедленно к Кокошкину и довериться его великодушию и его «многостороннему такту», который, вероятно, продиктует генералу, как вывернуться из этого досадного случая, чтобы не ввести в гнев государя, чего Кокошкин, к чести его, всегда избегал с большим старанием.

Свиньин надел шинель, устремил глаза вверх и, воскликнув несколько раз: «Господи, господи!» — поехал к Кокошкину.

Это был уже в начале пятый час утра.

## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Обер-полицеймейстера Кркошкина разбудили и доложили ему о Свиньине, приехавшем по важному и не терпящему отлагательств делу.

Генерал немедленно встал и вышел к Свиньину в архалучке, потирая лоб, зевая и ежась. Все, что рассказывал Свиньин, Кокошкин выслушивал с большим вниманием, но спокойно. Он во все время этих объяснений и просьб о снисхождении произнес только одно:

— Солдат бросил будку и спас человека?

— Точно так, — отвечал Свиньин.

— А будка?

— Оставалась в это время пустою.

— Гм... Я это знал, что она оставалась пустою. Очень рад, что ее не украли.

Свиньин из этого еще более уверился, что ему уже все известно и что он, конечно, уже решил себе, в каком виде он представит об этом при утреннем докладе государю, и решения этого изменять не станет. Иначе такое событие, как оставление часовым своего поста в дворцовом карауле, без сомнения должно было бы гораздо сильнее встревожить энергического обер-полицеймейстера.

Но Кокошкин не знал ничего. Пристав, к которому явился инвалидный офицер со спасенным утопленником, не видал в этом деле никакой особенной важности. В его глазах это вовсе даже не было таким делом, чтобы ночью тревожить усталого обер-полицеймейстера, да и притом самое событие представлялось приставу довольно подозрительным, потому что инвалидный офицер был совсем сух, чего никак не могло быть, если он спасал утопленника с опасностью для собственной жизни. Пристав видел в этом офицере только честолюбца и лгуна, желающего иметь одну новую медаль на грудь, и потому, пока его дежурный писал протокол, пристав придерживал у себя офицера и старался выпытать у него истину через расспрос мелких подробностей.

Приставу тоже не было приятно, что такое происшествие случилось в его части и что утопавшего вытащил не полицейский, а дворцовый офицер.

Спокойствие же Кокошкина объяснялось просто, во-первых, страшною усталостью, которую он в это время испытывал после целодневной суеты и ночного участия при тушении двух пожаров, а во-вторых, тем, что дело, сделанное часовым Постниковым, его, г-на обер-полицеймейстера, прямо не касалось.

Впрочем, Кокошкин тотчас же сделал соответственное распоряжение.

Он послал за приставом Адмиралтейской части и приказал ему немедленно явиться вместе с инвалидным офицером и со спасенным утопленником, а Свиньина просил подождать в маленькой приемной перед кабинетом. Затем Кокошкин удалился в кабинет и, не затворяя за собою дверей, сел за стол и начал было подписывать бумаги; но сейчас же склонил голову на руки и заснул за столом в кресле.

## ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Тогда еще не было ни городских телеграфов, ни телефонов, а для спешной передачи приказаний начальства скакали по всем направлениям [«сорок тысяч курьеров»](http://rvb.ru/leskov/02comm/060.htm" \l "c7), о которых сохранится долговечное воспоминание в комедии Гоголя.

Это, разумеется, не было так скоро, как телеграф или телефон, но зато сообщало городу значительное оживление и свидетельствовало о неусыпном бдении начальства.

Пока из Адмиралтейской части явились запыхавшийся пристав и офицер-спаситель, а также и спасенный утопленник, нервный и энергический генерал Кокошкин вздремнул и освежился. Это было заметно в выражении его лица и в проявлении его душевных способностей.

Кокошкин потребовал всех явившихся в кабинет и вместе с ними пригласил и Свиньина.

— Протокол? — односложно спросил освеженным голосом у пристава Кокошкин.

Тот молча подал ему сложенный лист бумаги и тихо прошептал:

— Должен просить дозволить мне доложить вашему превосходительству несколько слов по секрету...

— Хорошо.

Кокошкин отошел в амбразуру окна, а за ним пристав.

— Что такое?

Послышался неясный шепот пристава и ясные покрякиванья генерала...

— Гм... Да!.. Ну что ж такое?.. Это могло быть... Они на том стоят, чтобы сухими выскакивать... Ничего больше?

— Ничего-с.

Генерал вышел из амбразуры, присел к столу и начал читать. Он читал протокол про себя, не обнаруживая ни страха, ни сомнений, и затем непосредственно обратился с громким и твердым вопросом к спасенному:

— Как ты, братец, попал в полынью против дворца?

— Виноват, — отвечал спасенный.

— То-то! Был пьян?

— Виноват, пьян не был, а был выпимши.

— Зачем в воду попал?

— Хотел перейти поближе через лед, сбился и попал в воду.

— Значит, в глазах было темно?

— Темно, кругом темно было, ваше превосходительство!

— И ты не мог рассмотреть, кто тебя вытащил?

— Виноват, ничего не рассмотрел. Вот они, кажется.— Он указал на офицера и добавил: — Я не мог рассмотреть, был испужамшись.

— То-то и есть, шляетесь, когда надо спать! Всмотрись же теперь и помни навсегда, кто твой благодетель. Благородный человек жертвовал за тебя своею жизнью!

— Век буду помнить.

— Имя ваше, господин офицер?

Офицер назвал себя по имени.

— Слышишь?

— Слушаю, ваше превосходительство.

— Ты православный?

— Православный, ваше превосходительство.

— В поминанье за здравие это имя запиши.

— Запишу, ваше превосходительство.

— Молись богу за него и ступай вон; ты больше не нужен.

Тот поклонился в ноги и выкатился, без меры довольный тем, что его отпустили.

Свиньин стоял и недоумевал, как это такой оборот все принимает милостию божиею!

## ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Кокошкин обратился к инвалидному офицеру:

— Вы спасли этого человека, рискуя собственною жизнью?

— Точно так, ваше превосходительство.

— Свидетелей этого происшествия не было, да по позднему времени и не могло быть?

— Да, ваше превосходительство, было темно, и на набережной никого не было, кроме часовых.

— О часовых незачем поминать: часовой охраняет свой пост и не должен отвлекаться ничем посторонним. Я верю тому, что написано в протоколе. Ведь это с ваших слов?

Слова эти Кокошкин произнес с особенным ударением, точно как будто пригрозил или прикрикнул.

Но офицер не сробел, а, вылупив глаза и выпучив грудь, ответил:

— С моих слов и совершенно верно, ваше превосходительство.

— Ваш поступок достоин награды.

Тот начал благодарно кланяться.

— Не за что благодарить, — продолжал Кокошкин. — Я доложу о вашем самоотверженном поступке государю императору, и грудь ваша, может быть, сегодня же будет украшена медалью. А теперь можете идти домой, напейтесь теплого и никуда не выходите, потому что, может быть, вы понадобитесь.

Инвалидный офицер совсем засиял, откланялся и вышел.

Кокошкин поглядел ему вслед и проговорил:

— Возможная вещь, что государь пожелает сам его видеть.

— Слушаю-с, — отвечал понятливо пристав.

— Вы мне больше не нужны.

Пристав вышел и, затворив за собою дверь, тотчас, по набожной привычке, перекрестился.

Инвалидный офицер ожидал пристава внизу, и они отправились вместе в гораздо более теплых отношениях, чем когда сюда вступали.

В кабинете у обер-полицеймейстера остался один Свиньин, на которого Кокошкин сначала посмотрел долгим, пристальным взглядом и потом спросил;

— Вы не были у великого князя?

В то время, когда упоминали о великом князе, то все знали, что это относится к великому князю Михаилу Павловичу.

— Я прямо явился к вам, — отвечал Свиньин.

— Кто караульный офицер?

— Капитан Миллер.

Кокошкин опять окинул Свиньина взглядом и потом сказал:

— Вы мне, кажется, что-то прежде иначе говорили.

Свиньин даже не понял, к чему это относится и промолчал, а Кокошкин добавил:

— Ну все равно, спокойно почивайте.

Аудиенция кончилась.

## ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

В час пополудни инвалидный офицер действительно был опять потребован к Кокошкину, который очень ласково объявил ему, что государь весьма доволен, что среди офицеров инвалидной команды его дворца есть такие бдительные и самоотверженные люди, и жалует ему медаль «за спасение погибавших». При сем Кокошкин собственноручно вручил герою медаль, и тот пошел щеголять ею. Дело, стало быть, можно было считать совсем сделанным, но подполковник Свиньин чувствовал в нем какую-то незаконченность и почитал себя призванным поставить point sur les *i.*

Он был так встревожен, что три дня проболел, а на четвертый встал, съездил в Петровский домик, отслужил благодарственный молебен перед иконою спасителя и, возвратясь домой с успокоенною душой, послал попросить к себе капитана Миллера.

— Ну, слава богу, Николай Иванович, — сказал он Миллеру,— теперь гроза, над нами тяготевшая, совсем прошла, и наше несчастное дело с часовым совершенно уладилось. Теперь, кажется, мы можем вздохнуть спокойно. Всем этим мы, без сомнения, обязаны сначала милосердию божию, а потом генералу Кокошкину. Пусть о нем говорят, что он и недобрый и бессердечный, но я исполнен благодарности к его великодушию и почтения к его находчивости и такту. Он удивительно мастерски воспользовался хвастовством этого инвалидного пройдохи, которого, по правде, стоило бы за его наглость не медалью награждать, а на обе корки выдрать на конюшне, но ничего иного не оставалось: им нужно было воспользоваться для спасения многих, и

Кокошкин повернул все дело так умно, что никому не вышло ни малейшей неприятности, — напротив, все очень рады и довольны. Между нами сказать, мне передано через достоверное лицо, что и сам Кокошкин мною *очень доволен*. Ему было приятно, что я не поехал никуда, а прямо явился к нему и не спорил с этим проходимцем, который получил медаль. Словом, никто не пострадал, и все сделано с таким тактом, что и вперед опасаться нечего, но маленький недочет есть за нами. Мы тоже должны с тактом последовать примеру Кокошкина и закончить дело с своей стороны так, чтоб оградить себя на всякий случай впоследствии. Есть еще одно лицо, которого положение не оформлено. Я говорю про рядового Постникова. Он до сих пор в карцере под арестом, и его, без сомнения, томит ожидание, что с ним будет. Надо прекратить и его мучительное томление.

— Да, пора!— подсказал обрадованный Миллер.

— Ну, конечно, и вам это всех лучше исполнить: отправьтесь, пожалуйста, сейчас же в казармы, соберите вашу роту, выведите рядового Постникова из-под ареста и накажите его перед строем двумя стами розог.

## ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Миллер изумился и сделал попытку склонить Свиньина к тому, чтобы на общей радости совсем пощадить и простить рядового Постникова, который и без того уже много перестрадал, ожидая в карцере решения того, что ему будет; но Свиньин вспыхнул и даже не дал Миллеру продолжать.

— Нет, — перебил он, — это оставьте: я вам только что говорил о такте, а вы сейчас же начинаете бестактность! Оставьте это!

Свиньин переменил тон на более сухой и официальный и добавил с твердостью:

— А как в этом деле вы сами тоже не совсем правы и даже очень виноваты, потому что у вас есть не идущая военному человеку мягкость, и этот недостаток вашего характера отражается на субординации в ваших

подчиненных, то я приказываю вам лично присутствовать при экзекуции и настоять, чтобы сечение было произведено серьезно... как можно строже. Для этого извольте распорядиться, чтобы розгами секли молодые солдаты из новоприбывших из армии, потому что наши старики все заражены на этот счет гвардейским либерализмом: они товарища не секут как должно, а только блох у него за спиною пугают. Я заеду сам и сам посмотрю, как виноватый будет сделан.

Уклонения от каких бы то ни было служебных приказаний начальствующего лица, конечно, не имели места, и мягкосердечный Н. И. Миллер должен был в точности исполнить приказ, полученный им от своего батальонного командира.

Рота была выстроена на дворе измайловских казарм, розги принесены из запаса в довольном количестве, и выведенный из карцера рядовой Постников «был сделан» при усердном содействии новоприбывших из армии молодых товарищей. Эти неиспорченные гвардейским либерализмом люди в совершенстве выставили на нем все point sur les *i*, в полной мере определенные ему его батальонным командиром. Затем наказанный Постников был поднят и непосредственно отсюда на той же шинели, на которой его секли, перенесен в полковой лазарет.

## ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Батальонный командир Свиньин, по получении донесения об исполнении экзекуции, тотчас же сам отечески навестил Постникова в лазарете и, к удовольствию своему, самым наглядным образом убедился, что приказание его исполнено в совершенстве. Сердобольный и нервный Постников был «сделан как следует», Свиньин остался доволен и приказал дать от себя наказанному Постникову фунт сахару и четверть фунта чаю, чтоб он мог услаждаться, пока будет на поправке. Постников, лежа на койке, слышал это распоряжение о чае и отвечал:

— Много доволен, ваше высокородие, благодарю за отеческую милость.

И он в самом деле был «доволен», потому что, сидя три дня в карцере, он ожидал гораздо худшего. Двести розог, по тогдашнему сильному времени, очень мало значили в сравнении с теми наказаниями, какие люди переносили по приговорам военного суда; а такое именно наказание и досталось бы Постникову, если бы, к счастию его, не произошло всех тех смелых и тактических эволюций, о которых выше рассказано.

Но число всех довольных рассказанным происшествием этим не ограничилось.

## ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Под сурдинкою подвиг рядового Постникова располозся по разным кружкам столицы, которая в то время печатной безголосицы жила в атмосфере бесконечных сплетен. В устных передачах имя настоящего героя — солдата Постникова утратилось, но зато сама эпопея раздулась и приняла очень интересный, романтический характер.

Говорили, будто ко дворцу со стороны Петропавловской крепости плыл какой-то необыкновенный пловец, в которого один из стоявших у дворца часовых выстрелил и пловца ранил, а проходивший инвалидный офицер бросился в воду и спас его, за что и получили: один — должную награду, а другой — заслуженное наказание. Нелепый слух этот дошел и до подворья, где в ту пору жил осторожный и неравнодушный к «светским событиям» владыко, благосклонно благоволивший к набожному московскому семейству Свиньиных.

Проницательному владыке казалось неясным сказание о выстреле. Что же это за ночной пловец? Если он был беглый узник, то за что же наказан часовой, который исполнил свой долг, выстрелив в него, когда тот плыл через Неву из крепости? Если же это не узник, а иной загадочный человек, которого надо было спасать из волн Невы, то почему о нем мог знать часовой? И тогда опять не может быть, чтоб это было

так, как о том в мире суесловят. В мире многое берут крайне легкомысленно и «суесловят», но живущие в обителях и на подворьях ко всему относятся гораздо серьезнее и знают о светских делах самое настоящее.

## ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Однажды, когда Свиньин случился у владыки, чтобы принять от него благословение, высокочтимый хозяин заговорил с ним «кстати о выстреле». Свиньин рассказал всю правду, в которой, как мы знаем, не было ничего похожего на то, о чем повествовали «кстати о выстреле».

Владыко выслушал настоящий рассказ в молчании, слегка шевеля своими беленькими четками и не сводя своих глаз с рассказчика. Когда же Свиньин кончил, владыко тихо журчащею речью произнес:

— Посему надлежит заключить, что в сем деле не все и не везде излагалось согласно с полною истиной?

Свиньин замялся и потом отвечал с уклоном, что докладывал не он, а генерал Кокошкин.

Владыко в молчании перепустил несколько раз четки сквозь свои восковые персты и потом молвил:

— Должно различать, что есть ложь и что неполная истина.

Опять четки, опять молчание и, наконец, тихоструйная речь:

— Неполная истина не есть ложь. Но о сем наименьше.

— Это действительно так, — заговорил поощренный Свиньин. — Меня, конечно, больше всего смущает, что я должен был подвергнуть наказанию этого солдата, который хотя нарушил свой долг...

Четки и тихоструйный перебив:

— Долг службы никогда не должен быть нарушен.

— Да, но это им было сделано по великодушию, по состраданию, и притом с такой борьбой и с опасностью: он понимал, что, спасая жизнь другому человеку, он губит самого себя... Это высокое, святое чувство!

— Святое известно богу, наказание же на теле простолюдину не бывает губительно и не противоречит ни обычаю народов, ни духу Писания. Лозу гораздо легче перенесть на грубом теле, чем тонкое страдание в духе. В сем справедливость от вас нимало не пострадала.

— Но он лишен и награды за спасение погибавших.

— Спасение погибающих не есть заслуга, но паче долг. Кто мог спасти и не спас — подлежит каре законов, а кто спас, тот исполнил свой долг.

Пауза, четки и тихоструй:

— Воину претерпеть за свой подвиг унижение и раны может быть гораздо полезнее, чем превозноситься знаком. Но что во всем сем наибольшее — это то, чтобы хранить о всем деле сем осторожность и отнюдь нигде не упоминать о том, кому по какому-нибудь случаю о сем было сказывано.

Очевидно, и владыко был доволен.

## ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Если бы я имел дерзновение счастливых избранников неба, которым, по великой их вере, дано проницать тайны божия смотрения, то я, может быть, дерзнул бы дозволить себе предположение, что, вероятно, и сам бог был доволен поведением созданной им смирной души Постникова. Но вера моя мала; она не дает уму моему силы зреть столь высокого: я держусь земного и [перстного](http://rvb.ru/leskov/02comm/060.htm" \l "c8). Я думаю о тех смертных, которые любят добро просто для самого добра и не ожидают никаких наград за него где бы то ни было. Эти прямые и надежные люди тоже, мне кажется, должны быть вполне довольны святым порывом любви и не менее святым терпением смиренного героя моего точного и безыскусственного рассказа.

# Петька на даче (Андреев)

Осип Абрамович, парикмахер, поправил на груди посетителя грязную простынку, заткнул ее пальцами за ворот и крикнул отрывисто и резко:

— Мальчик, воды!

Посетитель, рассматривавший в зеркало свою физиономию с тою обостренною внимательностью и интересом, какие являются только в парикмахерской, замечал, что у него на подбородке прибавился еще один угорь, и с неудовольствием отводил глаза, попадавшие прямо на худую, маленькую ручонку, которая откуда-то со стороны протягивалась к подзеркальнику и ставила жестянку с горячей водой. Когда он поднимал глаза выше, то видел отражение парикмахера, странное и как будто косое, и подмечал быстрый и грозный взгляд, который тот бросал вниз на чью-то голову, и безмолвное движение его губ от неслышного, но выразительного шепота. Если его брил не сам хозяин Осип Абрамович, а кто-нибудь из подмастерьев, Прокопий или Михайла, то шепот становился громким и принимал форму неопределенной угрозы:

— Вот погоди!

Это значило, что мальчик недостаточно быстро подал воду и его ждет наказание. «Так их и следует», — думал посетитель, кривя голову набок и созерцая у самого своего носа большую потную руку, у которой три пальца были оттопырены, а два другие, липкие и пахучие, нежно прикасались к щеке и подбородку, пока туповатая бритва с неприятным скрипом снимала мыльную пену и жесткую щетину бороды.

В этой парикмахерской, пропитанной скучным запахом дешевых духов, полной надоедливых мух и грязи, посетитель был нетребовательный: швейцары, приказчики, иногда мелкие служащие или рабочие, часто аляповато-красивые, но подозрительные молодцы, с румяными щеками, тоненькими усиками и наглыми маслянистыми глазками. Невдалеке находился квартал, заполненный домами дешевого разврата. Они господствовали над этою местностью и придавали ей особый характер чего-то грязного, беспорядочного и тревожного.

Мальчик, на которого чаще всего кричали, назывался Петькой и был самым маленьким из всех служащих в заведении. Другой мальчик, Николка, насчитывал от роду тремя годами больше и скоро должен был перейти в подмастерья. Уже и теперь, когда в парикмахерскую заглядывал посетитель попроще, а подмастерья, в отсутствие хозяина, ленились работать, они посылали Николку стричь и смеялись, что ему приходится подниматься на цыпочки, чтобы видеть волосатый затылок дюжего дворника. Иногда посетитель обижался за испорченные волосы и поднимал крик, тогда и подмастерья кричали на Николку, но не всерьез, а только для удовольствия окорначенного простака. Но такие случаи бывали редко, и Николка важничал и держался, как большой: курил папиросы, сплевывал через зубы, ругался скверными словами и даже хвастался Петьке, что пил водку, но, вероятно, врал. Вместе с подмастерьями он бегал на соседнюю улицу посмотреть на крупную драку, и когда возвращался оттуда, счастливый и смеющийся, Осип Абрамович давал ему две пощечины: по одной на каждую щеку.

Петьке было десять лет; он не курил, не пил водки и не ругался, хотя знал очень много скверных слов, и во всех этих отношениях завидовал товарищу. Когда не было посетителей и Прокопий, проводивший где-то бессонные ночи и днем спотыкавшийся от желания спать, приваливался в темном углу за перегородкой, а Михаила читал «Московский листок» и среди описания краж и грабежей искал знакомого имени кого-нибудь из обычных посетителей, — Петька и Николка беседовали. Последний всегда становился добрее, оставаясь вдвоем, и объяснял «мальчику», что значит стричь под польку, бобриком или с пробором.

Иногда они садились на окно, рядом с восковым бюстом женщины, у которой были розовые щеки, стеклянные удивленные глаза и редкие прямые ресницы, — и смотрели на бульвар, где жизнь начиналась с раннего утра. Деревья бульвара, серые от пыли, неподвижно млели под горячим, безжалостным солнцем и давали такую же серую, неохлаждающую тень. На всех скамейках сидели мужчины и женщины, грязно и странно одетые, без платков и шапок, как будто они тут и жили и у них не было другого дома. Были лица равнодушные, злые или распущенные, но на всех на них лежала печать крайнего утомления и пренебрежения к окружающему. Часто чья-нибудь лохматая голова бессильно клонилась на плечо, и тело невольно искало простора для сна, как у третьеклассного пассажира, проехавшего тысячи верст без отдыха, но лечь было негде. По дорожкам расхаживал с палкой ярко-синий сторож и смотрел, чтобы кто-нибудь не развалился на скамейке или не бросился на траву, порыжевшую от солнца, но такую мягкую, такую прохладную. Женщины, всегда одетые более чисто, даже с намеком на моду, были все как будто на одно лицо и одного возраста, хотя иногда попадались совсем старые или молоденькие, почти дети. Все они говорили хриплыми, резкими голосами, бранились, обнимали мужчин так просто, как будто были на бульваре совсем одни, иногда тут же пили водку и закусывали. Случалось, пьяный мужчина бил такую же пьяную женщину; она падала, поднималась и снова падала; но никто не вступался за нее. Зубы весело скалились, лица становились осмысленнее и живее, около дерущихся собиралась толпа; но когда приближался ярко-синий сторож, все лениво разбредались по своим местам. И только побитая женщина плакала и бессмысленно ругалась; ее растрепанные волосы волочились по песку, а полуобнаженное тело, грязное и желтое при дневном свете, цинично и жалко выставлялось наружу. Ее усаживали на дно извозчичьей пролетки и везли, и свесившаяся голова ее болталась, как у мертвой.

Николка знал по именам многих женщин и мужчин, рассказывал о них Петьке грязные истории и смеялся, скаля острые зубы. А Петька изумлялся тому, какой он умный и бесстрашный, и думал, что когда-нибудь и он будет такой же. Но пока ему хотелось бы куда-нибудь в другое место… Очень хотелось бы.

Петькины дни тянулись удивительно однообразно и похоже один на другой, как два родные брата. И зимою и летом он видел все те же зеркала, из которых одно было с трещиной, а другое было кривое и потешное. На запятнанной стене висела одна и та же картина, изображавшая двух голых женщин на берегу моря, и только их розовые тела становились все пестрее от мушиных следов, да увеличивалась черная копоть над тем местом, где зимою чуть ли не весь день горела керосиновая лампа-молния. И утром, и вечером, и весь божий день над Петькой висел один и тот же отрывистый крик: «Мальчик, воды», — и он все подавал ее, все подавал. Праздников не было. По воскресеньям, когда улицу переставали освещать окна магазинов и лавок, парикмахерская до поздней ночи бросала на мостовую яркий сноп света, и прохожий видел маленькую, худую фигурку, сгорбившуюся в углу на своем стуле, и погруженную не то в думы, не то в тяжелую дремоту. Петька спал много, но ему почему-то все хотелось спать, и часто казалось, что все вокруг него не правда, а длинный неприятный сон. Он часто разливал воду или не слыхал резкого крика: «Мальчик, воды», — и все худел, а на стриженой голове у него пошли нехорошие струпья. Даже нетребовательные посетители с брезгливостью смотрели на этого худенького, веснушчатого мальчика, у которого глаза всегда сонные, рот полуоткрытый и грязные-прегрязные руки и шея. Около глаз и под носом у него прорезались тоненькие морщинки, точно проведенные острой иглой, и делали его похожим на состарившегося карлика.

Петька не знал, скучно ему или весело, но ему хотелось в другое место, о котором он ничего не мог сказать, где оно и какое оно. Когда его навещала мать, кухарка Надежда, он лениво ел принесенные сласти, не жаловался и только просил взять его отсюда. Но затем он забывал о своей просьбе, равнодушно прощался с матерью и не спрашивал, когда она придет опять. А Надежда с горем думала, что у нее один сын — и тот дурачок.

Много ли, мало ли жил Петька таким образом, он не знал. Но вот однажды в обед приехала мать, поговорила с Осипом Абрамовичем и сказала, что его, Петьку, отпускают на дачу, в Царицыно, где живут ее господа. Сперва Петька не понял, потом лицо его покрылось тонкими морщинками от тихого смеха, и он начал торопить Надежду. Той нужно было, ради пристойности, поговорить с Осипом Абрамовичем о здоровье его жены, а Петька тихонько толкал ее к двери и дергал за руку. Он не знал, что такое дача, но полагал, что она есть то самое место, куда он так стремился. И он эгоистично позабыл о Николке, который, заложив руки в карманы, стоял тут же и старался с обычною дерзостью смотреть на Надежду. Но в глазах его вместо дерзости светилась глубокая тоска: у него совсем не было матери, и он в этот момент был бы не прочь даже от такой, как эта толстая Надежда. Дело в том, что и он никогда не был на даче.

Вокзал с его разноголосою сутолокою, грохотом приходящих поездов, свистками паровозов, то густыми и сердитыми, как голос Осипа Абрамовича, то визгливыми и тоненькими, как голос его больной жены, торопливыми пассажирами, которые все идут и идут, точно им и конца нету, — впервые предстал перед оторопелыми глазами Петьки и наполнил его чувством возбужденности и нетерпения. Вместе с матерью он боялся опоздать, хотя до отхода дачного поезда оставалось добрых полчаса; а когда они сели в вагон и поехали, Петька прилип к окну, и только стриженая голова его вертелась на тонкой шее, как на металлическом стержне.

Он родился и вырос в городе, в поле был первый раз в своей жизни, и все здесь для него было поразительно ново и странно: и то, что можно видеть так далеко, что лес кажется травкой, и небо, бывшее в этом новом мире удивительно ясным и широким, точно с крыши смотришь. Петька видел его с своей стороны, а когда оборачивался к матери, это же небо голубело в противоположном окне, и по нем плыли, как ангелочки, беленькие радостные облачка. Петька то вертелся у своего окна, то перебегал на другую сторону вагона, с доверчивостью кладя плохо отмытую ручонку на плечи и колени незнакомых пассажиров, отвечавших ему улыбками. Но какой-то господин, читавший газету и все время зевавший, то ли от чрезмерной усталости, то ли от скуки, раза два неприязненно покосился на мальчика, и Надежда поспешила извиниться:

— Впервой по чугунке едет — интересуется…

— Угу! — пробурчал господин и уткнулся в газету.

Надежде очень хотелось рассказать ему, что Петька уже три года живет у парикмахера и тот обещал поставить его на ноги, и это будет очень хорошо, потому что женщина она одинокая и слабая и другой поддержки, на случай болезни или старости, у нее нет. Но лицо у господина было злое, и Надежда только подумала все это про себя.

Направо от пути раскинулась кочковатая равнина, темно-зеленая от постоянной сырости, и на краю ее были брошены серенькие домики, похожие на игрушечные, а на высокой зеленой горе, внизу которой блистала серебристая полоска, стояла такая же игрушечная белая церковь. Когда поезд со звонким металлическим лязгом, внезапно усилившимся, взлетел на мост и точно повис в воздухе над зеркальною гладью реки, Петька даже вздрогнул от испуга и неожиданности и отшатнулся от окна, но сейчас же вернулся к нему, боясь потерять малейшую подробность пути. Глаза Петькины давно уже перестали казаться сонными, и морщинки пропали. Как будто по этому лицу кто-нибудь провел горячим утюгом, разгладил морщинки и сделал его белым и блестящим.

В первые два дня Петькина пребывания на даче богатство и сила новых впечатлений, лившихся на него и сверху и снизу, смяли его маленькую и робкую душонку. В противоположность дикарям минувших веков, терявшимся при переходе из пустыни в город, этот современный дикарь, выхваченный из каменных объятий городских громад, чувствовал себя слабым и беспомощным перед лицом природы. Все здесь было для него живым, чувствующим и имеющим волю. Он боялся леса, который покойно шумел над его головой и был темный, задумчивый и такой страшный в своей бесконечности; полянки, светлые, зеленые, веселые, точно поющие всеми своими яркими цветами, он любил и хотел бы приласкать их, как сестер, а темно-синее небо звало его к себе и смеялось, как мать. Петька волновался, вздрагивал и бледнел, улыбался чему-то и степенно, как старик, гулял по опушке и лесистому берегу пруда. Тут он, утомленный, задыхающийся, разваливался на густой сыроватой траве и утопал в ней; только его маленький веснушчатый носик поднимался над зеленой поверхностью. В первые дни он часто возвращался к матери, терся возле нее, и, когда барин спрашивал его, хорошо ли на даче, — конфузливо улыбался и отвечал:

— Хорошо!..

И потом снова шел к грозному лесу и тихой воде и будто допрашивал их о чем-то.

Но прошло еще два дня, и Петька вступил в полное соглашение с природой. Это произошло при содействии гимназиста Мити из Старого Царицына. У гимназиста Мити лицо было смугло-желтым, как вагон второго класса, волосы на макушке стояли торчком и были совсем белые — так выжгло их солнце. Он ловил в пруде рыбу, когда Петька увидал его, бесцеремонно вступил с ним в беседу и удивительно скоро сошелся. Он дал Петьке подержать одну удочку и потом повел его куда-то далеко купаться. Петька очень боялся идти в воду, но когда вошел, то не хотел вылезать из нее и делал вид, что плавает: поднимал нос и брови кверху, захлебывался и бил по воде руками, поднимая брызги. В эти минуты он был очень похож на щенка, впервые попавшего в воду. Когда Петька оделся, то был синий от холода, как мертвец, и, разговаривая, ляскал зубами. По предложению того же Мити, неистощимого на выдумки, они исследовали развалины дворца; лазали на заросшую деревьями крышу и бродили среди разрушенных стен громадного здания. Там было очень хорошо: всюду навалены груды камней, на которые с трудом можно взобраться, и промеж них растет молодая рябина и березки, тишина стоит мертвая, и чудится, что вот-вот выскочит кто-нибудь из-за угла или в растрескавшейся амбразуре окна покажется страшная-престрашная рожа. Постепенно Петька почувствовал себя на даче как дома и совсем забыл, что на свете существует Осип Абрамович и парикмахерская. —

— Смотри-ка, растолстел как! Чистый купец! — радовалась Надежда, сама толстая и красная от кухонного жара, как медный самовар. Она приписывала это тому, что много его кормит. Но Петька ел совсем мало, не потому, чтобы ему не хотелось есть, а некогда было возиться: если бы можно было не жевать, глотать сразу, а то нужно жевать, а в промежутки болтать ногами, так как Надежда ест дьявольски медленно, обгладывает кости, утирается передником и разговаривает о пустяках. А у него дела было по горло: нужно пять раз выкупаться, вырезать в орешнике удочку, накопать червей, — на все это требуется время. Теперь Петька бегал босой, и это в тысячу раз приятнее, чем в сапогах с толстыми подошвами: шершавая земля так ласково то жжет, то холодит ногу. Свою подержанную гимназическую куртку, в которой он казался солидным мастером парикмахерского цеха, он также снял и изумительно помолодел. Надевал он ее только вечерами, когда ходил на плотину смотреть, как катаются на лодках господа: нарядные, веселые, они со смехом садятся в качающуюся лодку, и та медленно рассекает зеркальную воду, а отраженные деревья колеблются, точно по ним пробежал ветерок.

В исходе недели барин привез из города письмо, адресованное «куфарке Надежде», и, когда прочел его адресату, адресат заплакал и размазал по всему лицу сажу, которая была на переднике. По отрывочным словам, сопровождавшим эту операцию, можно было понять, что речь идет о Петьке. Это было уже ввечеру. Петька на заднем дворе играл сам с собою в «классики» и надувал щеки, потому что так прыгать было значительно легче. Гимназист Митя научил этому глупому, но интересному занятию, и теперь Петька, как истый спортсмен, совершенствовался в одиночку. Вышел барин и, положив руку на плечо, сказал:

— Что, брат, ехать надо!

Петька конфузливо улыбался и молчал.

«Вот чудак-то!»— подумал барин.

— Ехать, братец, надо.

Петька улыбался. Подошла Надежда и со слезами подтвердила:

— Надобно ехать, сынок!

— Куда? — удивился Петька.

Про город он забыл, а другое место, куда ему всегда хотелось уйти, — уже найдено.

— К хозяину Осипу Абрамовичу.

Петька продолжал не понимать, хотя дело было ясно как божий день. Но во рту у него пересохло, и язык двигался с трудом, когда он спросил:

— А как же завтра рыбу ловить? Удочка — вот она…

— Что же поделаешь!.. Требует. Прокопий, говорит, заболел, в больницу свезли. Народу, говорит, нету. Ты не плачь: гляди, опять отпустит, — он добрый, Осип Абрамович.

Но Петька и не думал плакать и все не понимал. С одной стороны был факт — удочка, с другой призрак — Осип Абрамович. Но постепенно мысли Петькины стали проясняться, и произошло странное перемещение: фактом стал Осип Абрамович, а удочка, еще не успевшая высохнуть, превратилась в призрак. И тогда Петька удивил мать, расстроил барыню и барина и удивился бы сам, если бы был способен к самоанализу: он не просто заплакал, как плачут городские дети, худые и истощенные, — он закричал громче самого горластого мужика и начал кататься по земле, как те пьяные женщины на бульваре. Худая ручонка его сжималась в кулак и била по руке матери, по земле, по чем попало, чувствуя боль от острых камешков и песчинок, но как будто стараясь еще усилить ее.

Своевременно Петька успокоился, и барин говорил барыне, которая стояла перед зеркалом и вкалывала в волосы белую розу:

— Вот видишь, перестал, — детское горе непродолжительно.

— Но мне все-таки очень жаль этого бедного мальчика.

— Правда, они живут в ужасных условиях, но есть люди, которым живется и хуже. Ты готова?

И они пошли в сад Дипмана, где в этот вечер были назначены танцы и уже играла военная музыка.

На другой день, с семичасовым утренним поездом, Петька уже ехал в Москву. Опять перед ним мелькали зеленые поля, седые от ночной росы, но только убегали не в ту сторону, что раньше, а в противоположную. Подержанная гимназическая курточка облекала его худенькое тело, из-за ворота ее выставлялся кончик белого бумажного воротничка. Петька не вертелся и почти не смотрел в окно, а сидел такой тихонький и скромный, и ручонки его были благонравно сложены на коленях. Глаза были сонливы и апатичны, тонкие морщинки, как у старого человека, ютились около глаз и под носом. Вот замелькали у окна столбы и стропила платформы, и поезд остановился.

Толкаясь среди торопившихся пассажиров, они вышли на грохочущую улицу, и большой жадный город равнодушно поглотил свою маленькую жертву.

— Ты удочку спрячь! — сказал Петька, когда мать довела его до порога парикмахерской.

— Спрячу, сынок, спрячу! Может, еще приедешь.

И снова в грязной и душной парикмахерской звучало отрывистое: «Мальчик, воды», и посетитель видел, как к подзеркальнику протягивалась маленькая грязная рука, и слышал неопределенно угрожающий шепот: «Вот погоди!» Это значило, что сонливый мальчик разлил воду или перепутал приказания. А по ночам, в том месте, где спали рядом Николка и Петька, звенел и волновался тихий голосок, и рассказывал о даче, и говорил о том, чего не бывает, чего никто не видел никогда и не слышал. В наступавшем молчании слышалось неровное дыхание детских грудей, и другой голос, не по-детски грубый и энергичный, произносил:

— Вот черти! Чтоб им повылазило!

— Кто черти?

— Да так… Все.

Мимо проезжал обоз и своим мощным громыханием заглушал голоса мальчиков и тот отдаленный жалобный крик, который уже давно доносился с бульвара: там пьяный мужчина бил такую же пьяную женщину.

# Ангелочек (Андреев)

Временами Сашке хотелось перестать делать то, что называется жизнью: не умываться по утрам холодной водой, в которой плавают тоненькие пластинки льда, не ходить в гимназию, не слушать там, как все его ругают, и не испытывать боли в пояснице и во всем теле, когда мать ставит его на целый вечер на колени. Но так как ему было тринадцать лет и он не знал всех способов, какими люди перестают жить, когда захотят этого, то он продолжал ходить в гимназию и стоять на коленках, и ему казалось, что жизнь никогда не кончится. Пройдет год, и еще год, и еще год, а он будет ходить в гимназию и стоять дома на коленках. И так как Сашка обладал непокорной и смелой душой, то он не мог спокойно отнестись ко злу и мстил жизни. Для этой цели он бил товарищей, грубил начальству, рвал учебники и целый день лгал то учителям, то матери, не лгал он только одному отцу. Когда в драке ему расшибали нос, он нарочно расковыривал его еще больше и орал без слез, но так громко, что все испытывали неприятное ощущение, морщились и затыкали уши. Проорав сколько нужно, он сразу умолкал, показывал язык и рисовал в черновой тетрадке карикатуру на себя, как орет, на надзирателя, заткнувшего уши, и на дрожащего от страха победителя. Вся тетрадка заполнена была карикатурами, и чаще всех повторялась такая: толстая и низенькая женщина била скалкой тонкого, как спичка, мальчика. Внизу крупными и неровными буквами чернела подпись: «Проси прощенья, щенок», — и ответ: «Не попрошу, хоть тресни». Перед Рождеством Сашку выгнали из гимназии, и, когда мать стала бить его, он укусил ее за палец. Это дало ему свободу, и он бросил умываться по утрам, бегал целый день с ребятами, и бил их, и боялся одного голода, так как мать перестала совсем кормить его, и только отец прятал для него хлеб и картошку. При этих условиях Сашка находил существование возможным.

В пятницу, накануне Рождества, Сашка играл с ребятами, пока они не разошлись по домам и не проскрипела ржавым, морозным скрипом калитка за последним из них. Уже темнело, и с поля, куда выходил одним концом глухой переулок, надвигалась серая снежная мгла; в низеньком черном строении, стоявшем поперек улицы, на выезде, зажегся красноватый, немигающий огонек. Мороз усилился, и, когда Сашка проходил в светлом круге, который образовался от зажженного фонаря, он видел медленно реявшие в воздухе маленькие сухие снежинки. Приходилось идти домой.

— Где полуночничаешь, щенок? — крикнула на него мать, замахнулась кулаком, но не ударила. Рукава у нее были засучены, обнажая белые, толстые руки, и на безбровом, плоском лице выступали капли пота. Когда Сашка проходил мимо нее, он почувствовал знакомый запах водки. Мать почесала в голове толстым указательным пальцем с коротким и грязным ногтем и, так как браниться было некогда, только плюнула и крикнула:

— Статистики, одно слово!

Сашка презрительно шморгнул носом и прошел за перегородку, где слышалось тяжелое дыханье отца, Ивана Саввича. Ему всегда было холодно, и он старался согреться, сидя на раскаленной лежанке и подкладывая под себя руки ладонями книзу.

— Сашка! А тебя Свечниковы на елку звали. Горничная приходила, — прошептал он.

— Врешь? — спросил с недоверием Сашка.

— Ей-Богу. Эта ведьма нарочно ничего не говорит, а уж и куртку приготовила.

— Врешь? — все больше удивлялся Сашка.

Богачи Свечниковы, определившие его в гимназию, не велели после его исключения показываться к ним. Отец еще раз побожился, и Сашка задумался.

— Ну-ка подвинься, расселся! — сказал он отцу, прыгая на коротенькую лежанку, и добавил:— А к этим чертям я не пойду. Жирны больно станут, если еще я к ним пойду. «Испорченный мальчик», — протянул Сашка в нос. — Сами хороши, антипы толсторожие.

— Ах, Сашка, Сашка! — поежился от холода отец. — Не сносить тебе головы.

— А ты-то сносил? — грубо возразил Сашка. — Молчал бы уж: бабы боится. Эх, тюря!

Отец сидел молча и ежился. Слабый свет проникал через широкую щель вверху, где перегородка на четверть не доходила до потолка, и светлым пятном ложился на его высокий лоб, под которым чернели глубокие глазные впадины. Когда-то Иван Саввич сильно пил водку, и тогда жена боялась и ненавидела его. Но, когда он начал харкать кровью и не мог больше пить, стала пить она, постепенно привыкая к водке. И тогда она выместила все, что ей пришлось выстрадать от высокого узкогрудого человека, который говорил непонятные слова, выгонялся за строптивость и пьянство со службы и наводил к себе таких же длинноволосых безобразников и гордецов, как и он сам. В противоположность мужу она здоровела по мере того, как пила, и кулаки ее все тяжелели. Теперь она говорила, что хотела, теперь она водила к себе мужчин и женщин, каких хотела, и громко пела с ними веселые песни. А он лежал за перегородкой, молчаливый, съежившийся от постоянного озноба, и думал о несправедливости и ужасе человеческой жизни. И всем, с кем ни приходилось говорить жене Ивана Саввича, она жаловалась, что нет у нее на свете таких врагов, как муж и сын: оба гордецы и статистики.

Через час мать говорила Сашке:

— А я тебе говорю, что ты пойдешь! — И при каждом слове Феоктиста Петровна ударяла кулаком по столу, на котором вымытые стаканы прыгали и звякали друг о друга.

— А я тебе говорю, что не пойду, — хладнокровно отвечал Сашка, и углы губ его подергивались от желания оскалить зубы. В гимназии за эту привычку его звали волчонком.

— Изобью я тебя, ох, как изобью! — кричала мать.

— Что же, избей!

Феоктиста Петровна знала, что бить сына, который стал кусаться, она уже не может, а если выгнать на улицу, то он отправится шататься и скорей замерзнет, чем пойдет к Свечниковым; поэтому она прибегла к авторитету мужа.

— А еще отец называется: не может мать от оскорблений оберечь.

— Правда, Сашка, ступай, что ломаешься? — отозвался тот с лежанки. — Они, может быть, опять тебя устроят. Они люди добрые.

Сашка оскорбительно усмехнулся. Отец давно, до Сашкина еще рождения, был учителем у Свечниковых и с тех пор думал, что они самые хорошие люди. Тогда он еще служил в земской статистике и ничего не пил. Разошелся он с ними после того, как женился на забеременевшей от него дочери квартирной хозяйки, стал пить и опустился до такой степени, что его, пьяного, поднимали на улице и отвозили в участок. Но Свечниковы продолжали помогать ему деньгами, и Феоктиста Петровна, хотя ненавидела их, как книги и все, что связывалось с прошлым ее мужа, дорожила знакомством и хвалилась им.

— Может быть, и мне что-нибудь с елки принесешь, — продолжал отец.

Он хитрил, — Сашка понимал это и презирал отца за слабость и ложь, но ему действительно захотелось что-нибудь принести больному и жалкому человеку. Он давно уже сидит без хорошего табаку.

— Ну, ладно! — буркнул он. — Давай, что ли, куртку. Пуговицы пришила? А то ведь я тебя знаю!

Детей еще не пускали в залу, где находилась елка, и они сидели в детской и болтали. Сашка с презрительным высокомерием прислушивался к их наивным речам и ощупывал в кармане брюк уже переломавшиеся папиросы, которые удалось ему стащить из кабинета хозяина. Тут подошел к нему самый маленький Свечников, Коля, и остановился неподвижно и с видом изумления, составив ноги носками внутрь и положив палец на угол пухлых губ. Месяцев шесть тому назад он бросил, по настоянию родственников, скверную привычку класть палец в рот, но совершенно отказаться от этого жеста еще не мог. У него были белые волосы, подрезанные на лбу и завитками спадавшие на плечи, и голубые удивленные глаза, и по всему своему виду он принадлежал к мальчикам, которых особенно преследовал Сашка.

— Ты неблагодалный мальчик? — спросил он Сашку. — Мне мисс сказала. А я холосой.

— Уж на что же лучше! — ответил тот, осматривая коротенькие бархатные штанишки и большой откладной воротничок.

— Хочешь лузье? На! — протянул мальчик ружье с привязанной к нему пробкой.

Волчонок взвел пружину и, прицелившись в нос ничего не подозревавшего Коли, дернул собачку. Пробка ударилась по носу и отскочила, болтаясь на нитке. Голубые глаза Коли раскрылись еще шире, и в них показались слезы. Передвинув палец от губ к покрасневшему носику, Коля часто заморгал длинными ресницами и зашептал:

— Злой… Злой мальчик.

В детскую вошла молодая, красивая женщина с гладко зачесанными волосами, скрывавшими часть ушей. Это была сестра хозяйки, та самая, с которой занимался когда-то Сашкин отец.

— Вот этот, — сказала она, показывая на Сашку сопровождавшему ее лысому господину. — Поклонись же, Саша, нехорошо быть таким невежливым.

Но Сашка не поклонился ни ей, ни лысому господину. Красивая дама не подозревала, что он знает многое. Знает, что жалкий отец его любил ее, а она вышла за другого, и, хотя это случилось после того как он женился сам, Сашка не мог простить измены.

— Дурная кровь, — вздохнула Софья Дмитриевна. — Вот не можете ли, Платон Михайлович, устроить его? Муж говорит, что ремесленное ему больше подходит, чем гимназия. Саша, хочешь в ремесленное?

— Не хочу, — коротко ответил Сашка, слышавший слово «муж».

— Что же, братец, в пастухи хочешь? — спросил господин.

— Нет, не в пастухи, — обиделся Сашка.

— Так куда же?

Сашка не знал, куда он хочет.

— Мне все равно, — ответил он, подумав, — хоть и в пастухи.

Лысый господин с недоумением рассматривал странного мальчика. Когда с заплатанных сапог он перевел глаза на лицо Сашки, последний высунул язык и опять спрятал его так быстро, что Софья Дмитриевна ничего не заметила, а пожилой господин пришел в непонятное ей раздражительное состояние.

— Я хочу и в ремесленное, — скромно сказал Сашка.

Красивая дама обрадовалась и подумала, вздохнув, о той силе, какую имеет над людьми старая любовь.

— Но едва ли вакансия найдется, — сухо заметил пожилой господин, избегая смотреть на Сашку и приглаживая поднявшиеся на затылке волосики. — Впрочем, мы еще посмотрим.

Дети волновались и шумели, нетерпеливо ожидая елки. Опыт с ружьем, проделанный мальчиком, внушавшим к себе уважение ростом и репутацией испорченного, нашел себе подражателей, и несколько кругленьких носиков уже покраснело. Девочки смеялись, прижимая обе руки к груди и перегибаясь, когда их рыцари, с презрением к страху и боли, но морщась от ожидания, получали удары пробкой. Но вот открылись двери, и чей-то голос сказал:

— Дети, идите! Тише, тише!

Заранее вытаращив глазенки и затаив дыхание, дети чинно, по паре, входили в ярко освещенную залу и тихо обходили сверкающую елку. Она бросала сильный свет, без теней, на их лица с округлившимися глазами и губками. Минуту царила тишина глубокого очарования, сразу сменившаяся хором восторженных восклицаний. Одна из девочек не в силах была овладеть охватившим ее восторгом и упорно и молча прыгала на одном месте; маленькая косичка со вплетенной голубой ленточкой хлопала по ее плечам. Сашка был угрюм и печален, — что-то нехорошее творилось в его маленьком изъязвленном сердце. Елка ослепляла его своей красотой и крикливым, наглым блеском бесчисленных свечей, но она была чуждой ему, враждебной, как и столпившиеся вокруг нее чистенькие, красивые дети, и ему хотелось толкнуть ее так, чтобы она повалилась на эти светлые головки. Казалось, что чьи-то железные руки взяли его сердце и выжимают из него последнюю каплю крови. Забившись за рояль, Сашка сел там в углу, бессознательно доламывал в кармане последние папиросы и думал, что у него есть отец, мать, свой дом, а выходит так, как будто ничего этого нет и ему некуда идти. Он пытался представить себе перочинный ножичек, который он недавно выменял и очень сильно любил, но ножичек стал очень плохой, с тоненьким сточенным лезвием и только с половиной желтой костяшки. Завтра он сломает ножичек, и тогда у него уже ничего не останется.

Но вдруг узенькие глаза Сашки блеснули изумлением, и лицо мгновенно приняло обычное выражение дерзости и самоуверенности. На обращенной к нему стороне елки, которая была освещена слабее других и составляла ее изнанку, он увидел то, чего не хватало в картине его жизни и без чего кругом было так пусто, точно окружающие люди неживые. То был восковой ангелочек, небрежно повешенный в гуще темных ветвей и словно реявший по воздуху. Его прозрачные стрекозиные крылышки трепетали от падавшего на них света, и весь он казался живым и готовым улететь. Розовые ручки с изящно сделанными пальцами протягивались кверху, и за ними тянулась головка с такими же волосами, как у Коли. Но было в ней другое, чего лишено было лицо Коли и все другие лица и вещи. Лицо ангелочка не блистало радостью, не туманилось печалью, но лежала на нем печать иного чувства, не передаваемого словами, не определяемого мыслью и доступного для понимания лишь такому же чувству. Сашка не сознавал, какая тайная сила влекла его к ангелочку, но чувствовал, что он всегда знал его и всегда любил, любил больше, чем перочинный ножичек, больше, чем отца, и больше, чем все остальное. Полный недоумения, тревоги, непонятного восторга, Сашка сложил руки у груди и шептал:

— Милый… милый ангелочек!

И чем внимательнее он смотрел, тем значительнее, важнее становилось выражение ангелочка. Он был бесконечно далек и непохож на все, что его здесь окружало. Другие игрушки как будто гордились тем, что они висят, нарядные, красивые, на этой сверкающей елке, а он был грустен и боялся яркого назойливого света, и нарочно скрылся в темной зелени, чтобы никто не видел его. Было бы безумной жестокостью прикоснуться к его нежным крылышкам.

— Милый… милый! — шептал Сашка.

Голова Сашкина горела. Он заложил руки за спину и в полной готовности к смертельному бою за ангелочка прохаживался осторожными и крадущимися шагами; он не смотрел на ангелочка, чтобы не привлечь на него внимания других, но чувствовал, что он еще здесь, не улетел. В дверях показалась хозяйка — важная высокая дама с светлым ореолом седых, высоко зачесанных волос. Дети окружили ее с выражением своего восторга, а маленькая девочка, та, что прыгала, утомленно повисла у нее на руке и тяжело моргала сонными глазками. Подошел и Сашка. Горло его перехватывало.

— Тетя, а тетя, — сказал он, стараясь говорить ласково, но выходило еще более грубо, чем всегда. — Те… Тетечка.

Она не слыхала, и Сашка нетерпеливо дернул ее за платье.

— Чего тебе? Зачем ты дергаешь меня за платье? — удивилась седая дама. — Это невежливо.

— Те… тетечка. Дай мне одну штуку с елки, — ангелочка.

— Нельзя, — равнодушно ответила хозяйка. — Елку будем на Новый год разбирать. И ты уже не маленький и можешь звать меня по имени, Марьей Дмитриевной.

Сашка чувствовал, что он падает в пропасть, и ухватился за последнее средство.

— Я раскаиваюсь. Я буду учиться, — отрывисто говорил он.

Но эта формула, оказывавшая благотворное влияние на учителей, на седую даму не произвела впечатления.

— И хорошо сделаешь, мой друг, — ответила она так же равнодушно.

Сашка грубо сказал:

— Дай ангелочка.

— Да нельзя же! — говорила хозяйка. — Как ты этого не понимаешь?

Но Сашка не понимал, и, когда дама повернулась к выходу, Сашка последовал за ней, бессмысленно глядя на ее черное, шелестящее платье. В его горячечно работавшем мозгу мелькнуло воспоминание, как один гимназист его класса просил учителя поставить тройку, а когда получил отказ, стал перед учителем на колени, сложил руки ладонь к ладони, как на молитве, и заплакал. Тогда учитель рассердился, но тройку все-таки поставил. Своевременно Сашка увековечил эпизод в карикатуре, но теперь иного средства не оставалось. Сашка дернул тетку за платье и, когда она обернулась, упал со стуком на колени и сложил руки вышеупомянутым способом. Но заплакать не мог.

— Да ты с ума сошел! — воскликнула седая дама и оглянулась: по счастью, в кабинете никого не было. — Что с тобой?

Стоя на коленях, со сложенными руками, Сашка с ненавистью посмотрел на нее и грубо потребовал:

— Дай ангелочка!

Глаза Сашкины, впившиеся в седую даму и ловившие на ее губах первое слово, которое они произнесут, были очень нехороши, и хозяйка поспешила ответить:

— Ну, дам, дам. Ах, какой ты глупый! Конечно, я дам тебе, что ты просишь, но почему ты не хочешь подождать до Нового года? Да вставай же! И никогда, — поучительно добавила седая дама, — не становись на колени: это унижает человека. На колени можно становиться только перед Богом.

«Толкуй там», — думал Сашка, стараясь опередить тетку и наступая ей на платье.

Когда она сняла игрушку, Сашка впился в нее глазами, болезненно сморщил нос и растопырил пальцы. Ему казалось, что высокая дама сломает ангелочка.

— Красивая вещь, — сказала дама, которой стало жаль изящной и, по-видимому, дорогой игрушки. — Кто это повесил ее сюда? Ну, послушай, зачем эта игрушка тебе? Ведь ты такой большой, что будешь ты с нею делать?.. Вон там книги есть, с рисунками. А это я обещала Коле отдать, он так просил, — солгала она.

Терзания Сашки становились невыносимыми. Он судорожно стиснул зубы и, показалось, даже скрипнул ими. Седая дама больше всего боялась сцен и потому медленно протянула к Сашке ангелочка.

— Ну, на уж, на, — с неудовольствием сказала она. — Какой настойчивый!

Обе руки Сашки, которыми он взял ангелочка, казались цепкими и напряженными, как две стальные пружины, но такими мягкими и осторожными, что ангелочек мог вообразить себя летящим по воздуху.

— А-ах! — вырвался продолжительный, замирающий вздох из груди Сашки, и на глазах его сверкнули две маленькие слезинки и остановились там, непривычные к свету. Медленно приближая ангелочка к своей груди, он не сводил сияющих глаз с хозяйки и улыбался тихой и кроткой улыбкой, замирая в чувстве неземной радости. Казалось, что когда нежные крылышки ангелочка прикоснутся к впалой груди Сашки, то случится что-то такое радостное, такое светлое, какого никогда еще не происходило на печальной, грешной и страдающей земле.

— А-ах! — пронесся тот же замирающий стон, когда крылышки ангелочка коснулись Сашки. И перед сиянием его лица словно потухла сама нелепо разукрашенная, нагло горящая елка, — и радостно улыбнулась седая, важная дама, и дрогнул сухим лицом лысый господин, и замерли в живом молчании дети, которых коснулось веяние человеческого счастья. И в этот короткий момент все заметили загадочное сходство между неуклюжим, выросшим из своего платья гимназистом и одухотворенным рукой неведомого художника личиком ангелочка.

Но в следующую минуту картина резко изменилась. Съежившись, как готовящаяся к прыжку пантера, Сашка мрачным взглядом обводил окружающих, ища того, кто осмелится отнять у него ангелочка.

— Я домой пойду, — глухо сказал Сашка, намечая путь в толпе. — К отцу.

Мать спала, обессилев от целого дня работы и выпитой водки. В маленькой комнатке, за перегородкой, горела на столе кухонная лампочка, и слабый желтоватый свет ее с трудом проникал через закопченное стекло, бросая странные тени на лицо Сашки и его отца.

— Хорош? — спрашивал шепотом Сашка.

Он держал ангелочка в отдалении и не позволял отцу дотрогиваться.

— Да, в нем есть что-то особенное, — шептал отец, задумчиво всматриваясь в игрушку.

Его лицо выражало то же сосредоточенное внимание и радость, как и лицо Сашки.

— Ты погляди, — продолжал отец, — он сейчас полетит.

— Видел уже, — торжествующе ответил Сашка. — Думаешь, слепой? А ты на крылышки глянь. Цыц, не трогай!

Отец отдернул руку и темными глазами изучал подробности ангелочка, пока Саша наставительно шептал:

— Экая, братец, у тебя привычка скверная за все руками хвататься. Ведь сломать можешь!

На стене вырезывались уродливые и неподвижные тени двух склонившихся голов: одной большой и лохматой, другой маленькой и круглой. В большой голове происходила странная, мучительная, но в то же время радостная работа. Глаза, не мигая, смотрели на ангелочка, и под этим пристальным взглядом он становился больше и светлее, и крылышки его начинали трепетать бесшумным трепетаньем, а все окружающее — бревенчатая, покрытая копотью стена, грязный стол, Сашка, — все это сливалось в одну ровную серую массу, без теней, без света. И чудилось погибшему человеку, что он услышал жалеющий голос из того чудного мира, где он жил когда-то и откуда был навеки изгнан. Там не знают о грязи и унылой брани, о тоскливой, слепо-жестокой борьбе эгоизмов; там не знают о муках человека, поднимаемого со смехом на улице, избиваемого грубыми руками сторожей. Там чисто, радостно и светло, и все это чистое нашло приют в душе ее, той, которую он любил больше жизни и потерял, сохранив ненужную жизнь. К запаху воска, шедшему от игрушки, примешивался неуловимый аромат, и чудилось погибшему человеку, как прикасались к ангелочку ее дорогие пальцы, которые он хотел бы целовать по одному и так долго, пока смерть не сомкнет его уста навсегда. Оттого и была так красива эта игрушечка, оттого и было в ней что-то особенное, влекущее к себе, не передаваемое словами. Ангелочек спустился с неба, на котором была его душа, и внес луч света в сырую, пропитанную чадом комнату и в черную душу человека, у которого было отнято все: и любовь, и счастье, и жизнь.

И рядом с глазами отжившего человека сверкали глаза начинающего жить и ласкали ангелочка. И для них исчезло настоящее и будущее: и вечно печальный и жалкий отец, и грубая, невыносимая мать, и черный мрак обид, жестокостей, унижений и злобствующей тоски. Бесформенны, туманны были мечты Сашки, но тем глубже волновали они его смятенную душу. Все добро, сияющее над миром, все глубокое горе и надежду тоскующей о Боге души впитал в себя ангелочек, и оттого он горел таким мягким божественным светом, оттого трепетали бесшумным трепетаньем его прозрачные стрекозиные крылышки.

Отец и сын не видели друг друга; по-разному тосковали, плакали и радовались их больные сердца, но было что-то в их чувстве, что сливало воедино сердца и уничтожало бездонную пропасть, которая отделяет человека от человека и делает его таким одиноким, несчастным и слабым. Отец несознаваемым движением положил руку на шею сына, и голова последнего так же невольно прижалась к чахоточной груди.

— Это она дала тебе? — прошептал отец, не отводя глаз от ангелочка.

В другое время Сашка ответил бы грубым отрицанием, но теперь в душе его сам собой прозвучал ответ, и уста спокойно произнесли заведомую ложь.

— А то кто же? Конечно, она.

Отец молчал; замолк и Сашка. Что-то захрипело в соседней комнате, затрещало, на миг стихло, и часы бойко и торопливо отчеканили: час, два, три.

— Сашка, ты видишь когда-нибудь сны? — задумчиво спросил отец.

— Нет, — сознался Сашка. — А, нет, раз видел: с крыши упал. За голубями лазили, я и сорвался.

— А я постоянно вижу. Чудные бывают сны. Видишь все, что было, любишь и страдаешь, как наяву…

Он снова замолк, и Сашка почувствовал, как задрожала рука, лежавшая на его шее. Все сильнее дрожала и дергалась она, и чуткое безмолвие ночи внезапно нарушилось всхлипывающим, жалким звуком сдерживаемого плача. Сашка сурово задвигал бровями и осторожно, чтобы не потревожить тяжелую, дрожащую руку, сковырнул с глаза слезинку. Так странно было видеть, как плачет большой и старый человек.

— Ах, Саша, Саша! — всхлипывал отец. — Зачем все это?

— Ну, что еще? — сурово прошептал Сашка. — Совсем, ну совсем как маленький.

— Не буду… не буду, — с жалкой улыбкой извинился отец. — Что уж… зачем?

Заворочалась на своей постели Феоктиста Петровна. Она вздохнула и забормотала громко и странно-настойчиво: «Дерюжку держи… держи, держи, держи». Нужно было ложиться спать, но до этого устроить на ночь ангелочка. На земле оставлять его было невозможно; он был повешен на ниточке, прикрепленной к отдушине печки, и отчетливо рисовался на белом фоне кафелей. Так его могли видеть оба — и Сашка и отец. Поспешно набросав в угол всякого тряпья, на котором он спал, отец так же быстро разделся и лег на спину, чтобы поскорее начать смотреть на ангелочка.

— Что же ты не раздеваешься? — спросил отец, зябко кутаясь в прорванное одеяло и поправляя наброшенное на ноги пальто.

— Не к чему. Скоро встану.

Сашка хотел добавить, что ему совсем не хочется спать, но не успел, так как заснул с такой быстротой, точно пошел ко дну глубокой и быстрой реки. Скоро заснул и отец. Кроткий покой и безмятежность легли на истомленное лицо человека, который отжил, и смелое личико человека, который еще только начинал жить.

А ангелочек, повешенный у горячей печки, начал таять. Лампа, оставленная гореть по настоянию Сашки, наполняла комнату запахом керосина и сквозь закопченное стекло бросала печальный свет на картину медленного разрушения. Ангелочек как будто шевелился. По розовым ножкам его скатывались густые капли и падали на лежанку. К запаху керосина присоединился тяжелый запах топленого воска. Вот ангелочек встрепенулся, словно для полета, и упал с мягким стуком на горячие плиты. Любопытный прусак пробежал, обжигаясь, вокруг бесформенного слитка, взобрался на стрекозиное крылышко и, дернув усиками, побежал дальше.

В завешенное окно пробивался синеватый свет начинающегося дня, и на дворе уже застучал железным черпаком зазябший водовоз.

Антон Чехов

# **ТОЛСТЫЙ И ТОНКИЙ**

На вокзале Николаевской железной дороги встретились два приятеля: один толстый, другой тонкий. Толстый только что пообедал на вокзале, и губы его, подернутые маслом, лоснились, как спелые вишни. Пахло от него хересом и флер-д'оранжем. Тонкий же только что вышел из вагона и был навьючен чемоданами, узлами и картонками. Пахло от него ветчиной и кофейной гущей. Из-за его спины выглядывала худенькая женщина с длинным подбородком — его жена, и высокий гимназист с прищуренным глазом — его сын.— Порфирий! — воскликнул толстый, увидев тонкого.— Ты ли это? Голубчик мой! Сколько зим, сколько лет!— Батюшки! — изумился тонкий.— Миша! Друг детства! Откуда ты взялся?Приятели троекратно облобызались и устремили друг на друга глаза, полные слез. Оба были приятно ошеломлены.— Милый мой! — начал тонкий после лобызания.— Вот не ожидал! Вот сюрприз! Ну, да погляди же на меня хорошенько! Такой же красавец, как и был! Такой же душонок и щеголь! Ах ты, господи! Ну, что же ты? Богат? Женат? Я уже женат, как видишь... Это вот моя жена, Луиза, урожденная Ванценбах... лютеранка... А это сын мой, Нафанаил, ученик III класса. Это, Нафаня, друг моего детства! В гимназии вместе учились!Нафанаил немного подумал и снял шапку.— В гимназии вместе учились! — продолжал тонкий.— Помнишь, как тебя дразнили? Тебя дразнили Геростратом за то, что ты казенную книжку папироской прожег, а меня Эфиальтом за то, что я ябедничать любил. Хо-хо... Детьми были! Не бойся, Нафаня! Подойди к нему поближе... А это моя жена, урожденная Ванценбах... лютеранка.Нафанаил немного подумал и спрятался за спину отца.— Ну, как живешь, друг? — спросил толстый, восторженно глядя на друга.— Служишь где? Дослужился?— Служу, милый мой! Коллежским асессором уже второй год и Станислава имею. Жалованье плохое... ну, да бог с ним! Жена уроки музыки дает, я портсигары приватно из дерева делаю. Отличные портсигары! По рублю за штуку продаю. Если кто берет десять штук и более, тому, понимаешь, уступка. Пробавляемся кое-как. Служил, знаешь, в департаменте, а теперь сюда переведен столоначальником по тому же ведомству... Здесь буду служить. Ну, а ты как? Небось, уже статский? А?— Нет, милый мой, поднимай повыше,— сказал толстый.— Я уже до тайного дослужился... Две звезды имею.Тонкий вдруг побледнел, окаменел, но скоро лицо его искривилось во все стороны широчайшей улыбкой; казалось, что от лица и глаз его посыпались искры. Сам он съежился, сгорбился, сузился... Его чемоданы, узлы и картонки съежились, поморщились... Длинный подбородок жены стал еще длиннее; Нафанаил вытянулся во фрунт и застегнул все пуговки своего мундира...— Я, ваше превосходительство... Очень приятно-с! Друг, можно сказать, детства и вдруг вышли в такие вельможи-с! Хи-хи-с.— Ну, полно! — поморщился толстый.— Для чего этот тон? Мы с тобой друзья детства — и к чему тут это чинопочитание!— Помилуйте... Что вы-с...— захихикал тонкий, еще более съеживаясь.— Милостивое внимание вашего превосходительства... вроде как бы живительной влаги... Это вот, ваше превосходительство, сын мой Нафанаил... жена Луиза, лютеранка, некоторым образом...Толстый хотел было возразить что-то, но на лице у тонкого было написано столько благоговения, сладости и почтительной кислоты, что тайного советника стошнило. Он отвернулся от тонкого и подал ему на прощанье руку.Тонкий пожал три пальца, поклонился всем туловищем и захихикал, как китаец: «хи-хи-хи». Жена улыбнулась. Нафанаил шаркнул ногой и уронил фуражку. Все трое были приятно ошеломлены.

Андрей Платонов

# **КОРОВА**

Серая степная корова черкасской породы жила одна в сарае. Этот сарай, сделанный из выкрашенных снаружи досок, стоял на маленьком дворе путевого железнодорожного сторожа. В сарае, рядом с дровами, сеном, просяной соломой и отжившими свой век домашними вещами — сундуком без крышки, прогоревшей самоварной трубой, одежной ветошью, стулом без ножек, — было место для ночлега коровы и для ее жизни в долгие зимы.Днем и вечером к ней в гости приходил мальчик Вася Рубцов, сын хозяина, и гладил ее по шерсти около головы. Сегодня он тоже пришел.— Корова, корова, — говорил он, потому что у коровы не было своего имени, и он называл ее, как было написано в книге для чтения. — Ты ведь корова!.. Ты не скучай, твой сын выздоровеет, его нынче отец назад приведет.У коровы был теленок — бычок; он вчерашний день подавился чем-то, и у него стала идти изо рта слюна и желчь. Отец побоялся, что теленок падет, и повел его сегодня на станцию — показать ветеринару.Корова смотрела вбок на мальчика и молчала, жуя давно иссохшую, замученную смертью былинку. Она всегда узнавала мальчика, он любил ее. Ему нравилось в корове все, что в ней было, — добрые теплые глаза, обведенные темными кругами, словно корова была постоянно утомлена или задумчива, рога, лоб и ее большое худое тело, которое было таким потому, что свою силу корова не собирала для себя в жир и в мясо, а отдавала ее в молоко и в работу. Мальчик поглядел еще на нежное, покойное вымя с маленькими осохшими сосками, откуда он кормился молоком, и потрогал крепкий короткий подгрудок и выступы сильных костей спереди.Посмотрев немного на мальчика, корова нагнула голову и взяла из корыта нежадным ртом несколько былинок. Ей было некогда долго глядеть в сторону или отдыхать, она должна жевать беспрерывно, потому что молоко в ней рожалось тоже беспрерывно, а пища была худой, однообразной, и корове нужно с нею долго трудиться, чтобы напитаться.Вася ушел из сарая. На дворе стояла осень. Вокруг дома путевого сторожа простирались ровные, пустые поля, отрожавшие и отшумевшие за лето и теперь выкошенные, заглохшие и скучные.Сейчас начинались вечерние сумерки; небо, покрытое серой прохладной наволочью, уже смежалось тьмою; ветер, что весь день шевелил остья скошенных хлебов и голые кусты, омертвевшие на зиму, теперь сам улегся в тихих, низких местах земли и лишь еле-еле поскрипывал флюгаркой на печной трубе, начиная песнь осени.Одноколейная линия железной дороги пролегла невдалеке от дома, возле палисадника, в котором в эту пору уже все посохло и поникло — и трава и цветы. Вася остерегался заходить в огорожу палисадника: он ему казался теперь кладбищем растений, которые он посадил и вывел на жизнь весной.Мать зажгла лампу в доме и выставила сигнальный фонарь наружу, на скамейку.— Скоро четыреста шестой пойдет, — сказала она сыну, — ты его проводи. Отца-то что-то не видать... Уж не загулял ли?Отец ушел с теленком на станцию, за семь километров, еще с утра; он, наверно, сдал ветеринару теленка, а сам на станционном собрании сидит, либо пиво в буфете пьет, либо на консультацию по техминимуму пошел. А может быть, очередь на ветпункте большая и отец ожидает. Вася взял фонарь и сел на деревянную перекладину у переезда. Поезда еще не было слышно, и мальчик огорчился; ему некогда было сидеть тут и провожать поезда: ему пора было готовить уроки к завтрашнему дню и ложиться спать, а то утром надо рано подниматься. Он ходил в колхозную семилетку за пять километров от дома и учился там в четвертом классе.Вася любил ходить в школу, потому что, слушая учительницу и читая книги, он воображал в своем уме весь мир, которого он еще не знал, который был вдали от него. Нил, Египет, Испания и Дальний Восток, великие реки — Миссисипи, Енисей, тихий Дон и Амазонка, Аральское море, Москва, гора Арарат, остров Уединения в Ледовитом океане — все это волновало Васю и влекло к себе. Ему казалось, что все страны и люди давно ожидают, когда он вырастет и придет к ним. Но он еще нигде не успел побывать: родился он здесь же, где жил и сейчас, а был только в колхозе, в котором находилась школа, и на станции. Поэтому с тревогой и радостью он всматривался в лица людей, глядящих из окон пассажирских поездов, — кто они такие и что они думают, — но поезда шли быстро, и люди проезжали в них не узнанными мальчиком на переезде. Кроме того, поездов было мало, всего две пары в сутки, а из них три поезда проходили ночью.Однажды, благодаря тихому ходу поезда, Вася явственно разглядел лицо молодого задумчивого человека. Он смотрел через открытое окно в степь, в незнакомое для него место на горизонте и курил трубку. Увидев мальчика, стоявшего на переезде с поднятым зеленым флажком, он улыбнулся ему и ясно сказал: «До свиданья, человек!» — и еще помахал на память рукою. «До свиданья, — ответил ему Вася про себя, — вырасту, увидимся! Ты поживи и обожди меня, не умирай!» И затем долгое время мальчик вспоминал этого задумчивого человека, уехавшего в вагоне неизвестно куда; он, наверное, был парашютист, артист, или орденоносец, или еще лучше, так думал про него Вася. Но вскоре память о человеке, миновавшем однажды их дом, забылась в сердце мальчика, потому что ему надо было жить дальше и думать и чувствовать другое.Далеко — в пустой ночи осенних полей — пропел паровоз. Вася вышел поближе к линии и высоко над головой поднял светлый сигнал свободного прохода. Он слушал еще некоторое время растущий гул бегущего поезда и затем обернулся к своему дому. На их дворе жалобно замычала корова. Она все время ждала своего сына — теленка, а он не приходил. «Где же это отец так долго шатается! — с недовольством подумал Вася. — Наша корова ведь уже плачет! Ночь, темно, а отца все нет».Паровоз достиг переезда и, тяжко проворачивая колеса, дыша всею силой своего огня во тьму, миновал одинокого человека с фонарем в руке. Механик и не посмотрел на мальчика, — далеко высунувшись из окна, он следил за машиной: пар пробил набивку в сальнике поршневого штока и при каждом ходе поршня вырывался наружу. Вася это тоже заметил. Скоро будет затяжной подъем, и машине с неплотностью в цилиндре тяжело будет вытягивать состав. Мальчик знал, отчего работает паровая машина, он прочитал про нее в учебнике по физике, а если бы там не было про нее написано, он все равно бы узнал о ней, что она такое. Его мучило, если он видел какой-либо предмет или вещество и не понимал, отчего они живут внутри себя и действуют. Поэтому он не обиделся на машиниста, когда тот проехал мимо и не поглядел на его фонарь; у машиниста была забота о машине, паровоз может стать ночью на долгом подъеме, и тогда ему трудно будет стронуть поезд вперед; при остановке вагоны отойдут немного назад, состав станет врастяжку, и его можно разорвать, если сильно взять с места, а слабо его вовсе не сдвинешь.Мимо Васи пошли тяжелые четырехосные вагоны; их рессорные пружины были сжаты, и мальчик понимал, что в вагонах лежит тяжелый дорогой груз. Затем поехали открытые платформы: на них стояли автомобили, неизвестные машины, покрытые брезентом, был насыпан уголь, горой лежали кочаны капусты, после капусты были новые рельсы и опять начались закрытые вагоны, в которых везли живность. Вася светил фонарем на колеса и буксы вагонов — не было ли там чего неладного, но там было все благополучно. Из одного вагона с живностью закричала чужая безвестная телушка, и тогда из сарая ей ответила протяжным, плачущим голосом корова, тоскующая о своем сыне.Последние вагоны прошли мимо Васи совсем тихо. Слышно было, как паровоз в голове поезда бился в тяжелой работе, колеса его буксовали и состав не натягивался. Вася направился с фонарем к паровозу, потому что машине было трудно, и он хотел побыть около нее, словно этим он мог разделить ее участь.Паровоз работал с таким напряжением, что из трубы его вылетали кусочки угля и слышалась гулкая дышащая внутренность котла. Колеса машины медленно проворачивались, и механик следил за ними из окна будки. Впереди паровоза шел по пути помощник машиниста. Он брал лопатой песок из балластного слоя и сыпал его на рельсы, чтобы машина не буксовала. Свет передних паровозных фонарей освещал черного, измазанного в мазуте, утомленного человека. Вася поставил свой фонарь на землю и вышел на балласт к работающему с лопатой помощнику машиниста.— Дай, я буду, — сказал Вася. — А ты ступай помогай паровозу. А то вот-вот он остановится.— А сумеешь? — спросил помощник, глядя на мальчика большими светлыми глазами из своего глубокого темного лица. — Ну попробуй! Только осторожней, оглядывайся на машину!Лопата была велика и тяжела для Васи. Он отдал ее обратно помощнику.— Я буду руками, так легче.Вася нагнулся, нагреб песку в горсти и быстро насыпал его полосой на головку рельса.— Посыпай на оба рельса, — указал ему помощник и побежал на паровоз.Вася стал сыпать по очереди, то на один рельс, то на другой. Паровоз тяжело, медленно шел вслед за мальчиком, растирая песок стальными колесами. Угольная гарь и влага из охлажденного пара падали сверху на Васю, но ему было интересно работать, он чувствовал себя важнее паровоза, потому что сам паровоз шел за ним и лишь благодаря ему не буксовал и не останавливался.Если Вася забывался в усердии работы и паровоз к нему приближался почти вплотную, то машинист давал короткий гудок и кричал с машины: «Эй, оглядывайся!.. Сыпь погуще, поровней!»Вася берегся машины и молча работал. Но потом он рассерчал, что на него кричат и приказывают; он сбежал с пути и сам закричал машинисту:— А вы чего без песка поехали? Иль не знаете!..— Он у нас весь вышел, — ответил машинист. — У нас посуда для него мала.— Добавочную поставьте, — указал Вася, шагая рядом с паровозом. — Из старого железа можно согнуть и сделать. Вы кровельщику закажите.Машинист поглядел на этого мальчика, но во тьме не увидел его хорошо. Вася был одет исправно и обут в башмаки, лицо имел небольшое и глаз не сводил с машины. У машиниста у самого дома такой же мальчишка рос.— И пар у вас идет, где не нужно; из цилиндра, из котла дует сбоку, — говорил Вася. — Только зря сила в дырки пропадает.— Ишь ты! — сказал машинист. — А ты садись веди состав, а я рядом пойду.— Давай! — обрадованно согласился Вася.Паровоз враз, во всю полную скорость, завертел колесами на месте, точно узник, бросившийся бежать на свободу, даже рельсы под ним далеко загремели по линии.Вася выскочил опять вперед паровоза и начал бросать песок на рельсы, под передние бегунки машины. «Не было бы своего сына, я бы усыновил этого, — бормотал машинист, укрощая буксованье паровоза. — Он с малолетства уже полный человек, а у него еще все впереди... Что за черт: не держат ли еще тормоза где-нибудь в хвосте, а бригада дремлет, как на курорте. Ну, я ее на уклоне растрясу».Машинист дал два длинных гудка — чтобы отдали тормоза в составе, если где зажато.Вася оглянулся и сошел с пути.— Ты что же? — крикнул ему машинист.— Ничего, — ответил Вася. — Сейчас не круто будет, паровоз без меня поедет, сам, а потом под гору...— Все может быть, — произнес сверху машинист. — На, возьми-ка! — И он бросил мальчику два больших яблока.Вася поднял с земли угощенье.— Обожди, не ешь! — сказал ему машинист. — Пойдешь назад, глянь под вагоны и послушай, пожалуйста: не зажаты ли где тормоза. А тогда выйди на бугорок, сделай мне сигнал своим фонарем — знаешь как?— Я все сигналы знаю, — ответил Вася и уцепился за трап паровоза, чтобы прокатиться. Потом он наклонился и поглядел куда-то под паровоз.— Зажато! — крикнул он.— Где? — спросил машинист.— У тебя зажато — тележка под тендером! Там колеса крутятся тихо, а на другой тележке шибче!Машинист выругал себя, помощника и всю жизнь целиком, а Вася соскочил с трапа и пошел домой.Вдалеке светился на земле его фонарь. На всякий случай Вася послушал, как работают ходовые части вагонов, но нигде не услышал, чтобы терлись и скрежетали тормозные колодки.Состав прошел, и мальчик обернулся к месту, где был его фонарь. Свет от него вдруг поднялся в воздух, фонарь взял в руки какой-то человек. Вася добежал туда и увидел своего отца.— А телок наш где? — спросил мальчик у отца. — Он умер?— Нет, он поправился, — ответил отец. — Я его на убой продал, мне цену хорошую дали. К чему нам бычок!— Он еще маленький, — произнес Вася.— Маленький дороже, у него мясо нежней, — объяснил отец. Вася переставил стекло в фонаре, белое заменил зеленым и несколько раз медленно поднял сигнал над головою и опустил вниз, обратив его свет в сторону ушедшего поезда: пусть он едет дальше, колеса под вагонами идут свободно, они нигде не зажаты.Стало тихо. Уныло и кротко промычала корова во дворе. Она не спала в ожидании своего сына.— Ступай один домой, — сказал отец Васе, — а я наш участок обойду.— А инструмент? — напомнил Вася.— Я так; я погляжу только, где костыли повышли, а работать нынче не буду, — тихо сказал отец. — У меня душа по теленку болит: растили-растили его, уж привыкли к нему... Знал бы, что жалко его будет, не продал бы...И отец пошел с фонарем по линии, поворачивая голову то направо, то налево, осматривая путь.Корова опять протяжно заныла, когда Вася открыл калитку во двор и корова услышала человека.Вася вошел в сарай и присмотрелся к корове, привыкая глазами ко тьме. Корова теперь ничего не ела; она молча и редко дышала, и тяжкое, трудное горе томилось в ней, которое было безысходным и могло только увеличиваться, потому что свое горе она не умела в себе утешить ни словом, ни сознанием, ни другом, ни развлечением, как это может делать человек. Вася долго гладил и ласкал корову, но она оставалась неподвижной и равнодушной: ей нужен был сейчас только один ее сын — теленок, и ничего не могло заменить его — ни человек, ни трава и ни солнце. Корова не понимала, что можно одно счастье забыть, найти другое и жить опять, не мучаясь более. Ее смутный ум не в силах был помочь ей обмануться: что однажды вошло в сердце или в чувство ее, то не могло быть там подавлено или забыто.И корова уныло мычала, потому что она была полностью покорна жизни, природе и своей нужде в сыне, который еще не вырос, чтобы она могла оставить его, и ей сейчас было жарко и больно внутри, она глядела во тьму большими налитыми глазами и не могла ими заплакать, чтобы обессилить себя и свое горе.Утром Вася ушел спозаранку в школу, а отец стал готовить к работе небольшой однолемешный плуг. Отец хотел запахать на корове немного земли в полосе отчуждения, чтобы по весне посеять там просо.Возвратившись из школы, Вася увидел, что отец пашет на корове, но запахал мало. Корова покорно волочила плуг и, склонив голову, капала слюной на землю. На своей корове Вася с отцом работали и раньше; она умела пахать и была привычна и терпелива ходить в ярме.К вечеру отец распряг корову и пустил ее попастись на жнивье по старополью. Вася сидел в доме за столом, делал уроки и время от времени поглядывал в окно — он видел свою корову. Она стояла на ближнем поле, не паслась и ничего не делала.Вечер наступил такой же, какой был вчера, сумрачный и пустой, и флюгарка поскрипывала на крыше, точно напевая долгую песнь осени. Уставившись глазами в темнеющее поле, корова ждала своего сына; она уже теперь не мычала по нем и не звала его, она терпела и не понимала.Поделав уроки, Вася взял ломоть хлеба, посыпал его солью и понес корове. Корова не стала есть хлеб и осталась равнодушной, как была. Вася постоял около нее, а потом обнял корову снизу за шею, чтоб она знала, что он понимает и любит ее. Но корова резко дернула шеей, отбросила от себя мальчика и, вскрикнув непохожим горловым голосом, побежала в поле. Убежав далеко, корова вдруг повернула обратно и, то прыгая, то припадая передними ногами и прижимаясь головой к земле, стала приближаться к Васе, ожидавшему ее на прежнем месте.Корова пробежала мимо мальчика, мимо двора и скрылась в вечернем поле, и оттуда еще раз Вася услышал ее чужой горловой голос.Мать, вернувшаяся из колхозного кооператива, отец и Вася до самой полночи ходили в разные стороны по окрестным полям и кликали свою корову, но корова им не отвечала, ее не было. После ужина мать заплакала, что пропала их кормилица и работница, а отец стал думать о том, что придется, видно, писать заявление в кассу взаимопомощи и в дорпрофсож, чтоб выдали ссуду на обзаведение новой коровой.Утром Вася проснулся первым, еще был серый свет в окнах. Он расслышал, что около дома кто-то дышит и шевелится в тишине. Он посмотрел в окно и увидел корову; она стояла у ворот и ожидала, когда ее впустят домой...С тех пор корова хотя и жила и работала, когда приходилось пахать или съездить за мукой в колхоз, но молоко у нее пропало вовсе, и она стала угрюмой и непонятливой. Вася ее сам поил, сам задавал корм и чистил, но корова не отзывалась на его заботу, ей было все равно, что делают с ней.Среди дня корову выпускали в поле, чтоб она походила на воле и чтоб ей стало лучше. Но корова ходила мало; она подолгу стояла на месте, затем шла немного и опять останавливалась, забывая ходить. Однажды она вышла на линию и тихо пошла по шпалам, тогда отец Васи увидел ее, окоротил и свел на сторону. А раньше корова была робкая, чуткая и никогда сама не выходила на линию. Вася поэтому стал бояться, что корову может убить поездом или она сама помрет, и, сидя в школе, он все думал о ней, а из школы бежал домой бегом.И один раз, когда были самые короткие дни и уже смеркалось, Вася, возвращаясь из школы, увидел, что против их дома стоит товарный поезд. Встревоженный, он сразу побежал к паровозу.Знакомый машинист, которому Вася помогал недавно вести состав, и отец Васи вытаскивали из-под тендера убитую корову. Вася сел на землю и замер от горя первой близкой смерти.— Я ведь ей минут десять свистки давал, — говорил машинист отцу Васи. — Она глухая у тебя или дурная, что ль? Весь состав пришлось сажать на экстренное торможение, и то не успел.— Она не глухая, она шалая, — сказал отец. — Задремала, наверно, на путях.— Нет, она бежала от паровоза, но тихо и в сторону не сообразила свернуть, — ответил машинист. — Я думал, она сообразит.Вместе с помощником и кочегаром, вчетвером, они выволокли изуродованное туловище коровы из-под тендера и свалили всю говядину наружу, в сухую канаву около пути.— Она ничего, свежая, — сказал машинист. — Себе засолишь мясо или продашь?— Продать придется, — решил отец. — На другую корову надо деньги собирать, без коровы трудно.— Без нее тебе нельзя, — согласился машинист. — Собирай деньги и покупай, я тебе тоже немного деньжонок подброшу. Много у меня нет, а чуть-чуть найдется. Я скоро премию получу.— Это за что ж ты мне денег дашь? — удивился отец Васи. — Я тебе не родня, никто... Да я и сам управлюсь: профсоюз, касса, служба, сам знаешь — оттуда, отсюда...— Ну, а я добавлю, — настаивал машинист. — Твой сын мне помогал, а я вам помогу. Вон он сидит. Здравствуй! — улыбнулся механик.— Здравствуй, — ответил ему Вася.— Я еще никого в жизни не давил, — говорил машинист, — один раз — собаку... Мне самому тяжело на сердце будет, если вам ничем за корову не отплачу.— А за что ты премию получишь? — спросил Вася. — Ты ездишь плохо.— Теперь немного лучше стал, — засмеялся машинист. — Научился!— Поставили другую посуду для песка? — спросил Вася.— Поставили: маленькую песочницу на большую сменили! — ответил машинист.— Насилу догадались, — сердито сказал Вася.Здесь пришел главный кондуктор и дал машинисту бумагу, которую он написал, о причине остановки поезда на перегоне.На другой день отец продал в сельский районный кооператив всю тушу коровы; приехала чужая подвода и забрала ее. Вася и отец поехали вместе с этой подводой. Отец хотел получить деньги за мясо, а Вася думал купить себе в магазине книг для чтения. Они заночевали в районе и провели там еще полдня, делая покупки, а после обеда пошли ко двору.Идти им надо было через тот колхоз, где была семилетка, в которой учился Вася. Уже стемнело вовсе, когда отец и сын добрались до колхоза, поэтому Вася не пошел домой, а остался ночевать у школьного сторожа, чтобы не идти завтра спозаранку обратно и не мориться зря. Домой ушел один отец.В школе с утра начались проверочные испытания за первую четверть. Ученикам задали написать сочинение из своей жизни.Вася написал в тетради: «У нас была корова. Когда она жила, из нее ели молоко мать, отец и я. Потом она родила себе сына — теленка, и он тоже ел из нее молоко, мы трое и он четвертый, а всем хватало. Корова еще пахала и возила кладь. Потом ее сына продали на мясо. Корова стала мучиться, но скоро умерла от поезда. И ее тоже съели, потому что она говядина. Корова отдала нам все, то есть молоко, сына, мясо, кожу, внутренности и кости, она была доброй. Я помню нашу корову и не забуду».Ко двору Вася вернулся в сумерки. Отец был уже дома, он только что пришел с линии; он показывал матери сто рублей, две бумажки, которые ему бросил с паровоза машинист в табачном кисете.

Виктор Астафьев.

Монах в новых штанах   
     Мне велено перебирать картошки. Бабушка определила норму, или упряг, как назвала она задание. Упряг этот отмечен двумя брюквами, лежащими по ту и по другую сторону продолговатого сусека, и до брюкв тех все равно что до другого берега Енисея. Когда я доберусь до брюкв, одному Богу известно. Может, меня и в живых к той поре не будет!   
     В подвале земляная, могильная тишина, по стенам плесень, на потолке сахаристый куржак. Так и хочется взять его на язык. Время от времени он ни с того ни с сего осыпается сверху, попадает за воротник, липнет к телу и тает. Тоже хорошего мало. В самой яме, где сусеки с овощами и кадки с капустой, огурцами и рыжиками, куржак висит на нитках паутины, и когда я гляжу вверх, мне кажется, что нахожусь я в сказочном царстве, в тридевятом государстве, а когда я гляжу вниз, сердце мое кровью обливается и берет меня большая-большая тоска.   
     Кругом здесь картошки. И перебирать их надо, картошки-то. Гнилую полагается кидать в плетеный короб, крупную -- в мешки, помельче -- швырять в угол этого огромного, словно двор, сусека, в котором я сижу, может, целый месяц и помру скоро, и тогда узнают все, как здесь оставлять ребенка одного, да еще сироту к тому же.   
     Конечно, я уже не ребенок и работаю не зазря. Картошки, что покрупнее, отбираются для продажи в город. Бабушка посулилась на вырученные деньги купить мануфактуры и сшить мне новые штаны с карманом.   
     Я вижу себя явственно в этих штанах, нарядного, красивого. Рука моя в кармане, и я хожу по селу и не вынимаю руку, если что надо, положить -- биту-бабку либо деньгу, -- я кладу только в карман, из кармана уж никакая ценность не выпадет и не утеряется.   
     Штанов с карманом, да еще новых, у меня никогда не бывало. Мне все перешивают старое. Мешок покрасят и перешьют, бабью юбку, вышедшую из носки, или еще чего-нибудь. Один раз полушалок употребили даже. Покрасили его и сшили, он полинял потом и сделалось видно клетки. Засмеяли меня всего левонтьевские ребята. Им что, дай позубоскалить!   
     Интересно знать мне, какие они будут, штаны, синие или черные? И карман у них будет какой -- наружный или внутренний? Наружный, конечно. Станет бабушка нозиться с внутренним! Ей некогда все. Родню надо обойти. Указать всем. Генерал!   
     Вот умчалась куда-то опять, а я тут сиди, трудисьСначала мне страшно было в этом глубоком и немом подвале. Все казалось, будто в сумрачных прелых углах кто-то спрятался, и я боялся пошевелиться и кашлянуть боялся. Потом осмелел, взял маленькую лампешку без стекла, оставленную бабушкой, и посветил в углах. Ничего там не было, кроме зеленовато-белой плесени, лоскутьями залепившей бревна, и земли, нарытой мышами, да брюкв, которые издали мне казались отрубленными человеческими головами. Я трахнул одной брюквой по отпотелому деревянному срубу с прожилками куржака в пазах, и сруб утробно откликнулся: "У-у-а-ах!"   
     -- Ага! -- сказал я. -- То-то, брат! Не больно у меня!..   
     Еще я набрал с собой мелких свеколок, морковок и время от времени бросал ими в угол, в стенки и отпугивал всех, кто мог там быть из нечистой силы, из домовых и прочей шантрапы.   
     Слово "шантрапа" в нашем селе завозное, и чего оно обозначает -- я не знаю. Но оно мне нравится. "Шантрапа! Шантрапа!" Все нехорошие слова, по убеждению бабушки, в наше село затащены Верехтиными, и не будь их у нас, даже и ругаться не умели бы.   
     Я уже съел три морковки, потер их о голяшку катанка и съел. Потом запустил под деревянные кружки руки, выскреб холодной, упругой капусты горсть и тоже съел. Потом огурец выловил и тоже съел. И грибов еще поел из низкой, как ушат, кадушки. Сейчас у меня в брюхе урчит и ворочается. Это моркови, огурец, капуста и грибы ссорятся меж собой. Тесно им в одном брюхе, ем, горя не вем, хоть бы живот расслабило. Дыра во рту насквозь просверлена, негде и нечему болеть. Может, ноги судорогой сведет? Я выпрямил ногу, хрустит в ней, пощелкивает, но ничего не больно. Ведь когда не надо, так болят. Прикинуться, что ли? А штаны? Кто и за что купит мне штаны? Штаны с карманом, новые и уже без лямок, и даже с ремешком!   
     Руки мои начинают быстро-быстро разбрасывать картошку: крупную -- в зевасто открытый мешок, мелкую -- в угол, гнилую -- в короб. Трах-бах! Тарабах!   
     -- Крути, верти, навертывай! -- подбадриваю я сам себя, и поскольку лишь поп да петух не жравши поют, а я налопался, потянуло меня на песню.   
     Судили девицу одну,   
     Она дитя была года-ами-и-и-и...   
     Орал я с подтрясом. Песня эта новая, нездешняя.   
     Ее, по всем видам, тоже Верехтины завезли в село. Я запомнил из нее только эти слова, и они мне очень по душе пришлись. Ну, а после того, как у нас появилась новая невестка -- Нюра, удалая песельница, я навострил ухо, по-бабушкиному -- наустаурил, и запомнил всю городскую песню. Дальше там в песне сказывается, за что судили девицу. Полюбила она человека. Мушшину, надеясь, что человек он путный, но он оказался изменшык. Ну, терпела, терпела девица изменшыство, взяла с окошка нож вострый "и белу грудь ему промзила".   
     Сколько можно терпеть, в самом-то деле?!   
     Бабушка, слушая меня, поднимала фартук к глазам:   
     -- Страсти-то, страсти-то какие! Куды это мы, Витька, идем?   
     Я толковал бабушке, что песня есть песня и никуды мы не идем.   
     -- Не-эт, парень, ко краю идем, вот что. Раз уж баба с ножиком на мужика, это уж все, это уж, парень, полный переворот, последний, стало быть, предел наступил. Остается только молиться о спасении. Вот у меня сам-то черта самого самовитее, и поругаемся когда, но чтоб с топором, с ножиком на мужа?.. Да Боже сохрани нас и помилуй. Не-эт, товаришшы дорогие, крушенье укладу, нарушение Богом указанного порядку.   
     У нас на селе судят не только девицу. А уж девицам-то достается будь здоров! Летом бабушка с другими старухами выйдет на завалинку, и вот они судят, вот они судят: и дядю Левонтия, и тетку Васеню, и Авдотьину девицу Агашку, которая принесла дорогой маме подарочек в подоле!   
     Только в толк я не возьму: отчего трясут старухи головами, плюются и сморкаются? Подарочек -- что ли, плохо? Подарочек -- это хорошо! Вот мне бабушка подарочек привезет. Штаны!   
     -- Крути, верти, навертывай!   
     Судили девицу одну,   
     Она дитя была года-а-ами-и-и-и...   
     Картошка так и разлетается в разные стороны, так и подпрыгивает, все идет как надо, по бабушкиной опять же присказке: "Кто ест скоро, тот и работает споро!" Ух, споро! Одна гнилая в добрую картошку попала. Убрать ее! Нельзя надувать покупателя. С земляникой вон надул -- чего хорошего получилось? Срам и стыд! Попадись вот гнилая картошка -- он, покупатель, сбрындит. Не возьмет картошку, значит, ни денег, ни товару, и штанов, стало быть, не получишь. А без штанов кто я? Без штанов я шантрапа. Без штанов пойди, так все равно как левонтьевских ребят всяк норовит шлепнуть по голому заду -- такое уж у него назначение, раз голо -- не удержишься, шлепнешь.   
     Голос мой гремит под сводами подвала и никуда не улетает. Тесно ему в подвале. Пламя лампы качается, вот-вот погаснет, куржак от сотрясенья так и сыплется. Но ничего я не боюсь, никакой шантрапы!   
     Шан-тpа-па-a, шан-тра-апа-а-а-а...   
     Распахнув створку, я смотрю на ступеньки подвала. Их двадцать восемь штук. Я уж сосчитал давно. Бабушка выучила меня считать до ста, и считал я все, что поддавалось счету. Верхняя дверца в подвал чуть приоткрыта, чтоб мне не так боязно здесь было. Хороший все же человек -- бабушка! Генерал, конечно, однако раз она такой уродилась -- уж не переделаешь.   
     Над дверцей, к которой ведет белый от куржака тоннель, завешанный нитками бахромы, я замечаю сосульку. Махонькую сосульку, с мышиный хвостик, но на сердце у меня сразу что-то стронулось, шевельнулось мягким котенком.   
     Весна скоро. Будет тепло. Первый май будет! Все станут праздновать, гулять, песни петь. А мне исполнится восемь лет, меня станут гладить по голове, жалеть, угощать сладким. И штаны мне бабушка к Первомаю сошьет. Разобьется в лепешку, но сошьет -- такой она человек!   
     Шантрапа-а-а, шантрапа-а-а!..   
     Сошьют штаны с карманом в Первый май!..   
     Попробуй тогда меня поймай!..   
     Батюшки, брюквы-то -- вон они! Упряг-то я одолелРаза два я, правда, передвигал брюквы поближе к себе и сократил таким образом расстояние, отмеренное бабушкой. Но где они прежде лежали, эти брюквы, я, конечно, не помню, и вспоминать не хочу. Да если на то пошло, я могу вовсе брюквы унести, выкинуть их вон и перебрать всю картошку, и свеклу, и морковку -- все мне нипочем!   
     Судили девицу одну-у-у...   
     -- Ну, как ты тут, чудечко на блюдечке?   
     Я аж вздрогнул и выронил картошки из рук. Бабушка пришла. Явилась, старая!   
     -- Ничего-о-о! Будь здоров, работник. Могу всю овощь перешерстить -- картошку, морковку, свеклу, -- все могу!   
     -- Ты уж, батюшко, тишей на поворотах! Эк тебя заносит!   
     -- Пускай заносит!   
     -- Да ты никак запьянел от гнилого-то духу?!   
     -- Запьянел! -- подтверждаю я. -- В дрезину... Судили девицу одну-у...   
     -- Матушки мои! А устряпался-то весь, как поросенок! -- Бабушка выдавила в передник мой нос, потерла щеки. -- Напасись вот на тебя мыла! -- И подтолкнула в спину: -- Иди обедать. Ешь с дедом щи капустные, будет шея бела, кудревата голова!..   
     -- Еще только обед?   
     -- Тебе небось показалось, неделю тут робил?   
     -- Ага!   
     Я поскакал через ступеньку вверх. Пощелкивали во мне суставы, ноги хрустели, а навстречу мне плыл свежий студеный воздух, такой сладкий после гнилого, застойного подвального духа.   
     -- Вот ведь мошенник! -- слышится внизу, в подвале. -- Вот ведь плут! И в кого только пошел? У нас в родове вроде таких нету... -- Бабушка обнаружила передвинутые брюквы.   
     Я наддал ходу и вынырнул из подвала на свежий воздух, на чистый, светлый день и как-то разом отчетливо заметил, что на дворе все наполнено предчувствием весны. Оно и в небе, которое сделалось просторней, выше, голубей в разводах, оно и на отпотевших досках крыши с того края, где солнце, оно и в чириканье воробьев, схватившихся врукопашную середь двора, и в той еще негустой дымке, что возникла над дальними перевалами и начала спускаться по склонам к селу, окутывая синей дремой леса, распадки, устья речек. Скоро, совсем скоро вспухнут горные речки зеленовато-желтой наледью, которая звонкими утренниками настывает рыхлой и сладкой на вид коркой, будто сахарная та корка, и куличи скоро печь начнут, краснотал по речкам побагровеет, заблестит, вербы шишечкой покроются, ребятишки будут ломать вербы к родительскому дню, иные упадут в речку, наплюхаются, потом лед разъест на речках, останется он лишь на Енисее, меж широких заберег, и, кинутый всеми зимник, печально роняя вытаивающие вехи, будет покорно ждать, когда его сломает на куски и унесет. Но еще до ледохода появятся подснежники на увалах, прыснет травка по теплым косогорам и наступит Первый май. У нас часто бывают вместе и ледоход, и Первый май, а в Первый май...   
     Нет, уж лучше не травить душу и не думать о том, что будет в Первый май!   
     Материю, или мануфактуру, так называется швейный товар, бабушка купила, еще когда по санному пути ездила в город с торговлишкой. Материя была синего цвета, рубчиком, хорошо шуршала и потрескивала, если по ней провести пальцем. Она называлась треко. Сколько я потом на свете ни жил, сколько штанов ни износил, материи с таким названием мне не встречалось. Очевидно, было то трико. Но это лишь моя догадка, не более. Много в детстве было такого, что потом не встречалось больше и не повторялось, к сожалению.   
     Кусочек мануфактуры лежал в глубине сундука, на самом дне, лежал под как бы нечаянно наброшенным на него малоценным барахлом -- под клубками из тряпочек, которые для тканья половиков заготавливаются, под вышедшими из носки платьями, лоскутками, чулками, коробочками со "шматьем". Доберется лихой человек до сундука, глянет в него, плюнет с досады и уйдет. Чего и ломился? Надеялся на поживу? Никаких ценностей в доме и в сундуке нету!   
     Вот какая хитрая бабушка! И кабы одна она такая хитрая. Все бабы себе на уме. Появится в доме какой подозрительный постоялец, либо "сам", то есть хозяин, допьется до того, что нательный крест пропить готов, тогда в тайном узелке, тайными лазами и ходами переправляется к соседям, ко всяким надежным людям -- кусочек с войны хранившегося сукна; швейная машинка; серебро -- две-три ложки и вилки, по наследству от кого-то доставшиеся, либо выменянные у ссыльных на хлеб и молоко; "золото" -- нательный крестик с католической ниткой в три цвета, должно быть, с этапов, от поляков еще, какими-то путями в наше село угодивший; заколка дворянского, может, и "питинбурского" происхождения; крышка от пудреницы иль табакерки; тусклая медная пуговица, которую кто-то подсуропил вместо золотой, за золотую и сходящая; сапоги хромовые и ботинки, приобретенные на "рыбе", значит, ездил когда-то хозяин на северные путины, на дикую "деньгу", накупил добра, оно и хранится до праздников и до свадеб детей, до "выхода на люди", да вот наступила лихая минута -- спасайся кто может, и спасай что можешь.   
     Сам добытчик с побелелыми от самогона глазами и одичалым лицом во мхе, бегает по двору с топором, норовя изрубить все в щепки, за дробовик хватается -- стало быть, не запамятуй, баба, и патронташ унести, захоронить в надежное место охотничий припас...   
     В "надежные руки", частенько в бабушкины, волоклось "добро", и не только из дома дяди Левонтия находили здесь приют женщины. Топтались в отдалении, шептались по углам: "Дак смотри, кума, на горе нашем не наживись..." -- "Да што ты, што ты? У меня перебывало... Место не пролежит..." -- "Куда деваться, не к Болтухиным же, не к Вершкову нести?"   
     Весь вечер, когда и ночь, взад-вперед, взад-вперед шастают с чужого подворья парнишки. Пригорюнившаяся мать с подбитым глазом, рассеченной губой, прикрыв малых детей шалью, жмет их к своему телу в чужом доме, на чужих людях, вестей положительных ждет.   
     Парнишка явится из разведки -- голова вниз: "Не уснул ишшо. Скамейки крушит. Осердился, што патронов нет, бердану об печку ломат..." -- "И когда он подавится? Когда шары свои бесстыжие зальет? Зима на носу, дров ни полена, сено не вывезено, берданку порешит, в тайгу с чем белковать пойдет? Берданка что по зверю, что по птице. Семьдесят семь рублев за нее, и вот... Сколько мне мама говорила, не лезь в юшковскую, меченную каторгой, родову, не лезь, намаешься. Дак рази мы родительское слово слушаем? Брови у его соколиные, чуб огневой, голос -- за рекой слыхать. Вот и запели, завеселились... -- И вдруг с ходу, круто на "разведчика": -- В папашу, весь в папашу своего золотого растешь! Чуть что -- "тятьку не тронь!". Вот и не тронь! Вот по чужим углам и шляемся, добрым людям спать не даем. О-хо-хо-хо-нюш-ки, да детоньки вы мои несчастные, да при отце-то вы без отца растете. Тонул он пять раз -- не утонул, горел он в лесном пожаре -- не сгорел, блудил в тайге -- не заблудился... Ни черти, ни лесной, ни вода, ни земля не принимают его. Покинул бы, дак лучше бы нам без него, злодея, было... Сиротами бы росли да зато на спокое, голодно, да не холодно..."   
     Из девчонок кто-нибудь матери подвоет, глядишь, и все ребятишки в голос.   
     "Да будет вам, будет. Уймется же когда-то, не железный жа, не каменнай...." -- успокаивает горемычных постояльцев бабушка.   
     "Разведчик" опять шапку в охапку и в поиск. Раз по пяти, по десяти за ночь-то сбегает, пока явится с радостной вестью: "Все! Свалился посередь избы..."   
     И обычная, привычная молитва: "Слава Тебе, Господи! Слава Те... Прости нас, бабушка Катерина, надоедам..." -- "Да чЕ там? Каки шшоты? Ступайте с Богом. А я ему, супостату, завтра баню с предбанником устрою. Напарю, ох, напарю, до новых веников поминать будет!.."   
     И напарит! Будет стоять перед нею дрожащий, заросший волосом мужичонка и ловить штаны, спадающие с запашного, к спине за время пьянки приросшего брюха.   
     -- Дак чего делать-то, бабушка Катерина? Она домой не пущает, сдохни, говорит, пропади, пьяница! Ты поговори с ей...   
     -- Об чем?   
     -- Ну, об этом. Прошшение, мол, просит, больше, значит, не повторится.   
     -- Чего не повторится-то? Ты говори, говори. Ишь, и слов у него нету. Вчера вон какой речистый да храбрый был! На бабу свою, жану богоданную, с топором да и ружьишком. Воин! Мятежник!..   
     -- Ну, дурак, дак чЕ? Пьяный дурак.   
     -- И спросу с пьяного нету?   
     -- Да какой спрос?   
     -- А об стенку головой-то чего не бился? Пошто из ружьишка не в себя, в бабу целил? Пошто? Говори!   
     -- 0-о-ой, бабушка Катерина! Да штоб я таку безобразию допустил ишшо раз! Да исказни ты меня, исказни гада такова!..   
     Бабушка "ходит в сундук" -- торжество души и праздник. Вон зачем-то открыла, шепчется сама с собой, оглянувшись на стороны, дверь поплотнее прикрыв, выкладывает добро наверх, мануфактуру мою, на штаны предназначенную, совсем отдельно от всякого добра отложила, кусочек старого, такого старого ситчика, что бабушка на свет его смотрит, зубом пробует, ну и по мелочи кое-чего, шкатулка, баночки из-под чая чем-то звенящие, праздничные вилки и ложки, в тряпицы завязанные, церковные книжки и кое-что из церковного припрятанное -- бабушка верит, что церковь не насовсем закрыта и в ней служить еще будут.   
     С припасом бабушкина семья живет. Все, как у добрых людей. И на черный день кой-чего прибережено, можно спокойно смотреть в будущее, и помрет, так есть во что обрядить и чем помянуть.   
     Во дворе звякнула щеколда. Бабушка насторожилась. По шагам угадала -- чужой человек, и раз-раз все добро рассовала, барахлишком и разной непотребностью прикрыла его, подумала повернугь ключ, да не стала. И на себя бабушка напустила вид убогий, почти скорбящий -- припадая на обе ноги, охая, побрела навстречу гостю иль какому другому, ветром занесенному человеку. И ничего не оставалось тому человеку, как думать: живут здесь разбедным-то бедные, больные и убогие люди, коим и остается одно только спасение -- по миру идти.   
     Всякий раз, когда бабушка открывала сундук и раздавался музыкальный звон, я был тут как тут. Я стоял у ободверины на пороге горницы и глядел в сундук. Бабушка отыскивала нужную ей вещь в огромном, точно баржа, сундуке и совершенно меня не замечала. Я шевелился, барабанил пальцами по косяку -- она не замечала. Я кашлял, сначала один раз -- она не замечала. Я кашлял много раз, будто вся грудь моя насквозь простудилась, -- она все равно не замечала. Тогда я подвигался ближе к сундуку и принимался вертеть огромный железный ключ. Бабушка молча шлепала по моей руке -- и все равно меня не замечала... Тогда я начинал поглаживать пальцами синюю мануфактуру -- треко. Тут бабушка не выдерживала и, глядя на важных, красивых генералов с бородами и усами, которыми изнутри была оклеена крышка сундука, спрашивала у них:   
     -- Што мне с этим дитем делать? -- Генералы не отвечали. Я гладил мануфактуру. Бабушка откидывала мою руку под тем предлогом, что она может оказаться немытой и запачкает треко. -- Оно же видит, это дите, -- кручусь я как белка в колесе! Оно же знат -- сошью я к именинам штаны, будь они кляты! Так нет оно, пятнай его, так и лезет, так и лезет!.. -- Бабушка хватала меня за ухо и отводила от сундука. Я утыкался лбом в стенку, и такой, должно быть, у меня был несчастный вид, что через какое-то время раздавался звон замка потоньше, помузыкальней, и все во мне замирало от блаженных предчувствий. Mа-аxoньким ключиком бабушка открывала китайскую шкатулку, сделанную из жести, вроде домика без окон. На домике нарисованы всякие нездешние деревья, птицы и румяные китаянки в новых голубых штанах, только не из трека, а из другой какой-то материи, которая мне тоже нравилась, но гораздо меньше, чем моя мануфактура.   
     Я ждал. И не зря. Дело в том, что в китайской шкатулке хранятся наиценнейшие бабушкины ценности, в том числе и леденцы, которые в магазине назывались монпансье, а у нас попроще -- лампасье или лампасейки. Нет ничего в мире слаще и красивее лампасеек! Их у нас на куличи прилепляли, и на сладкие пироги, и просто так сосали эти сладчайшие лампасейки, у кого они, конечно, велись.   
     У бабушки все есть! И все надежно укрыто. Шиша два найдешь! Снова раздавалась тонкая нежная музыка. Шкатулка закрыта. Может, бабушка раздумала? Я начинал громче шмыгать носом и думал, не подпустить ли голосу. Но тут раздавалось:   
     -- На уж, oкаянная твоя душа! -- И в руку мне, давно уже ожидательно опущенную, бабушка совала шершавенькие лампасейки. Рот мой переполнен томительной слюной, но я проглатывал ее и отталкивал бабушкину руку.   
     -- He-e-е...   
     -- А чего же тебе? Ремня?   
     -- Штаны-ы-ы...   
     Бабушка сокрушенно хлопала себя по бедрам и обращалась уже не к генералам, а к моей спине:   
     -- Эт-то што жа он, кровопивец, слов не понимат? Я ему русским языком толкую -- сошью! А он нате-ка! Уросит! А? Возьмешь конфетки или запру?   
     -- Сама ешь!   
     -- Сама? -- Бабушка на время теряет дар речи, не находит слов. -- Сама? Я т-те дам, сама! Я т-те покажу -- сама!   
     Поворотный момент. Сейчас надо давать голос, иначе попадет, и я вел снизу вверх:   
     -- Э-э-э-э...   
     -- Поори у меня, поори! -- взрывалась бабушка, но я перекры- вал ее своим рЕвом, и она постепенно сдавалась, принималась меня умасливать. -- Сошью, скоро сошьюУж, батюшко, не плачь уж. На вот конфетки-то, помусли. Сла-а-аденькие лампасеечки. Скоро уж, скоро в новых штанах станешь ходить, нарядный, да красивый, да пригожий...   
     Поговаривая елейно, по-церковному, бабушка окончательно сламывала мое сопротивление, всовывала мне в ладонь лампасейки, штук пять -- уж не обсчитается! Вытирала передником мне нос, щеки и выпроваживала из горницы, утешенного и довольного.   
     Надежды мои не сбылись. Ко дню рождения, к Первому мая штаны сшиты не были. В самую ростепель бабушка слегла. Она всегда всякую мелкую боль вынашивала на ногах и если уж свалилась, то надолго.   
     Ее переселили в горницу, на чистую, мягкую постель, убрали половики с полу, занавесили окно, засветили лампадку у иконостаса, и в горнице сделалось как в чужом доме -- полутемно, прохладно, пахло там елейным маслом, больницей, люди ходили по избе на цыпочках и разговаривали шепотом. В эти дни бабушкиной болезни я обнаружил, как много родни у бабушки и как много людей, и не родных, тоже приходят пожалеть ее и посочувствовать ей. И только теперь, хотя и смутно, я почувствовал, что бабушка моя, казавшаяся мне всегда обыкновенной бабушкой, -- очень уважаемый на селе человек, а я вот не слушался ее, ссорился с нею, и запоздалое чувство раскаяния разбирало меня.   
     Бабушка громко, хрипло дышала, полусидя в подушках, и все спрашивала:   
     -- Покор... покормили ли ребенка-то?.. Там простокиша... калачи... в кладовке все... в ларе.   
     Старухи, дочери, племянницы и разный другой народ, хозяйничающий в доме, успокаивали ее, накормлен, мол, напоен твой ненаглядный ребенок, беспокоиться ни о чем не надо и, как доказательство, подводили меня самого к кровати, показывали бабушке. Она с трудом отделяла руку от постели, дотрагивалась до моей головы и жалостливо говорила:   
     -- Помрет вот бабушка, чЕ делать-то станешь? С кем жить-то? С кем грешить-то? О Господи, Господи! -- Она косила глаза на лампадку: -- Дай силы ради сиротинки горемышной. Гуска! -- звала она тетку Августу. -- Корову доить будешь, дак вымя-то теплой водой... Она... балованная у меня... А то ведь вам не скажи...   
     И снова бабушку успокаивали, требовали, чтобы она поменьше говорила и не волновалась бы, но она все равно все время говорила, беспокоилась, волновалась, потому что иначе жить не умела.   
     Когда наступил праздник, бабушка взялась переживать из-за моих штанов. Я уж сам ее утешал, разговаривал с ней про болезнь, про штаны старался и не поминать. Бабушка к этой поре маленько оправилась, и разговаривать с нею можно было сколько угодно.   
     -- ЧЕ же за болезнь такая у тебя, бабушка? -- как будто в первый раз любопытствовал я, сидя рядом с нею на постели. Худая, костистая, с тряпочками в посекшихся косицах, со старым гасником, свесившимся под белую рубаху, бабушка неторопливо, в расчете на длинный разговор, начинала повествовать о себе:   
     -- Надсаженная я, батюшко, изработанная. Вся надсаженная. С малых лет в работе, в труде все. У тяти и у мамы я семая была да своих десятину подняла... Это легко только сказать. А вырастить?!   
     Но о жалостном она говорила лишь сначала, как бы для запева, потом рассказывала о разных случаях из своей большой жизни. Выходило по ее рассказам так, что радостей в ее жизни было куда больше, чем невзгод. Она не забывала о них и умела замечать их в простой своей и нелегкой жизни. Дети родились -- радость. Болели дети, но она их травками да кореньями спасала, и ни один не помер -- тоже радость. Обновка себе или детям -- радость. Урожай на хлеб хороший -- радость. Рыбалка была добычливой -- радость. Руку однажды выставила себе на пашне, сама же и вправила, страда как раз была, хлеб убирали, одной рукой жала и косоручкой не сделалась -- это ли не радость?   
     Я глядел на мою бабушку, дивился тому, что у нее тоже были тятя и мама, глядел на ее большие, рабочие руки в жилках, на морщинистое, с отголоском прежнего румянца лицо, на глаза ее зеленоватые, темнеющие со дна, на эти косицы ее, торчащие, будто у девчонки, в разные стороны, -- и такая волна любви к родному и до стоноты близкому человеку накатывала на меня, что я тыкался лицом в ее рыхлую грудь и зарывался носом в теплую, бабушкой пахнущую рубашку. В этом порыве моем была благодарность ей за то, что она живая осталась, что мы оба есть на свете и все-все вокруг нас живое и доброе.   
     -- Видишь вот, и не сшила я тебе штаны к празднику, -- гладила меня по голове и каялась бабушка. -- Обнадежила и не сшила...   
     -- Сошьешь еще, куда спешить-то?   
     -- Да уж дай только Бог подняться...   
     И она сдержала свое слово. Только начала ходить, сразу же кроить мне штаны взялась. Была она еще слаба, ходила от кровати до стола, держась за стенку, измеряла меня лентой с цифрами, сидя на табуретке. Ее пошатывало, и она прикладывала руку к голове:   
     -- О Господи прости, что это со мною? Чисто с угару!   
     Но все-таки мерила хорошо, чертила по материи мелом, прикидывала на меня раскроенный кусочек трека, раза два поддала уж, чтоб я не вертелся лишку, отчего мне сделалось веселей, -- ведь это же первый признак возвращения бабушки к прежней жизни, полного ее выздоровления.   
     Кроила штаны бабушка почти целый день, шить их принялась назавтра. Надо ли говорить, как я плохо спал ночь и поднялся до свету. Кряхтя и ругаясь, бабушка тоже поднялась, стала хлопотать на кухне. Она то и дело останавливалась, словно бы вслушивалась в себя, но с этого дня больше в горнице не ложилась, перешла на свою походную постель, поближе к кухне и к русской печи.   
     Днем мы с бабушкой вдвоем подняли с полу швейную машинку и водворили ее на стол. Машинка была старая, со сработанными на корпусе цветками. Проступали от цветков отдельные лишь завитушки, напоминая гремучих огненных змеев. Бабушка называла машинку "Зигнер", уверяла, что ей цены нету, и всякий раз подробно, с удовольствием рассказывала любопытным, что еще ее мать, царство ей небесное, сходно выменяла эту машинку у ссыльных на городской пристани за годовалую нетель, три мешка муки и кринку топленого масла. Кринку ту, совсем почти целую, ссыльные так и не вернули. Ну да какой с них спрос -- ссыльные и есть ссыльные -- варначье да чернолапотники, а то еще и чернокнижники какие-то перед переворотом валом валили.   
     Стрекочет машинка "Зигнер". Крутит ручку бабушка. Осторожно крутит, будто с духом собирается, обмысливает дальнейшие действия, вдруг разгонит колесо и отпустит, аж ручки не видно делается -- так крутится. Кажется мне, сейчас машинка все штаны мигом сошьет. Но бабушка руку на блескучее колесо приложит, остепенит машинку, укротит ее стрекот, когда машинка остановится, на грудь прикинет материю, внимательно посмотрит -- так ли пробирает игла материю, не кривой ли шов получился.   
     Бабушка и разговаривала со мной про хорошее, про штаны:   
     -- Комиссару без штанов никак нельзя, -- перекусывая нитку и глядя в шитье на свет, рассуждала она. -- Маленький комкссар да с пуговкой и лямка через плечо. Наган подвесить -- и форменный ты комиссар Вершков будешь, а может, и сам Шшэтинкин!..   
     В тот день я не отходил от бабушки, потому что надо было примерять штаны. С каждым заходом штаны обретали все большие основы и глянулись мне так, что я уж ни говорить, ни смеяться от восторга не мог. На вопросы бабушки: не давит ли тут, не жмет ли вот здесь, мотал головой и задушенно издавал:   
     -- Н-не-е-е!   
     -- Ты только не ври, потом поздно будет поправлять.   
     -- Правда-правда, -- подтверждал я поскорее, чтоб только бабушка пороть штаны не принялась, не отложила бы работу.   
     Особенно сосредоточена и пристальна была бабушка, когда дело дошло до прорехи -- все ее смущал какой-то клин. Если его, этот клин, неправильно поставить -- штаны до срока сопреют, и "петушок" на улицу выглядывать станет. Я не хотел, чтобы так получилось, и терпеливо переносил примерку за примеркой. Бабушка очень внимательно ощупывала в районе "петушка", и мне было так щекотно, что я с визгом взлягивал. Бабушка поддавала мне по загривку.

Так без обеда мы с нею проработали до самых сумерек -- это я упросил бабушку не прерываться из-за такого пустяка, как еда. Когда солнце ушло за реку и коснулось верхних хребтов, бабушка заторопилась -- вот-вот коров пригонят, а она все копается, и вмиг закончила работу. Она приладила в виде лопушка карман на штаны, и хотя мне был бы желательней карман внутренний, я возражать не решился. Вот и последние штрихи навела бабушка машинкою, выдернула нитку, свернула штаны, огладила на животе рукою.   
     -- Ну, слава Богу. Пуговицы уж после отпорю от чего-нибудь да пришью.   
     В это время на улице забренчали ботала, требовательно и сыто заблажили коровы. Бабушка бросила штаны на машинку, сорвалась с места и помчалась, на ходу наказывая, чтоб я не вздумал крутить машинку, ничего бы не трогал, не вредил.   
     Я был терпелив. Да и сил во мне никаких к той поре не осталось. Уже лампы засветились по всему селу и люди отужинали, а я все сидел возле машинки "Зигнер", с которой свисали мои синие штаны. Сидел без обеда, без ужина и хотел спать.   
     Как бабушка перетащила меня в постель, обессиленного и сморенного, не помню, но я никогда не забуду того счастливого утра, в которое проснулся с ощущением праздничной радости. На спинке кровати, аккуратно сложенные, висели новые синие штаны, на них стираная беленькая рубашка в полоску, рядом с кроватью распространяли запах горелой березы починенные сапожником Жеребцовым сапоги, намазанные дегтем, с желтыми, совершенно новыми союзками.   
     Сразу же откуда-то взялась бабушка, начала одевать меня, как маленького. Я безвольно подчинялся ей, и смеялся безудержно, и о чем-то говорил, и чего-то спрашивал, и перебивал сам себя.   
     -- Ну вот, -- сказала бабушка, когда я предстал перед нею во всей красе, во всем параде. Голос ее дрогнул, губы повело на сторону, и она уж за платок взялась: -- Видела бы мать-то твоя, покойница...   
     Я хмуро потупился.   
     Бабушка прекратила причитания, прижала меня к себе и перекрестила.   
     -- Ешь и ступай к дедушке на заимку.   
     -- Один, баба?   
     -- Конечно, один. Ты уж вон у меня какой большой! Мужик!   
     -- Ой, бабонька! -- От полноты чувств я обнял ее за шею и пободал головою.   
     -- Ладно уж, ладно, -- легонько отстранила меня бабушка. -- Ишь, Лиса Патрикеевна, всегда бы такой был ласковый да хороший...   
     Разряженный в пух и прах, с узелком, в котором были свежие постряпушки для деда, я вышел со двора, когда солнце стояло уже высоко и все село жило своей обыденной, неходкой жизнью. Перво-наперво я завернул к соседям и поверг своим видом левонтьевское семейство в такое смятение, что в содомной избе вдруг наступила небывалая тишина, и он сделался, этот дом, сам на себя непохож. Тетка Васеня всплеснула руками, уронила клюку. Клюка эта попала по голове кому-то из малых. Он запел здоровым басом. Тетка Васеня подхватила пострадавшего на руки, затутышкала, а сама не сводила с меня глаз.   
     Танька рядом со мной оказалась, все ребята окружили меня, щупали материю, восхищались. Танька залезла в мой карман, обнаружила там чистый платок и сраженно притихла. Только глаза ее выражали все чувства, и по ним я мог угадать, какой я сейчас красивый, как она мною любуется и на какую недосягаемую высоту вознесся я.   
     Затискали меня, затормошили, и я вынужден был вырваться и следить, чтоб не выпачкали, не смяли бы чего и не съели бы под шумок шаньги -- гостинец дедушке. Тут ведь только зевни.   
     Одним словом, я заторопился прощаться, сославшись на то, что спешу, и спросил, не надо ли чего передать Саньке. Санька левонтьевский на нашей заимке -- помогал дедушке в пашенных делах. На лето левонтьевских ребят рассовывали по людям, и они там кормились, росли и работали. Дедушка уже по два лета брал с собою Саньку. Бабушка моя, Катерина Петровна, предсказывала, что каторжанец этот сведет старого с ума, пути из него не будет, произойдет полное крушение в работе, потом удивлялась, как это дед с Санькой ужились и довольны друг другом.   
     Тетка Васеня сказала, что передавать Саньке нечего, кроме наказа, чтобы слушался дедушку Илью и не утонул бы в Мане, если вздумает купаться.   
     К огорчению моему, в этот полуденный час народ на улице был редок, деревенский люд еще не окончил весеннюю страду. Мужики все уехали на Maнy -- промышлять маралов -- панты у них сейчас в ценной поре, а уже надвигался сенокос, и все были заняты делом. Но все же кое-где играли ребятишки, шли в потребиловку женщины и, конечно же, обращали внимание на меня, иной раз довольно пристальное. Вот встречь семенит тетка Авдотья, бабушкина свояченица. Я иду, насвистываю. Мимо иду, не замечаю тетку Авдотью. Она свернула на сторону, и я увидел ее изумление, увидел, как она развела руками, услышал слова, которые лучше всякой музыки.   
     -- Тошно мне! Да это уж не Витька ли Катеринин?   
     "Конечно, я! Конечно, я!" -- хотелось надоумить мне тетку Авдотью, но я сдержал порыв и только замедлил шаги. Тетка Авдотья ударила себя по юбке, в три прыжка настигла меня, принялась ощупывать, оглаживать и говорить всякие хорошие слова. В домах распахивались окна, выглядывали бабы и старухи, все меня хвалили, все говорили про бабушку и про наших хвалебное, вот, мол, без матери парень растет, а водит его бабушка так, что дай Бог иным родителям водить своих детей, и чтоб бабушку я почитал, слушался и, коли вырасту, так не забывал бы ее добра.   
     Большое наше село, длинное. Утомился я, умаялся, пока прошел его из конца в конец и принял на себя всю дань восхищения мною и моим нарядом и еще тем, что один я, сам иду на заимку к деду. Весь уже в поту был я, когда вышел за околицу.   
     Сбежал к реке, попил из ладошек студеной енисейской водицы. От радости, бурлившей во мне, бросил камень в воду, потом другой, увлекся было этим занятием, да вовремя вспомнил, куда я иду, зачем и в каком видеДа и путь неблизок -- пять верст! Пошагал я, даже сначала побежал, но смотреть же под ноги надо, чтобы не сбить о корни желтые союзки. Перешел на размеренный шаг, несуетливый, крестьянский, каким всегда ходил дедушка.   
     От займища начинался большой лес. Доцветающие боярки, подсоченные сосенки, березы, доля которым выпала расти но соседству с селом и потому обломанные за зиму на голики, остались позади. Ровный осинник с полным уже, чуть буроватым листом густо взнимался по косогору. Ввысь вилась дорога с вымытым камешником. Серые большие плиты, исцарапанные подковами, были выворочены вешними потоками. Слева от дороги темнел распадок, в нем плотно стоял ельник, в гуще его глухо шумел засыпающий до осени поток. В ельнике пересвистывались рябчики, понапрасну сзывая самок. Те уже сели на яйца и не отзывались кавалерам-петушкам. Только что на дороге завозился, захлопал и с трудом взлетел старый глухарь. Он линять начал, но вот выполз на дорогу -- камешков поклевать, теплой пылью выбить из себя вошей и блошек. Баня ему тут! Сидел бы смирно в чаще, на свету сожрет его, старого дурака, рысь, да и лиса не подавится.   
     У меня сбилось дыхание -- громко бухал крыльями глухарь. Но страху большого нет, потому как солнечно кругом, светло, и все в лесу занято своим делом. Да и дорогу эту я хорошо знал -- много раз ездил по ней верхом и на телеге с дедушкой, с бабушкой, с Кольчей-младшим и с разными другими людьми.   
     И все же видел и слышал я будто заново, должно быть, оттого, что первый раз путешествовал один на заимку через горы и тайгу. Дальше в гору лес был реже, могутней, лиственницы возвышались над всей тайгой и вроде бы задевали облака. Вспомнилось, как на этом длинном и медленном подъеме Кольча-младший запевал всегда одну и ту же песню, конь замедлял шаги, осторожно ставил копыта, чтоб не мешать человеку петь. И сам наш конь -- Ястреб -- на исходе горы, вверху встревал в песню, пускал по горам и перевалам свое "и-го-го-о-о-о", но тут же сконфуженно делал хвостом отмашку, дескать, знаю, что не очень у меня с песнями, однако выдержать не мог, очень уж все тут славно и седоки вы приятные -- не хлещете меня, песни поете.   
     Затянул и я песню Кольчи-младшего про природного пахаря, по распадку мячиком катился, подпрыгивал на каменьях и осыпях мой голос, смешно повторяя: "Ха-халь!" Так, с песнею, я одолел гору. Сделалось светлее. Солнце все прибавлялось и прибавлялось. Лес редел, и камней на дороге попадалось больше, крупнее они были, и потому вся дорога извивалась в объезд булыжин. Трава в лесу сделалась реже, но цветов было больше, и когда я вышел на окраину леса, вся опушка палом горела, захлестнутая жарками.   
     Наверху, по горам, начались наши деревенские поля. Сначала они были рыжевато-черны, лишь кое-где мышасто серели на них всходы картошек да поблескивал на солнце выпаханный камешник. Но дальше все было залито разноцветной волнистой зеленью густеющих хлебов, и только межи, оставленные людьми, не умеющими ломтить землю, отделяли поля друг от друга, и, как берега рек, не давали им слиться вместе, сделаться морем.   
     Дорога здесь покрыта травою -- гусиной лапкой, совсем неугнетенно цветущей, хотя по ней ездили и ходили. Подорожник набирался сил, чтобы засветить свою серенькую свечку, всякая былка тут зеленела, тянулась, плелась по бороздам от колес, по копытным ямкам, не задыхаясь дорожной пылью. Обочь дороги, в чищенках, куда сваливали камни с полей, колодник и срубленный кустарник, все росло как попало, крупно, буйно. Купыри и морковники силились пойти в дудку, жарки тут, на солнцепеке, уже сорили по ветру отгаром лепестков, сморенно повисли водосборы-колокольчики в предчувствии летней, гибельной для них жары. На смену этим цветкам из чащобника взнялись саранки, и красоднев стоял уже в продолговатых бутончиках, подернутых шерсткой, будто инеем, ждал своего часа, чтобы развесить по окраинам полей желтые граммофоны.   
     Вот и Королев лог. В нем стояла грязная лужа. Я вознамерился промчаться по ней так, чтобы брызнуло во все стороны, но тут же опамятовался, снял сапоги, засучил штаны и осторожно перебрел ленивую, усмиренную осокой колдобину, истолченную копытами скота, разрисованную лапками птиц, лапками зверушек.   
     Из лога вылетел я на рысях и пока обувался, все смотрел на поле, открывшееся передо мной, и силился вспомнить, где я еще его видел? Поле, ровно уходящее к горизонту, а середь поля одинокие большие деревья. Прямо в поле, в хлеба, уныривает дорога, быстро иссякая в нем, а над дорогой летит себе, чиликает ласточка...   
     А-а, вспомнил! Я видел такое же поле, только с желтыми хлебами, на картине в доме школьного учителя, к которому водила меня бабушка записывать на зиму учиться. Я пялился на ту картину, прямо впился в нее глазами, и учитель спросил: "Нравится?". Я потряс головой, и учитель сказал, что нарисовал ее знаменитый русский художник Шишкин, и я подумал, что он, поди-ка, много кедровых шишек съел. А говорить не мог от чудосотворения -- пашня, земля, на нашу похожа, вот она, в рамке, но как живая!   
     Я остановился под самой толстой лиственницей, задрал голову. Мне показалось, что дерево, на котором где густо, где реденько бусила зеленоватая хвоя, плыло по небу, и соколок, приладившийся к вершине дерева, меж черных, словно обгорелых, прошлогодних шишек, дремал, убаюканный этим медленным и покойным плаванием. На дереве было ястребиное гнездо, свитое в развилке меж толстым суком и стволом. Санька как-то полез разорять гнездо, долез до него, собрался уже широкозевых ястребят выкинуть, но тут ястребиха как закричала, как начала хлопать крыльями, долбить злодея клювом, рвать когтями -- не удержался Санька, отпустился. Был бы разорителю карачун, да наделся он рубахой на сук и ладно, швы у холщовой рубахи крепкие оказались. Сняли мужики Саньку с дерева, наподдавали, конечно. У Саньки с тех пор красные глаза, говорят, кровь налилась.   
     Дерево -- это целый мир! В стволе его дырки, продолбленные дятлами, в каждой дырке кто-нибудь живет, трекает: то жук какой, то птичка, то ящерка, а выше -- и летучие мыши. В травке, в сплетении корней позапрятаны гнезда. Мышиные, сусликовые норки уходят под дерево. Муравейник привален к стволу. Есть тут шипица колючая, заморенная елочка, круглая зеленая полянка возле лиственницы есть. Видно по обнаженным, соскобленным корням, как полянку хотели свести, запластать, но корни дерева сопротивлялись плугу, не отдали полянку на растерзание. Сама лиственница внутри полая. Кто-то давным-давно развел под небо огонь, и ствол выгорел. Не будь дерево такое большое, оно давно б уже умерло, а это еще жило, трудно, с маетою, но жило, добывая опаханными корнями пропитание из земли и при этом еще давало приют муравьям, мышкам, птицам, жукам, метлякам и всякой другой живности.   
     Я залез в угольное нутро лиственницы, сел на твердый, как камень, гриб-губу, выперший из прелого ствола. В дереве трубно гудит, поскрипывает. Чудится -- жалуется оно мне деревянным, нескончаемо длинным плачем, идущим по корням из земли. Я полез из черного дупла и притронулся к стволу дерева, покрытого кремнистой корой, наплывами серы, шрамами и надрубами, зажившими и незаживающими, теми, которые залечить у поврежденного дерева нет уже сил и соков.   
     "Ой, сажа! Ну и растяпа!" Но гарь выветрилась, и дупло не марается, чуть только на локте одном да на штанине припачкано черным. Я поплевал на ладошку, стер пятно со штанов и медленно побрел к дороге.   
     Долго еще звучал во мне деревянный стон, слышный только в дупле лиственницы. Теперь я знаю, дерево тоже умеет стонать и плакать нутряным, безутешным голосом.   
     От горелой лиственницы до спуска к устью Маны совсем недалеко. Я наддал шагу, и вот уже дорога пошла под уклон между двумя горами. Но я свернул с дороги и осторожно начал пробираться к обрывистому срезу горы, спускавшейся каменистым углом в Енисей и ребристым склоном к Мане. С этого отвесного склона видны наши пашни, заимка наша. Я давно собирался посмотреть на все это с высоты, но не получалось, потому что ездил с другими людьми, и они то спешили на работу, то домой с работы. На гриве Манской горы сосняк был низкорослый, с закрученными ветром лапами. Будто руки старых людей, были эти лапы в шишках и хрупких суставах. Боярка здесь росла люто острая. И все кустарники были сухи, ершисты и зацеписты. Но здесь же случались ровные березнички, чистые осинники, тонкие, наперегонки идущие в рост после пожара, о котором напоминали еще черные валежины и выворотни. Пенья и валежины обметало всходами сладкой, в налив идущей клубники; костяника белела и наливалась соком, под соснами хрустел мелколистый, крепкий брусничник, а по склону пластал ромашечник -- любимое его тут место -- сиреневый, желтый, почти фиолетовый, местами -- белый, целым веником, будто выплеснутая в осыпи кринка сметаны. Бабушка не обходит этот разлив ромашки, всегда нарывает "мигунка" на лекарство. Я пластал цветы под самый корень, набрал их столько, что едва в беремя поместились, и вот иду, а запах вокруг меня, словно в аптеке или в кладовке, где сушит бабушка травы, густо пылит и пахнет ромашка. особенно желтая, того и гляди, расчихаешься, как от лютого дедова самосада.   
     Над обрывом, где уже не было деревьев, только шипица, таволга, акация, колючки и выводки горной репы пятнали каменья. Я остановился и стоял до тех пор, пока не устали ноги, потом сел, забыв о том, что здесь водятся змеи -- змей я боялся больше всего на свете. Какое-то время я и не дышал вовсе, только смотрел и смотрел, сердце мое билось в груди гулко и часто.   
     Впервые видел я сверху слияние двух больших рек -- Маны и Енисея. Они долго-долго спешили навстречу друг дружке, а встретившись, текут по отдельности, делают вид, что и не интересуются одна другой. Мана побыстрее Енисея и посветлее, хотя и Енисей светел тоже. Белесым швом, словно волнорезом, все шире растекающимся, определена граница двух вод. Енисей поплескивает, подталкивает Maну в бок, заигрывает и незаметно прижимает ее в угол Манского быка, так наши деревенские парни прижимают девок к забору, когда балуются. Мана вскипает, на скалу выплескивается, ревет, но поздно -- бык отвесен и высок, Енисей напорист -- у него не забалуешься.   
     Еще одна река покорена. Сыто заурчав под быком, Енисей бежит к морю-океану, бунтующий, неукротимый, все на пути сметающий. И что ему Мана! Он еще и не такие реки подхватит и умчит с собою в студеные, полуночные края, куда и меня занесет потом судьбина, и доведется потом мне посмотреть родную реку совсем иную, разливисто-пойменную, утомленную долгой дорогою. А пока я смотрю и смотрю па реки, на горы, на леса. Стрелка на стыке Маны с Енисеем скалиста, обрывиста. Коренная вода еще не спала. Бечевка осыпистого бережка еще затоплена. Скалы на той стороне в воде стоят, где начинается скала, где ее отражение -- отсюда не разберешь. Под скалами полосы. Теребит, скручивает воду рыльями камней-опрядышей.   
     Но зато сколько простора наверху, над Маной-рекойНа стрелке каменное темечко, дальше вразброс кучатся останцы, еще дальше -- порядок начинается: упалисто, волнами уходят горы ввысь от бестолочи ущелий, шумных речек, ключей. Там, вверху -- остановившиеся волны тайги, чуть просветленные на гривах, затаенно-густые во впадинах. На самом горбистом всплеске тайги заблудившимся парусом сверкает белый утес. Загадочно, недосягаемо синеют далекие перевалы, о которых и думать-то жутко. Меж них петляет, ревет и гремит на порогах Мана-река -- кормилица-поилица: пашни наши здесь, промысел надежный тоже на этой реке. Много на Мане зверя, дичи, рыбы. Много порогов, россох, гор, речек с завлекательными названиями: Каракуш, Нагалка, Бежать, Миля, Кандынка, Тыхты. Негнет. И как разумно поступила дикая река: перед устьем взяла да круто свалилась влево, к скалистой стрелке, и оставила пологий угол наносной земли. Здесь пашни, избушки, заимки на берегу Маны, поля здесь. Они упираются в горы самыми дальними околками, межами и чищенками. Внизу подо мной Манская речка, ровно бы очертила границу дозволенного и гору не пускает через себя. Дальше от заимок, туда, к изгибу Маны, за которым белеет утес, уже холмисто, там лес, тайга, на приволье растет много больших берез. Люди теснят этот лес, вырубают леторосные всходы, оставляют только те деревья, с которыми не могуг совладать. Каждый год то на один, то на другой бугор выкидывают селяне наши зеленый плат крестьянской пашни, потеснили тайгу до Соломенного плеса.   
     Упорные люди работали на этой земле!   
     Я отыскал взглядом нашу заимку. Найти ее нетрудно. Она -- дальняя. Каждая заимка -- повторение того двора, того дома, который содержит хозяин в селе. Так же срублен дом, так же загорожен двор, тот же навес, те же сени, даже наличники на доме такие же, но все: и дом, и двор, и окна, и печь внутри -- меньших размеров. И еще нет во дворе зимних стаек, амбаров и бань, а есть один широкий летний загон, крытый хворостом, по хворосту соломой.   
     За нашей заимкой змеится тропинка по каменному бычку, всегда мокрому от плесени. Из бычка в щель выбуривает ключ, над ключом растут кривая лиственница без вершины и две ольхи. Корни дерев прищемило бычком, и они растут кривые, с листом по одному боку. Над нашей заимкой пушится дымок. Дедушка с Санькой варят чего-то. Мне разом захотелось есть. Но я никак не могу уйти, никак не могу оторвать взгляда от двух рек, от гор этих, мерцающих вдали, не могу пока еще постигнуть своим детским умом необъятность мира.   
     Я встряхнулся, передернул плечами, заорал громче, чтобы отпугнуть навалившуюся на меня вяжущую, непонятную боязнь, почти кубарем скатился с горы, за мною с обвальным лязгом потек серый плитняк, крошка. Обгоняя поток, подскакивали круглые булыжины, которые впереди, которые вместе со много ухнули в Манскую речку.   
     Поплыло беремя духовитых ромашек, узелок с постряпушками поплыл, на меня напала резвость -- я бегал по холодной речке с хохотом, ловил узелок, цветы и внезапно остановился.   
     -- Сапоги-то!   
     Я еще стоял и смотрел, как выше моих сапог бежит, завихряется речка, как мелькают в воде живыми рыбками желто-красные союзки.   
     "Растяпа! Недоумок! Сапоги спортил! Штаны замочил! Новые штаны!"   
     Я побрел на берег, разулся, вылил воду из сапог, разгладил руками штаны и стал ждать, когда наряд мой высохнет и снова обретет праздничный лоск.   
     Долог, утомителен был путь из села. Мгновенно и совершенно незаметно уснул я под шум Манской речки. Спал, должно быть, совсем немного, потому что, когда проснулся, в сапогах было еще сыро, зато союзки сделались желтее и красивше -- смыло с них деготь. Штаны высушило солнцем. Они сморщились, потеряли форс. Я поплевал на ладони, разгладил штаны, надел, еще разгладил, обулся, побежал по дороге легко и быстро, так что пыль взрывалась следом за мною.   
     Деда в избе не было, Саньки тоже не было. Что-то постукивало за избой во дворе. Я положил узелок и цветы на стол, отправился во двор. Дед стоял на коленях под дощатым козырьком и рубил в корытце папухи табаку. Старенькая, латанная на локтях рубаха была выпущена у него из штанов, вздрагивала на спине. Шея дедушки засмолена солнцем. Сероватые от старости волосы спускались висюльками на шею в коричневых трещинах. На крыльцах рубаху оттопыривали большие, как у коня, лопатки.   
     Я загладил ладошкой волосы набок, подтянул шелковый с кисточками пояс на животе и враз осипшим голосом позвал;   
     -- Деда!   
     Дед перестал тюкать, отложил топор, обернулся, какое-то время смотрел на меня, стоя на коленях, затем поднялся, вытер руки о подол рубахи, прижал меня к себе. Липкою от листового табаку рукою он провел по моей голове. Был он высок, не сутулился еще, и лицо мое доставало только до живота его, до рубахи, так пропитанной табаком, что дышать было трудно, свербило в носу и хотелось чихать. Но я не шевелился, не чихал, притих, будто котенок под ладонью.   
     Приехал Санька верхом на коне, загорелый, подстриженный дедушкой, в заштопанных штанах и рубахе, как я догадался по размашистой стежке -- тоже починенных дедушкой. Санька есть Санька! Только загнал коня, еще и здравствуй не сказал, но уж огорошил меня:   
     -- Монах в новых штанах! -- Он и еще добавить чего-то хотел, да придержал язык, дедушки постеснялся. Но он скажет ехидное, потом скажет, когда деда не будет. Завидно потому что Саньке -- сам-то сроду не нашивал новых штанов, а сапоги да еще с новыми союзками -- и во сне ему не снились.   
     Оказалось, я поспел к самому обеду. Ели драчЕну -- мятую картошку, запеченную с молоком и маслом, ели харюзов и жареных сорожек -- Санька вечером надергал, после пили чай, заваренный типичным корнем, с бабушкиными подмоченными постряпушками.   
     -- Плавал на шаньгах-то? -- полюбопытствовал Санька.   
     Дед ничего не спрашивал.   
     -- Плавал! -- отшил я Саньку.   
     После обеда я спустился к ключику, вымыл посуду и попутно принес воды. В старую кринку с отбитым краем я поставил ромашки, были они уже сникшие, но скоро поднялись, закучерявились густой зеленью, насорили желтой пыли и лепестков на стол.   
     -- Хы! Как ровно девчонка! -- снова взялся ехидничать Санька. Но дед, укладывавшийся после обеда отдохнуть на печке, окоротил его:   
     -- Не цепляй парня. Раз у него душа к цветку лежит, значит, такая его душа. Значит, ему в этом свой смысел есть, значенье свое, нам непонятное. Вот.   
     Всю недельную норму слов дед высказал и отвернулся. Санька сразу примолк. То-то, брат! Это тебе не с теткой Васеней зубатиться, либо с бабушкой моей. Дед сказал, и точка. Не поворачиваясь от стены, дед еще добавил:   
     -- Овод схлынет, пасти погоним. Сапоги-то и штаны сыми.   
     Мы вышли во двор, и я спросил:   
     -- ЧЕ это дед сегодня такой разговорчивый?   
     -- Не знаю, -- пожал плечами Санька. -- Обрадел, должно, при таком расфуфыренном внуке. -- Санька поковырял ногтем в зубах и, глядя красными, сорожьими глазами на меня, спросил: -- ЧЕ будем делать, монах в новых штанах?   
     -- Додразнишься -- уйду.   
     -- Ладно, ладно, обидчивый какой! Понарошке ведь.   
     Мы побежали в поле. Санька показывал мне, где он боронил, сказал, что дедушка Илья учил его пахать, и еще добавил, что школу он бросит, как поднатореет пахать, станет зарабатывать деньги, купит себе штаны не трековые, а суконные -- так и бросит.   
     Эти слова окончательно убедили меня -- заело Саньку. Но что дальше последует -- не догадывался, потому что простофилей был и остался.   
     За полосою густо идущего в рост овса, возле дороги была продолговатая бочажина. В ней почти не оставалось воды. По краям гладкая и черная, будто вар, грязища покрылась паутиной трещин. В середине, возле лужицы с ладошку величиной, сидела большая лягуха в скорбном молчании и думала, куда ей теперь деваться. В Мане и Манской речке вода быстрая -- опрокинет кверху брюхом и унесет. Болото есть, но оно далеко -- пропадешь, пока допрыгаешь. Лягушка вдруг сиганула в сторону, шлепнулась у моих ног -- это Санька промчался по бочажине, да так резво, что я и ахнуть не успел. Он сел по ту сторону бочажины и об лопух вытер ноги.   
     -- А тебе слабо!   
     -- Мне-е? Слабо-о? -- запетушился я, но тут же вспомнил, что не раз попадался на Санькину уду, и не перечесть, сколько имел через это неприятностей, бед со всякими последствиями. "Не-е, брат, не такой уж я маленький, чтоб ты меня надувал, как раньше!"   
     -- Цветочки только рвать! -- зудил Санька.   
     "Цветочки! Ну и что! Что ли это худо? Вон дед-то говорил как..." Но тут я вспомнил, как на селе презрительно относятся к людям, которые рвут цветочки и всякой такой ерундой занимаются. На селе охотников-зверобоев поразвелось -- пропасть. На пашне старики, бабы да ребятишки управляются. Мужики все на Мане из ружей палят да рыбачат, еще кедровые орехи добывают, продают в городе добычу. Цветочки в подарок женам привозят с базара, из стружек цветочки, синие, красные, белые -- шуршат. Базарные цветочки бабы почтительно ставят на угловики и на иконы цепляют. А чтобы жарков, стародубов или саранок нарвать -- этого мужики никогда не делают и детей своих сызмальства приучают дразнить и презирать людей вроде Васи-поляка, сапожника Жеребцова, печника Махунцова и всяких других самоходов, падких на развлечения, но непригодных для охотничьего промысла.   
     И Санька туда же! Он-то уж не будет цветочками заниматься. Он пахарь уже, сеятель, рабо-о-отник! А я, значит, так себе! Придурок, значит? Размазня? Так я себя распалил, так разозлился, что с храбрым гиком ринулся поперек бочажины.   
     В середине ямины, там, где сидела задумчивая лягуха, я разом, с отчетливой ясностью понял -- снова оказался на уде. Я еще попытался дернуться раз-другой, но увидел Санькины разлапистые следы от лужицы в стороне -- дрожь по мне пошла. Съедая взглядом округлую Санькину рожу с этими красными, будто у пьянчужки глазами, сказал:   
     -- Гад!   
     Сказал и перестал бороться.   
     Санька бесновался вверху надо мной. Он бегал вокруг бочажины, прыгал, становился на руки:   
     -- Аа-а, вляпался! А-га-га-а, дохвастался! А-га-га-а, монах в новых штанах! Штаны-то ха-ха-ха! Сапоги-то хо-хо-хо!   
     Я сжимал кулаки и кусал губы, чтобы не заплакать. Знал я -- Санька только того и ждет, чтоб я расклеился, расхныкался, и он совсем меня растерзал бы, беспомощного, попавшего в ловушку. Ногам холодно. Меня засасывало все дальше и дальше, но я не просил, чтоб Санька вытаскивал меня, и не плакал. Санька еще поизмывался надо мною, да скоро уж прискучило ему это занятие, насытился он удовольствием.   
     -- Скажи: "Миленький, хорошенький Санечка, помоги мне ради Христа!" Я, может, и выволоку тебя!   
     -- Нет!   
     -- Ах, нет?! Сиди тоды да завтрева.   
     Я стиснул зубы и поискал глазами камень или чурку. Ничего не было. Лягуха опять выползла из травы и глядела на меня с досадою, дескать, последнее пристанище отбили, злыдни.   
     -- Уйди с глаз моих! Уйди, гад, лучше! Уйди! -- закричал я и начал швырять в Саньку горстями грязи.   
     Санька ушел. Я вытер руки об рубаху. Над бочажиной, на меже шевельнулись листья белены -- Санька в них спрятался. Из ямины мне видно только белену эту, репейника вершинку да еще часть дороги видно, ту, что поднимается в Манскую гору. По этой дороге я еще совсем недавно шел счастливый, любовался местностью и никакой бочажины не знал, никакого горя не ведал. А теперь вот в грязи завяз и жду. Чего жду?   
     Санька вылез из бурьяна, видно, осы его выгнали, может, и терпенья не хватило. Жрет какую-то траву. Пучку, должно быть. Он всегда жует чего-нибудь -- живоглот пузатый!   
     -- Так и будем сидеть?   
     -- Нет, скоро упаду. Ноги уже остомели.   
     Санька перестал жевать пучку, с лица его слетела беспечность, понимать, должно быть, начинает, к чему дело клонится.   
     -- Но ты, падина! -- крикнул он, стягивая с себя штаны. -- Упади только!   
     Стараюсь держаться на ногах, а они так отерпли ниже колен, что я их едва чувствую. Всего меня трясет от холода, качает от усталости.   
     -- Безголовая кляча! -- лез в грязь и ругался Санька. -- Сколько я его надувал, он все одно надувается! -- Санька пробовал подобраться ко мне с одной, с другой стороны -- не получалось. Вязко. Наконец приблизился, заорал: -- Руку давай! Давай! Уйду ведь! Взаправду уйду. Пропадешь тут вместе с новыми штанами!..

Я не дал ему руку. Он сгреб меня за шиворот, потянул, но сам колом пошел в жидкую глубь ямы. Он бросил меня, ринулся на берег, с трудом высвобождая ноги. Следы его тут же затягивало черной жижей, пузыри возникали в следах, с шипом и бульканьем лопаясь.   
     Санька на берегу. Глядел на меня испуганно, молча, что-то пытаясь сообразить. Я глядел мимо него. Ноги мои совсем подламывались, грязь мне казалась уже мягкой постелью. Хотелось опуститься в нее. Но я еще живой до пояса и маленько соображаю -- опущусь и запросто могу захлебнуться.   
     -- Эй, ты, чЕ молчишь?   
     Я ничего на это не ответил погубителю Саньке.   
     -- Иди за дедушкой, гадина! Упаду ведь счас.   
     Санька заныл, заругался, будто пьяный мужик, матерно и бросился выдергивать меня из грязи. Он едва не стащил с меня рубаху, за руку стал дергать так, что я взревел от боли и принялся тыкать кулаком Саньке в морду, раз-другой достал. Дальше меня не засасывало, я, должно быть, достиг ногами твердого грунта, может, и мерзлой земли. Вытащить меня у Саньки ни силенок, ни сообразительности не хватило. Он совсем растерялся и не знал, что делать, как быть.   
     -- Иди за дедушкой, гад!   
     Стуча зубами, натягивал Санька штаны прямо на грязные ноги.   
     -- Миленький, не падай! -- сначала шептал, потом закричал не своим голосом Санька и помчался к заимке. -- Не па-а-да-а-ай, миленький... Не па-а-ада-ай!..   
     Слова у него с лаем вырывались, с гавканьем. Заревел Санька с испуга. "Так тебе, змею, и надо!"   
     От злости во мне прибавилось сил. Я поднял голову, увидел: с Манской горы спускаются двое. Кто-то кого-то ведет за руку. Вот они исчезли за тальниками, в Манской речке. Пьют, должно быть, или умываются. Такая уж речка -- журчистая, быстрая. Никто мимо нее пройти не в силах.   
     А может, отдыхать сели? Тогда пропащее дело.   
     Но из-за бугра появилась голова в белом платке, даже сначала один только белый платок, потом лоб, потом лицо, потом уж и другого человека видно сделалось -- это девчонка. Кто же идет-то? Кто? Да идите же вы скорее! Переставляют ноги ровно неживые!   
     Я не сводил взгляда с двух людей, размеренно идущих по дороге. По походке ли, по платку ли, по жесту ли руки, указывающей девчонке прямо на меня, скорее всего -- на поле за бочажиной, узнал я бабушку.   
     -- Ба-а-абонька! Ми-иленька-а!.. Ой, ба-абонька-а-а! -- заревел я и повалился в грязь. Передо мной остались замытые водой скаты этой проклятой ямы. Даже белены не видно, даже лягуха упрыгала куда-то.   
     -- Ба-а-аба-а-а! Ба-а-абонька-а-а! Тону я! Ой, тону-у-у!   
     -- Тошно мне, тошнехонько! Ой, чуяло мое сердцеКак тебя, аспида, занесло туда? -- услышал я над собой крик бабушки. -- Ой, не зря сосало под ложечкой!.. Да кто же это тебя надоумил-то? Ой, скорее!   
     И еще дошли до меня слова, задумчиво и осудительно сказанные левонтьевской Танькой:   
     -- Уш не лешаки ли тебя туда заташшыли?!   
     Шлепнула доска, другая, я почувствовал, как меня подхватили и, ровно бы ржавый гвоздь из бревна, медленно потянули, слышал, как с меня снимались сапоги, хотел крикнуть, да не успел. Дед выдернул меня из сапог, из грязи. С трудом вытягивая ноги, он пятился к берегу.   
     -- Обутки-то! Сапоги-то! -- показала бабушка в яму, где колыхалась взбаламученная грязь, вся в пузырях и плесневелой зелени. Безнадежно махнув рукой, дед поднялся на межу и лопухами стал вытирать ноги. Бабушка дрожащими руками обирала с моих новых штанов пригоршнями грязь и торжествующе, ровно бы доказывая кому-то, высказывалась:   
     -- Не-ет, сердце мое не омманешь! Токо кровопивец этот за порог, оно так и заныло, так и заныло. А ты, старый, куды смотрел? Где ты был? Если бы загинул робенок?   
     -- Не загинул жа...   
     Я лежал, уткнувшись носом в траву, и плакал от жалости к себе, от обиды. Бабушка взялась растирать мне ладонями ноги. Танька шарила по моему носу лопушком, ругалась вперебой с бабушкой:   
     -- Ох, каторжанец Шанька! Я тятьке вшо-о рашшкажу, -- и грозила пальцем вдаль: -- Тятька, шур-шур-шур! -- Разве у Таньки поймешь чего? Шуршит, как оса в меду.   
     Я глянул, куда она грозила, и заметил клубящуюся пыль вдали. Санька чесал во все лопатки от заимки к реке, чтоб укрыться в уремах до лучших времен. Теперь он будет жить воистину как беглый лесной разбойник.   
     Четвертый день лежу я на печке. Ноги мои укутаны в старое одеяло. Бабушка натирала их по три раза за день настоем ветреницы, муравьиным маслом и еще чем-то едучим и вонючим, отпаивала меня ромашкой и зверобоем. Ноги мои жгло и щипало так, что впору завыть, но бабушка уверяла, что так оно и быть должно, значит, вылечиваются ноги-то, раз жжение и боль чуют, и рассказывала о том, как и кого в свое время вылечила она и какие ей за это благодарствия были.   
     Саньку бабушка изловить не могла. Как я догадывался, дед выводил Саньку из-под намеченного возмездия. Он то наряжал Саньку в ночное -- пасти скотину, то отсылал в лес с задельем. Бабушка вынуждена была поносить дедушку и меня, но мы люди к этому привычные, дед только кряхтел да пуще дымил цигаркою, я похихикивал в подушку да перемигивался с дедом.   
     Штаны мои бабушка выстирала, сапоги так и остались в бочажине. Жалко сапоги. Штаны тоже не те, что были. Материя не блестит, синь слиняла, штаны разом поблекли, увяли, будто цветы, сорванные с земли. "Эх, Санька, Санька!" -- вздыхал я -- мне жалко Саньку сделалось.   
     -- Опять рематизня донимат? -- поднялась на приступок печки бабушка, заслышав мое кряхтенье.   
     -- Жарко тут.   
     -- Жар кости не ломит. Ложилось дураку -- по три чирья на боку. Терпи. А то обезножеешь -- а сама к окну, Приложила руку, выглядывает. -- И куда он этого супостата спровадил! Поглядите-ка, люди добрые! Говорила самому: ни от камня плода, ни от плута добра! Оне на меня союзом!.. Сам-от веху разбойнику дает, от меня спасат.   
     Тут -- беда к беде -- дед курицу проворонил. Курица эта пестрая вот уже лета по три норовила произвести цыплят. Но бабушка считала, что для этого дела есть более подходящие курицы, купала пеструшку в холодной воде, хлестала веником, принуждая нести яйца. Хохлатка же проявила прямо-таки солдатскую стойкость: где-то втихую нанесла яиц и, не глядя на бабушкин запрет, схоронилась и высиживала потомство.   
     Вечером засветилось в окне, замелькало, затрещало -- это за ключом, на берегу реки запластал шалаш, сделанный по весне охотниками. Из шалаша с кудахтаньем выпорхнула наша хохлатка, не задевая земли, взлетела на избу, вся взъерошенная, клохчущая, дергала поврежденным зобом и головой.   
     Началось дознание, и выяснилось: Санька унес табачку из корыта деда, покуривал в шалаше и заронил искру.   
     -- Он так и заимку спалит, не моргнет! -- шумела бабушка, но шумела уж как-то негрозно, на исходе, должно быть, из-за курицы смягчилось ее сердце, может, и перекипела гневом внутри себя. Словом, она сказала деду, чтоб Санька не прятался больше, ночевал бы дома, и унеслась в село -- дел у нее там много накопилось.   
     Дел у нее, конечно, всегда по горло, однако же главная забота -- что без нее в селе, как без командира на войне -- разброд, смятение, неразбериха, все сбилось с шагу, и надо направлять скорее строй и дисциплину.   
     От тишины ли, от того ли, что бабушка наладила замирение с Санькой, я уснул и проснулся на закате дня, весь светлый и облегченный, свалился с печи вниз и чуть не вскрикнул. В той самой кринке с отбитым краем полыхал огромный букет алых горных саранок с загнутыми лепестками.   
     Лето! Совсем уж полное лето пришло!   
     У притолоки стоял Санька, на пол слюной циркал в дырку меж зубов. Он жевал серу, и слюны накопилось у него много.   
     -- Откусить серы?   
     -- Откуси.   
     Санька откусил шматок лиственничной серы. Я тоже принялся жевать ее с прищелком.   
     -- Лиственницу со сплава к берегу прибило, и я наколупал. -- Санька циркнул слюной от печки и аж до окна. Я тоже циркнул, но мне на грудь угодило.   
     -- Болят ноги-то?   
     -- Совсем чуточку. Я уж завтра побегу.   
     -- Харюз хорошо стал брать на паута и на таракана. Скоро на кобылку пойдет.   
     -- Возьмешь меня?   
     -- Так и отпустила тебя Катерина Петровна!   
     -- Ее ж нету!   
     -- Припрется!   
     -- Я отпрошусь.   
     -- Ну, если отпросишься... -- Санька обернулся ко двору, ровно бы принюхался, затем подлез к моему уху:   
     -- Курить будешь? Вот! Я у дедушки стибрил. -- Он показал горсть табаку, бумаги клок и обломок от спичечного коробка. -- Курить мирово! Слышал, как я вчерась салаш-то? Курица оттеда турманом летела! Умора! Катерина Петровна крестится: "Восподь спаси! Христос спаси!" Умора!   
     -- Ох, Санька, Санька! -- совсем уж все прощая ему, повторил я бабушкины слова. -- Не сносить тебе удалой головы!..   
     -- Ништя-аак! -- с облегчением отмахнулся Санька и вынул из пятки занозу. Брусничкой выкатилась капля крови. Санька плюнул на ладонь и затер пятку.   
     Я смотрел на нежно алеющие кольца саранок, на тычинки их вроде молоточков, высунувшиеся из цветков, слушал, как на чердаке возились, наговаривали меж собой хлопотливые ласточки. Одна ласточка недовольна чем-то, говорит-говорит и вскрикнет, будто тетка Авдотья на девок своих, когда те с гулянья домой являются, или на мужа -- Терентия, когда тот из плаванья придет.   
     Во дворе дедушка потюкивал топором да покашливал. За частоколом палисадника голубой лоскут реки виден. Я надел свои, теперь уже обжитые, привычные штаны, в которых где угодно и на что угодно можно садиться.   
     -- Куда ты? -- погрозил пальцем Санька. -- НельзяБабушка Катерина не велела!   
     Ничего я не ответил ему, подошел к столу и дотронулся рукой до раскаленных, но не обжигающих руку саранок.   
     -- Смотри, бабушка заругается. Ишь, поднялся! ХрабЕр! -- бормотал Санька, отвлекал меня, зубы заговаривал. -- Потом опеть издыхать примешься...   
     -- Какой дедушка добрый, саранок мне нарвал, -- помог я выкрутиться Саньке из трудного положения. Он помаленечку, полегонечку выпятился из избы, довольный таким исходом дела. Я медленно выбрался на улицу, на солнце. Голову мою кружило, ноги еще дрожали и пощелкивали. Дедушка под навесом, отложив топор, которым обтесывал литовище, смотрел на меня, как только он и мог смотреть -- все так понятно говоря взглядом. Санька скребком чистил нашего Ястреба, а тому, видать, щекотливо, и он дрожал кожей, дрыгал ногой.   
     -- Н-н-но-о, ты, попляши у меня! -- прикрикнул на мерина Санька. А что кричать на конягу, которой нет выносливей и терпеливей в селе, которую даже бабушка балует, иногда хлебцем-корочкой, и говорит с насмешкой, что наш конь жил у семи попов, по семи годов, а все ему семь лет от роду...   
     Старенький, старенький Ястреб! Ну и что? И дед старенький, да лучше его нет на свете человека. Цена не по летам, а по делам...   
     Как тепло вокруг, зелено, шумно, весело! Стрижи над речкой кружатся, падают встречь своей тени на воду. Плишки почиликивают, осы гудят, бревна вперегонки по воде мчатся. Скоро можно будет купаться -- Лидии-купальницы наступят. Может, и мне дозволят купаться. Лихорадка-то не возвернулась, чуть только голову обносит да ноги в суставах ломит. Ну а не разрешат, так я и сам потихоньку выкупаюсь. С Санькой умотаю на реку и выкупаюсь.   
     Мы с Санькой, держась с двух сторон за оброть, повели Ястреба к реке. Он спускался по каменистому бычку, опасливо расставлял передние ноги скамейкой, тормозил себя изношенными, продырявленными гвоздьем копытами. В воду забрел, остановился, тронул дряблыми губами отражение в воде, будто поцеловался с таким же старым пегим конем.   
     Мы брызгали на него водой. Конь передернулся кожей на спине и, громко бухая копытами по камням, удало мотая бородатой головой, побрел вглубь, мы за ним, охая, держась за гриву и за хвост, тащились. Выбрел Ястреб на галечный мысок, остановился по брюхо в воде и отдался на волю течения.   
     Мы скребли голиком прогнутую, трудовыми мозолями покрытую спину, шею, грудь. Ястреб подрагивал кожей в радостной истоме, переступал ногами и даже пробовал играть, хватал нас отвислой губой за воротники.   
     -- Н-не балуй! -- громко кричали мы. Но Ястреб не слушался, да мы и не ждали, чтоб он слушался, орали просто так, по привычке, на конягу.   
     На спину коню норовили сесть плишки, чтобы склевать роящихся на потертостях конской кожи мух либо слепня-кровососа сцапать, припаявшегося к крупу лошади.   
     На бычке стоял дед в выпущенной рубахе, босой. Ветерок трепал его волосы, шевелил бороду, полоскал расстегнутую рубаху на выпуклой, раздвоенной груди. И напоминал дед российского богатыря во времена похода, сделавшего передышку, -- остановился богатырь озреть родную землю, подышать ее целительным воздухом.   
     Хорошо-то как! Ястреб купается. Дед на каменном бычке стоит, забылся, лето в шуме, суете, в нескучных хлопотах подкатило. Каждая пичуга, каждая мошка, блошка, муравьишко заняты делом; Ягоды вот-вот пойдут, грибы. Огурцы скоро нальются, картошки подкапывать начнут, там и другая огородина поспеет на стол, там и хлеб зашуршит спелым колосом -- страда подойдет. Можно жить на этом свете! И шут с ним, со штанами и с сапогами тоже. Наживу еще. Заработаю.

# Зачем я убил коростеля? Виктор Астафьев

Это было давно, лет, может, сорок назад. Ранней осенью я возвращался с рыбалки по скошенному лугу и возле небольшой, за лето высохшей бочажины, поросшей тальником, увидел птицу.   
  
Она услышала меня, присела в скошенной щетинке осоки, притаилась, но глаз мой чувствовала, пугалась его и вдруг бросилась бежать, неуклюже заваливаясь набок.   
  
От мальчишки, как от гончей собаки, не надо убегать — непременно бросится он в погоню, разожжется в нем дикий азарт. Берегись тогда живая душа!   
  
Я догнал птицу в борозде и, слепой от погони, охотничьей страсти, захлестал ее сырым удилищем.   
  
Я взял в руку птицу с завядшим, вроде бы бескостным тельцем. Глаза ее были прищемлены мертвыми, бесцветными веками, шейка, будто прихваченный морозом лист, болталась. Перо на птице было желтовато, со ржавинкой по бокам, а спина словно бы темноватыми гнилушками посыпана.   
  
Я узнал птицу — это был коростель. Дергач по-нашему. Все его друзья-дергачи покинули наши места, отправились в теплые края — зимовать. А этот уйти не смог. У него не было одной лапки — в сенокос он попал под литовку. Вот потому-то он и бежал от меня так неуклюже, потому я и догнал его.   
  
И худое, почти невесомое тельце птицы ли, нехитрая ли окраска, а может, и то, что без ноги была она, но до того мне сделалось жалко ее, что стал я руками выгребать ямку в борозде и хоронить так просто, сдуру загубленную живность.   
  
Я вырос в семье охотника и сам потом сделался охотником, но никогда не стрелял без надобности. С нетерпением и виной, уже закоренелой, каждое лето жду я домой, в русские края, коростелей.   
  
Уже черемуха отцвела, купава осыпалась, чемерица по четвертому листу пустила, трава в стебель двинулась, ромашки по угорам сыпанули и соловьи на последнем издыхе допевают песни.   
  
Но чего-то не хватает еще раннему лету, чего-то недостает ему, чем-то недооформилось оно, что ли.   
  
И вот однажды, в росное утро, за речкой, в лугах, покрытых еще молодой травой, послышался скрип коростеля. Явился, бродяга! Добрался-таки! Дергает-скрипит! Значит, лето полное началось, значит, сенокос скоро, значит, все в порядке.   
  
И всякий год вот так. Томлюсь и жду я коростеля, внушаю себе, что это тот давний дергач каким-то чудом уцелел и подает мне голос, прощая того несмышленого, азартного парнишку.   
  
Теперь я знаю, как трудна жизнь коростеля, как далеко ему добираться к нам, чтобы известить Россию о зачавшемся лете.   
  
Зимует коростель в Африке и уже в апреле покидает ее, торопится туда, «…где зори маковые вянут, как жар забытого костра, где в голубом рассвете тонут зеленокудрые леса, где луг еще косой не тронут, где васильковые глаза…». Идет, чтобы свить гнездо и вывести потомство, выкормить его и поскорее унести ноги от гибельной зимы.   
  
Не приспособленная к полету, но быстрая на бегу, птица эта вынуждена два раза в году перелетать Средиземное море. Много тысяч коростелей гибнет в пути и особенно при перелете через море.   
  
Как идет коростель, где, какими путями — мало кто знает. Лишь один город попадает на пути этих птиц — небольшой древний город на юге Франции. На гербе города изображен коростель. В те дни, когда идут коростели по городу, здесь никто не работает. Все люди справляют праздник и пекут из теста фигурки этой птицы, как у нас, на Руси, пекут жаворонков к их прилету.   
  
Птица коростель во французском старинном городе считается священной, и если бы я жил там в давние годы, меня приговорили бы к смерти.   
  
Но я живу далеко от Франции. Много уже лет живу и всякого навидался. Был на войне, в людей стрелял, и они в меня стреляли.   
  
Но отчего же, почему же, как заслышу я скрип коростеля за речкой, дрогнет мое сердце и снова навалится на меня одно застарелое мучение: зачем я убил коростеля? Зачем?

Конь с розовой гривой

Бабушка возвратилась от соседей и сказала мне, что левонтьевские ребятишки собираются на увал по землянику, и велела сходить с ними.

— Наберешь туесок. Я повезу свои ягоды в город, твои тоже продам и куплю тебе пряник.

— Конем, баба?

— Конем, конем.

Пряник конем! Это ж мечта всех деревенских малышей. Он белый-белый, этот конь. А грива у него розовая, хвост розовый, глаза розовые, копыта тоже розовые. Бабушка никогда не позволяла таскаться с кусками хлеба. Ешь за столом, иначе будет худо. Но пряник — совсем другое дело. Пряник можно сунуть под рубаху, бегать и слышать, как конь лягает копытами в голый живот. Холодея от ужаса — потерял, — хвататься за рубаху и со счастьем убеждаться — тут он, тут конь-огонь!

С таким конем сразу почету сколько, внимания! Ребята левонтьевские к тебе так и этак ластятся, и в чижа первому бить дают, и из рогатки стрельнуть, чтоб только им позволили потом откусить от коня либо лизнуть его. Когда даешь левонтьевскому Саньке или Таньке откусывать, надо держать пальцами то место, по которое откусить положено, и держать крепко, иначе Танька или Санька так цапнут, что останется от коня хвост да грива.

Левонтий, сосед наш, работал на бадогах вместе с Мишкой Коршуковым. Левонтий заготовлял лес на бадоги, пилил его, колол и сдавал на известковый завод, что был супротив села, по другую сторону Енисея. Один раз в десять дней, а может, и в пятнадцать — я точно не помню, — Левонтий получал деньги, и тогда в соседнем доме, где были одни ребятишки и ничего больше, начинался пир горой. Какая-то неспокойность, лихорадка, что ли, охватывала не только левонтьевский дом, но и всех соседей. Ранним еще утром к бабушке забегала тетка Васеня — жена дяди Левонтия, запыхавшаяся, загнанная, с зажатыми в горсти рублями.

— Кума! — испуганно-радостным голосом восклицала она. — Долг-от я принесла! — И Тут же кидалась прочь из избы, взметнув юбкою вихрь.

— Да стой ты, чумовая! — окликала ее бабушка. — Сосчитать ведь надо.

Тетка Васеня покорно возвращалась, и, пока бабушка считала деньги, она перебирала босыми ногами, ровно горячий конь, готовый рвануть, как только приотпустят вожжи.

Бабушка считала обстоятельно и долго, разглаживая каждый рубль. Сколько я помню, больше семи или десяти рублей из «запасу> на черный день бабушка никогда Левонтьихе не давала, потому как весь этот «запас> состоял, кажется, из десятки. Но и при такой малой сумме заполошная Васеня умудрялась обсчитаться на рубль, когда и на целый трояк.

— Ты как же с деньгами-то обращаешься, чучело безглазое! — напускалась бабушка на соседку. — Мне рупь, другому рупь! Что же это получится? Но Васеня опять взметывала юбкой вихрь и укатывалась.

— Передала ведь!

Бабушка еще долго поносила Левонтьиху, самого Левонтия, который, по ее убеждению, хлеба не стоил, а вино жрал, била себя руками по бедрам, плевалась, я подсаживался к окну и с тоской глядел на соседский дом.

Стоял он сам собою, на просторе, и ничего-то ему не мешало смотреть на свет белый кое-как застекленными окнами — ни забор, ни ворота, ни наличники, ни ставни. Даже бани у дяди Левонтия не было, и они, левонтьевские, мылись по соседям, чаще всего у нас, натаскав воды и подводу дров с известкового завода переправив.

В один благой день, может быть, и вечер дядя Левонтий качал зыбку и, забывшись, затянул песню морских скитальцев, слышанную в плаваниях, — он когда-то был моряком.

Приплыл по акияну

Из Африки матрос,

Малютку облизьяну

Он в ящике привез…

Семейство утихло, внимая голосу родителя, впитывая очень складную и жалостную песню. Село наше, кроме улиц, посадов и переулков, скроено и сложено еще и попесенно — у всякой семьи, у фамилии была «своя», коронная песня, которая глубже и полнее выражала чувства именно этой и никакой другой родни. Я и поныне, как вспомню песню «Монах красотку полюбил», — так и вижу Бобровский переулок и всех бобровских, и мураши у меня по коже разбегаются от потрясенности. Дрожит, сжимается сердце от песни «шахматовского колена»: «Я у окошечка сидела, Боже мой, а дождик капал на меня». И как забыть фокинскую, душу рвущую: «Понапрасну ломал я решеточку, понапрасну бежал из тюрьмы, моя милая, родная женушка у другого лежит на груди», или дяди моего любимую: «Однажды в комнате уютной», или в память о маме-покойнице, поющуюся до сих пор: «Ты скажи-ка мне, сестра…> Да где же все и всех-то упомнишь? Деревня большая была, народ голосистый, удалой, и родня в коленах глубокая и широкая.

Но все наши песни скользом пролетали над крышей поселенца дяди Левонтия — ни одна из них не могла растревожить закаменелую душу боевого семейства, и вот на тебе, дрогнули левонтьевские орлы, должно быть, капля-другая моряцкой, бродяжьей крови путалась в жилах детей, и она-то размыла их стойкость, и когда дети были сыты, не дрались и ничего не истребляли, можно было слышать, как в разбитые окна, и распахнутые двери выплескивается дружный хор:

Сидит она, тоскует

Все ночи напролет

И песенку такую

О родине поет:

«На теплом-теплом юге,

На родине моей,

Живут, растут подруги

И нет совсем людей…»

Дядя Левонтий подбуровливал песню басом, добавлял в нее рокоту, и оттого и песня, и ребята, и сам он как бы менялись обликом, красивше и сплоченней делались, и текла тогда река жизни в этом доме покойным, ровным руслом. Тетка Васеня, непереносимой чувствительности человек, оросив лицо и грудь слезьми, подвывая в старый прожженный фартук, высказывалась насчет безответственности человеческой — сгреб вот какой-то пьяный охламон облизьянку, утащил ее с родины невесть зачем и на че? А она вот, бедная, сидит и тоскует все ночи напролет… И, вскинувшись, вдруг впивалась мокрыми глазами в супруга — да уж не он ли, странствуя по белу свету, утворил это черно дело?! Не он ли свистнул облизьянку? Он ведь пьяный не ведает, чего творит!

Дядя Левонтий, покаянно принимающий все грехи, какие только возможно навесить на пьяного человека, морщил лоб, тужась понять: когда и зачем он увез из Африки обезьяну? И, коли увез, умыкнул животную, то куда она впоследствии делась?

Весною левонтьевское семейство ковыряло маленько землю вокруг дома, возводило изгородь из жердей, хворостин, старых досок. Но зимой все это постепенно исчезало в утробе русской печи, раскорячившейся посреди избы.

Танька левонтьевская так говаривала, шумя беззубым ртом, обо всем ихнем заведенье:

— Зато как тятька шурунет нас — бегишь и не запнешша.

Сам дядя Левонтий в теплые вечера выходил на улицу в штанах, державшихся на единственной медной пуговице с двумя орлами, в бязевой рубахе, вовсе без пуговиц. Садился на истюканный топором чурбак, изображавший крыльцо, курил, смотрел, и если моя бабушка корила его в окно за безделье, перечисляла работу, которую он должен был, по ее разумению, сделать в доме и вокруг дома, дядя Левонтий благодушно почесывался.

— Я, Петровна, слободу люблю! — и обводил рукою вокруг себя:

— Хорошо! Как на море! Ништо глаз не угнетат!

Дядя Левонтий любил море, а я любил его. Главная цель моей жизни была прорваться в дом Левонтия после его получки, послушать песню про малютку обезьяну и, если потребуется, подтянуть могучему хору. Улизнуть не так-то просто. Бабушка знает все мои повадки наперед.

— Нечего куски выглядывать, — гремела она. — Нечего этих пролетарьев объедать, у них самих в кармане — вошь на аркане.

Но если мне удавалось ушмыгнуть из дома и попасть к левонтьевским, тут уж все, тут уж я окружен бывал редкостным вниманием, тут мне полный праздник.

— Выдь отсюдова! — строго приказывал пьяненький дядя Левонтий кому-нибудь из своих парнишек. И пока кто-либо из них неохотно вылезал из-за стола, пояснял детям свое строгое действие уже обмякшим голосом: — Он сирота, а вы всешки при родителях! — И, жалостно глянув на меня, взревывал: — Мать-то ты хоть помнишь ли? Я утвердительно кивал. Дядя Левонтий горестно облокачивался на руку, кулачищем растирал по лицу слезы, вспоминая; — Бадоги с ней по один год кололи-и-и! — И совсем уж разрыдавшись: — Когда ни придешь… ночь-полночь… пропа… пропащая ты голова, Левонтий, скажет и… опохмелит…

Тетка Васеня, ребятишки дяди Левонтия и я вместе с ними ударялись в рев, и до того становилось жалостно в избе, и такая доброта охватывала людей, что все-все высыпалось и вываливалось на стол и все наперебой угощали меня и сами ели уже через силу, потом затягивали песню, и слезы лились рекой, и горемычная обезьяна после этого мне снилась долго.

Поздно вечером либо совсем уже ночью дядя Левонтий задавал один и тот же вопрос: «Что такое жисть?!> После чего я хватал пряники, конфеты, ребятишки левонтьевские тоже хватали что попадало под руки и разбегались кто куда.

Последней ходу задавала Васеня, и бабушка моя привечала ее до утра. Левонтий бил остатки стекол в окнах, ругался, гремел, плакал.

На следующее утро он осколками стеклил окна, ремонтировал скамейки, стол и, полный мрака и раскаяния, отправлялся на работу. Тетка Васеня дня через три-четыре снова ходила по соседям и уже не взметывала юбкою вихрь, снова занимала до получки денег, муки, картошек — чего придется.

Вот с орлами-то дяди Левонтия и отправился я по землянику, чтобы трудом своим заработать пряник. Ребятишки несли бокалы с отбитыми краями, старые, наполовину изодранные на растопку, берестяные туески, кринки, обвязанные по горлу бечевками, у кого ковшики без ручек были. Парнишки вольничали, боролись, бросали друг в друга посудой, ставили подножки, раза два принимались драться, плакали, дразнились. По пути они заскочили в чей-то огород, и, поскольку там еще ничего не поспело, напластали беремя луку-батуна, наелись до зеленой слюны, остатки побросали. Оставили несколько перышек на свистульки. В обкусанные перья они пищали, приплясывали, под музыку шагалось нам весело, и мы скоро пришли на каменистый увал. Тут все перестали баловаться, рассыпались по лесу и начали брать землянику, только-только еще поспевающую, белобокую, редкую и потому особенно радостную и дорогую.

Я брал старательно и скоро покрыл дно аккуратненького туеска стакана на два-три.

Бабушка говорила: главное в ягодах — закрыть дно посудины. Вздохнул я с облегчением и стал собирать землянику скорее, да и попадалось ее выше по увалу больше и больше.

Левонтьевские ребятишки сначала ходили тихо. Лишь позвякивала крышка, привязанная к медному чайнику. Чайник этот был у старшего парнишки, и побрякивал он, чтобы мы слышали, что старшой тут, поблизости, и бояться нам нечего и незачем.

Вдруг крышка чайника забренчала нервно, послышалась возня.

— Ешь, да? Ешь, да? А домой че? А домой че? — спрашивал старшой и давал кому-то тумака после каждого вопроса.

— А-га-га-гааа! — запела Танька. — Шанька шажрал, дак ничо-о-о…

Попало и Саньке. Он рассердился, бросил посудину и свалился в траву. Старшой брал, брал ягоды да и задумался: он для дома старается, а те вон, дармоеды, жрут ягоды либо вовсе на траве валяются. Подскочил старшой и пнул Саньку еще раз. Санька взвыл, кинулся на старшого. Зазвенел чайник, брызнули из него ягоды. Бьются братья богатырские, катаются по земле, всю землянику раздавили.

После драки и у старшого опустились руки. Принялся он собирать просыпанные, давленые ягоды — и в рот их, в рот.

— Значит, вам можно, а мне, значит, нельзя! Вам можно, а мне, значит, нельзя? — зловеще спрашивал он, пока не съел все, что удалось собрать.

Вскоре братья как-то незаметно помирились, перестали обзываться и решили спуститься к Фокинской речке, побрызгаться.

Мне тоже хотелось к речке, тоже бы побрызгаться, но я не решался уйти с увала, потому что еще не набрал полную посудину.

— Бабушки Петровны испугался! Эх ты! — закривлялся Санька и назвал меня поганым словом. Он много знал таких слов. Я тоже знал, научился говорить их у левонтьевских ребят, но боялся, может, стеснялся употреблять поганство и несмело заявил:

— Зато мне бабушка пряник конем купит!

— Может, кобылой? — усмехнулся Санька, плюнул себе под ноги и тут же что-то смекнул; — Скажи уж лучше — боишься ее и еще жадный!

— Я?

— Ты!

— Жадный?

— Жадный!

— А хочешь, все ягоды съем? — сказал я это и сразу покаялся, понял, что попался на уду. Исцарапанный, с шишками на голове от драк и разных других причин, с цыпками на руках и ногах, с красными окровенелыми глазами, Санька был вреднее и злее всех левонтьевских ребят.

— Слабо! — сказал он.

— Мне слабо! — хорохорился я, искоса глядя в туесок. Там было ягод уже выше середины. — Мне слабо?! — повторял я гаснущим голосом и, чтобы не спасовать, не струсить, не опозориться, решительно вытряхнул ягоды на траву: — Вот! Ешьте вместе со мной!

Навалилась левонтьевская орда, ягоды вмиг исчезли. Мне досталось всего несколько малюсеньких, гнутых ягодок с прозеленью. Жалко ягод. Грустно. Тоска на сердце — предчувствует оно встречу с бабушкой, отчет и расчет. Но я напустил на себя отчаянность, махнул на все рукой — теперь уже все равно. Я мчался вместе с левонтьевскими ребятишками под гору, к речке, и хвастался:

— Я еще у бабушки калач украду!

Парни поощряли меня, действуй, мол, и не один калач неси, шанег еще прихвати либо пирог — ничего лишнее не будет.

— Ладно!

Бегали мы по мелкой речке, брызгались студеной водой, опрокидывали плиты и руками ловили подкаменщика — пищуженца. Санька ухватил эту мерзкую на вид рыбину, сравнил ее со срамом, и мы растерзали пищуженца на берегу за некрасивый вид. Потом пуляли камни в пролетающих птичек, подшибли белобрюшку. Мы отпаивали ласточку водой, но она пускала в речку кровь, воды проглотить на могла и умерла, уронив головку. Мы похоронили беленькую, на цветочек похожую птичку на берегу, в гальке и скоро забыли о ней, потому что занялись захватывающим, жутким делом: забегали в устье холодной пещеры, где жила (это в селе доподлинно знали) нечистая сила. Дальше всех в пещеру забежал Санька — его и нечистая сила не брала!

— Это еще че! — хвалился Санька, воротившись из пещеры. — Я бы дальше побег, в глыбь побег ба, да босый я, там змеев гибель.

— Жмеев?! — Танька отступила от устья пещеры и на всякий случай подтянула спадающие штанишки.

— Домовниху с домовым видел, — продолжал рассказывать Санька.

— Хлопуша! Домовые на чердаке живут да под печкой! — срезал Саньку старшой.

Санька смешался было, однако тут же оспорил старшого:

— Дак тама какой домовой-то? Домашний. А тут пещернай. В мохе весь, серай, дрожмя дрожит — студено ему. А домовниха худа-худа, глядит жалобливо и стонет. Да меня не подманишь, подойди только — схватит и слопает. Я ей камнем в глаз залимонил!..

Может, Санька и врал про домовых, но все равно страшно было слушать, чудилось — вот совсем близко в пещере кто-то все стонет, стонет. Первой дернула от худого места Танька, следом за нею и остальные ребята с горы посыпались. Санька свистнул, заорал дурноматом, поддавая нам жару.

Так интересно и весело мы провели весь день, и я совсем уже забыл про ягоды, но наступила пора возвращаться домой. Мы разобрали посуду, спрятанную под деревом.

— Задаст тебе Катерина Петровна! Задаст! — заржал Санька. — Ягоды-то мы съели! Ха-ха! Нарошно съели! Ха-ха! Нам-то ништяк! Ха-ха! А тебе-то хо-хо!..

Я и сам знал, что им-то, левонтьевским, «ха-ха!», а мне «хо-хо!». Бабушка моя, Катерина Петровна, не тетка Васеня, от нее враньем, слезами и разными отговорками не отделаешься.

Тихо плелся я за левонтьевскими ребятами из лесу. Они бежали впереди меня гурьбой, гнали по дороге ковшик без ручки. Ковшик звякал, подпрыгивал на камнях, от него отскакивали остатки эмалировки.

— Знаешь че? — проговорив с братанами, вернулся ко мне Санька. — Ты в туес травы натолкай, сверху ягод — и готово дело! Ой, дитятко мое! — принялся с точностью передразнивать мою бабушку Санька. — Пособил тебе воспо-одь, сиротинке, пособи-ил. — И подмигнул мне бес Санька, и помчался дальше, вниз с увала, домой.

А я остался.

Утихли голоса ребятни под увалом, за огородами, жутко сделалось. Правда, село здесь слышно, а все же тайга, пещера недалеко, в ней домовниха с домовым, змеи кишмя кишат. Повздыхал я, повздыхал, чуть было не всплакнул, но надо было слушать лес, траву, домовые из пещеры не подбираются ли. Тут хныкать некогда. Тут ухо востро держи. Я рвал горстью траву, а сам озирался по сторонам. Набил травою туго туесок, на бычке, чтоб к свету ближе и дома видать, собрал несколько горсток ягодок, заложил ими траву — получилось земляники даже с копной.

— Дитятко ты мое! — запричитала бабушка, когда я, замирая от страха, передал ей посудину. — Восподь тебе пособил, воспо-дь! Уж куплю я тебе пряник, самый большущий. И пересыпать ягодки твои не стану к своим, прямо в этом туеске увезу…

Отлегло маленько.

Я думал, сейчас бабушка обнаружит мое мошенничество, даст мне что полагается, и уже приготовился к каре за содеянное злодейство. Но обошлось. Все обошлось. Бабушка унесла туесок в подвал, еще раз похвалила меня, дала есть, и я подумал, что бояться мне пока нечего и жизнь не так уж худа.

Я поел, отправился на улицу играть, и там дернуло меня сообщить обо всем Саньке.

— А я расскажу Петровне! А я расскажу!..

— Не надо, Санька!

— Принеси калач, тогда не расскажу.

Я пробрался тайком в кладовку, вынул из ларя калач и принес его Саньке, под рубахой. Потом еще принес, потом еще, пока Санька не нажрался.

«Бабушку надул. Калачи украл! Что только будет?> — терзался я ночью, ворочаясь на полатях. Сон не брал меня, покой «андельский> не снисходил на мою жиганью, на мою варначью душу, хотя бабушка, перекрестив на ночь, желала мне не какого-нибудь, а самого что ни на есть «андельского», тихого сна.

— Ты чего там елозишь? — хрипло спросила из темноты бабушка. — В речке небось опять бродил? Ноги опять болят?

— Не-е, — откликнулся я. — Сон приснился…

— Спи с Богом! Спи, не бойся. Жизнь страшнее снов, батюшко…

«А что, если слезть с полатей, забраться к бабушке под одеяло и все-все рассказать?»

Я прислушался. Снизу доносилось трудное дыхание старого человека. Жалко будить, устала бабушка. Ей рано вставать. Нет уж, лучше я не буду спать до утра, скараулю бабушку, расскажу обо всем: и про туесок, и про домовниху с домовым, и про калачи, и про все, про все…

От этого решения мне стало легче, и я не заметил, как закрылись глаза. Возникла Санькина немытая рожа, потом замелькал лес, трава, земляника, завалила она и Саньку, и все, что виделось мне днем.

На полатях запахло сосняком, холодной таинственной пещерой, речка прожурчала у самых ног и смолкла…

Дедушка был на заимке, километрах в пяти от села, в устье реки Маны. Там у нас посеяна полоска ржи, полоска овса и гречи да большой загон посажен картошек. О колхозах тогда еще только начинались разговоры, и селяне наши жили пока единолично. У дедушки на заимке я любил бывать. Спокойно у него там, обстоятельно, никакого утеснения и надзора, бегай хоть до самой ночи. Дедушка никогда и ни на кого не шумел, работал неторопливо, но очень уемисто и податливо.

Ах, если бы заимка была ближе! Я бы ушел, скрылся. Но пять километров для меня были тогда непреодолимым расстоянием. И Алешки нет, чтобы с ним вместе умотать. Недавно приезжала тетка Августа и забрала Алешку с собой на лесоучасток, куда она поступила работать.

Слонялся я, слонялся по пустой избе и ничего другого не мог придумать, как податься к левонтьевским.

— Уплыла Петровна! — ухмыльнулся Санька и цыркнул слюной в дырку меж передних зубов. У него в этой дырке мог поместиться еще один зуб, и мы были без ума от этой Санькиной дырки. Как он в нее цыркал слюной!

Санька собирался на рыбалку, распутывал леску. Малые его братья и сестры толкались подле, бродили вокруг скамеек, ползали, ковыляли на кривых ногах.

Санька раздавал затрещины направо и налево — малые лезли под руку, путали леску.

— Крючка нету, — сердито буркнул он, — проглотил, должно, который-то.

— Помрет?

— Ништя-ак! — успокоил меня Санька. — Переварят. У тебя много крючков, дай. Я тебя с собой возьму.

— Идет.

Я помчался домой, схватил удочки, хлеба в карман сунул, и мы подались к каменным бычкам, за поскотину, спускавшуюся прямо в Енисей по-за логом.

Старшого дома не было. Его взял с собой «на бадоги> отец, и Санька командовал напропалую. Поскольку был он сегодня старшим и чувствовал большую ответственность, то уж не задирался зря и, мало того, усмирял «народ», если тот начинал свалку.

У бычков Санька поставил удочки, наживил червяков, поклевал на них и «с руки> закинул лески, чтобы дальше закинулось, — всем известно: чем дальше и глубже, тем больше рыбы и крупней она.

— Ша! — вытаращил глаза Санька, и мы покорно замерли. Долго не клевало. Мы устали ждать, начали толкаться, хихикать, дразниться. Санька терпел, терпел и прогнал нас искать щавель, береговой чеснок, дикую редьку, иначе, мол, он за себя не ручается, иначе он всем нам нащелкает. Левонтьевские ребята умели пропитаться «от земли», ели все, что Бог пошлет, ничем не брезговали и оттого были краснорожие, сильные, ловкие, особенно за столом.

Без нас у Саньки в самом деле заклевало. Пока мы собирали пригодную для жратвы зелень, он вытащил двух ершей, пескаря и белоглазого ельчика. Развели огонь на берегу. Санька вздел на палочки рыб, приспособил их жарить, ребятишки окружили костерок и не спускали глаз с жарева. «Са-ань! — заныли они скоро. — Уж изварилось! Са-ань!..»

— Н-ну, прорвы! Н-ну, прорвы! Ужели не видите, что ерш жабрами зеват? Токо бы слопать поскореича. А ну как брюхо схватит, понос ешли?..

— Понос у Витьки Катерининого быват. У нас не-эт.

— Я че сказал?!

Смолкли орлы боевые. С Санькой не больно турусы разведешь, он, чуть чего, и навтыкает. Терпят малые, швыркают носами; норовят огонь пожарче сладить. Однако терпенья хватает ненадолго.

— Ну, Са-ань, вон уж прямо уголь…

— Подавитесь!

Ребята сцапали палочки с жареной рыбой, разорвали на лету и на лету же, постанывая от горячего, съели их почти сырыми, без соли и хлеба, съели и в недоумении огляделись: уже?! Столько ждали, столько терпели и только облизнулись. Хлеб мой ребятишки тоже незаметно смолотили и занялись кто чем: вытаскивали из норок береговушек, «блинали> каменными плиточками по воде, пробовали купаться, но вода была еще холодная, быстро выскочили из реки — отогреваться у костра. Отогрелись и упали в еще низкую траву, чтоб не видать, как Санька жарит рыбу, теперь уже себе, теперь его черед, и тут уж проси не проси — могила. Не даст, потому как сам пожрать любит пуще всех.

День был ясный, летний. Сверху пекло. Возле поскотины клонились к земле рябенькие кукушкины башмачки. На длинных хрустких стеблях болтались из стороны в сторону синие колокольчики, и, наверное, только пчелы слышали, как они звенели. Возле муравейника на обогретой земле лежали полосатые цветки-граммофончики, и в голубые их рупоры совали головы шмели. Они надолго замирали, выставив мохнатые зады, должно быть, заслушивались музыкой. Березовые листья блестели, осинник сомлел от жары, сосняк по увалам был весь в синем куреве. Над Енисеем солнечно мерцало. Сквозь это мерцание едва проглядывали красные жерла известковых печей, полыхающих по ту сторону реки. Тени скал лежали недвижно на воде, и светом их размыкало, рвало в клочья, будто старое тряпье. Железнодорожный мост в городе, видимый из нашего села в ясную погоду, колыхался тонким кружевцем, и, если долго смотреть на него, — кружевце истоньшалось и рвалось.

Оттуда, из-за моста, должна приплыть бабушка. Что только будет! И зачем я так сделал? Зачем послушался левонтьевских? Вон как хорошо было жить. Ходи, бегай, играй и ни о чем не думай. А теперь что? Надеяться теперь не на что. Разве что на нечаянное какое избавление. Может, лодка опрокинется и бабушка утонет? Нет уж, лучше пусть не опрокидывается. Мама утонула. Чего хорошего? Я нынче сирота. Несчастный человек. И пожалеть меня некому. Левонтий только пьяный жалеет да еще дедушка — и все, бабушка только кричит, еще нет-нет да поддаст — у нее не задержится. Главное, дедушки нет. На заимке дедушка. Он бы не дал меня в обиду. Бабушка и на него кричит: «Потатчик! Своим всю жизнь потачил, теперь этого!..> «Дедушка ты дедушка, хоть бы ты в баню мыться приехал, хоть бы просто так приехал и взял бы меня с собою! »

-Ты чего нюнишь? — наклонился ко мне Санька с озабоченным видом.

— Ничего-о-о! — голосом я давал понять, что это он, Санька, довел меня до такой жизни.

— Ништя-ак! — утешил меня Санька. — Не ходи домой, и все! Заройся в сено и притаись. Петровна видела у твоей матери глаз приоткрытый, когда ее хоронили. Боится — ты тоже утонешь. Вот она как запричитает: «Утону-у-ул мой дитятко, спокинул меня, сиротиночка», — ты тут и вылезешь!..

— Не буду так делать! — запротестовал я. — И слушаться тебя не буду!..

— Ну и лешак с тобой! Об тебе же стараются. Во! Клюнуло! У тебя клюнуло!

Я свалился с яра, переполошив береговушек в дырках, и рванул удочку. Попался окунь. Потом ерш. Подошла рыба, начался клев. Мы наживляли червяков, закидывали.

— Не перешагивай через удилище! — суеверно орал Санька на совсем ошалевших от восторга малышей и таскал, таскал рыбешек. Парнишонки надевали их на ивовый прут, опускали в воду и кричали друг на дружку: «Кому говорено — не пересекай удочку?!»

Вдруг за ближним каменным бычком защелкали по дну кованые шесты, из-за мыса показалась лодка. Трое мужиков разом выбрасывали из воды шесты. Сверкнув отшлифованными наконечниками, шесты разом падали в воду, и лодка, зарывшись по обводы в реку, рвалась вперед, откидывая на стороны волны. Взмах шестов, перекидка рук, толчок — лодка вспрыгнула носом, ходко подалась вперед. Она ближе, ближе. Вот уж кормовой двинул шестом, и лодка кивнула в сторону от наших удочек. И тут я увидел сидящего на беседке еще одного человека. Полушалок на голове, концы его пропущены под мышки и крест-накрест завязаны на спине. Под полушалком крашенная в бордовый цвет кофта. Вынималась эта кофта из сундука по большим праздникам и по случаю поездки в город.

Я рванул от удочек к яру, подпрыгнул, ухватился за траву, засунув большой палец ноги в норку. Подлетела береговушка, тюкнула меня по голове, я с перепугу упал на комья глины, подскочил и бежать по берегу, прочь от лодки.

— Ты куда! Стой! Стой, говорю! — кричала бабушка.

Я мчался во весь дух.

— Я-а-авишша, я-авишша домой, мошенник!

Мужики поддали жару.

— Держи его! — крикнули из лодки, и я не заметил, как оказался на верхнем конце села, куда и одышка, всегда меня мучающая, девалась! Я долго отдыхивался и скоро обнаружил — подступает вечер — волей-неволей надо возвращаться домой. Но я не хотел домой и на всякий случай подался к двоюродному братишке Кеше, дяди Ваниному сыну, жившему здесь, на верхнем краю села.

Мне повезло. Возле дяди Ваниного дома играли в лапту. Я ввязался в игру и пробегал до темноты. Появилась тетя Феня, Кешкина мать, и спросила меня:

— Ты почему домой не идешь? Бабушка потеряет тебя.

— Не-е, — ответил я как можно беспечнее. — Она в город уплыла. Может, ночует там.

Тетя Феня предложила мне поесть, и я с радостью смолотил все, что она мне дала, тонкошеий Кеша попил вареного молока, и мать ему сказала с укором:

— Все на молочке да на молочке. Гляди вон, как ест парнишка, оттого и крепок, как гриб боровик. — Мне поглянулась тети Фенина похвала, и я уже тихо надеяться стал, что она меня и ночевать оставит.

Но тетя Феня порасспрашивала, порасспрашивала меня обо всем, после чего взяла за руку и отвела домой.

В нашей избе уже не было свету. Тетя Феня постучала к окно. «Не заперто!> — крикнула бабушка. Мы вошли в темный и тихий дом, где только и слышалось многокрылое постукивание бабочек да жужжание бьющихся о стекло мух.

Тетя Феня оттеснила меня в сени, втолкнула в пристроенную к сеням кладовку. Там была налажена постель из половиков и старого седла в головах — на случай, если днем кого-то сморит жара и ему захочется отдохнуть в холодке.

Я зарылся в половик, притих, слушая.

Тетя Феня и бабушка о чем-то разговаривали в избе, но о чем — не разобрать. В кладовке пахло отрубями, пылью и сухой травой, натыканной во все щели и под потолком. Трава эта все чего-то пощелкивала да потрескивала. Тоскливо было в кладовке. Темень была густа, шероховата, заполненная запахами и тайной жизнью. Под полом одиноко и робко скреблась мышь, голодающая из-за кота. И все потрескивали сухие травы да цветы под потолком, открывали коробочки, сорили во тьму семечки, два или три запутались в моих полосах, но я их не вытаскивал, страшась шевельнуться.

На селе утверждалась тишина, прохлада и ночная жизнь. Убитые дневною жарою собаки приходили в себя, вылазили из-под сеней, крылец, из конур и пробовали голоса. У моста, что положен через Фокинскую речку, пиликала гармошка. На мосту у нас собирается молодежь, пляшет там, поет, пугает припозднившихся ребятишек и стеснительных девчонок.

У дяди Левонтия спешно рубили дрова. Должно быть, хозяин принес чего-то на варево. У кого-то левонтьевские «сбодали> жердь? Скорей всего у нас. Есть им время промышлять в такую пору дрова далеко…

Ушла тетя Феня, плотно прикрыла дверь в сенках. Воровато прошмыгнул ко крыльцу кот. Под полом стихла мышь. Стало совсем темно и одиноко. В избе не скрипели половицы, не ходила бабушка. Устала. Не ближний путь в город-то! Восемнадцать верст, да с котомкой. Мне казалось, что, если я буду жалеть бабушку, думать про нее хорошо, она об этом догадается и все мне простит. Придет и простит. Ну разок и щелкнет, так что за беда! За такое дело и не разок можно…

Однако бабушка не приходила. Мне сделалось холодно. Я свернулся калачиком и дышал себе на грудь, думая про бабушку и про все жалостное.

Когда утонула мама, бабушка не уходила с берега, ни унести, ни уговорить ее всем миром не могли. Она все кликала и звала маму, бросала в реку крошки хлебушка, серебрушки, лоскутки, вырывала из головы волосы, завязывала их вокруг пальца и пускала по течению, надеясь задобрить реку, умилостивить Господа.

Лишь на шестые сутки бабушку, распустившуюся телом, почти волоком утащили домой. Она, словно пьяная, бредово что-то бормотала, руки и голова ее почти доставали землю, волосья на голове расплетались, висели над лицом, цеплялись за все и оставались клочьями на бурьянe. на жердях и на заплотах.

Бабушка упала среди избы на голый пол, раскинув руки, и так вот спала, не раздетая, в скоробленных опорках, словно плыла куда-то, не издавая ни шороха, ни звука, и доплыть не могла. В доме говорили шепотом, ходили ца цыпочках, боязно наклонялись над бабушкой, думая, что она умерла. Но из глубины бабушкиного нутра, через стиснутые зубы шел непрерывный стон, словно бы придавило что-то или кого-то там, в бабушке, и оно мучилось от неотпускающей, жгучей боли.

Очнулась бабушка ото сна сразу, огляделась, будто после обморока, и стала подбирать волосы, сплетать их в косу, держа тряпочку для завязки косы в зубах. Деловито и просто не сказала, а выдохнула она из себя: «Нет, не дозваться мне Лиденьку, не дозваться. Не отдает ее река. Близко где-то, совсем близко держит, но не отдает и не показывает…»

А мама и была близко. Ее затянуло под сплавную бону против избы Вассы Вахрамеевны, она зацепилась косой за перевязь бон и моталась, моталась там до тех пор, пока не отопрели волосы и не оторвало косу. Так они и мучились: мама в воде, бабушка на берегу, мучились страшной мукой неизвестно за чьи тяжкие грехи…

Бабушка узнала и рассказала мне, когда я подрос, что в маленькую долбленую лодку набилось восемь человек отчаянных овсянских баб и один мужик на корме — наш Кольча-младший. Бабы все с торгом, в основном с ягодой — земляникой, и, когда лодка опрокинулась, по воде, ширясь, понеслась красная яркая полоса, и сплавщики с катера, спасавшие людей, закричали: «Кровь! Кровь! Разбило о бону кого-то…> Но по реке плыла земляника. У мамы тоже была кринка земляники, и алой струйкой слилась она с красной полосой. Может, и мамина кровь от удара головой о бону была там, текла и вилась вместе с земляникой по воде, да кто ж узнает, кто отличит в панике, в суете и криках красное от красного?

Проснулся я от солнечного луча, просочившегося в мутное окошко кладовки и ткнувшегося мне в глаза. В луче мошкой мельтешила пыль. Откуда-то наносило заимкой, пашнею. Я огляделся, и сердце мое радостно подпрыгнуло: на меня был накинут дедушкин старенький полушубок. Дедушка приехал ночью. Красота! На кухне бабушка кому-то обстоятельно рассказывала:

-…Культурная дамочка, в шляпке. «Я эти вот ягодки все куплю». Пожалуйста, милости прошу. Ягодки-то, говорю, сиротинка горемышный собирал…

Тут я провалился сквозь землю вместе с бабушкой и уже не мог и не желал разбирать, что говорила она дальше, потому что закрылся полушубком, забился в него, чтобы скорее помереть. Но сделалось жарко, глухо, стало нечем дышать, и я открылся.

— Своих вечно потачил! — гремела бабушка. — Теперь этого! А он уж мошенничат! Че потом из него будет? Жиган будет! Вечный арестант! Я вот еще левонтьевских, пятнай их, в оборот возьму! Это ихняя грамота!..

Убрался дед во двор, от греха подальше, чего-то тюкает под навесом. Бабушка долго одна не может, ей надо кому-то рассказывать о происшествии либо разносить вдребезги мошенника, стало быть, меня, и она тихонько прошла по сеням, приоткрыла дверь в кладовку. Я едва успел крепко-накрепко сомкнуть глаза.

— Не спишь ведь, не спишь! Все-о вижу!

Но я не сдавался. Забежала в дом тетка Авдотья, спросила, как «тета> сплавала в город. Бабушка сказала, что «сплавала, слава Тебе, Господи, ягоденки продала сходно», и тут же принялась повествовать:

— Мой-то! Малой-то! Чего утворил!.. Послушай-ко, послушай-ко, девка!

В это утро к нам приходило много людей, и всех бабушка задерживала, чтоб поведать: «А мой-то! Малой-то!> И это ей нисколько не мешало исполнять домашние дела — она носилась взад-вперед, доила корову, выгоняла ее к пастуху, вытряхивала половики, делала разные свои дела и всякий раз, пробегая мимо дверей кладовки, не забывала напомнить:

— Не спишь ведь, не спишь! Я все-о вижу!

Но я твердо верил: управится по дому и уйдет. Не вытерпит, чтобы не поделиться новостями, почерпнутыми в городе, и узнать те новости, которые свершились без нее на селе. И каждому встречному и поперечному бабушка с большой охотой будет твердить: «А мой-то! Малой-то!»

В кладовку завернул дедушка, вытянул из-под меня кожаные вожжи и подмигнул:

«Ничего, дескать, терпи и не робей!», да еще и по голове меня погладил. Я заширкал носом и так долго копившиеся слезы ягодой, крупной земляникой, пятнай ее, сыпанули из моих глаз, и не было им никакого удержу.

— Ну, што ты, што ты? — успокаивал меня дед, обирая большой рукой слезы с моего лица. — Чего голоднай-то лежишь? Попроси прошшенья… Ступай, ступай, — легонько подтолкнул меня дед в спину.

Придерживая одной рукой штаны, прижав другую локтем к глазам, я ступил в избу и завел:

— Я больше… Я больше… Я больше… — и ничего не мог дальше сказать.

— Ладно уж, умывайся да садись трескать! — все еще непримиримо, но уже без грозы, без громов оборвала меня бабушка. Я покорно умылся, долго возил по лицу сырым рукотерником и вспомнил, что ленивые люди, по заверению бабушки, всегда сырым утираются, потому что всех позднее встают. Надо было двигаться к столу, садиться, глядеть на людей. Ах ты Господи! Да чтобы я еще хоть раз сплутовал! Да я…

Содрогаясь от все еще не прошедших всхлипов, я прилепился к столу. Дед возился на кухне, сматывал на руку старую, совсем, понимал я, ненужную ему веревку, чего-то доставал с полатей, вынул из-под курятника топор, попробовал пальцем острие. Он ищет и находит заделье, чтоб только не оставлять горемычного внука один на один с «генералом> — так он в сердцах или в насмешку называет бабушку. Чувствуя незримую, но надежную поддержку деда, я взял со стола краюху и стал есть ее всухомятку. Бабушка одним махом плеснула молоко, со стуком поставила посудину передо мной и подбоченилась:

— Брюхо болит, на краюху глядит! Эшь ведь какой смирененькай! Эшь ведь какой тихонькай! И молочка не попросит!..

Дед мне подморгнул — терпи. Я и без него знал: Боже упаси сейчас перечить бабушке, сделать чего не по ее усмотрению. Она должна разрядиться и должна высказать все, что у нее на сердце накопилось, душу отвести и успокоить должна. И срамила же меня бабушка! И обличала же! Только теперь, поняв до конца, в какую бездонную пропасть ввергло меня плутовство и на какую «кривую дорожку> оно меня еще уведет, коли я так рано взялся шаромыжничать, коли за лихим людом потянулся на разбой, я уж заревел, не просто раскаиваясь, а испугавшись, что пропал, что ни прощенья, ни возврата нету…

Даже дед не выдержал бабушкиных речей и моего полного раскаянья. Ушел. Ушел, скрылся, задымив цигаркой, дескать, мне тут ни помочь, ни совладать, Бог пособляй тебе, внучек…

Бабушка устала, выдохлась, а может, и почуяла, что уж того она, лишковато все ж меня громила.

Было покойно в избе, однако все еще тяжело. Не зная, что делать, как дальше жить, я разглаживал заплатку на штанах, вытягивал из нее нитки. А когда поднял голову, увидел перед собой…

Я зажмурился и снова открыл глаза. Еще раз зажмурился, еще раз открыл. По скобленому кухонному столу, будто по огромной земле, с пашнями, лугами и дорогами, на розовых копытцах, скакал белый конь с розовой гривой.

— Бери, бери, че смотришь? Глядишь, зато еще когда омманешь баушку…

Сколько лет с тех пор прошло! Сколько событий минуло. Нет в живых дедушки, нет и бабушки, да и моя жизнь клонится к закату, а я все не могу забыть бабушкиного пряника — того дивного коня с розовой гривой.

[БОРИС ШЕРГИН](http://www.boris-shergin.ru/)

[Детство в Архангельске](http://www.boris-shergin.ru/?p=15" \o "Постоянная ссылка к Детство в Архангельске)

Мама была родом из Соломбалы. У деда Ивана Михайловича шили паруса на корабельные верфи. В мастерскую захаживали моряки. Здесь увидал молоденькую Анну Ивановну бравый мурманский штурман, будущий мой отец. Поговорить, даже познакомиться было некак. Молоденькая Ивановна не любила ни в гости, ни на гулянья. В будни посиживала за работой, в праздники – с толстой поморской книгой у того же окна.  
Насколько Аннушка была домоседлива и скромна, настолько замужняя ее сестра – модница и любительница ходить по гостям. Возвратясь однажды с вечера, рассказывает:  
– Лансье сегодня танцевала с некоторым мурманским штурманом. Борода русая, круговая, волосы на прямой пробор. Щеголь…  
– Машка, ты это к чему?  
– К тому, что он каждое слово Анной Ивановной закроет…  
– Я вот скажу отцу, посадит он тебя парусину дратвой штопать… В другой раз не придешь ко мне с такими разговорами.  
Вскорости деда навестил знакомый капитан, зашел проститься к дочери хозяина и подал ей конверт.  
– Дозвольте по секрету, Анна Ивановна: изображенное в конверте лицо, приятель мой, мурманский штурман, уходит на днях в опасное плавание и…  
Молоденькая Ивановна вспыхнула и бросила конверт на пол.  
– Никакими секретами, никакими конвертами не интересуюсь…  
Капитан сконфузился и убежал. Разгневанная Ивановна швырнула было пакет ему вслед, потом вынула фотографию, поставила перед собою на стол и до вечера смотрела и шила, смотрела и думала.  
Прошло лето, кончалась навигация. По случаю праздничного дня дедушка с дочкой сидели за чтением. В палисаднике под окном скрипнула калитка, кто-то вошел.  
Молоденькая Ивановна взглянула, да и замерла. И вошедший-тот самый мурманский штурман – приподнял фуражку и очей с девицы не сводит…  
Но и дед не слепой, приоткрыл раму:  
– Что ходите тут?  
– Малину беру…  
А уж о Покрове… Снег идет. Старик к дочери:  
– Аннушка, что плачешь?  
– Ох, зачем я посмотрела!…  
– Аннушка, люди-то говорят – ты надобна ему…  
Вот дед с мурманским штурманом домами познакомились. Штурман стал с визитами ходить. Однажды застал Анну Ивановну одну. Поглядели «лица» – миньятюры «Винограда российского», писанного некогда в Выгореции… Помолчали, гость вздохнул:  
– Вы все с книгой, Анна Ивановна… Вероятно, замуж не собираетесь?…  
– Ни за царя, ни за князя не пойду!  
Гость упавшим голосом:  
– Аннушка, а за меня пошла бы?  
Она шепотом:  
– За тебя нельзя отказаться…  
В Архангельском городе было у отца домишко подле Немецкой слободы, близко реки.  
Комнатки в доме были маленькие, низенькие, будто каютки: окошечки коротенькие, полы желтенькие, столы, двери расписаны травами. По наблюдникам синяя норвежская посуда. По стенам на полочках корабельные модели оснащены. С потолков птички растопорщились деревянные – отцово же мастерство.  
Первые года замужества мама от отца не отставала, с ним в море ходила, потом хозяйство стало дома задерживать и дети.  
У нас в Архангельске до году ребят на карточку не снимали, даже срисовывать не давали, и пуще всего зеркала младенцу не показывали. Потому, верно, я себя до году и не помню. А годовалого меня увековечили. Такое чудышко толстоголовое в альбоме сидит, вроде гири на прилавке.  
Я у матери на коленях любил засыпать. Она поет:

Баю, бай да люли!  
Спи-ка, усни  
Да большой вырастай,  
На оленя гонец,  
На тетеру стрелец…  
………………….  
Бай, бай да люли!  
………………….  
Ты на елке тетерку имай,  
На озерке гагарку стреляй,  
Еще на море уточку,  
На песочке лебедошку.

Мама на народе не пела песен, а дома или куда в лодке одна поедет – все поет.  
Годов-то трех сыплю, бывало, по двору. Запнусь и ляпнусь в песок. Встану, осмотрюсь… Если кто видит, рев подыму на всю улицу: пусть знают, что человек страдает. А если нет никого, молча домой уберусь.  
Отец у меня всю навигацию в море ходил. Радуемся, когда дома. Сестренка к отцу спрячется под пиджак, кричит:  
– Вот, мамушка, у тебя и нету деушки, я ведь папина!  
– Ну дак что, я тебе и платьев шить не буду.  
– Я сама нашью, модных.  
Сестрица шить любила. Ей дадут готовую рубашонку и нитку без узла. Она этой ниткой весь день шьет. Иногда ворот у рубашки наглухо зашьет.  
Отец нам про море пел и говорил. Возьмет меня на руку, сестру на другую, ходит по горнице, поет:

Корабли у нас будут сосновы,  
Нашосточки, лавочки еловы,  
Веселышки яровые,  
Гребцы – молодцы удалые.

Он поживет с нами немножко и в море сторопится. Если на пароходе уходит, поведет меня в машинное отделение. Я раз спросил:  
– Папа, машина-то, она самородна?  
Машины любил смотреть, только гулкого, громоносного свиста отправляющегося в океан парохода я, маленький, боялся, ревел. До свистка выгрузят меня подальше на берег. Я оттуда колпачком машу.  
Осенью, когда в море наступят дни гнева и мрака, а об отце вестей долго нет, не знала мама покоя ни днем ни ночью. Выбежит наутро, смотрит к северу, на ответ только чайки вопят к непогоде.  
Вечером заповорачиваются на крыше флюгера, заплачет в трубе норд-вест. Мама охватит нас руками:  
– Ох, деточки! Что на море-то делается… Папа у нас там!  
Я утешаю:  
– Мамушка, я, как вырасту, дальше Соломбалы не пойду в море.  
А Соломбала – часть того же Архангельска, только на островах.  
Не одна наша мама печалилась. При конце навигации сидят где-нибудь, хоть на именинах, жены и матери моряков. Чуть начнут рамы подрагивать от морского ветра, сразу эти гостьи поблекнут, перестанут ложечки побрякивать, стынут чашки.  
Хозяйка ободряет:  
– Полноте! Сама сейчас бегала флюгера смотреть. Поветерь дует вашим-то. Скорополучно домой ждите.  
Зимой отец на берегу, у матери сердце на месте.  
В листопад придут в город кемские поморы, покроют реку кораблями.  
Утром, не поспеет кошка умыться, к нам гости наехали.  
Однажды ждали в гости почтенного капитана, у которого было прозвище Мошкарь. У нас все прозвища придумывают, в глаза никогда не назовут, а по-за глаз дразнят. Мама с отцом шутя и помянули: «Вот узко Мошкарь приедет…» Гость приехал и мне игрушку подарил. Я с подарком у него в коленях бегаю, говорю:  
– Я тебя люблю. Тебя можно всяко назвать. Можно дядей, можно дядюшкой. Можно Мошкарем, можно Мошкариком…  
Ребячьим делом я не раз впросак попадался из-за этих несчастных прозвищ.  
Годов пяти от роду видел я чью-то свадьбу. Меня угостили конфетами, и все это мне понравилось.  
На нашей улице был дом богача Варгасова, которого за глаза прозывали Варгас. Я думал, это его имя. Вот на другой день после моей гостьбы, вижу, он едет мимо на лошади. Я кричу из окна:  
– Варгас, постой-ко, постой!  
Он лошадь остановил, ждет, недоумевает… Я выбежал за ворота.  
– Варгас, вы, пожалуйста, вашу Еленку Варгасовну никому замуж не отдавайте. Я маму спрошусь, сам Еленку-то приду сватать…  
А Еленке Варгасовой год ли, полтора ли от роду еще…  
Помоложе Варгасовны была у нас с сестрой симпатия, Ульяна Баженина. Ряд лет жили мы в деревне Уйме, где зимовали мурманские пароходы. Понравилось нам с сестрой нянчить соседскую дочку, шестимесячную Ульянку. Ульянкина зыбка висела на хорошей пружине. Мы дернем вниз да отпустим, дернем вниз да отпустим. Ульянка рявкнет да вверх летит, рявкнет да вверх летит. Из люльки девка не выпадет, только вся девка вверх тормашками, где нога, где окутка, где пеленка… Няньки-то были, вишь, немножко постарше Ульянки.  
Весной по деревне проходили странники. А взрослых часто нет дома. Соберется нас, малышей, в большой Ульяниной избе много, посидим и испугаемся, что странники придут нас есть. Вот и выставим к двери лопаты да ухваты – странников убивать. А чуть привидится что черное, летим кто под лавку, кто в подпечек, кто в пустой ушат. Сестренка дольше всех суетится:  
– Я маленька, меня скоро съедят буки-ти.  
По Уйме-реке лес. Там орды боялись. Слыхали, что охотники орду находят, а какая она, не видали.  
Ягоды поспеют – отправимся в лес по морошку. Людно малых идет. Вдали увидим пень сажени полторы, как мужик в тулупе:  
– Ребята! Эвон де орда-та!  
Испугаемся, домой полетим. А орда вся-та с фунт, вся-та с векшу, пестрая. Орда не покажется людям, только собаки находят.  
Конец зимы уемляне все у корабельного, у пароходного ремонта. Мелкие с утра одни дома. Мы в Ульянкиной избе все и гостим, куча ребят трех – шести лет. Что у старших видели, то и мы: песни поем, свадьбы рядим – смотренье, рукобитье, пониманье. Девчонки у матерей с кринок наснимают, ходят, кланяются, угощают, – честь честью, как на свадьбе, а на дворе пост великий… И тут увидит из соседей старик ли, старуха – с розгой к нам треплют… Ведь пост! Беда, если песни да скоромное!… Мы опять кто куда – в подпечек, на полати, под крыльцо. Час-два там сидим.  
Эти отдельные картинки раннего моего детства мне позже мама и тетка рассказывали. Ну, что попозже творилось, сам помню.  
Ко всему, что глаз видит и ухо слышит, были у нас, у ребят, присказки да припевки. И к дождю, и к солнцу, и к ветру, и к снегу, и к зиме, и ко всякой ползучей букашке и летучей птице.  
Вот, к примеру, в зимние вечера, перед ночлегом, летают над городом стаи ворон. Ребята и приправят кричать:  
– У задней-то вороны пуля горит! Пуля горит!…  
Мы уверены были, что именно эти наши слова производят среди ворон суматоху, так как ни одна не хочет лететь задней.  
Я постарше стал, меня дома читать и писать учили.  
Отец рисовать был мастер и написал мне азбуку, целую книжку.  
В азбуке опять корабли и пароходы, и рыбы, и птицы – все разрисовано красками и золотом. К азбуке указочка была костяная резная. Грамоте больше учила мама. Букву А называла «аз», букву Б – «буки», В – «веди», Г – «глаголь», Д – «добро». Чтоб я скорее запомнил, шутя говорила, что начертанья А и Б похожи на жучков, буква В – будто таракан, Г – крюк. Для памяти я и декламирую:

Аз, буки – букашки,  
Веди -таракашки,  
Глаголь – крючки,  
Добро – ящички.

И другие стишки про буквы:

Ер (ъ) еры (ы) – упал с горы.  
Ер, ять (ять) – некому поднять.  
Ер, ю – сам встаю.  
…………………..  
А и Б сидели на трубе.

Азбуку мне отец подарил к Новому году, поэтому в начале было написано стихами:

Поздравляю тебя, сын, с Новым годом!  
Живи счастливо да учись.  
Ученый водит,  
Неученый следом ходит.  
Рано, весело вставай —  
Заря счастье кует.  
Ходи право,  
Гляди браво.  
Кто помоложе,  
С того ответ подороже.  
Будь, сын, отца храбрее,  
Матери добрее.  
Живи с людьми дружно.  
Дружно не грузно.  
А врозь – хоть брось!…

Отец, бывало, скажет:  
– Выучишься – ума прибудет!  
Я таким недовольным тоном:  
– Куда с умом-то?  
– А жизнь лучше будет.  
Весной выученное за зиму бегали писать на гладком береговом песке.  
В городе я поступил в школу, уже хорошо умея читать и писать.  
Больше всего успевал я, учась, в языках, совсем не давалась математика; из-за нее не любил я школы, бился зиму, как муха в паутине. Жизнь была сама по себе, а наша школа сама по себе. Город наш стоял у моря, а ни о Севере, ни о родном крае, ни о море никогда мы в школе не слыхали. А для меня это всегда было самое интересное.  
С ребятами сидим на пристанях, встречаем, провожаем приходящие, уходящие суда да поем:

У папы лодку попросил,  
Папа пальцем погрозил:  
– Вот те лодка с веслами,  
Мал гулять с матросами!…

Или еще:

Пойду на берег морской,  
Сяду под кусточек.  
Пароход идет с треской,  
Подает свисточек.

Насколько казенная наука от меня отпрядывала, настолько в море все, что я видел и слышал, льнуло ко мне, как смола к доске.

[Миша Ласкин](http://www.boris-shergin.ru/?p=17" \o "Постоянная ссылка к Миша Ласкин)

Это было давно, когда я учился в школе. Тороплюсь домой обедать, а из чужого дома незнакомый мальчик кричит мне:  
– Эй, ученик! Зайди на минутку!  
Захожу и спрашиваю:  
– Тебя как зовут?  
– Миша Ласкин.  
– Ты один живешь?  
– Нет, я приехал к тетке. Она убежала на службу, велела мне обедать. Я не могу один обедать, Я привык на корабле с товарищами. Садись скорее, ешь со мной из одной чашки!  
Я дома рассказал, что был в гостях у Миши Ласкина. Мне говорят:  
– В добрый час! Ты зови его к себе. Слышно, что его отец ушел в дальнее плавание.  
Так я подружился с Мишей.  
Против нашего города река такая широкая, что другой берег едва видно. При ветре по реке катятся волны с белыми гребнями, будто серые кони бегут с белыми гривами.  
Однажды мы с Мишей сидели на берегу. Спокойная река отражала красный облачный закат. С полдесятка ребят укладывали в лодку весла.  
Старший из ребят кричал:  
– Слушать мою команду! Через час всем быть здесь. Теперь отправляйтесь за хлебом.  
И они все ушли. Миша говорит:  
– Это они собрались за реку на ночь. Утром будут рыбу промышлять. А домой не скоро попадут. Глупый ихний капитан – не понимает, что если небо красно с вечера, то утром будет сильный ветер. Если говорить, они не послушают. Надо спрятать у них весла.  
Мы взяли из лодки весла и запихали их под пристань, в дальний угол, так, что мышам не найти.  
Миша верно угадал погоду. С утра дул морской ветер. Кричали чайки. Волны с шумом налетали на берег. Вчерашние ребята бродили по песку, искали весла.  
Миша сказал старшему мальчику:  
– Забрались бы вы с ночи на тот берег и ревели бы там до завтра.  
Мальчик говорит:  
– Мы весла потеряли.  
Миша засмеялся:  
– Весла я спрятал.  
Как-то раз мы пошли удить рыбу. После дождя спускаться с глиняного берега было трудно. Миша сел разуться, я побежал к реке. А навстречу Вася Ершов. Тащит на плече мачту от лодки. Я не дружил с ним и кричу:  
– Вася Ерш, куда ползешь?  
Он зачерпнул свободной рукой глины и ляпнул в меня. А с горы бежит Миша. Вася думает: «Этот будет драться» – и соскочил с тропинки в грязь.  
А Миша ухватил конец Васиной мачты и кричит:  
– Зачем ты в грязь залез, дружище? Дай я помогу тебе.  
Он до самого верху, до ровной дороги, нес Васину мачту. Я ждал его и думал: «Миша только и глядит, как бы чем-нибудь кому-нибудь помочь».  
Утром взял деревянную парусную лодочку своей работы и пошел к Ершовым. Сел на крыльцо. Вышел Вася, загляделся на лодочку.  
Я говорю:  
– Это тебе.  
Он улыбнулся и покраснел. А мне так стало весело, будто в праздник.  
Однажды мой отец строил корабль недалеко от города, и мы с Мишей ходили глядеть на его работу. В обеденный час отец угощал нас пирогами с рыбой. Он гладил Мишу по голове и говорил:  
– Ешь, мой голубчик.  
Потом нальет квасу в ковшик и первому подаст Мише:  
– Пей, мой желанный.  
Я всегда ходил на стройку вместе с Мишей. Но однажды я подумал: «Не возьму сегодня Мишку. Умею с кем поговорить не хуже его».  
И не сказал товарищу, один убежал.  
Корабль уже был спущен на воду. Без лодки не добраться. Я с берега кричу, чтобы послали лодку. Отец поглядывает на меня, а сам с помощниками крепит мачту. А меня будто и не узнает.  
Целый час орал я понапрасну. Собрался уходить домой. И вдруг идет Миша. Спрашивает меня:  
– Почему ты не зашел за мной?  
Я еще ничего не успел соврать, а уж с корабля плывет лодочка. Отец увидел, что я стою с Мишей, и послал за нами.  
На корабле отец сказал мне строго и печально:  
– Ты убежал от Миши потихоньку. Ты обидел верного товарища. Проси у него прощенья и люби его без хитрости.  
Миша захотел украсить место, где строят корабли. Мы начали выкапывать в лесу кусты шиповника и садить на корабельном берегу. На другое лето садик стал цвести.  
Миша Ласкин любил читать и то, что нравилось, переписывал в тетради. На свободных страницах я рисовал картинки, и у нас получалась книга. Книжное художество увлекло и Васю: он писал, будто печатал.  
Нам дивно было, какие альбомы получаются у Миши из наших расписных листов.  
Книги, и письмо, и рисование -дело зимнее. Летом наши думы устремляются к рыбной ловле. Чуть зашепчутся весенние капели, у нас тут и разговор: как поплывем на острова, как будем рыбку промышлять и уток добывать.  
Мечтали мы о легкой лодочке. И вот такая лодка объявилась в дальней деревушке, у Мишиных знакомцев. Миша сам туда ходил, еще по зимнему пути. Лодка стоила не дешево, но мастеру понравился Мишин разговор, Мишино желание и старание, и он не только сбавил цену, но и сделал льготу: половину денег сейчас, половину – к началу навигации.  
Отцы наши считали эту затею дорогой забавой, однако, доверяясь Мише, дали денег на задаток.  
Мы с Васей ликовали, величали Мишу кормщиком и шкипером, клялись, что до смерти будем ему послушны и подручны.  
Перед самой распутой зашли мы трое в Рыбопромышленный музей. Любуемся моделями судов, и Вася говорит:  
– Скоро и у нас будет красовитое суденышко!  
Миша помолчал и говорит:  
– Одно не красовито: снова править деньги на отцах.  
Вздохнул и я:  
– Ох, если бы нашим письмом да рисованием можно было заработать!…  
Мы не заметили, что разговор слышит основатель музея Верпаховский. Он к нам подходит и говорит:  
– Покажите мне ваше письмо и рисование.  
Через час он уж разглядывал наши самодельные издания.  
– Великолепно! Я как раз искал таких умельцев.  
В Морском собрании сейчас находится редкостная книга. Ее надобно спешно списать и срисовать. За добрый труд получите добрую цену.  
И вот мы получили для переписывания книгу стогодовалую премудрую, под названием «Морское знание и умение».  
В книге было триста страниц. Сроку нам дано две недели. Мы рассудили, что каждый из нас спишет в день десять страниц. Трое спишут тридцать страниц. Значит, переписку можно кончить в десять дней.  
Сегодня, скажем, мы распределили часы работ для каждого, а назавтра с Мишей Ласкиным стряслась оказия. Он для спешных дел побежал к отцу на судно. У отца заночевал, а ночью вешняя вода сломала лед, и началась великая распута. Сообщения с городом не стало.  
Люди – думать, а мы с Васей -делать.  
– Давай, – говорим, – сделаем нашему шкиперу сюрприз, спишем книгу без него.  
Так работали – недосуг носа утереть. Старая книга была замысловатая, рукописная, но вздумаем о Мише – и на уме станет светло и явится понятие. Эту поморскую премудрость втроем бы в две недели не понять, а мы двое списали, срисовали в девять дней.  
Верпаховский похвалил работу и сказал:  
– Завтра в Морском собрании будут заседать степенные, я покажу вашу работу. И вы туда придите в полдень.  
На другой день мы бежим в собрание, а нам навстречу Миша:  
– Ребята, я книгу разорил?  
– Миша, ты не разоритель, ты строитель. Пойдем с нами.  
В Морском собрании сидят степенные, и перед ними наша новенькая книга. Миша понял, что работа сделана, и так-то весело взглянул на нас.  
Степенный Воробьев, старичище с грозной бородищей, сказал:  
– Молодцы, ребята! Возьмите и от нас хоть малые подарочки.  
Старик берет со стола три костяные узорные коробочки, подает Мише, мне и Васе. В каждой коробочке поблескивает золотой червонец. Миша побледнел и положил коробочку на стол.  
– Господин степенный, – сказал Миша, – эта книга – труд моих товарищей. Не дико ли мне будет взять награду за чужой труд?  
Этими словами Миша нас как кнутом стегнул. Вася скривил рот, будто проглотил что-то горькое-прегорькое. А я взвопил со слезами:  
– Миша! Давно ли мы стали тебе чужие? Миша, отнял ты у нас нашу радость!…  
Все молчат, глядят на Мишу. Он стоит прям, как изваяние. Но вот из-под опущенных ресниц у него блеснули две слезы и медленно покатились по щекам.  
Старчище Воробьев взял Мишину коробочку, положил ему в руку, поцеловал всех нас троих и сказал:  
– На дворе ненастье, дождик, а здесь у нас благоуханная весна.  
С тех пор прошло много лет. Я давно уехал из родного города. Но недавно получил письмо от Михаила Ласкина. В письме засушенные лепестки шиповника.  
Старый друг мне пишет:  
«Наш шиповник широко разросся, и, когда цветет, весь берег пахнет розами».

Фёдор Абрамов

Собачья гордость

Лет двадцать назад кто не клял районную глубинку, когда надо было выбраться в большой мир! Северянин клял вдвойне. Зимой — недельная мука на санях, в стужу, через кромешные ельники, чуть-чуть озаренные далекими мерцающими звездами. В засушливое лето — тоже не лучше. Мелководные, порожистые речонки, перепаханные весенним половодьем, пересыхают. Пароходик, отмахивающий три-четыре километра в час, постоянно садится на мель: дрожит, трется деревянным днищем о песок, до хрипоты кричит на весь район, взывая о помощи. И хорошо, если поблизости деревня, — тогда мужики, сжалившись, рано или поздно сдернут веревками, а если кругом безлюдье… Потому-то северяне больше полагались на собственную тягу. Батог в руки, котомку за плечи — и бредут, стар и млад, лесным бездорожьем, благо и ночлег под каждым кустом, и даровая ягода в приправу к сухарю. Не то сейчас… Я люблю наши сельские аэродромы. Людно — пассажир валит валом; иной раз торчишь день и два, с бессильной завистью наблюдая за вольным ястребом над пустынной площадкой летного поля: крутит себе, не связанный никакими причудами местного расписания… А все-таки хорошо! Пахнет лугом и лесом, бормочет река, оживляя в памяти полузабытые сказки детства… Так-то раз, в ожидании самолета, бродил я по травянистому берегу Пинеги, к которой приткнулся деревенский аэродром. День был теплый, солнечный. Пассажиры, великие в своем терпении, как истые северяне, коротали время по старинке. Кто, растянувшись, дремал в тени под кустом\* кто резался в «дурака», кто, расположившись табором, нажимал на анекдоты. Вдруг меня окликнули. Я повернул голову и увидел человека в белой рубахе с расстегнутым воротом. Он лежал, облокотившись, в траве, под маленьким кустиком ивы, и смотрел на меня какими-то тоскливыми, измученными глазами. — Не узнаёшь? Человек поднялся, смущенно поправил помятую рубаху. Бледное, не тронутое загаром лицо его было страшно изуродовано: нос раздавлен, свернут в сторону, худые, впалые щеки, кое-где поросшие рыжеватой щетиной, стянуты рубцами… — Ну как же? Егора Тыркасова забыл… Бог ты мой! Егор Тыркасов… Да, мне приходилось слышать, что его помяла медведица, но… Просто не верилось, что этот вот худой, облысевший, как-то весь пришибленный человек — тот самый весельчак Егор, первый охотник в районе, которому я отчаянно завидовал в школьные годы. Жил тогда Егор по одной речке, на глухом выселке, километров за девяносто от ближайшей деревни. Леса по этой речке, пока еще не были вырублены, кишмя кишели зверем и птицей, а сама речка была забита рыбой. Каждую зиму, обычно под Новый год, Егор выезжал из своего логова, как он любил выражаться, в большой свет, то есть в райцентр. Никогда, бывало, не знаешь, когда он нагрянет. Вечер, ночь ли — вдруг грохот под окном: «Ставьте самовар!» — и вслед за тем в белом облаке заиндевевший, но неизменно улыбающийся Егор. И уезжал он так же неожиданно: загуляет, пропьется в пух и в прах — и поминай как звали. Только уж потом кто-нибудь скажет: «Егора вашего видели, домой попадает». — Да, брат, — сказал Егор, когда мы уселись под кустом, — с войны вернулся как стеклышко. Хоть бы царапнуло где. А тут медведица — будь она неладна… А все из-за себя, по своей дурости. Подранил — хлопнуть бы еще вторым выстрелом, а мне на ум шалости. Так вот, не играй со зверем! — коротко подытожил Егор, как бы исключая дальнейшие расспросы. Я понял, что ему до смерти надоело рассказывать каждому встречному все одно и то же, и перевел разговор на нейтральную, но всегда близкую для северянина тему: — Как со зверем нынче? Есть? — Есть. Куда девался. Люди бьют. — Егор натянуто усмехнулся: — Для меня-то лес заказан. На замке. Я понимающе закивал головой. — Думаешь, из-за медведицы? Нет, после того я еще десяток медведей свалил. Руки-ноги целы, а рожа… Что рожа? На медведя идти — не с девкой целоваться. Нет, парень. — Егор глубоко вздохнул. — Утопыш меня сразил. Так сразил… Хуже медведицы размял… Пес у меня был, Утопышем назывался. — Да ну?! — Лучше бы об этом не вспоминать. Беда моей жизни… Но в конце концов, повздыхав и поморщившись, уступил моей настойчивости. — Ты на нашем-то выселке не бывал? Речку не знаешь? Рыбная река — даром что с камня на камень прыгает. Утром встанешь, пока баба то да се, ты уж с рыбой. Ну вот, лет, наверно, семь тому назад иду я как-то вечером вдоль реки — сетки ставил. А осень — темень, ничего не видно, дождь сверху сыплет. Ну иду — и ладно, в угор надо подыматься, дом рядом… Что за чемор, — Егор, как человек, выросший в лесу, очень деликатно обращался в разговоре с водяным и прочей нечистью, — что за чемор? Плеск какой-то слышу у берега. Щучонок разыгрался или выдра за рыбой гоняется? Ну, для смеха и полоснул дробью. Нет, слышу опять: тяп-ляп. Ладно. Подошел, чиркнул спичкой. На, у самого берега щенок болтается, никак на сушу выбраться не может. А загадка-то, оказывается, простая. У соседа сука щенилась — пятерых принесла. Ну, известное дело: одного, который побойчее, для себя, а остальных в воду. Я уж после это узнал, а тогда сжалился — больно эта коротыга за жизнь цеплялась! Дома, конечно, ноль внимания. Какой же из него пес? Я даже клички-то собачьей ему не дал. Митька-сынишка: «Утопыш», и мы с женой: «Утопыш». Иной раз даже пнешь, когда под ногами путается. И вот так-то — не помню, на охоту, кажись, торопился — занес на него ногу. А он — что бы ты думал? — цоп меня за валенок. Утопыш — и такой норов! Тут я, пожалуй, и разглядел его впервые. Сам маленький — соплей перешибешь, а весь ощетинился, морда оскалена — чистый зверь. И лапа широкая — подушкой, и грудь не по росту. «Дарья, — говорю это женке-то, — да ведь он настоящий медвежатник будет. Корми ты его хорошенько». Ну, Дарья свое дело знает. К весне пес вымахал — загляденье! Только ухо одно упало — дробиной тогда хватило. А у меня в ту пору медвежонок приведись — для забавы парню оставил. Сам знаешь, на выселке пять домов — ребенку только и радость, когда отец с охоты придет. Ну вот, вижу как-то, Минька медвежонка дразнит, палкой тычет. У меня голова-то и заработала. Давай псу живую науку на звере показывать. У самого сердце заходится — зверь беззащитный, на привязи, а раз надо — так надо. И до того я натаскал пса — лютее зверя стал, люди не подходи… Да, этот пес меня озолотил. Десять медведей с ним добыл. Пойду, бывало, в лес :- уж если есть зверь, не уйдет. Башкой к тебе или грудиной поставит — вот до чего умный пес был! И еще бы сколько зверя с ним добыл, да сам, дурак, пса загубил… Эх, винище все!.. — вдруг яростно выругался Егор. — Баба иной раз скажет: «Что уж, говорит, Егор, ученые люди до всего додумались, к звездам лететь собираются, а такого не придумают, чтобы мужика на водку не тянуло». Понимаешь, поставил я зимой капкан на медведя. Из берлоги пестун вышел, а может, шатун какой. Бывают такие медведи. Жиру летом из-за глиста, верно, не наберут и всю зиму шатаются. Да в том году все не так было: считай, и медведь-то по-настоящему не ложился. Ну, поставил, и ладно. Утром, думаю, пока баба обряжается, сбегаю, проверю капкан. Куда там. Еще с вечера на другую тропу наладился. Вишь ты, вечером соседка с лесопункта приехала. На лесопункте, говорит, вино дают. А лесопункт от нас рукой подать — километров двенадцать. Как услыхал я про вино — шабаш. Места себе не найду. Месяца три, наверно, во рту не было. Баба глаз с меня не спускает — при ней соседка говорила. Знает своего благоверного. Слава богу, четвертый десяток заламываем. Как бы, думаю, сделать так, чтобы без ругани? И бабу обидеть тоже не хочется. А бес, он голову мутит, всякие хитрости подсказывает: «Что, говорю, женка, брюхо у меня разболелось. Эк урчит — хоть бы до двора добежать». Ну, вышел на крыльцо. Мороз, небо вызвездило. Да я без шапки в одной рубахе и почесал. А баба дома в переживаньях: «С надворья долго нету, заболел, видно». Это она уже после мне рассказывала. Вышла, говорит, на крыльцо: «Егор, Егор!..» А Егор чешет по лесу — только елки мелькают. Ладно, думаю, двенадцать верст не дорога, часа за три обернусь. Ноги-то по морозцу сами несут. Ну, а обратно привезли… Дорвался до винища, нашлись дружки-приятели, день и ночь гулял. Баба на санях приехала, суд навела. Я как выпью — смирнее ягненка делаюсь. Ну, баба в то время и наживается, славно счета предъявляет. А когда тверезый — тут по моим законам. Языком вхолостую поработает, а чтобы до рук дойти — нет. «Я, говорит, пьяного-то, Егор, не тебя бью, а тело твое поганое». Ну, а тогда обработала, а назавтра встал — себя не узнаю. Ино, может, и дружки-приятели подсобили. Ладно, встал — смотрю, а в избе как пусто. Все на месте, а пусто… Далее вспомнил: где у меня Утопыш-то? А так пес завсегда при мне. «Дарья, говорю, где пес-то?» «За тобой, наверно, ушел. Как сбежал ты со двора, он тут повыл-повыл ночью, а утром пропал». Тут меня как громом стукнуло. Вспомнил: ведь у меня капкан поставлен! Бегу, сколько есть мочи, а у самого все в глазах мутится. Следов не видать — пороша выпала. Ну, а дальше плохо и помню… Подбежал к капкану, а в капкане заместо зверя мой Утопыш сидит… Вишь ты, ночь-то он хватился меня: нету. Повыл-повыл и побежал разыскивать. А где разыскивать? Собака худо о хозяине не подумает. Разве ей может прийти такая подлость, чтобы хозяина у водки искать? Она труженица вечная и о хозяине так же думает. Ну, а след-то у меня к капкану свежий. Она, конечно, туда… Увидел я пса в капкане, зашатался, упал на снег, завыл. Ползу к нему навстречу… «Ешь, говорю, меня, сукина сына, Утопыш…» А он лежит у капкана — нога передняя переломана, промеж зубьев зажата и вся в крови оледенела. А я тебе говорил: пес у меня зверее зверя был, на людей кидался. Баба и та боялась еду давать. Зимой и летом на веревке держал и забыл тебе сказать: я ведь в тот вечер, когда гули-то подкатили, тоже на веревку его посадил. Так он веревку ту перегрыз, ушел, а капкан, конечно, не перегрыз… Ну, приполз я к нему. «Загрызай, пес! Сам погубил тебя». А он знаешь что сделал? Руку стал мне лизать… Заплакал я тут. Вижу — и у него из глаз слезы. «Что, говорю, я наделал-то, друг, с тобой?» А он и в самом деле первый друг мне был. Сколько раз из беды выручал, от верной смерти спасал! А уж работящий-то! Иной раз расхлебенишься, на охоту не выйдешь — сам за тебя план выполняет. То зайца загонит, то лису ущемит. А то как-то у нас волк овцу утащил. Три дня пропадал. Пришел — вся шкура в клочьях — и меня за штаны: пойдем, обидчик наказан. Вот какой пес у меня был, и такого-то пса я сам загубил. Кабы он на меня тогда зарычал, бросился — все бы не так обидно. Стерпел бы какую угодно боль. А тут собака — и еще слезы надо мной проливает… Видно, она меня умнее, дурака, была — даром что речь не дадена. Уж он бы меня сохранил, до такой беды не допустил. Ну, вынул я его из капкана, поднял на руки, понес… Что — нога зажила, а не собака. Раньше на людей кидался, а тут сидит у крыльца, морду задерет кверху и все о чем-то думает. Я уж и привязывать не стал… Ну, а у меня заданье — план выполнять надо. Охотник — не по своей воле живу. Что делать. Купил я на стороне заместителя. Ладный песик попался, хоть и не медвежатник. Но белку и боровую дичь брал хорошо, — это я знал. И вот тут-то и вышла история… Привел я нового пса домой, стал собираться в лес. Вышел на крыльцо. «Ну, старина, говорю, это Утопышу-то, отдыхай. Больше ты находился на охоту». Молчит, как всегда. Морда кверху задрана. И только я встал уходить с новым псом со двора, он как кинется вслед за мной. У меня все в глазах завертелось. Гляжу, а новый-то песик уж хрипит — горло перекушено… Знаешь, не вынес он — гордый пес был. Как это чужая собака с его хозяином на охоту пойдет? Не знаю, денег мне жалко стало — пятьсот рублей за песика уплатил — или обида взяла, только я ударил Утопыша ногой. Ударил, да и теперь себе простить не могу. Опрокинулся пес, потом встал на ноги, похромыкал от меня прочь. А через две недели подох. Жрать перестал… Не знаю, может, я жилу какую ему повредил, когда пнул, да не должно быть. Здоровенный пес был — что ему какой-то пинок? Бывало, сколько раз под медведем лежал, а тут от пинка. Нет. Это, я так думаю, через гордость он свою подох. Не перенес! Видно, он так рассуждал: «Что же ты, сукин сын, меня в капкан словил, да меня же и бьешь? Сам кругом виноватый, а на мне злобу вымещаешь. Ну, так ты меня попомнишь! Попомнишь мою собачью гордость! Навек накажу». И наказал… Как умер, так я уже больше собаки не заводил. И с охотой распрощался. Без собаки какая охота, а завести другую не могу. Не могу, да и только. Баба ругается: «С ума ты, мужик, сошел. Без охоты чем жить будем?» А я не могу. Да дело дошло до того, что я дома лишился. Выйду на крыльцо, а мне все пес видится. По ночам вой его слышу. Проснусь: воет. «Дарья, — тычу ее в бок-то, — чуешь ли?» — «Нет», — говорит. А у меня в ушах до утра вой, и до утра глаза не закрываются. Стал сохнуть, с лица почернел. Ну, баба видит такое дело — надо мужика спасать. Дом на выселках продали, в деревню большую переехали. А я вот, — Егор развел руками, — рыбок у рыбзавода караулить подрядился. Он снова закурил. — Напрасно только баба старалась. Тоска одна с этими рыбками. Рыбки… Разве рыбки заменят охотнику лес? А в лес ступить не могу. Утопыш перед глазами стоит. Так вот и мучаюсь… В прошлом году в Архангельск к профессору ездил. Куда там! Все проверил, ринген наводил, анализы все снял. «Здоров», — говорит. По-ихнему здоров, а я жизни лишился… Вот теперь к старичку одному — под Пинегой живет — собрался. Слово, говорят, такое знает — от всего лечит… Егор замолчал, отвел глаза в сторону. — Как думаешь, поможет? — спросил он меня. Я пожал плечами. Да и что я мог ответить ему, жаждущему немедленного исцеления?

## О чем плачут лошади.

IMG_256Всякий раз, когда я спускался с деревенского угора на луг, я как бы вновь и вновь попадал в свое далекое детство - в мир пахучих трав, стрекоз и бабочек и, конечно же, в мир лошадей, которые паслись на привязи, каждая возле своего кола.

IMG_257Я частенько брал с собой хлеб и подкармливал лошадей, а если не случалось хлеба, я все равно останавливался возле них, дружелюбно похлопывал по спине, по шее, подбадривал ласковым словом, трепал по теплым бархатным губам и потом долго, чуть не весь день, ощущал на своей ладони ни с чем не сравнимый конский душок.

IMG_258Самые сложные, самые разноречивые чувства вызывали у меня эти лошади.

IMG_259Они волновали, радовали мое крестьянское сердце, придавали пустынному лугу с редкими кочками и кустиками ивняка свою особую - лошадиную - красоту, и я мог не минутами, часами смотреть на этих добрых и умных животных, вслушиваться в их однообразное похрустывание, изредка прерываемое то недовольным пофыркиванием, то коротким всхрапом - пыльная или несъедобная травка попалась.

IMG_260Но чаще всего лошади эти вызывали у меня чувство жалости и даже какой-то непонятной вины перед ними.

IMG_261Конюх Миколка, вечно пьяный, иногда и день и ночь не заявлялся к ним, и вокруг кола не то что трава - дернина была изгрызена и выбита дочерна. Они постоянно томились, умирали от жажды, их донимал гнус - в затишные вечера серым облаком, тучей клубился над ними комар и мошкара.

IMG_262В общем, что говорить, - нелегко жилось беднягам. И потому-то я как мог пытался скрасить, облегчить их долю. Да и не только я. Редкая старушонка, редкая баба, оказавшись на лугу, проходила мимо них безучастно.

IMG_263На этот раз я не шел - бежал к лошадям, ибо кого же я увидел сегодня среди них? Свою любимицу Клару, или Рыжуху, как я называл ее запросто, по-бывалошному, по обычаю тех времен, когда еще не было ни Громов, ни Идей, ни Побед, ни Ударников, ни Звезд, а были Карьки и Карюхи, Воронки и Воронухи, Гнедки и Гнедухи - обычные лошади с обычными лошадиными именами.

IMG_264Рыжуха была тех же статей и тех же кровей, что и остальные кобылы и мерины. Из породы так называемых мезенок, лошадок некрупных, неказистых, но очень выносливых и неприхотливых, хорошо приспособленных к тяжелым условиям Севера. И доставалось Рыжухе не меньше, чем ее подругам и товарищам. В четыре-пять лет у нее уже была сбита спина под седелкой, заметно отвисло брюхо и даже вены в пахах начинали пухнуть.

IMG_265И все-таки Рыжуха выгодно выделялась среди своих сородичей.

IMG_266На некоторых из них просто мочи не было смотреть. Какие-то неряшливые, опустившиеся, с невылинялой клочкастой шкурой, с гноящимися глазами, с какой-то тупой покорностью и обреченностью во взгляде, во всей понурой, сгорбленной фигуре.

IMG_267А Рыжуха - нет. Рыжуха была кобылка чистая, да к тому же еще сохранила свой веселый, неунывающий характер, норовистость молодости.

IMG_268Обычно, завидев меня, спускающегося с угора, она вся подбиралась, вытягивалась в струнку, подавала свой звонкий голос, а иногда широко, насколько позволяла веревка, обегала вокруг кола, то есть совершала, как я называл это, свой приветственный круг радости.

IMG_269Сегодня Рыжуха при моем приближении не выказала ни малейшего воодушевления. Стояла возле кола неподвижно, окаменело, истово, как умеют стоять только лошади, и ничем, решительно ничем не отличалась от остальных кобыл и коней.

IMG_270"Да что с ней? - с тревогой подумал я. - Больна? Забыла меня за это время?" (Рыжуха две недели была на дальнем сенокосе.)

IMG_271Я на ходу стал отламывать от буханки большой кусок - с этого, с подкормки, началась наша дружба, но тут кобыла и вовсе озадачила меня: она отвернула голову в сторону.

IMG_272- Рыжуха, Рыжуха... Да это же я... я...

IMG_273Я схватил ее за густую с проседью челку, которую сам же и подстриг недели три назад - напрочь забивало глаза, притянул к себе. И что же я увидел? Слезы. Большие, с добрую фасолину, лошадиные слезы.

IMG_274- Рыжуха, Рыжуха, да что с тобой?

IMG_275Рыжуха молча продолжала плакать.

IMG_276- Ну, хорошо, у тебя горе, у тебя беда. Но ты можешь сказать, в чем дело?

IMG_277- У нас тут спор один был...

IMG_278- У кого - у нас?

IMG_279- У нас, у лошадей.

IMG_280- У вас спор? - удивился я. - О чем?

IMG_281- О лошадиной жизни. Я им сказала, что были времена, когда нас, лошадей, жалели и берегли пуще всего на свете, а они подняли меня на смех, стали издеваться надо мной... - и тут Рыжуха опять расплакалась.

IMG_282Я насилу успокоил ее. И вот что в конце концов рассказала она мне.

IMG_283На дальнем покосе, с которого только что вернулась Рыжуха, она познакомилась с одной старой кобылой, с которой на пару ходила в конной косилке. И вот эта старая кобыла, когда им становилось совсем невмоготу (а работа там была каторжная, на износ), начинала подбадривать ее своими песнями.

IMG_284- Я в жизни ничего подобного не слыхала, - говорила Рыжуха. - Из этих песен я узнала, что были времена, когда нас, лошадей, называли кормилицами, холили и ласкали, украшали лентами. И когда я слушала эти песни, я забывала про жару, про оводов, про удары ременки, которой то и дело лупил нас злой мужик. И мне легче, ей-богу, легче было тащить тяжелую косилку. Я спрашивала Забаву - так звали старую кобылу, - не утешает ли она меня. Не сама ли она придумала все эти красивые песни про лошадиное беспечальное житье? Но она меня уверяла, что все это сущая правда и что песни эти певала ей еще мать. Певала, когда она была сосунком. А мать их слышала от своей матери. И так эти песни про счастливые лошадиные времена из поколения в поколение передавались в ихнем роду.

IMG_285- И вот, - заключила свой рассказ Рыжуха, - сегодня утром, как только нас вывели на луг, я начала петь песни старой кобылы своим товаркам и товарищам, а они закричали в один голос: "Вранье все это, брехня! Замолчи! Не растравляй нам: душу. И так тошно".

IMG_286Рыжуха с надеждой, с мольбой подняла ко мне свои огромные, все еще мокрые, печальные глаза, в фиолетовой глубине которых я вдруг увидел себя - маленького, крохотного человечка.

IMG_287- Скажите мне... Вы человек, вы все знаете, вы из тех, кто всю жизнь командует нами... Скажите, были такие времена, когда нам, лошадям, жилось хорошо? Не соврала мне старая кобыла? Не обманула?

IMG_288Я не выдержал прямого, вопрошающего взгляда Рыжухи. Я отвел глаза в сторону и тут мне показалось, что отовсюду, со всех сторон, на меня смотрят большие и пытливые лошадиные глаза. Неужели то, о чем спрашивала меня Рыжуха, занимало и других лошадей? Во всяком случае, обычного хруста, который всегда слышится на лугу, не было.

IMG_289Не знаю, сколько продолжалась для меня эта молчаливая пытка на зеленой луговине под горой, - может, минуту, может, десять минут, может, час, но я взмок с головы до ног.

IMG_290Все, все правильно говорила старая кобыла, ничего не соврала. Были, были такие времена, и были еще недавно, на моей памяти, когда лошадью дышали и жили, когда ей скармливали самый лакомый кусок, а то и последнюю краюху хлеба - мы-то как-нибудь выдюжим, мы-то и с голодным брюхом промаемся до утра. Нам не привыкать. А что делалось по вечерам, когда наработавшаяся за день лошадка входила в свой заулок! Вся семья, от мала до велика, выбегала встречать ее, и сколько же ласковых, сколько благодарных слов выслушивала она, с какой любовью распрягали ее, выхаживали, водили на водопой, скребли, чистили! А сколько раз за ночь поднимались хозяева, чтобы проведать свое сокровище!

IMG_291Да, да, сокровище. Главная опора и надежда всей крестьянской жизни, потому как без лошади - никуда: ни в поле выехать, ни в лес. Да и не погулять как следует.

IMG_292Полвека прожил я на белом свете и чудес, как говорится, повидал немало - и своих, и заморских, а нет, русские гулянья на лошадях о масленице сравнить не с чем.

IMG_293Все преображалось как в сказке. Преображались мужики и парни - чертом выгибались на легких расписных санках с железными подрезами, преображались лошади. Эх, гулюшки, эх, родимые! Не подкачайте! Потешьте сердце молодецкое! Раздуйте метель-огонь на всю улицу!

IMG_294И лошади раздували. Радугами плясали в зимнем воздухе цветастые, узорчатые дуги, июльский жар несло от медных начищенных сбруй, и колокольцы, колокольцы - услада русской души...

IMG_295Первая игрушка крестьянского сына - деревянный конь. Конь смотрел на ребенка с крыши родного отцовского дома, про коня-богатыря, про сивку-бурку пела и рассказывала мать, конем украшал он, подросши, прялку для своей суженой, коню молился - ни одной божницы не помню я в своей деревне без Егория Победоносца. И конской подковой - знаком долгожданного мужицкого счастья - встречало тебя почти каждое крыльцо. Всё - конь, всё - от коня: вся жизнь крестьянская, с рождения до смерти...

IMG_296Ну и что же удивительного, что из-за коня, из-за кобылы вскипали все главные страсти в первые колхозные годы!

IMG_297У конюшни толклись, митинговали с утра до ночи, там выясняли свои отношения. Сбил у Воронка холку, не напоил Гнедуху вовремя, навалил слишком большой воз, слишком быстро гнал Чалого, и вот уж крик, вот уж кулаком в рыло заехали.

IMG_298Э-э, да что толковать о хозяевах, о мужиках, которые всю жизнь кормились от лошади!

IMG_299Я, отрезанный ломоть, студент университета, еще накануне войны не мог спокойно пройти мимо своего Карька, который когда-то, как солнце, освещал всю жизнь нашей многодетной, рано осиротевшей семьи. И даже война, даже война не вытравила во мне память о родном коне.

IMG_300Помню, в сорок седьмом вернулся в деревню. Голод, разор, запустение, каждый дом рыдает по не вернувшимся с войны. А стоило мне увидеть первую лошадь, и на мысли пришел Карько.

IMG_301- Нету вашего Карька, - ответил мне конюх-старик. - На лесном фронте богу душу отдал. Ты думаешь, только люди в эту войну воевали? Нет, лошади тоже победу ковали, да еще как...

IMG_302Карько, как я узнал дальше, свой жизненный путь закончил в самый День Победы. Надо было как-то отметить, отпраздновать такой день. А как? Чем? Вот и порешили пожертвовать самой старой доходягой. Короче, когда Карько притащился из лесу со своим очередным возом, на него сверху, со штабеля, обрушили тяжеленные бревна...

IMG_303В каждом из нас, должно быть, живет пушкинский вещий Олег, и года три назад, когда мне довелось быть в Росохах, где когда-то в войну шла заготовка леса, я попытался разыскать останки своего коня.

IMG_304Лесопункта давно уже не было. Старые бараки, кое-как слепленные когда-то стариками да мальчишками, развалились, заросли крапивой, а на месте катища, там, где земля была щедро удобрена щепой и корой, вымахали густые заросли розового иван-чая.

IMG_305Я побродил возле этих зарослей, в двух-трех местах даже проложил через них тропу, но останков никаких не нашел...

IMG_306...Рыжуха все так же, с надеждой, с мольбой смотрела на меня. И смотрели другие лошади. И казалось, все пространство на лугу, под горой - сплошь одни лошадиные глаза. Все, и живые, на привязи, и те, которых давно уже не было, - все лошадиное царство, живое и мертвое, вопрошало сейчас меня. А я вдруг напустил на себя бесшабашную удаль и воскликнул:

IMG_307- Ну, ну, хватит киснуть! Хватит забивать себе голову всякой ерундой. Давайте лучше грызть хлеб, пока грызется.

IMG_308И вслед за тем, избегая глядеть в глаза Рыжухе, я торопливо бросил на луг, напротив ее вытянутой морды, давно приготовленный кусок хлеба, потом быстро оделил хлебом других лошадей и с той же разудалой бесшабашностью театрально вскинул руку:

IMG_309- Покель! В энтом деле без банки нам все равно не разобраться... - И, глубоко сунув руки в карманы модных джинсов, быстрой, развязной походкой двинулся к реке.

IMG_310А что я мог ответить этим бедолагам? Сказать, что старая кобыла ничего не выдумала, что были у лошадей счастливые времена?

IMG_311Я пересек пересохшее озеро, вышел на старую, сохранившуюся еще от доколхозных времен межу, которая всегда радовала меня своим буйным разнотравьем.

IMG_312Но я ничего не видел сейчас.

IMG_313Все мое существо, весь мой слух были обращены назад, к лошадям. Я ждал, каждым своим нервом ждал, когда же они начнут грызть хлеб, с обычным лошадиным хрустом и хрумканьем стричь траву на лугу.

IMG_314Ни малейшего звука не доносилось оттуда.

IMG_315И тогда я вдруг стал понимать, что я совершил что-то непоправимое, страшное, что я обманул Рыжуху, обманул всех этих несчастных кляч и доходяг и что никогда, никогда уже у меня с Рыжухой не будет той искренности и того доверия, которые были до сих пор.

IMG_316И тоска, тяжелая лошадиная тоска навалилась на меня, пригнула к земле. И вскоре я уже сам казался себе каким-то нелепым, отжившим существом. Существом из той же лошадиной породы...

М.М. Пришвин.

Таинственный ящик.

В Сибири, в местности, где водится очень много волков, я спросил одного охотника, имеющего большую награду за партизанскую войну:

— Бывают ли у вас случаи, чтобы волки нападали на человека?

— Бывают, — ответил он. — Да что из этого? У человека оружие, человек — сила, а что волк! Собака, и больше ничего.

— Однако, если эта собака да на безоружного человека...

— И то ничего! — засмеялся партизан. — У человека самое сильное оружие — ум, находчивость и в особенности такая оборотливость, чтобы из всякой вещи сделать себе оружие. Раз было, один охотник простой ящик превратил в оружие.

Партизан рассказал случай из очень опасной охоты на волков с поросенком. Лунной ночью сели в сани четыре охотника и захватили с собой ящик с поросенком. Ящик был большой, сшитый из полутеса. В этот ящик без крышки посадили поросенка и поехали в степь, где волков великое множество. А было это зимой, когда волки голодные. Вот охотники выехали в поле и начали поросенка тянуть кто за ухо, кто за ногу, кто за хвост. Поросенок от этого стал визжать: больше тянут — больше визжит, и все звонче и звонче, и на всю степь. Со всех сторон на этот поросячий визг стали собираться волчьи стаи и настигать охотничьи сани. Когда волки приблизились, вдруг лошадь их почуяла — и как хватит! Так и полетел из саней ящик с поросенком, и, самое скверное, вывалился один охотник без ружья и даже без шапки.

Часть волков умчалась за взбешенной лошадью, другая же часть набросилась на поросенка, и в один миг от него ничего не осталось. Когда же эти волки, закусив поросенком, захотели приступить к безоружному человеку, вдруг глядят, а человек этот исчез и на дороге только ящик один лежит вверх дном. Вот пришли волки к ящику и видят: ящик-то не простой — ящик движется с дороги к обочине и с обочины в глубокий снег. Пошли волки осторожно за ящиком, и как только этот ящик попал на глубокий снег, на глазах волков он стал нижеть и нижеть.

Волки оробели, но, постояв, оправились и со всех сторон ящик окружили. Стоят волки и думают, а ящик все ниже да ниже. Ближе волки подходят, а ящик не дремлет: ниже да ниже. Думают волки: «Что за диво? Так будем дожидаться — ящик и вовсе под снег уйдет».

Старший волк осмелился, подошел к ящику, приставил нос свой к щелке...

И только он свой волчий нос приставил к этой щелке, как дунет на него из щелки! Сразу все волки бросились в сторону, какой куда попал, и тут же вскоре охотники вернулись на помощь, и человек живой и здоровый вышел из ящика.

— Вот и все, — сказал партизан. — А вы говорите, что безоружному нельзя против волков выходить. На то и ум у человека, чтобы он из всего мог себе делать защиту.

— Позволь, — сказал я, — ты мне сейчас сказал, что человек из-под ящика чем-то дунул.

— Чем дунул? — засмеялся партизан. — А словом своим человеческим дунул, и они разбежались.

— Какое же это слово такое он знал против волков?

— Обыкновенное слово, — сказал партизан. — Какие слова говорят в таких случаях: «Дураки вы, волки», сказал, — и больше ничего.

Синий лапоть.

Через наш большой лес проводят шоссе с отдельными путями для легковых машин, для грузовиков, для телег и для пешеходов. Сейчас пока для этого шоссе только лес вырубили коридором. Хорошо смотреть вдоль по вырубке: две зеленые стены леса и небо в конце. Когда лес вырубали, то большие деревья куда-то увозили, мелкий же хворост – грачевник – собирали в огромные кучи. Хотели увезти и грачевник для отопления фабрики, но не управились, и кучи по всей широкой вырубке остались зимовать.

Осенью охотники жаловались, что зайцы куда-то пропали, и некоторые связывали это исчезновение зайцев с вырубкой леса: рубили, стучали, гомонили и распугали. Когда же налетела пороша и по следам можно было разглядеть все заячьи проделки, пришел следопыт Родионыч и сказал:

– Синий лапоть весь лежит под кучами Грачевника.

Родионыч, в отличие от всех охотников, зайца называл не «косым чертом», а всегда «синим лаптем»; удивляться тут нечему: ведь на черта заяц не более похож, чем на лапоть, а если скажут, что синих лаптей не бывает на свете, то я скажу, что ведь и косых чертей тоже не бывает.

Слух о зайцах под кучами мгновенно обежал весь наш городок, и под выходной день охотники во главе с Родионычем стали стекаться ко мне.

Рано утром, на самом рассвете, вышли мы на охоту без собак: Родионыч был такой искусник, что лучше всякой гончей мог нагнать зайца на охотника. Как только стало видно настолько, что можно было отличить следы лисьи от заячьих, мы взяли заячий след, пошли по нему, и, конечно, он привел нас к одной куче грачевника, высокой, как наш деревянный дом с мезонином. Под этой кучей должен был лежать заяц, и мы, приготовив ружья, стали все кругом.

– Давай, – сказали мы Родионычу.

– Вылезай, синий лапоть! – крикнул он и сунул длинной палкой под кучу.

Заяц не выскочил. Родионыч оторопел. И, подумав, с очень серьезным лицом, оглядывая каждую мелочь на снегу, обошел всю кучу и еще раз по большому кругу обошел: нигде не было выходного следа.

– Тут он, – сказал Родионыч уверенно. – Становись на места, ребятушки, он тут. Готовы?

– Давай! – крикнули мы.

– Вылезай, синий лапоть! – крикнул Родионыч и трижды пырнул под грачевник такой длинной палкой, что конец ее на другой стороне чуть с ног не сбил одного молодого охотника.

И вот – нет, заяц не выскочил!

Такого конфуза с нашим старейшим следопытом еще в жизни никогда не бывало: он даже в лице как будто немного опал. У нас же суета пошла, каждый стал по-своему о чем-то догадываться, во все совать свой нос, туда-сюда ходить по снегу и так, затирая все следы, отнимать всякую возможность разгадать проделку умного зайца.

И вот, вижу, Родионыч вдруг просиял, сел, довольный, на пень поодаль от охотников, свертывает себе папироску и моргает, вот подмаргивает мне и подзывает к себе. Смекнув дело, незаметно для всех подхожу к Родионычу, а он мне показывает наверх, на самый верх засыпанной снегом высокой кучи грачевника.

– Гляди, – шепчет он, – синий-то лапоть какую с нами штуку играет.

Не сразу на белом снегу разглядел я две черные точки – глаза беляка и еще две маленькие точки – черные кончики длинных белых ушей. Это голова торчала из-под грачевника и повертывалась в разные стороны за охотниками: куда они, туда и голова.

Стоило мне поднять ружье – и кончилась бы в одно мгновение жизнь умного зайца. Но мне стало жалко: мало ли их, глупых, лежит под кучами!..

Родионыч без слов понял меня. Он смял себе из снега плотный комочек, выждал, когда охотники сгрудились на другой стороне кучи, и, хорошо наметившись, этим комочком пустил в зайца.

Никогда я не думал, что наш обыкновенный заяц-беляк, если он вдруг встанет на куче, да еще прыгнет вверх аршина на два, да объявится на фоне неба, – что наш же заяц может показаться гигантом на огромной скале!

А что стало с охотниками? Заяц ведь прямо к ним с неба упал. В одно мгновенье все схватились за ружья – убить-то уж очень было легко. Но каждому охотнику хотелось раньше другого убить, и каждый, конечно, хватил, вовсе не целясь, а заяц живехонький пустился в кусты.

– Вот синий лапоть! – восхищенно сказал ему вслед Родионыч.

Охотники еще раз успели хватить по кустам.

– Убит! – закричал один, молодой, горячий.

Но вдруг, как будто в ответ на «убит», в дальних кустах мелькнул хвостик; этот хвостик охотники почему-то всегда называют цветком.

Синий лапоть охотникам из далеких кустов только своим «цветком» помахал.